ЛЕОНИД
ЛЕОНОВ

5

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ ПЯТЫЙ

ВЗЯТИЕ ВЕЛИКОШУМСКА

ПОВЕСТЬ

НАШЕСТВИЕ

ЛЁНУШКА

ПЬЕСЫ

СТАТЬИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1954

Постановлением
Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 19 марта 1943 года
ЛЕОНОВУ
ЛЕОНИДУ МАКСИМОВИЧУ
присуждена
СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ
первой степени
за пьесу «Нашествие»

ВЗЯТИЕ ВЕЛИКОШУМСКА

ПОВЕСТЬ

1

К полночи зарево погасло, и оборвалось бессонное бормотанье битвы. Все замолкло, кроме шептанья падающего снега. Немощная зима снова пыталась запорошить бедную исковырянную землю. Близ рассвета лязг и грохот вступили в эту первозданную тишину. Два прожекторной силы луча пронизали пестрый мрак метели, где затерялась станция.

Она существовала лишь на картах да в благодарной памяти тех, кто, проездом на теплые черноморские берега, любовался из вагона на прославленные здешние сады. Из тьмы проступили столбы с пучками порванных проводов, обугленные стены привокзальных строений и, среди прочих останков растоптанной жизни, ряды платформ, ставших на разгрузку. Под брезентами угадывались большие угловатые тела. Вдруг неимоверная воля сдвинула с места это притаившееся железо. Разбуженный, задул ветерок, и когда начальник в высокой шапке вышел из *виллиса,* сразу, точно мокрой тряпкой, мазнуло начальника по лицу.

Скорей по привычке, чем из потребности, он вытер усы и пощурился в небо — хватит ли до утра нелетной погоды. Надежнее мотопехотных и зенитных сторожей она охраняла его танки от чужих глаз и авиации. Правое, с генеральским погоном, плечо его полушубка было залеплено снегом, и часовые признавали хозяина лишь по дерзости, с какой сопроводительные машины проскочили запретную черту оцепленья, да по усердию адъютанта, который, забегая сбоку, светил ему дорогу фонариком.

— Спрячьте ваше чудо науки и техники, капитан, — попросил генерал, потому что батарейка иссякла, а ноги

все равно по щиколку тонули в слякоти. — Лучше найдите нашего дежурного по штабу. Я недолго задержусь здесь.

Вместе с офицерами связи из подоспевшего броневичка он миновал груды металлической падали, не убранной после боя, паровозишко со вспоротой боковиной, обошел разбитые стояки переходного мостика, дважды пролез под платформами и двинулся прямиком на ближайшее световое пятно, рябое от падающего снега. Узловая станция допускала одновременную разгрузку нескольких эшелонов. В самом конце ее, разместясь по сторонам, два танка освещали длинные, из шпальных бревен, сходни, на которые робко, словно не веря в прочность саперной работы, ступали их железные товарищи. Тугой машинный ветер хлестал вдоль путей, уплотняя снегопад; огромные ромбические тени плыли по этому подрагивающему экрану.

Разгрузка происходила в торец. Танки следовали всей длиной состава, прежде чем коснуться земли, откуда им предстоял любой, на выбор, путь — либо вперед, на запад, либо назад, в мартен. Большинство состояло из новичков, мало обкатанных и еще не вкусивших звонкого, щемящего вдохновенья боя. Они ничего не умели, и люди помогали им, делясь остатками живого тепла, а взамен беря частицу их неуязвимого спокойствия. Люди действовали молча, голос растворялся в истошном скрипе дерева, в бешеной пальбе иззябших моторов, и это осатанелое молчанье было внушительней самой отчаянной боевой песни... Негде им было укрыться здесь от стужи, но шел третий год войны, и горькая злоба за простреленную молодость, за поруганную мечту грела их жарче костра и любой земной привязанности. И ни один ни разу не припечатал матюжком подлой пакости, что сыпалась сверху на погибель солдатской душе.

Так он шел, наблюдая хлопотню своих продрогших людей, не отдохнувших от долгой дороги. Вдоволь, в свое время, похлебав щец из походного котелка, он без затрудненья, как букварь, читал их затаенные думки. И, как обучил его когда-то старый учитель Кульков, генерал сохранил привычку читать это вслух, сердцем вникая в каждое слово.

— Простите, шумно... товарищ генерал, — посунулся было сбоку связист.

— Я говорю, грозен наш народ, — раздельно повторил генерал, — красив и грозен, когда война становится у него единственным делом жизни. Лестно принадлежать к такой семье...

Он собирался прибавить также, что хорошо, если родина обопрется о твое плечо, и оно не сломится от исполинской тяжести доверья, что впервые у России на мир и на себя открылись удивленные очи, что народы надо изучать не на фестивалях пляски, а в часы военных испытаний, когда история вглядывается в лицо нации, вымеряя ее пригодность для своих высоких целей... Но офицер буркнул что-то невпопад с непривычки к отвлеченным суждениям, да кстати над самым ухом затрещал мотор; розовый снег, мешаясь с пламенем, завихрился у выхлопной трубы... К тому времени вьюга окончательно сравняла командира корпуса со всеми, кто не спал в эту простудную ночь.

Лишь в одном месте, привлеченный необычной тишиной, он замедлил шаг и вытянутой рукой преградил путь собеседнику; офицеры сопровождения остановились сами из-за узости прохода. Здесь кончался эшелон. Вереница машин, терявшаяся в летящей тьме, с выключенными моторами ждала очереди на разгрузку И хотя тут, в слепящем луче танковой фары, снег висел плотный, как занавеска, сразу делалась ясна причина задержки. Бывалая, вся в рубцах неоднократных сварок, тридцать-четверка упиралась левым ленивцем в междупутье, круто обвалившись со сходней. Задние траки громоздились на помосте, и водитель еще надеялся сползти на малых оборотах, но деревянная клетка трещала и щепилась, шпалы поднимались дыбом с другого конца, и самый танк зловеще кренился на сторону.

Генерал подошел как раз в минуту, когда лейтенантик в армейском кожухе и с вихром из-под ушанки метнулся к переднему люку.

— Стой, стой, говорю!.. — кричал лейтенант, в отчаянье поглядывая на шеренгу платформ, груз которых нависал над ним, как улитка. — Вылезай теперь, полюбуйся, что ты наделал... Вий полтавский.

Мотор заглох, и тем слышней стала сиплая, усталая брань соседних экипажей. Постепенно замолкла и она, едва поняли, что этим не спихнуть железной глыбы, застрявшей у них на пути. Паренек в матерчатом шлеме

понуро стоял посреди и все, сколько их там было, обступив кругом, смотрели на него с холодком осудительной жалости, как смотрят на погорельца, а, насмотрясь, приступили к обсуждению. Они делали это обстоятельно и с удовольствием, видимо отдыхая от перенапряженья, и одни собирались вбивать какие-то железные ползуны под траки, чтоб машина скольжением спустилась со сходней, и уже тащили швеллер от бывшего пакгауза, а другие, напротив, подавали совет приподнять вагой левый борт, а затем пустить его на волю божию. «И таким манерцем мы выйдем из положения!»

— Узнаю наших, — шепнул ближайшему спутнику генерал. — Любим, когда что-нибудь отрывает нас от работы... — Привыкнув из любой беды извлекать опыт, предохраняющий от повторных несчастий, он со спокойным любопытством вслушивался в ночные голоса.

Так и длилась бы эта мирная беседа, если бы лейтенанту не пришло в голову спустить застрявший танк на тяге. Умно расчалив свою тридцать-четверку под прямым углом, а сбоку придерживая ее тросом за гусеницу, чтоб не повалилась набок, он махнул рукой, буксирные танки рванули, и корма аварийной машины плавно скользнула вниз, лишь раскрошив концы бревен. Десятки моторов приветственно взревели кругом, движение возобновилось. И пока проходили они мимо тридцать-четверки, утерявшей свою очередь, лейтенант отчитывал виноватого паренька. Надсаженный голос звучал не обидно, с какой-то проникновенной человеческой горчинкой, но, значит, острей ножа и выговора был пареньку этот упрек старшего товарища. Не оправдываясь, не защищаясь, он только морщился, как от боли, и глядел в снег.

— Куда ж ты смотрел, чортова баба. На реке случилось бы, ведь ты бы нас утопил. Я уж не говорю о машине. Ведь это гнев твой, силища, а ты экую красавицу в грязищу завалил. А знаешь, сколько надо такую махину смастерить? Старики да малые ребята на заводишках ночей не спят, варят ее, обряжают для нас с тобою... Да и то гаркнуть порою хочется: «Эй, на Урале... кто там закурить пошел?» А ты... Эх, а еще в мстители затесался!

— Хозяин... детей, верно, любит, — шепнул в сторону генерал, и кто-то поддакнул ему в голос: «Вот они, танкисты! Вот они, мы!»

Точно учуяв тепло похвалы, лейтенант обернулся и враз опознал свидетеля своему приключению. Никого старше по званию вблизи не нашлось; он пометался, скомандовал тишину и в одно дыханье выпалил генералу, что на разгрузке тридцать седьмая бригада, что самому ему фамилия— Собольков и что именно его машина, номер двести три, только что вышла из столь беспомощного состояния.

— Вижу, все вижу... товарищ гвардии офицер, — подтвердил командир корпуса, глядя на не заправленную под погон портупею. — Не знал, что такие завелись у меня лихачи... на ровном месте спотыкаются.

Тотчас обнаружились сто причин, а сто первая заключалась в том, что сзади торопили, да тут еще трак скользнул по скобе настила и, как назло, изменил левый фрикцион, отчего машина поползла юзом и оступилась с метровой высоты. Судя по неуверенности тона, лейтенант и сам сознавал, что фрикцион — не сердце девичье, вещь вполне надежная, и у доброго воина повреждается, разве только когда от самого танка остается одна железная щепа. Это же отметил и генерал, прибавив сгоряча некоторые слова, от которых все вокруг приосанились, подтянулись и стояли еще смирнее.

— Значит, в пренебрежении у вас эти самые... ну, бортовые, фрикционы, а зря... — заключил он, утихая. — Кто у вас этим делом занимается?

Тогда и пришлось Соболькову назвать виновника происшествия. Выяснилось, что механиком-водителем у него на двести третьей состоит новичок из пополнения, некий Литовченко, совсем молоденький и сам из здешних мест, а потому немца встречал вплотную и, видать, крепко на кого-то осерчал, раз добровольно прибежал в армию искать врага своего на громадном судилище войны. Последнее в особенности походило на правду: у каждого из них имелись личные счеты с Германией... Пока генерал прислушивался к чем-то взволнованной памяти, лейтенант незамедлительно перешел от обороны к наступлению.

— Что касается двести третьей, — пошутил он, — то ущерба ей от встряски не предвидится, машина испытанная: так ли еще маханула она, к примеру, в один овраг под Россошью, после того как вырвало кусок брони из лобовика и повалило прежнего водителя, предшественника

Литовченки. Если только припомнит товарищ генерал, это случилось на исходе того дня, когда именно их корпус, зайдя от Валуек, нанес решающий удар по Италии и заставил ее смотаться из войны.

Две красные полоски были нашиты справа на груди лейтенанта. Генерал усмехнулся патриотическому красноречию своего танкиста; одновременно на лицах у всех в десятке вариантов повторилась его улыбка. Упоминанье о Россоши было всеми ими заслужено и в равной степени приятно; если шепнуть это слово во-время, на ухо обессилевшему товарищу, оно удваивало отвагу, воскрешало, как глоток спирта, пароль круговой танкистской поруки.

Генерал поднял голову.

— Литовченко, Литовченко... — поискал он в памяти, и опять чем-то горячим пахнуло на него из этой ночи. — В школе со мной учился однофамилец мой, Денис Литовченко. Собачник был, целая орава дворняг так и бродила по его пятам... А ну, покажите, что у вас за *некий* Литовченко!

Тряхнув хохолком, не то седым, не то запушенным снежной пылью, Собольков крикнул это имя в летящий снег, и тотчас знакомый паренек вытянулся рядом с командиром танка. Луч от фары пришелся на него сбоку; кроме того, вернувшийся с офицером штаба адъютант подсветил ему мигалкой без опаски получить вторичное поношение науке и технике. Карие мальчишеские глаза чуть напуганно смотрели из-под густых, не по возрасту, бровей; левая, рассеченная при паденье, слегка кровоточила... Нет, это был не тот Литовченко, моложе, постатней и явно не Денискиной породы. Не зря Митрофан Платонович Кульков назвал того колобком при выпуске из школы: «Катись, колобку, в свит, та стережись, щоб сирый вовк не зьив!»

— Что ж ты, тезка, плохо за машиной следишь? — заговорил генерал, смягчаясь воспоминаньями. — Танк не лошадь, не огрызнется, сахару с ладони не попросит... Ты его молча понимай, и дружба его тебя не обманет. А представь, такая же ночь и врагов тысяча... тут каждый болтик слезою омыл бы, да поздно.

Он говорил так, как если бы сын Денискин стоял перед ним, нуждаясь в отеческом наставленье, и всем очень понравилось, что он говорит с этим полумальчишкой, как с сыном.

— Машина исправна... товарищ гвардии генерал-лейтенант. Только я не той гусеницей тормознул второпях, — открыто признался механик, и опять всем кругом понравилось, что и этот не бежит вины, не ждет прощенья.

— За правду хвалю. У меня в корпусе не лгут... Кстати, как батька́-то кличут?

— Батька Екимом звали, — отвечал Литовченко, и брови туже сдвинулись к переносью.

— Так. Немцы, что ль, убили?

— Сам помер... от старины.

— Вот оно что, — по-своему прочитал его интонацию генерал, и почему-то убавилось его огорченье, что хлопец этот даже не родственник Дениске. — За что ж ты на немца обиделся?.. Дом спалили или девушку твою увели?

Литовченко медлил с ответом; коротко было бы ему не объяснить, а на длинное пояснение он не решался. И чтоб выручить товарища перед начальством, все заспешили к нему на помощь.

— Хлебанул беды крестьянской, — подсказал кто-то сверху с платформы. — Все мы ею до́сыта пропиталися.

— Сейчас только тот и без горя, кто воровски живет,— поддержал другой, и генералу показалось, что когда-то он довольно часто слышал этот голос.

— Такое дело... товарищ гвардии генерал-лейтенант...— начал третий. — Ганцы на селе у них стояли, и один мамашу его мертвой курой шарахнул...

— Каб ударил, не стоял бы я на этом месте... — угрюмо поправил Литовченко.

— Ничего не понимаю, — сказал генерал. — Ударил он ее или не ударил?

— Он у нас чудак, товарищ генерал, — пояснили со стороны.

— Какое же тут чудачество! Кто родную мать в обиду выдаст, тому и большая наша мать нипочем, — вступился генерал за паренька, с интересом глядя, как садятся и тают снежинки на его щеке, безволосой и чумазой, потому что водители обычно ехали под одним брезентом с печкой, которою и обогревали в походе свой танк. — И как же ты рассчитываешь поймать его в такой суматохе... врага своего?

— Легше нет, — насмешливо произнес тот же, охрипший от погоды, мучительно знакомый голос, и почему-то

генералу вспомнилось, что еще не обедал за истекшие сутки. — Надоть его на перламутровую пуговицу.

— Это как же так... на пуговицу? — спросил генерал, единственно чтобы еще раз услышать голос.

— А как муху ловят. Взять простую пуговицу, от рубашки, скажем, о четырех дырочках... и обыкновенно крутить у мухи перед глазами, пока она не начнет вроде вянуть. А там берут осторожно за крылышки, чтоб не взбудить, и поступают по строгому закону... Так, что ль, милый Вася?

Шутка относилась, конечно, к маленькому Литовченке. Тот не отвечал: опустив голову, он уставился на руку свою, обмотанную тряпкой. Этим он как бы клал конец публичному обсужденью своей сокровенной обиды.

— Значит, гордый ты, тезка, — одобрительно засмеялся генерал. — Это хорошо. Мне и нужны такие, гордые и злые. Войну видал?

— Только в кино... товарищ гвардии генерал-лейтенант.

— Ну, скоро увидишь... Ладно, оставьте его. Посмотрим, что он за вояка!.. — И повернулся к подсказчику, чтоб удовлетворить возникшее любопытство.

Они стояли перед ним все одинакие, на одно лицо, в одеревенелых от мокроты шинелях и набухших водою сапогах. И все же человек этот, казавшийся старше других, заметно выделялся в их ряду; здесь опять пригодилась мигалка адъютанта. И хотя танкист был теперь в усах и к тому же немедленно опустил озороватые, себе на уме, глаза, сразу видно было, что личность эта вела образ жизни, навлекающий подозренье в смысле пристрастия к некоторым крепким напиткам... Нельзя было не узнать его, бывшего повара из штаба корпуса, который мог бы прославиться и во всеармейском масштабе, если бы не роковая любознательность к жидкостям. Она не только помешала ему продвигаться по служебным ступеням, но и удержаться на достигнутых высотах; падение случилось как раз после Россоши, когда кладовые штабной столовой значительно пополнились трофейным продовольствием. Итальянский вермут, французское шампанское, венгерский токай и даже тухлый немецкий ром принялись наперегонки сохнуть в его присутствии, а глазуньи, которыми он ограничил круг своей деятельности, приобрели столь броневые вкус и прочность, что офицеры диву давались, до чего

можно довести обыкновенное куриное яйцо. Ему давали советы подкидывать эти злодейские яичницы неприятелю, чтоб калечились на них, но он не внял деликатным предупреждениям, и тогда пришлось откомандировать его вовсе из управления корпуса, что не вызвало ни ропота, ни удивления с его стороны.

— А ведь это ты, Обрядин,— вместо приветствия и весело сказал генерал. — Ну, кем воюешь, как живешь?

— Башнером на двести третьей... товарищ гвардии генерал-лейтенант. Вот прибаливаю маненько, — сиплым баском сообщил он, желая этим выразить степень своего раскаянья.

— Так... И болезнь все та же?

Обрядин не ответил и лишь облизал пышный ус, чтоб скрыть усмешку, какая была и у генерала.

— Что ж, выздоравливай, — пожелал генерал и уже собирался отойти, потому что не на одной только этой станции происходила выгрузка его хозяйства. Да еще предстояло по пути в район сосредоточения заехать в штаб армии и, кроме того, расспросить кое о чем дежурного офицера из штаба. И тут бросилось ему в глаза странное, даже неуместное для солдата, шевеленье на обрядинском животе, чуть повыше поясного ремешка... Башнер стоял смирно, руки по швам и выпятив грудь так, чтобы по возможности натянулось на груди сукно шинели. Он даже попытался стать бочком к командиру корпуса, но в ту же минуту что-то живое выглянуло из-за борта обрядинской шинелишки.

— Ну-ка, посветите, капитан. Что это за живность у тебя, Обрядин?

— Это Кисо́... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — виновато, упавшим голосом признался тот.

И вот решительно невозможно стало для начальства покинуть это место, не повидав старинного сослуживца. Не дожидаясь прямого приказания, Обрядин достал из-за пазухи свой секрет. Маленькое сероватое существо, ежась от холода и дремотно щурясь на свет, лежало в огромной правой ладони танкиста; левою он прикрывал его от простуды, так что хвост и ноги оставались под угревой мокрого обрядинского рукава.

— Ну, здравствуй, беглец. Что, разве плохо тебе жилось у меня? — тихо произнес генерал, и уж такой установился в штабе у них обычай — непременно, при

каждой встрече, почесать у котенка за ухом.— А тощий он стал у тебя... верно, яичницами кормишь? Ишь, все ребра наперечет!

— От нервной жизни... товарищ гвардии генерал-лейтенант,— постарался оправдаться Обрядин.— Ведь все в боях да в боях...

...Гвардейский корпус Литовченки всегда ставили на главном направлении армейского удара. Его молниеносный маневр и свирепые рейды по тылам врага изучались в академиях не только на его родине. Ветреная военная слава свила себе гнездо на пыльных или обрызганных кровью надкрылках его танков, а горячие головы, что имелись там в каждой роте, собирались помыть их в заграничной рейнской водице... Пятеро таких товарищей, на короткую минутку сойдясь в кружок, а остальные через их плечи — пристально глядели на домашнего зверька, который мигал и встряхивал головой, когда снежинка залетала в глаз. Вряд ли то была нежность к безответному спутнику героических скитаний; она давно истаяла горьким дымком из их огрубелых сердец,— даже не жалость! Но именно на этом теплом комочке жизни, напоминавшем о покинутом доме, о милых в далеком тылу, на которых замахнулся Гитлер, сосредоточилась их глубокая солдатская человечность... Снег переставал, шерсть на котенке смокла, он становился похожим на ежа. Светало, и когда генерал взглянул на часы, он уже без помощи науки и техники разглядел стрелки.

— Ладно, — сказал он, и офицер связи побежал вперед предупредить, чтоб заводили машины.— Тезке выговор, чтоб помнил, какая правая и какая левая сторона. Через недельку надеюсь услышать о вас, товарищи. Все.

Прижав подбородок к воротнику, он медленно, против ветра, двинулся назад. Штабной офицер, на котором лежала приемка эшелонов, докладывал в подробностях, когда прибывают очередные, кто именно, по фамилиям и должностям, срывает график движения, и откуда должны подать недостающие паровозы... Посерело, когда они подошли к машинам.

Холодная влага с вечера проникла в хромовые генеральские сапоги, но он постоял еще здесь, прежде чем перелезть высокий, неудобный порог своего *виллиса*. Что привлекало его внимание в этой равнине, нынешнюю безотрадность которой не могли скрасить и причуды недавней

метели?.. По белесому покрову полей проступали черные дороги; больше ничего там не было, кроме головешек от сожженных селений.

— Здравствуй, зазимок, — непонятно произнес Литовченко, и у всех, кто стоял поблизости, создалось впечатление, будто он поклонился тому, что лежало под белой простынею снега.

2

Офицеры имели основания приглядываться к своему генералу. Волнение, обычное при посещении старого. милого жилья, сопровождало его последние сутки. Оно не улеглось, когда машины, по радиатор ныряя в хляби, ринулись по дороге; оно усилилось, как только по сторонам развернулись виды, узнаваемые и все же не похожие на себя. Литовченко пытался думать о войне, но среди больших хозяйских планов все чаще, как сухие полевые цветы, попадались благословенные воспоминания, живые и трепетные до озноба и легкого холодка в пальцах.

Здесь прошло детство. Отца и мать он знал лишь по блеклой карточке над комодиком, среди пучков чернобыльника и тимьяна. Первые четырнадцать лет безоблачно протекли под крылом у бабушки, прославленной великошумской лекарихи; сам Митрофан Платонович, просвещенный тамошний деятель, лечился ее тинктурами от ревматизма. В городке, среди вишневых джунглей, доживали век древние монастырьки; ручейки богомольцев тянулись к ним отовсюду. И кому не помогали их пышные святыни, те брели на окраину, к опрятной хатке старухи Литовченко. Безжалобная простонародная хвороба всегда сидела на ступеньках ее крыльца. Старуха не брала платы,—люди тайком оставляли посильные, зачастую щедрые приношенья: за цветы, даже сухие, надо платить вровень тому, сколько надежды или радости доставляют они душе.

Этой прямой и суховатой женщине с блестящими, без сединки, волосами принадлежало волшебное травное царство, раскинутое под ногами у всех и открытое немногим. Постоянный спутник странствий на сборы трав, мальчик помогал ей добывать скудный хлеб вдовьего существованья, и за это бабушка научила его слушать голоса родных полей и леса, за сутки вперед проникать в

сокровенные замыслы природы, что сгодилось ему не раз в его военных предприятиях и в скромном венчике любого придорожного цветка видеть ласковый, недремлющий, всегда присматривающий за тобою глазок родины, что также невредно знать солдату...

Босыми ногами он исходил великошумскую окрестность. Вот под тем коренастым дубком, который за его кудрявую красу пощадила война, они стояли однажды, застигнутые первовесеннею грозой. Первые капли уже пристреливались по лохматым листьям медвежьего уха, и веселый гром прокатывался в небе, словно перед обедней на великошумском клиросе прокашливались басы. А здесь, на развилке дорог, он навсегда простился с бабушкой, уходя в жизнь; и старая все наказывала надевать новые штаны лишь по праздникам и беречь сапоги деда, прослужившие ему полвека. И еще брала обещаньице слать ей письма о своем бытье, которые он и написал ей, ровным счетом два... В час прощанья стояло безветренное утро. Было тихо в природе, и пели молодые петушки. Дымок паровоза уже белел вдалеке, гудела звонкая июльская земля. Мальчик помчался один, не оглянувшись на старую... Заскочить бы к ней сейчас, она напоила бы его густым, медовой крепости, липовым цветом, а потом закутаться бы в дедов кожух и забыться до сумерек, пока старая хлопочет внизу, сооружая богатырскую пищу. Он уже забывал несложную и меткую знахарскую фармакопею, но из собственного опыта убеждался не однажды, что отвар обыкновенной капусты, в равных долях со свеклой и добрым украинским салом, оказывает целебное влияние на организм, ослабевший от бессонных ночей и сезонного солдатского нездоровья.

Лекариху сменил в городке фельдшерок, лечивший хоть безуспешно, зато и без старинной поэтической чепухи. Бабушка умерла одна, тремя годами позже, когда внук, поскитавшись по ремеслам, поступил в учительскую семинарию. В семнадцать лет он еще не разумел обязанности хоть на часок примчаться в Великошумск, проводить старую на порог последнего жилища... И странно: давно обратилось ее сухое тело в цветы и травы, хозяйкой которых слыла, а голос растворился в шопоте капелей, листвы и ручьев, а дыханье ее влилось в громадный воздух родины, но владело им чувство, что она совсем рядом,

радуется его свершеньям и слышит, как гремят в его честь московские салюты... Старуха Литовченко еще жила, только нельзя стало заехать к ней запросто, обнять за никогда неоплаченную заботку. И этот неотданный должок он с лихвой платил теперь своей земле, людям на ней и ее честной правде.

Он полуобернулся к адъютанту, который трясся позади на железном сиденье *виллиса* и подскакивал вроде камешка в погремушке.

— Знобит меня, капитан... и мысли все как-то вбок уклоняются. Осталось у нас что-нибудь во фляге?

Там едва плескалось на донышке; он отхлебнул ровно столько, чтобы не беспокоить посудину до конца пути... Дул сырой и теплый балканский ветер, почти весенний шум заполнял уши; начиналась оттепель, и не один танкист сейчас, вот так же, взирал со вздохом на эту непролазную распутицу... Нет, не похож стал Великошумский край на тот, что он покинул тридцать годков назад. И уже не пели там юные, неумелые петушки.

Острая, почти колючая синева сияла из облачной промоины; в ней, журча, на бомбежку тылов, прошли германские самолеты. Литовченко мысленно увидел свои танки, застигнутые в дороге... но вслед за тем проглянуло солнце, и тонкая колоколенка розовым видением вспрянула на горизонте, за бугром. Она стояла на рыночной площади Великошумска, которую, в пору детства, просекала тень трех знакомых рослых тополей: тотчас за ними и ютился домик учителя Кулькова, самого милого из проживающих нынче на белом свете.

Это был неказистый, без возраста и личной жизни человек, безвестный сеятель народного знания. Только прежде чем бросить семя в почву, он прогревал его в ладони умным человеческим дыханьем. Его уроки никогда не укладывались в программу, но эти взволнованные отступления бывали самой лакомой пищей для его птенцов. Юноша Литовченко пошел бы тою же дорогой из одного подражанья этому честнейшему образцу, не призови его революция в солдаты... Старый учитель и учитель несостоявшийся не повидались ни разу; Митрофан Платонович только раз выезжал из Великошумска в Москву, за трудовой медалью. Случилось это осенью тридцать девятого года, когда подполковник Литовченко лечился от ран в

иркутском госпитале и о награждении узнал из странички учительской газеты, в которой принесли полкило терпкого зеленого винограда. Рядом с краткой заметкой, куда уложились все сорок лет педагогического подвига, помещалась фотография серебряного старичка, стриженного под бобрик и в толстовке; сквозь очки с пытливым юморком глядели те же добрые, пристальные глаза... Весь день до сумерек подполковник мысленно бродил с ним по бедным, немощеным улицам родного городка, а утром напомнил Митрофану Платоновичу открыткой, как тридцать с лишком лет назад он уронил школьный глобус и помял на нем всю Европу от Вислы до самого Рейна...

И старик отыскал в памяти этот эпизод; в ответ пришло цветистое послание, исполненное затейным почерком, так как, кроме всех известных в учебном мире наук, Кульков преподавал также и чистописание. Он извещал, что живет хорошо и его даже выбрали заместителем председателя чего-то; что и Великошумска коснулись пятилетки после того, как под городом, за бывшим конским кладбищем с названием Едовище, обнаружились особые, всемирно-полезные глины, какие, по слухам, еще имеются только в республике Эквадор, на реке Сангурима; что на подъеме у них народная жизнь, и до полного счастья осталось не более семи шагов, а сам он молодеет с каждым годом, и если так продолжится, пожалуй, и женится он на какой-нибудь соответственной местной крале, чтобы было на кого ворчать в долгие зимние вечера. Кстати, он звал навестить — если не его самого, ворчуна Кулькова, то хоть помятый глобус, который еще жив и шлет поклон приятелю,— а вместе с тем и отдохнуть в родных привольях, тем более что целое парковое кольцо защищает теперь Великошумск от убийственных степных пылей,— и вкусно соблазнял кавунами, которые в чудовищных размерах и на удивленье иностранных специалистов выращивает там совместно с ним некий Литовченко, но не тот Литовченко, который колобок, а другой, участник сельскохозяйственной выставки от Украины. Горечью старческой обиды отзывали эти убористые строки: много он раскидал семян добра и правды в народную ниву, и хоть одно, разрастаясь в плодоносное дерево, кивнуло бы ему издалека своей могучей кроной!

Так возродилась их дружба. Теперь куда бы ни прибы-

вал по служебным делам полковник Литовченко, отовсюду слал местную диковинку в адрес великошумского учителя, — даже из Риги, куда история также закинула однажды генерал-майора Литовченко; наверняка сыщется подарок старику и в немецком городе Берлине... Стесняясь вначале признаться, что не получился из него педагог, генерал не упомянул в переписке о своем военном поприще, а позже, чтоб уж не смущать его чинами, умолчал и о продвижении по службе. Пусть в памяти старика живет до поры некрасивый черноглазый мальчик, которому после поврежденья центральной Европы на школьном глобусе он шутливо предсказал шумную военную будущность.

В тихий город Великошумск немцы вступили на третий месяц войны; переписка оборвалась сама собою. Страна узнала имя Литовченки сразу в звании генерал-лейтенанта, которого немцы к исходу второго года именовали уже ein grosser Panzermann. Но как у всех на незаметном перекате к старости взор невольно обращается назад, к истокам жизни, чтоб подвести итоги перед решительным и последним рывком вперед, так и для Литовченко стало насущной потребностью посещение родного городка. И опять шла навстречу генералу его удачливая судьба. За час до того как был получен приказ о переброске корпуса на Украинский фронт, стало известно о взятии Красной Армией Великошумска.

По существу генерал так и ехал прямиком в гости к Митрофану Платоновичу. И теперь, щурясь от бокового ветра, он примеривался заранее, как вкатит на четырех машинах в тесный дворик на Шевченковской и войдет с обнаженной головой, во всех регалиях и славе, и, минуя обычные восклицанья, тут же, в темных сенцах, прижмет старенькую толстовку к олубеневшему сукну генеральской шинели. Не повредит и мальчишеское озорство такого внезапного появления: тем больше будет ликованье старика, когда узнает, что это тот самый Литовченко, чей газетный портрет прячут под подушками сиротки, у которых Гитлер убил отцов... Они сядут за стол и будут молчать, пока не обвыкнутся после разлуки, и, наверно, вся улица, прослышав о таком госте, соберется под окошками Кулькова, и хозяин станет спрашивать его о самом сокровенном человеческом на свете. А там, расположась на часок-другой, можно будет выжечь простуду из тела ка-

кой-нибудь ядовитой домашней настойкой... И вот началась и потекла долгожданная горячая беседа, и он сам сидел перед Литовченкой, добрый великошумский старик, подливая ему в тоненькую рюмочку. Тем более странно было, что у Кулькова вдруг оказалось лицо адъютанта. — Ленивый струйчатый жар поднимался из мокрых хромовых сапог и подступал к подбородку.

— Василий Андреич, — уже настойчивей повторял капитан, — я так полагаю, стоило бы вам в хату заехать, переобуться, а то совсем свалитесь. Майору валенки из деревни прислали, а сухие подвертки где-нибудь на селе добудем. Тут везде наши части стоят. Завтра трудный день... похоже, *гроза* собирается!

Потребовалось еще некоторое время, чтоб совсем расстаться с великошумским миражем. Возрастающая, такая мирная издалека, в сознание просочилась канонада. Колоколенка давно пропала; на ее месте продолговатое, военного происхождения облако встало под горизонтом... Они ехали вдоль линии фронта, приближаясь к нему под малым углом. Пригревало солнце, грозя к ночи обратить все правобережье в сплошное месиво.

— Как же я в валенках к командующему заявлюсь! — сообразил наконец генерал. — Погоди, кончим войну, назначат меня смотрителем на маяк... тогда и заведу себе козловые сапоги со скрипом, а пока рано мне, капитан. — Возражение звучало не убедительно, и капитан упорствовал, решась использовать слабость противника до конца. — Ну-ну, там посмотрим. Что-то длинно мы едем, не сбиться бы с дороги. Вы следите за картой?

Адъютант расстегнул планшет и стал чертить ногтем по целлулоиду:

— Давеча Малый Грушевец проехали, та-ак. Нравятся мне здешние населенные пункты... товарищ генерал. Ласковый кто-то прозванья им раздавал. Затем балочка, только что миновали, а за нею селение под именем Райское. — Он высунулся из машины, чтобы удостовериться.— Та-ак, похоже! — согласился он, различив уйму пеньков между пригорками багрового щебня и золы; две вороны, явно нездешние, транзитные, доставали себе скудный харч из-под снега. — А ведь во всяком домике по хозяйке имелось, девчатки из окон глазели, в каждой печи вареники... Знатная еда, говорят! В кои веки в гости зашел, а у них

покойник в доме... Нет, едем мы правильно. — И так выходило по его словам, что сейчас будут Белые Коровичи, а оттуда двенадцать километров останется до Лытошина, где стоит штаб армии.

— Вот вы давеча, видать, сквозь сон про сердце танкиста обронили... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — отозвался шофер, и капитан с неудовольствием покосился на него. — А только, извиняюсь, конечно, нет во мне теперь этого самого сердца. Не надейся и не спрашивай: нету. Нагляделся я раз всего под Кантемировкой, машину остановил, повалился в ромашки у дороги, плачу. И как отплакал свое, так и зажглось во мне враз, не могу себя погасить. Так и горю... Вот еду, а дым черным столбом надо мной идет!

Значит, и другие заметили его простуду: видимо, сочувствие к командиру располагало их к такому дружественному красноречию. Следовало заехать на часок в Коровичи для просушки и леченья. Вскоре показалось жилье, сперва — такая же битая скорлупа теплых мужицких гнезд, а потом, в отраду сердцу, явилась череда вовсе нетронутых домов, оазис средь пустыни. То и были Белые Коровичи. Пока офицеры бегали куда-то; генерал смотрел, расставив ноги, как молодая женщина доставала журавлем воду из колодца.

3

Он спросил ее о чем-то для первого знакомства, молодая ответила не сразу. Разминая застывшие плечи, генерал осведомился также, как живут они здесь, на безлюдье. «Хорошо», — отвечала молодая, без плеска ставя ведро на колоду. «Чего ж хорошего, даже собаки на незваных не лают. Пуганые, что ли?» Выяснилось, что собак немцы поморили всех, и даже сверчки на Украине перестали сверчать, но теперь возвращаются кое-где на обжитые места. Словом, когда вернулся офицер связи, генералу стало уже известно, что немцев прогнали всего неделю, что в Коровичах стоит артиллерийский резервный полк, а дальнее крыло уплотнено вдобавок погорельцами: маются где придется — в клунях, чуланах и погребах.

Валенки оказались сибирскими пимками, чуть не до пояса и на кожаной подошве, такими осанистыми, что у

генерала не нашлось возражений против столь вещественного довода.

— Пока обогреетесь, товарищ *Крушинин,* — уже по-фронтовому обратился к комкору адъютант, — хозяйка тем временем чайку смастерит. — Он подмигнул молоденькой, и та ответила спокойным взором таких красивых, с такой величавой, неисплаканной печалью, таких глубоких, как после болезни, глаз, что капитан невольно подтянулся и стал обдергивать на себе ремешки. — Как фамилия, царевна?

— Литовченко, — сказала женщина, поднимая коромысло на плечо.

— Ишь, совпаденье какое. И мы все тоже Литовченки, — весело поддержал адъютант, потому что такой тон избавлял от расспросов и сразу создавал отношения старой дружбы. — Ну, веди нас к себе, посмотрим, что за дворец по такой красавице.

Узкая натоптанная тропка вела к глазастой хатке на пригорке, казавшейся благополучнее других. Початки кукурузы янтарными монистами свисали над окнами и покачивались в ветре на крыльце. Слегка сутулясь от тяжести, женщина пропустила гостей на ступеньки. Генерал вошел первым... Топилась печка. Ветер задувал дым из трубы; домовитый, уютный после холода, соломенный чад стлался по хате. Человек тридцать артиллеристов сидели на лавках вдоль стен и на низких дощатых полатях: иные приладились на чурочке у порога, а один свесил босые ноги с печки, обняв запухшего от сна мальчика, такого же красавца, как его мать. Все поднялись, кроме хозяйки. Старуха осталась сидеть перед печкой и не отвела глаз от огня, даже когда шестеро проезжих молодцов ввалились к ней на постой.

— Сидите, товарищи, — жестом предупредил общее движенье генерал. — Мы только посушиться, мимоездом. — Нет, нет, ни в коем случае... — удержал он адъютанта, собравшегося очистить хату на время их стоянки, и выждал, пока все снова уселись в нерешительном смущении. — Продолжайте свои дела. Политзанятия, кажется?

— Никак нет, товарищ генерал. Седьмая батарея артполка находится на прочтении писем, — отвечал довольно тщедушного вида усач, быстро оправив на себе застиранную гимнастерку. — От хозяйкина сына письма, из немет-

чины. Тут у нас пополнение имеется... вводим, так сказать, в курс всеобщего дела. Красивым слогом написаны!

— Вот и отлично, и мы послушаем, — одобрил генерал, высвобождаясь из мокрой отяжелевшей шинели.

— Да уж почти все отчитали, эва, целую горочку. Последнее осталося, — пожалел сержант и кивнул на пачку писем посреди темного скобленого стола. — Только беда, все по-украински весточки-то, товарищ генерал, а у меня все вологодские да мордва... эва, даже один татарин есть, Алексей. Ишь, на приступочке сидит, согнулся... болеет. Лишний сила в бою давал! — И для приличья посмеялся жестяным, никому не обидным смешком. — Однако все понятно, слезой писано. Освободить место генералу! — повысил он голос, и скамья сразу опустела, точно полотенцем обмахнули для высокого гостя, но почему-то тесней в хате от этого не стало. — Читай, Куковеренков, не торопись, а то не выдам я тебе рекомендации в артисты.

Он был слишком суетлив для должности политрука, но что-то звенело — то струночкой, то набатно звенело в нем, заставляло вслушиваться с возрастающей тревогой и торопиться, опрометью торопиться куда-то. Обстановка не соответствовала его шутливому тону; прибаутками он хотел побороть смущенье собравшихся хотя бы и перед чужим начальством. Бледной зимней окраски бальзамины не совсем застилали свет в окнах. Все же стреляная противотанковая гильза, сплющенная сверху, снабженная бензином и фитилем, горела на столе, придавая особую, как в храме, торжественность собранью... Шоферы долго стелили салфетку на краешке стола, доставали припасы, выдавали молодке чай на заварку, пока генерал не прекратил их неуместную суетню.

— И кстати дайте конфеток мальчику, капитан...— сердясь и сквозь зубы приказал генерал. — Понимать надо... Сам же жалобился, что детей в эвакуации оставил! — И хотя это было сказано вполголоса, тень одобрительной улыбки поочередно прошла по всем лицам, кроме старухина. — От отца, что ли, открытки-то?

— Нé, то от дядьки, товарищ военный. А батькá у него нет. Никогда он сынка не приголубит. Вот все собирается письмо написать... батькý в могилку,— сказала по-украински женщина с закушенными губами, обернувшись к окну как бы затем, чтоб поправить занавеску.

— Не бойсь, махонький... ешь, сиротка. А немцу, что дружков твоих в колодец побросал да животиной дохлой сверху накрыл, чтоб не вылезали, — капут, капут немцу! Ешь, родной... в Германии еще добудем. Душу вытряхнем, а добудем... если начальство разрешит,—добавил сержант, испытующе покосясь на генерала, который с наслаждением вдыхал хмельной и сытный пар из стакана.

— Данке шен,— кротко, забито сказал мальчик.

— Слышали? — зловеще окликнул усач свое собрание, которое вдруг заежилось и недобро пошевелилось. — Приступай, Куковеренков!

Ближний, широкоскулый, с неподвижным лицом красноармеец уже держал в руке это остатнее письмо. Как и прочие, то была стандартная открытка с печатным предупреждением писать в одну строку и без помарок. Вместо обратного адреса стоял квадратный лиловый штамп с указанием лагерного номера корреспондента. Чтец некоторое время как бы изучал почтовую марку, запоминая одутловатый, с прядью на лбу и выпуклыми жабьими глазами, профиль. Личность эту он видел не раз на плакатах в немецких землянках, и не промахнулся бы при встрече, а теперь он просто выжидал, когда все придет в прежнюю стройность, перестанет хрустеть серебряная бумажка в сироткином кулачке и замолчит сверчок в подпечье. Слишком много слов было напихано, как попало, в это письмо; столько слов, что любой полдень затмить и опечалить хватило бы этой черноты. Указанное обстоятельство охранило письмо от немецкой цензуры, но оно же заставляло и Куковеренкова запинаться, тем более что он сразу переводил по-русски. Наконец сверчок пискнул еще раз и затих, также приготовясь слушать послание из неметчины.

— «Здравствуйте, родные, кто меня еще не забыл. Я жму твою праву ручку, мамо, и поклон всей милой, сколь глаза хватит, Украине. Сестрице Одарке мой скучный, далекокрайний привет. И братику Кузьме щиросердечный привет тоже. И спасибо, что послали сапоги, а то порвались чоботы мои, и работа мокрая, но только я не получал. Хоть дают мне двенадцать марок в месяц, но ничего не купишь, окроме ситра. Я пишу тебе, мамо, что немножко запух весь и живу хорошо. И снилось мне два раза, что выстроили новую хату, и будто идут коровы из нашей улицы, стадо в поле идет. И тут все поле превра-

тилось в гробовище. Ты стоишь одна, мамо, и ни травки кругом, ничего нет».

— Хорошим слогом писано, — взволнованно отметил генерал и повернул голову к молодке. — Это, значит, и есть дядька?.. Сколько ему лет, дядьку?

— Семнадцатый с покрова, — отвечала молодая, по-бабьи подпершись рукой и внимая письму, как новинке.

Черная струйка копоти вилась над гильзой, как и несложная нитка повествованья. Кашлянув и как бы подстроив сбившееся горло, Куковеренков ловко провел пальцем по огню, смахнул нагар и тем прибавил свету. Все молчало, только из рукомойника у двери размеренно капала вода. Сейчас все эти люди принадлежали к одной семье Литовченок: заезжие шоферы, генерал, перед которым стыли разогретые бобы со свининой, вологодские с суровыми лицами мужики, татарин Алексей, соломинкой в раздумье подметавший пол — и самые боги, выглядывая из бумажного цветника, силились вникнуть в эту протяжную, как песня, жалобу.

— «Живу, только и думаю про Украину, — писал дальше мальчик Литовченко. — А нельзя мне тут жить и гулять. Как вспомню все, и как братик Тимофей суму мою нес, и как мамку ударили, так и плачу. Тогда я побежал к вам, но меня поймали. Дали двадцать пять по голому телу, а потом морили голодом, но недолго, мамо. Я опять побежал, в темноте бежать хорошо, тогда поймали меня еще, а я ничего, только бы не убили. А как узнал я про смерть Тимофея, все продал с себя, купил ведро картошки и ситра ведро и пил, три дня лежал бесчувственно, поминал старшего братика Тимофея в городе Берлине. Меня палкой тычут, как зверя, чтоб на работу шел, а я лежу, не могу идти, плачу. А город Берлин разбит чисто, хуже Киева побит. И детей не видать, и людей мало».

Пока звучал этот вопль издалека, генерал допил чай, куда украдкой капитан долил на четверть рома. Да тут еще две девушки из полкового медсанбата принесли генералу сухие шерстяные подвертки, заказанные капитаном. Ногам стало легче и теплей, и на душе сделалось так, будто давно живет здесь; генералу казалось, например, что во всех мелочах знает этого усача, добровольного устроителя нынешнего чтения. Наверно, это был старый солдат, которому вторично в жизни пришлось обороняться

от немца; и смертно надоела ему вековая угроза, что придут и разорят дотла его достаток, и решил покончить с нею разом и, посетив дом врага, показать ему военное лихо во всей его страшной красе. Он затем и обращался то словом, то взглядом, как бы за поддержкой к генералу, чтоб не упрекнуло его впоследствии в беспощадности строгое начальство.

— «Я жду от вас ответа, как соловей лета, — заканчивал тем временем Куковеренков. — Хоть пришлите четыре слова. Мне теперь номер дали, пятьсот тридцать, вы не спутайте. И марку наклейте, а то без марки письма не идут. Не давай плакать маме, братик Кузьма, мне тогда легче будет. Я буду жить, пока не забьют. А племяннику ленточку припас, хоть и не девочка, больше ничего нету. Привезу, как уцелею. Больше писать нечего. Писал ваш сын и брат на чужбине...»

— Это который же Кузьма-то? — спросил офицер связи, когда Куковеренков, сложив письмо поверх кучи, отодвинулся от стола.

— Средний, всего трое было... кроме Одарки. Он еще при немцах через фронт в Красную Армию убежал, — неохотно, потому что не впервые, объяснила молодка. — Опротивело ему со стариками в болоте сидеть. Уж их с овчарками искали, все норочки обшарили.

— Так-так, — ухватясь за слово, скороговорчато выступил усач. — С егерьками, значит, как на волчатину, охотились. В сундук железный спрячь письма-то, хозяюшка... не загорелась бы хатка твоя от них! Вот и поговорим, товарищи, пока каша варится. Выходит, мать, трое у тебя кормильцев-то?.. Богатая!

Старуха поворотила голову, и новоприезжие увидели, что годами она была не старше самого сержанта.

— Я богатая, — согласилась старуха.

— Итак, младшенького с сестричкой в неметчину угнали. Средний к нам ушел. За что же немцы старшего-то сказнили?

— Старостой у них ходил, — с тем же неподвижным лицом ответила мать и поправила складку платья на колене.

Ответ смутил бы любого, но усач, и глазом не сморгнув, шел к правде своей напрямик, зная, что она его не обманет.

— Так-ак!.. Тогда ему бы, наоборот, в кафе круглы сутки сидеть, немецким шнапсом совесть заливать. Староста у немцев первый человек. Это есть вроде как бы зубы, собственному народу горло грызть... так кто же зубы себе беспричинно губить станет?

— Не трожь ее... Партизанам он помогал, затем и в старосты пошел, — сказала вместо старухи молодая и вдруг, глянув на мальчика, заговорила много, часто и жарко, точно полымя плеснулось в ней.— Корова у нас была, а старик один, сосед, и прельстился. Уж старый, шестидесяти осьми годов, на что ему корова?.. И выдал он Тимошку немцам за молочко. Мы вот так же ужинали... ввалились они, ухватились за Тимошку, семеро одного держат...

— Храбрые, значит, семеро одного не боятся! Давай, давай... и ты нам не общую картину описывай, а шаг за шагом иди. Мы судьи, вот мы кто! Нам все обстоятельственно знать надо...

Она стала рассказывать, как увели Тимофея и как она прокралась послушать мужнин крик, но все три часа не было крику из немецкой хаты, а только, время от времени, ровный и твердый, сквозь боль и стиснутые зубы, голос — «Красной Армии слава!» — и как водили его потом по селу, в кровище, с повыдолбанными глазами и с доской на груди, и как билась она затем в ногах у коменданта, чтоб выдали ей порубленное мужнино тело, потому что хороший был и все село за него распишется, и ее снимали на карточку при этом, лежащую во прахе у чужих сапог, и как словили по приходе красных танков того одряхлевшего от страха Каина, и вдовы слезно молили, чтоб дали им хоть шильцем уколоть его по разочку... Тут уж и мать поднялась с табуретки. Она неторопливо прошла к простенку, где в дешевом багете висели фотографии обширной, за полвека, литовченковской родни. Там были дивчины с букетами и в пестрых домотканных юбках, молодые люди в матерчатых пиджаках, в обтяжку, на плечах непомерной широты, какой-то шахтер, снявшийся в полном подземном облачении, длинноусые хлеборобы, и Сталин между ними, раскуривающий трубочку, — еще были там рослые, грудью навыкат, гренадеры прежних времен, сложившие голову за староотеческую славу, и сановитые дядьки прославленных запорожских куреней — только оселедцев им нехватало! — выставились из большой братской рамы

поглазеть на нынешних хлопцев, и красовался там же вид с Владимирской горки на всеславянские святыни города Киева, и помещался сбоку зеркала треугольный осколок, чтобы каждый мог сравнить себя с этим отборным, зерно к зерну, племенем... А в левом верхнем углу, как заглавная буква к богатырской родословной, находился совсем еще не старый, с бритым и мужественным лицом потомок; из-под суровых, сведенных к переносью бровей застенчиво глядели почти девичьи, темные украинские очи. Рамочка висела, как по отвесу прямо, но, значит, матери было виднее. И по тому, с какой строгой лаской старуха Литовченко коснулась ее кончиками пальцев, словно оправляла венчик на покойнике, все поняли, что это и есть ее старшенький, предколхоза, Тимофей Литовченко.

Генерал, поднявшийся было познакомиться с еще одним своим однофамильцем, отошел первым, и тут бросилось ему в глаза, как высокий артиллерист, стоя поодаль, усмехается и качает головой; и тем неуместней показалась такая усмешка генералу, что парень на полторы головы возвышался над прочими, видимых признаков ранений или нашивок не имел, был с красивым, чуть матовым лицом и, видимо, смертной силы.

— Чему же вы смеетесь, гражданин? — недружелюбно и нацелясь в его громадный сапог, спросил генерал. — Этот Тимофей... как его по отчеству-то, молодайка?.. Арефьич?.. — недоверчиво протянул он. — Этот Тимофей Арефьич, может быть, еще на площади в Киеве будет стоять, медный, рядом с нашим Тарасом. Мы-то с тобой друг за дружкой, как звенья танковой гусеницы, идем, а он умирал в одиночку, зная точно, что никто не поможет.

— Нечего и разъяснять, товарищ генерал... — смущенно заговорил артиллерист.

— Нечего и разъяснять. А знаешь, что на передовой сделали бы из тебя за такой смешок? — оборвал его, рванувшись от двери, кто-то из шоферов.

— Нет, уж дозвольте разъяснить тогда, товарищ генерал, — нахмурясь, повторил красноармеец. — Это я на Германию дивуюсь. У нас, на Ваге, ежели так с соседями обращаться, в одночасье изведут, уголечка на развод не оставят. Вот у меня, ребята смеются, кулак два кила весит... и то в будний день, пока не рассержусь! Я им медведя, однова́, наповал уложил...

— Стреляного! — подзадорил сбоку усач, и вид у него был такой, словно раздувал поднимающееся пламя.

— А хоть бы стреляного. Ты меня опробуй, как жить надоест! — и оглядел для проверки костистый, досиня сжатый кулак.— С чего ж они с нами так, товарищ генерал? Али пустыни непроходимые промеж нас лежат, али горы высокие... и те перешагнуть можно!.. Неосторожность какая...

— Ладно, помолчи, не волнуйся! — сказали со стороны.

— На меня теперь метра четыре земли насыпать надо, чтоб я успокоился, — забыв все, пуще расходился парень. — Я... — Слова так и летели с него, как брызги с точила, а усач пристально глядел ему в глаза, как бы закрепляя в памяти, чтоб напомнить потом в решительную минутку. Уже тянули великана сзади за рукав, стремясь остановить его дерзкую, неприличную при начальстве ярость, но он смолк, только когда офицер связи вбежал в хату с радиограммой из штаба армии. Командующий спешно разыскивал комкора Литовченко. Какие-то неизвестные и грозные обстоятельства меняли установившееся равновесие на этом фронте.

— Надо мне ехать. Желаю тебе, товарищ, чтоб не изгорела твоя сердитость на полдороге, — сказал на прощанье, уже в шинели, генерал, переглянувшись с усачом; оба поняли друг друга с полувзгляда. — А дорога нам еще долгая!

Сержант подал ему просохшую у печки шапку. Вдруг затрещал сверчок, благовествуя, что еще наладится жизнь и снизойдет былое счастье на четырежды осиротелую хату. Его заглушило урчанье заведенных машин. Дружным рокотом артиллеристы проводили гостей. Во дворе старая хозяйка набирала соломы из стожка. Генерал пощурился на ее полубосые ноги, на худые лопатки, охваченные знойким ветром, хотел сказать на прощанье, чтоб не убивалась о среднем своем сыне, который сидит теперь у него в танке, за надежной стеной, но усомнился в чем-то и, выйдя за ворота, подозвал своего капитана.

— Забыл, как у них среднего-то звали, что в армию ушел?

— Кузьма, товарищ гвардии генерал-лейтенант.

— Так. А того, что ночью танк чуть не завалил?

— Того Васей при нас называли...

Скоро иные мысли и совсем прочерневшие под солнцем поля охватили их. Когда минутой позже Литовченко выглянул в заднее окошко, ни деревца, ни дымка над трубой не осталось от Белых Коровичей. Зато другой, громадный и плоский дым вставал на горизонте. Его было много, и ветру было из чего изваять длинную черную лисицу, вытянутую движеньем и на бегу распустившую хвост. Воздух двигался как раз оттуда, слышна была усердная работа артиллерийских батарей.

— А, пожалуй, зря вы на Коровичи поплелись, капитан. Через Березно было бы нам ближе. Если не ошибаюсь, это Млечное полыхает?

— Нет, это Великошумск горит... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — уверенно поправил его адъютант.

4

Из опасений, внушенных именно этим зрелищем час назад, адъютант избрал более длинную дорогу через Коровичи. Осторожность оправдалась в ближайшем селе, в Ставищах, также памятном генералу по каруселям и балаганам его трескучих ярмарок. Оно предстало сейчас с закрытыми ставнями, горелое не однажды, примолкшее, чтоб война не вернулась, хотя бы на детский плач, добить и разметать нищие останки. При подъеме в гору, у плотины, обсаженной раскорякими ветлами, танкистов остановила регулировщица. Она направляла их на проселок, выводивший к Житомирскому шоссе. Объезд означал пятнадцать километров крюку и, прежде всего, крутые перемены во фронтовой обстановке. Капитан поднялся наверх поискать хотя бы дорожного коменданта. И пока остальные дрогли здесь, у темной, загустелой воды, в узкую горловину мостка стали спускаться огромные, в грязи по кровлю, санитарные автобусы. Медленно, из внимания к своему хрупкому грузу, они проплывали мимо, почти впритирку к встречным машинам и на короткое время застилая в них свет. Он затемнился семнадцать раз сряду, и уже на первой трети все выбрались наружу, кроме генерала. Перестав крутить цыгарки, шоферы провожали глазами этих первых вестников ночных происшествий под Велико-

шумском, и один глядел дольше всех, пока ветер не выдул из-под пальцев половину табаку.

— Отвык от войны-то, чорт гладкий? — пошутил сосед, когда последний автобус ушел на восток.

В Ставищах адъютант разведал не больше, чем знала со слов проезжающих эта кудреватая румяная девушка в коротенькой шинельке. Всю ночь, по ее словам, громыхали сквозь вьюгу пушки, и десятки осветительных ракет висели на горизонте; немцы проявляли усиленную деятельность. Она терпеливо растолковала все приметы объезда: как добраться до коневого совхоза и куда сворачивать от монастырских прудков, чтоб без промаха попасть на переправу... и шумливым флажком показывала в ветреную, звенящую тревогой даль. Оттуда порывами доносилось мушиное тарахтенье застрявшего грузовика; погудев и передохнув, он снова силился оторвать лапки от неодолимо-клейкого листа дороги. Война услышала жалобу: понижаясь в тоне, просвистел воздух, и тощий из-за расстояния веер земли и дыма распустился среди поваленных телеграфных столбов.

— Вам как раз туда и надо ехать, — улыбнувшись, сказала девушка, и ямочки на щеках стали еще румяней от смущенья. — Все утро из дальнобоек щупают... впустую, — прибавила она успокоительно, для шоферов, которые уже приметили, что после разрыва тарахтенье грузовика прекратилось.

— Откуда сама-то? — спросил связист, топча недокуренную папироску.

— Воронежская...

— Ну, и сами мы все воронежские. Не задремли, смотри, а то ганец подкрадется!

Так, подкопив силы, они нырнули в темнорыжее месиво проселка, под некрашеный шлагбаум контрольного пункта. Здесь кончалась хорошая дорога. Два часа тащились они почти на первой скорости, и каждый давал зарок замостить после войны всякую лесную тропку клинкером: впрочем, обеты тотчас забывались, едва почва под колесами становилась тверже. Обстрел не повторялся, погода совсем разветрилась, и веселили по сторонам плакаты с наказом экономить горючее. Великошумск и его великая гарь сдвинулись в сторону, и даже мыслей не осталось о Великошумске, когда поднимались на шоссе.

Их сразу захватил деловитый поток фронтовой магистрали. Здесь ехало все, чтоб, растворясь в ничто, превратиться в победу. Ехали ящики с концентратами, бензин, зимняя стеганая одежда и металл, продолговатые пироги с толовой начинкой; ехали лекарства в гигантской таре, авиамоторы и то, чем их поражают наповал, валенки ехали пополам с гармоньями, а лазаретные кровати — целая трехтонка с железными скелетами — напрасно старались опередить тот желанный и праздничный груз; ехали толстые мешки с ядрицей, кислота в просторном зеленом стекле, ремонтные станки, буханки хлеба, которых хватило бы вымостить дорогу до самого Лытошина, книги, строительный лес, вино для живых и кровь для оживления уставших на поле боя, кипы сена, туши мяса и прочее, чем питается в разгаре наступленье, — в бочках, тоннах, тюках и десятках погонных километров. Все это тысячеименное богатство страны превращалось как бы в густую и вязкую жидкость; невидимое сердце проталкивало ее в узкую и гибкую артерию военной дороги... С однообразным рокотом, в несколько рядов мчались цистерны, заморские доджи с зенитными установками в кузовах, и серенькие наши *зисы* перегоняли их в стремительном беге к победе; степенно, обок со своими крановыми американскими собратьями, шли чумазые челябинские тягачи, чернорабочие танковых сражений, неслись ловкие противотанковые пушки, стальные осы, прицепленные к бронетранспортерам, и двигалась их страшная тяжеловесная родня, едва прикрытая раздувающимися чехлами; студебеккеры шлепали широкими лапищами по шоссе, и прятались за ними машины в брезентах неизвестного назначения, а рядом попрыгивала походная банька, русско-татарский рай на колесах, и добрый десяток веников приплясывал над кабинкой веселого, белозубого водителя.

Все это, забрызганное грязью и стократно повторенное, днем и ночью неукротимо двигалось в самое пекло великошумской битвы. По сторонам, среди опаленных буковых рощ, как предупрежденье судьбы, чернели остовы сожженных машин, битые германские танки, валялись дырявые, полные талой жижи чашки танковых башен, пучились трупы лошадей, подернутые снежком, и еще не стаяли на них ночные зловещие вороньи следки... но уже не действовало предупрежденье, и никакая сила в мире не могла

задержать этот поток. Да еще по обочинам, насколько хватало кругозора, грохоча и с открытыми люками, по два в ряд катились танки, облепленные своими десантниками, как цыплятами наседка. Они служили как бы железными берегами для этой реки народного гнева, и только теперь становилось ясно, какую вековую дремучую силу разбудил вражеский удар.

— А ведь это из моих! — определил генерал, приглядываясь к новехоньким тридцать-четверкам. — Не узнаю только, которая...

— Та самая, тридцать седьмая, — подсказал адъютант.

На броне ближней машины он различил свой корпусной опознавательный знак, а через мгновенье под белым, с крылышком, ромбиком он увидел и номер двести три. Кидаясь грязью, она шла по всем правилам походного марша, соблюдая сорокаметровую дистанцию тормозного пути. Как и на прочих, среди привязанных бачков, походной печки, ящиков с боеприпасами сидели затаившиеся на заветной думке люди: может быть, они пели. И вдруг генерал живо вспомнил вихрастого лейтенанта. Это вместе с ним довелось ему повоевать однажды, когда сорок четвертая, летом прошлого года, напоролась на засаду Гудериана; с управленческого танка сбили ленивец, и первая машина, куда наугад вскочил командир бригады Литовченко, оказалась двести третьей. Сам он получил второе Красное Знамя за это бравое дело и уже не помнил, чем именно судьба, кроме седой прядки, наградила лейтенанта. Было грустно, что не обласкал Соболькова, не напомнил про тот жаркий денек, тем более что они как бы и породнились тогда, потому что оба вышли с легкими ранениями из боя. Он припомнил кстати, что, по слухам, это отличный мастер простонародной сказки, и тут же порешил непременно, при случае, послушать Соболькова как ради поощрения таланта, так и из интереса, чем он потчует целую бригаду на отдыхе...

Ни метра не пустовало на шоссе, и всем находилось место. Вольным шагом двигалась пехота пополнения, наглядные примеры разноязычного нашего единства. Даже в такую мокредь, которая еще больше однообразила их, чем серая шинель, казах отличался походкой от грузина, а украинец повадками от сибиряка. Эти последние хмуро

покачивались на мохнатых коренастых лошадках, в особенности сердитые на немца, оторвавшего их от воистину государственных дел. Не было нужды расставлять плакаты по пути, чтоб возбудить в них воинскую решимость. Следы разрушения и гибели по сторонам дороги повелевали грознее всякого приказа... Шли и видели, как стынут связисты на столбах, починяя рваные провода; видели, как воронки от авиабомб заваливают щебнем разгромленного поселка и по кварталу умещается в каждую ямину; видели, как престарелый дед со внучкой пытаются набрать горелого мусора на зимний шалаш, а уж декабрь глядит из лесу; они также прикидывали на глазок, сколько гвоздей, топоров и пил получилось бы из этой железной, уже неузнаваемой падали, и переводили на трудодни стоимость того материального потока, который завтра сгрызет одна атака. Они шли, сосредоточенно глядя в смутную точку впереди, за чертой неба, где маячили мрачные призраки—дурацкие «мертвые головы», непонятные им *райхи, валлонии* и *викинги* и прочая, на устрашенье трусов выдуманная чертовня; они шли убить их прочно и навсегда; они шли, и горькое море крестьянской беды плескалось у них под ногами.

В гуще потока возвращались беженцы на разоренные гнездовья. Тощие коровы со скорбными библейскими глазами волочили ветхие телеги, и старики сбоку помогали животинам дотянуться до дому. Выводки крестьянских ребяток, по-четверо в одной дерюге, с безжалобной заискивающей улыбкой смотрели на матерей, которые со сжатыми губами шагали возле, не имея другой надежды на земле, кроме как на свои обвисшие вдоль тела руки. С упорством младости плелись старухи повидать на закате родимые могилки, знакомый на шляху тополек, и поспешало сзади некое существо, голодное и пуганое, черный лохматый псишко, отвыкший лаять по чужим дворам. Увертываясь от огромных колес, он бежал и все принюхивался, искал подобного себе, чтоб поведать о своих собачьих горестях... но даже и мокрой шерсткой не пахну́ло ни разу из смрадной бензиновой реки кругом. Порой он принимался скакать на снежной обочине и лаять каким-то петушиным голосом, то ли от радости жизни, то ли из потребности показать войне, что и он тоже злой и кусачий... И еще восьмилетняя девочка, вся прогибаясь назад от непосильной ноши, тащила плетеную старушечью котомку за спиной,

а в руке несла большую стеклянную бутыль на веревочке, жалкое крестьянское сокровище. Прижимаясь к берегам, эта человеческая щепа тоже плыла в реке войны, не догадываясь о ночных событиях под Великошумском.

И, как бы к сведению их, в воздухе появились германские самолеты. Усталые, они возвращались с бомбежки, на неуязвимой высоте, и лишь один стрелок, любитель мертвого тела, спустился из облаков, соблазняясь беспроигрышной мишенью. Он подобрался с тыла и подветренной стороны, и в ровный гул потока влился внезапный рев его авиамоторов. Его услышали все сразу, как бы судорога прошла по шоссе; большой штабной автобус с ходу ударил о передний *додж,* поставив его поперек пути, и движенье замерло, как останавливается поезд у станции, с буферным лязгом и визгом тормозов. Насыпь была высока, и, прежде чем ринуться с нее врассыпную, все, в тысячи глаз, оглянулись назад. Черная птица падала, казалось, на то самое место, куда толкало самосохраненье; отраженное солнце сверкало в ее чуть наклоненном крыле. Прежде чем опасность достигла сознания, машина увеличилась вчетверо, потемки пронеслись над головами, и в ту же минуту летчик дал пулеметную очередь. Звон стекла и вопль женщин — все поглотило урчанье смертоносца. Так ударяют полосой капли в начале проливня, но самого дождя не последовало. Зенитные пулеметы били вдогонку с запозданьем и без видимого успеха.

Пока они стояли так и воздух струился над перегретыми моторами, генерал вышел из машины приказать связисту ехать впереди, прокладывать путь его *виллису.*

«Этак мы до вечера тут проваландаемся!» — собрался сказать он и забыл, привлеченный подробностью, может быть, самой ничтожной в его военных наблюденьях. Девочка стояла лицом в сторону, откуда нападал самолет: испаринка страха проступила в ее лице. Мать тормошила ее, припадала окровавленной щекой к ее щеке, белой и невинной, всплескивая руками и всхлипывая на ветер — «обмерла, господи, обмерла...» А та, виновато улыбаясь, с недоверием косилась на свою вытянутую правую руку, где на веревочке висело одно горлышко без бутылки. И рядом, у тележного обода, на снегу валялось нечто черное, неподвижное, похожее на большую чернильную кляксу. Оно лежало, откинув голову, как все убитые,

независимо от звания или породы; один глаз, открытый и чем-то уж слишком людской, глядел на генерала, как бы говоря — «вот и не доехали... такие-то дела бывают, ваше человеческое превосходительство!» Наверно, то и был последний псишко на Украине.

Подошедший старик бесстрастно шевельнул его ногой и подтолкнул корову, чтобы шла. И как только в кузов передней машины втащили одного простреленного бойца и скинули под откос лошадь, бившуюся в постромках, шествие на запад возобновилось с удвоенной резвостью. Люди стремились наверстать время, хорошо зная, что веков рабства сто́ит иная, утраченная попусту минута.

— Ну, погоняй теперь, — приказал Литовченко шоферу, который, пользуясь остановкой, отполировал до блеска забрызганное стекло.

Они и без того были близки к цели путешествия. Командующий гвардейской танковой армией имел привычку устраиваться вблизи передовой. Легонько подрагивала земля, и, ощутимые телом, доносились артиллерийские перекаты. Времени хватило в обрез, чтоб сменить пимки на несколько подсохшие сапоги.

5

Шестеро нарядных гусей пол-тулузской породы дружным гортанным клекотом приветствовали прибытие гостей, да еще встретился знакомый подполковник из разведки, он и повел приезжего в штаб армии. В баке кончилось горючее, они решили пойти пешком. Можно было обойтись без провожатого: лишь у одной хатки, прижавшись к стенке, торчали два броневичка, ходил важного обличья часовой, с крыльца то и дело сбегали озабоченные люди, и сюда отовсюду сходились толстые резиновые провода. И пока шли, выбирая, где посуше, через лазы в плетнях, мимо замаскированных управленческих танков и крестьянских бомбоубежищ, строенных из поленьев и кукурузной соломы, стали известны лытошинские новости. Ночью, в самую метель, немцы форсировали Криничку и заняли Великошумск.

Оживление обозначилось неделю назад, когда Манштейн попытался продавить нашу оборону под Озеря-

нами, на юге. Наступила напряженная пора, и те, кому проездом на Черноморье доводилось лакомиться сладчайшей здешней вишней, никогда не подозревали стратегического значения Великошумска для победы. Трое суток сряду немцы бомбили передний край и потом неизменно к сумеркам, близ шестнадцати часов, кидали в это крошево танки с намерением зацепиться ночью за раскисший противоположный берег речки. К переправам спускались *тигры* и *фердинанды* со всякой бронированной мелочью в их надежном полукольце; их встречали плотным огнем и уже наложили много, в иные дни до полусотни подрывалось на минных полях, но они напирали вновь по инстинкту саранчи: задние достигнут цели!.. Защитники рубежа стояли крепко, они выходили в поединок с подвижными крепостями, они умирали, продолжая целиться из противотанковых ружей, артиллеристы повисали на своих пушках, и немецкие разведчики открытым кодом радировали с воздуха своим штабам: русские не отступают, русские никуда не отступают. Надо было выстоять и не состариться, пока продвигались другие братские фронты... Был там один знаменитейший, злой таежный охотник с Амура — «тигровая смерть» у себя на родине; он и здесь сохранил свое прозвище, но и его свалили. Происходило испытание самой человеческой породы, и тут выяснилось, что прочнее сортовой стали смертная человеческая плоть. Буравя нашу оборону резервами, подтянутыми под прикрытием нелетной погоды, противник за четверо суток продвинулся на восемь километров. — Все это гораздо короче, лаконичным штабным языком рассказал полковник.

— Вот этот самый ганец, — кивнул он на долговязого немецкого зенитчика, которого вели по улице, — сообщил со слов офицеров, что к исходу месяца Гитлер рассчитывает посетить Киев. Киевбургом собираются назвать! — Он усмешливо покачал головой и мимоходом заглянул в окно. — Командующий у себя... Я покину вас здесь, товарищ генерал.

Часовой по-ефрейторски откинул винтовку в сторону, и одновременно дверь пропела что-то складное и приветное домовитым бабьим голоском. Тесная, полутемная кухонка полна была военного народа. На скамье близ окошка занимался чтением сухощавый человек с костяным желтоватым профилем, — видимо, заезжий, в военной

форме, артист. Трепаную — поминок от бежавших хозяев — книжку он держал в точеных чистых пальцах: судя по первой запевной строке главы, это был Гоголь... Два фронтовых майора также дожидались очереди на прием, и один натуго забивал махорку в трубочку, а другой, томясь бездельем, рассматривал иконы, заполнявшие угол и украшенные расшитыми ручниками. На нижней, освещенной тускнеющим солнцем и в дешевом золоченом киоте, безусая ангельская конница, численностью до полуэскадрона гналась за пешими демонами, явно сконфуженными таким обстоятельством; впрочем, не атака привлекала внимание майора, а просто он пользовался стеклом, как зеркалом. Ощутив взгляд на спине, он обернул молодое лицо и не очень естественно заметил что-то о плохой кавалерийской посадке ангелов.

— Ничего, юноша... все мы небритые сегодня, — усмехнулся артист к еще большему смущению офицера и, погладив желтоватый подбородок, перевернул страницу.

Три ординарца еще стояли у печки с подпухшими от бессонницы лицами. Ближний помог Литовченке отыскать свободный крючок на вешалке. В ту же минуту от командующего вышел длинный генерал, его помощник по технике. Соратники по началу кампании, они узнали друг друга.

— Во-время, Василий Андреич. Хозяин ждет тебя. Укомплектован полностью?

— По штату. Слышал, большие дела у вас?

— Да... как говорится, бои местного значения. Третьи сутки не спим, лезут. На днях мы им такой натюрморт из двух саксонских полков соорудили, что, кажется, следовало бы образумиться, а вот опять...

Они прислушались к двойному телефонному разговору за фанерной дверью. По академии Литовченко был двумя годами моложе командующего, вместе они еще не воевали, но он сразу различил этот глуховатый, чуть иронический голос. Пока начальник штаба, надрывая горло, кричал куда-то сквозь шумный оттепельный ветер, дозываясь какого-то *Льва Толстого* с левого фланга, командующий приказывал номеру 14.63, на правом, создать со второй половины дня ударную группировку и все тяжелые системы подготовить к вечернему спектаклю.

— Ну, ступай, Василий Андреич, — сказал армейский помпотех. — Сейчас он по телефону обходит свое хозяй-

ство... Самое время знакомиться. Через часок начнется... тогда придется, пожалуй, и тебе тряхнуть своим добром!

Они условились, если посещение не затянется, встретиться в штабной столовой.

Был конец зимнего дня, когда Литовченко вошел к командующему. Не отрываясь от телефона, начальник штаба приветливо кивнул головой и, приговаривая *Льву Толстому* «так-так, так-так-так...», продолжал заносить в рабочую схему обстановку левого крыла на 15.00. Все насквозь пропиталось табачной гарью в этой небольшой, со следами былого зажитка, комнате — дубовые столы, накрытые скатертями двухверсток, полевые телефоны шоколадной пластмассы, плохая копия униатской мадонны в углу и даже фикус, оставленный здесь, верно, для веселья, бодрости, здоровья и красоты. В щель приоткрытого окна еле струился к ногам мокрый холодок. Тонкий, уже остылый лучик солнца просекал стоялую сизую дымку и темным золотцем растворялся в стакане чая на столе у командующего... Сам он, в меховом жилете и откинувшись к спинке поповского малинового кресла, сидел вполоборота к окну; отраженные от плюша отблески лежали на его гладко выбритом и преждевременно постаревшем затылке.

Разговор подходил к концу. Как и вчера в то же время, обманчивое затишье наступило на участке 14.63. Командующий выразил сожаление, что не удалось уберечь от огня две тысячи тонн зерна, вздохнул о жителях, вынужденных вновь покидать родные очаги, не забыл подтвердить приказание о сборе стреляных гильз, распорядился узнать, в чьих руках хуторок Вышня, и позвонить ему через полчаса и в заключение похвалил за взятые у немцев четыре грузовика подошвенной кожи. «А своей сколько оставил?.. на пятках-то цела?.. Ну, не серчай, я пошутил...»— смягчил он свой упрек за маленький вчерашний отход, и вдруг в суховатом тоне его прозвучала неожиданная душевная нотка.

— Волнуешься? — спросил он, вполовину понизив голос. — Держись, я за тебя вчетверо переживаю. Что? Я и сам знаю, что немца много... — соглашался он и рисовал все тот же синий ромбик на карте перед собою среди сложных пунктиров и цветных границ войсковых подразделений; уже бумага продавилась в этом месте, а он все чертил, подсознательно выражая этим тяжесть вражеских танков,

навалившихся на 14.63.— Раз много, значит, мишень шире, это хорошо... а? Погоди, погоди да ведь и ганец-то не тот пошел: устал, боится. Завтра его станут запросто резать финками на всех перекрестках Европы! Ну, рад за такую ясность твоей мысли... Танки, как раньше сказал, буду выдавать из расчета — сколько подобьешь, столько и получишь. Каждую минуту гляжу на тебя. С тобой все! — Положив на подоконник трубку, он отставил туда же нетронутый стакан, а оранжевое пятнышко заката так и осталось лежать на карте. — Да, ему трудно сейчас. Еще одна, моторизованная, из Дании подошла...

Прежде чем повернуться к приезжему, он долю минуты, опершись локтями о карту, смотрел на квадратный кусок Украины, положенный перед ним на столе. Если бы не пальцы, разминавшие папиросу, можно было бы думать, что он задремал. Из личного опыта Литовченко знал то особое состояние человека на большой командной высоте, когда вдруг как бы оживают эти беззвучные иероглифы, значки и цифры, приходят в движение, ощутимо заполняя все извилины мозга. Тогда одновременно, как в магическом стекле и лишь в приуменьшенных дальностью масштабах, выступают самые мелкие подробности минутки перед вражеской атакой... Чавкая, ползут запоздалые бензиновые цистерны, и жжет их на шоссе вражеская авиация; со сдержанным чертыханьем вязнет по колено в грязи мотопехота; и самоходное орудие завалилось в трясину, проломив мост — никаким полиспастом не вытянешь его до ночи; в поту геркулесовых усилий люди тащат боевое питание своим машинам; ремонтники крадутся к подбитой вчера самоходке, прячась от минометов в тени тягача... А где-то рядом прокладывает трассу вечернего удара немецкая разведка, а *фокке-вульфы,* как комары в закате, толкутся над передним краем, и куда-то пропала полусотня разнокалиберных немецких танков, что час назад пробиралась вот этой лощиной, отмеченной синим карандашом; из них двадцать четыре зверя покрупнее завернули за рощу, в засаду, а мелочь с неизвестным намерением спустилась к разбитой переправе и рассеялась по осеннему туманцу в ничто. Тонны этого свежего германского хромо-никеля давили на плечи командующего, отчего, казалось порой, легче было бы, если бы все они прошли через самое его тело.

— Сергей Семеныч... командир отдельного корпуса прибыл, — осторожно подсказал начальник штаба.

Командующий привстал навстречу, и Литовченко мог оценить по его несвежему лицу, чего стоила ему, победителю Днепра, оборона маленького Великошумска. На газетной фотографии, опубликованной по поводу присвоения ему звания Героя, был изображен нестарый человек недюжинной воинской зоркости и большого волевого нажима; этот был человечней и старше. По меньшей мере десять лет отделяли портрет от оригинала. Но с задорной хитринкой взглянули на Литовченку его светлые, низко срезанные веками глаза и читали, читали в нем все до последней, еще нынешним утром написанной строки.

— Я задержал вас, простите, — сказал он, когда Литовченко по форме представился новому начальнику. — Слышал о вас. Хорошо воевали под Кантемировкой. Мы с вами едва не встретились и на Халхин-Голе...

— Да, я командовал танковой бригадой, — уточнил Литовченко.

Их рукопожатье длилось дольше, чем требуется для обычного первого знакомства.

— Мой начальник штаба, знакомьтесь. Именинник сегодня, по этому случаю предвидится большая иллюминация в 16.00... Что ж, подсоблять приехали? Хорошо. — Он показал на стул возле себя. — У вас красные глаза, генерал... простудились?

— Ветром надуло, товарищ командующий. *Виллис*!

— Тогда в порядке. Я и сам два дня с гриппом просидел... Сегодня ветрено. Ну, места тут красивые, жалко отдавать такие. Рощи, знаете, речки романтические. Например, река Слеза, пожалуйста... ваш район обороны! — и стукнул пальцем в голубую жилочку на карте, которую ни на мгновенье не выпускал из поля зрения.

— Мне знакомы эти места, — вставил Литовченко.

— Воевали здесь?

— Нет... но бывать приходилось.

— Отлично. Словом, не знаю, сколь приятные воспоминания связаны у вас с местностью, но климат нынче здесь довольно жаркий...

Они посмеялись, все трое, давая время окрепнуть завязавшейся боевой дружбе. Неожиданно суховато командующий осведомился, как прошла разгрузка, кто состоит

начальником штаба в корпусе и, прежде всего, много ли *стариков* в бригаде. Тот отвечал по порядку, что последние эшелоны прибыли в четырнадцать десять, о чем узнал в Коровичах, что начальник штаба — его соратник по Кантемировке, и, когда говорил о стариках корпуса, мысленно видел перед собой Соболькова.

— Приятно, — откликнулся командующий и помолчал, прикидывая сроки прибытия корпуса в район сосредоточения.— Ехали через Коровичи, значит, все поняли. Напирают!.. Дорога без приключений?.. впечатления обычные?

Оба вопроса не требовали ответа и служили лишь переходом к большому разговору, но в памяти Литовченки мелькнули письма из неметчины, девочка с бутылью, опустошенные селенья. Вместе с воспоминаниями опять смутный жар вхлынул в голову и руки, и стало невозможно не подвести беглые итоги наблюдениям дня. Что-то располагало к беседе в этой чистой хатке, похожей на домик учителя Кулькова, на исходе дня и на пороге событий. Верилось, они начнутся, едва лучик переползет с края стола на фикус и потеряется в его вислой зелени.

— Горя много причинили они нам, товарищ командующий. За пальбой как-то не примечаешь его, а как зачерпнешь в ладонь да рассмотришь одну такую гориночку... — Он сконфуженно запнулся на догадке, что никто не слушает его.

— Минуточку, — перебил командующий, коснувшись его руки, и жестом обратился к начальнику штаба: — Прикажите дать мне стотысячную карту и еще артиллерийскую, по новым ориентирам. И, кроме того, схемы всех минных полей. Вообще я нахожу наше минирование неудовлетворительным. Разучились стоять в обороне! Я спрашиваю, как... как могла эта полусотня пройти мимо Дедовщины?.. простите, я слушаю вас, о чем вы начали? — вернулся он к приезжему. — Ах, да, про горе. В основном это, конечно, правильное и довольно ценное наблюдение, но... А здорово вас прохватило, генерал. Вам бы спирту теперь с кайенским перцем. Знатная, едучая штука, медный таз в сито превращает... ребята у одного местного фюрера достали. Вы еще не обедали? Тогда займемся пока действительностью, а там и пообедаем вместе, если не полезут. Что-то наши кулинары, при мне, давеча имениннику карасями хвалились...

Он надел очки. Стало тихо, будто и не война. Из комнаты по соседству сочился ворчливый басок: уединясь, член военного совета отчитывал одного из прибывших майоров, видимо оступившегося хозяйственника. Потом над самой кровлей протрещал самолетный винт, и прохожий *мессершмитт* выбросил наугад кассету мелких бомб. Одна упала рядом на огороде, все легонько дрогнуло, а лампа синего стекла двинулась на подоконнике, точно собралась ринуться вон из хаты. Командующий с укоризной взглянул на нее поверх очков и снова склонился над Украиной.

— ...следите за мной, генерал? Здесь у них шесть танковых дивизий, правда, трепаных. Скоро довоюются до сумы, битого туза по десять раз в игру кидают. Я сам эту *валлонию* раза три по морде бил... Но на днях одну перекантовали с севера, да вот, оказывается, свежая из Дании подошла. Этих предоставляю вам, лакомьтесь, генерал. Заметьте, отличная самоходная на левом фланге! Все это нацеливается... — Красный карандаш пробежал от Житомира до великой водной преграды, указывая предполагаемое направление главного немецкого удара; недосказанное Литовченко сам читал на карте из-за плеча командующего. — Вчера натиском необыкновенной плотности, в две танковых дивизии на километр фронта, им удалось...

Повторялся рассказ подполковника, но уже в точной схеме всех оперативных обстоятельств. — Итак, преследуя *Германию,* отходящую на юго-запад, наши передовые части задержались для перегруппировки и подтягивания тылов. Иссякала сила в железном кулаке, раздробившем киевский узел немецкой обороны, и противник стремился теперь обратить в выгоду себе эту вынужденную приостановку советского наступления. Здесь он решил огрызнуться, на рубеже неглубокой речки, внучки старого Днепра. На том этапе войны, когда явственно обозначился перевес Красной Армии, это было отчаянье пополам с авантюрой, но даже скромный успех окрылил бы щипаного германского орла и доставил бы ему временную возможность маневра на советские вторые эшелоны. Данные разведки, показания пленных и немецкие листовки сходились в одном: черная птица собиралась доклевывать свою жертву. Гвардейская танковая армия медленно пятилась на восток, и это походило на то, как замахивается бичом пастух,

когда рукоятка еще отводится назад, а злое и гибкое жало его уже поднимается из пыли для броска вперед.

— Итак, задача вашего корпуса в том, чтобы задержать противника на этом рубеже, а когда он надпорет себе брюхо о ваше железо...

Ветер совсем стих. В природе наступила почти весенняя тишина, пронизанная спокойным желтоватым светом. Хотелось, чтобы длился вечно этот вечер, тихий и благостный дар, улыбка родины солдату, уходящему в бой. Но таяло его очарование, вдруг повеяло холодом, пора стало прикрыть окно. Лучик погас, и тотчас же все четыре и вперебой зазвонили телефоны. Начальник штаба взял сразу две трубки, четвертая досталась члену военного совета, который появился следом за майором, шедшим на цыпочках и красным, как после бани.

Некоторое время все говорили — «да, да, да», отмечая передвижения противника, и видно было, как старели карты. *Лев Толстой* доносил справа о начале германской атаки. Семьдесят танков и около трех батальонов пьяной пехоты выдвинулись на Хомянку с намерением работать на север и северо-восток. 14.63 сообщал одновременно, что двенадцать *тигров* в сопровождении зверья помельче смяли минометный полк и распространяются вдоль реки. Шквальный артиллерийский огонь в центре также следовало считать предвестием удара. В целях отвлечения внимания от основного замысла вражеский нажим производился по всему фронту. Дольше всех держал трубку командующий.

— Так, понял. Сбить переднюю шеренгу танков, а пехотку накрыть легонько *эрэсами.* Это хорошо трезвит... Что-о?.. трезвит, говорю, — резко повысил он голос и, рассмеявшись, дважды произнес *нет* и четыре раза *хорошо.*— Изготовить восемнадцать семьдесят и предупредить... кто у тебя, кстати, прикрывает южное направление?.. кто, кто? — Но, то ли залило провод водою, то ли раздавил его на камне броневик, слышимость становилась хуже. Приходилось криком пропихивать приказания через оголенную расплющенную медь, — сетка голубых жилок проступила на залысинах его лба. Потом ввязалась чья-то посторонняя речь, и командующий со сдержанной вежливостью попросил телефониста убрать всех с линии к чортовой матери. — Кто..? Так вот, намекни твоему Литовцеву, что я его помню. Это он, кажется, удирал из-под Вязьмы?

— Нет, он из-под Ржева удирал, — вполголоса поправил начальник штаба, не отрываясь от карты.

— Виноват... из-под Ржева! Известный спринтер. Скажи ему: что́ бы он ни делал, вижу его. Итак, договорились: с тобой всё.— Он бросил трубку, хотя еще бурчал в ней голос, и зевнул широко, по-солдатски, набираясь сил еще на одну бессонную ночь.

— Что-то рано начали они сегодня, — заметил начальник штаба, справившись с часами.

— Зима. Дни идут на убыль. Немецкая аккуратность, — солидно, логической цепью пояснил член военного совета и пошел к окну взглянуть, не морозит ли к ночи.

На улице было сыро и пусто. Синела вода в колеях. Петух с хвостом вроде бенгальского огня проследовал со своей дамской оравой на ночлег. Телефоны молчали, но ухо различало в тишине и льющийся скрежет гусениц, и задержанное дыхание стрелка, приникшего к противотанковому ружью. Литовченко успел передать через связиста в Млечное, где отныне помещался его штакор, чтобы ждали его в 18.00 и держали под присмотром левофланговый стык с пехотой его полутезки Литовцева. Немцы продолжали давление, и вот район обороны корпуса становился районом сосредоточения, чтобы завтра же превратиться в его исходные позиции.

— Так и не дали нам вместе пообедать, генерал, — сказал на прощанье командующий. — Им сегодня непременно нужно уложить очередные две тысячи своих солдат... педанты! Да и караси, верно, пережарились Отложим это дело до Румынии. Как она там именуется, эта рыбешка, что хвалил вчерашний корреспондент?.. — Но член военного совета промолчал: у него было своих забот достаточно, чтобы помнить названье румынской форели.— Отправляйтесь... буду звонить вам, возможно сегодня же. — И опять чуть дольше задержал руку Литовченки.— Вы считаете выполнимой мою наметку... при таких флангах и в свете установившейся танковой тактики?

Сумерки густели быстро; вдруг, точно карликовое солнце, над столом засияла переносная лампа, знаменуя наступление ночи. В свете ее все, включая и читателя Гоголя, оказавшегося армейским прокурором, ревниво глядели теперь на командира, вступающего в их боевое содружество.

— Я полагаю, — сказал Литовченко, — что точной науки о танках еще нет, как и во времена Камбре и Суассона. Это *мы* пишем ее с вами. Такой она и войдет в академические лекции. Но первые главы, на мой взгляд, составлены советскими танкистами довольно толково.

— Это верно... под Бродами, например, участь танкового сражения решили пятьдесят машин!

— Да... когда было уничтожено по полторы тысячи с каждой стороны.

— Зачем же брать немецкий пример? — возразил Литовченко. — У меня в корпусе имеются такие доценты, которые пятьюдесятью танками и без предварительной подготовки сдерживали тысячу... — И опять вихрастый лейтенант встал у него перед глазами. — Разумеется, дело это довольно суетливое... Итак, разрешите приступить к следующей главе, товарищ командующий?

Судорожно зазвонил телефон. Немецкая демонстрация отвлечения продолжалась, и хотя правофланговая атака приняла ясные очертания главного направления, внезапно на сцену появился хуторок Вышня, не имевший существенного значения в начавшейся битве. Тут и обнаружилась припрятанная противником танковая мелочь. Уже одеваясь, Литовченко слышал заключение командующего: — «Нахалы... контратаковать и выбросить, исполнение немедленное». И, как отголосок приказа, раскатистый пушечный разговор возник в ясной тьме перед крыльцом, где наготове ждали машины.

6

Мерцала над горизонтом вечерняя звезда, но сотни беспокойных земных светил оспаривали сейчас ее первенство. Цветные ракеты подымались в небо, высокие пристрельные журавли шрапнелей перемежались с пунктирами светящихся снарядов, рябили небо вспышки гвардейских минометов, и вот звезда блекла, терялась в смутной пелене дыма, потому что война уже зажгла свои дикие ночные костры. Шоферы наблюдали от машин за этим разнообразным фейерверком... Генерал подошел сзади. Ближний безучастным голосом доводил до сведения остальных, как хозяин вон той, наискосок, хаточки, едва

придвинулась канонада, порубил своих гусей, готовясь уходить от немца... и как они лежали на пороге, все шестеро, пышные и безголовые, те самые, что криком и крыльями встречали их на селе... и как стояли молча над ними хозяйские дети.

— О гусях потом, — сказал Литовченко, открывая дверцу. — До́темна Ставищи проскочить, опасный отрезок... Показывай, шофер, свою работу!

Офицер доложил последнее сообщение рации; за исключением тридцать седьмой, размещение корпуса закончилось. Это означало, что квартирьеры развели роты по домам, если только не зимний лес стал местом их временного пристанища, — ложатся в грязь все шестьдесят километров корпусного провода для связи с бригадами и соседями, варится побатальонная каша, бродят по карте карандаши и циркули, прощупывает разведка, где противник, сколько его, каково состояние его духа, готовности, оружия и сапог; то были первые обороты новой шестерни в большом армейском механизме. Машины прогрелись и вот поднырнули в сизый падымок туманца. Дорогу прихватило холодком, ехать было хорошо.

На сиденье рядом обнаружился плотный пакет, в нем мясо и бутылка какого-то трофейного напитка; так и не вспомнил Литовченко, чтобы командующий в его присутствии отдавал распоряжение об этом свертке. На обстоятельное ознакомление с ним ушло в среднем полчаса, и когда генерал выкидывал за борт бумагу, там плескалась и текла река ночи. Струились поля, уста́вленные куполами вроде казацких шапок — ометы бурачной ботвы, мелькал нестаявший снежок во впадинках поглубже, изредка с удвоенной скоростью проносились одноглазые грузовички с белым облачком над радиатором, потом длинные руины, руины, и вдруг душевный огонечек в уцелевшем окне, и, наконец — встречный лесок, такой неотвязчивый, долго и вприпрыжку бежал наперегонки с машиной. В мутном слякотном стекле, вставленном в фанерную прорезь, это сливалось в нескончаемую ленту, и начинало представляться, что уже много километров тянется стена великошумского монастырька, высокая под небеса, с полубойницами вместо окон. Начавшийся жар и однообразное качанье преувеличивали размеры видений, еще более властных, чем днем.

«Кажется, заболеваю... не во-время!», — впервые за сутки сознался Литовченко, закрывая глаза и откидываясь на заднюю стенку *виллиса*.

Собор кончился, а то, что вначале прикидывалось только снежком, на поверку оказалось фасадами глинобитных строений. Внутренний сумеречный свет, какой внезапно озаряет мрак усталому путнику, помог теперь и генералу различить безлюдную и как бы недосказанную окраину Великошумска. Три тополя прошумели над головой, и стал виден уютный, такой прохладный даже в нынешнюю июльскую жару домик учителя Кулькова.

«Приехали»... — вяло подумал Литовченко.

Все сбывалось немножко не так, как предсказывала утренняя догадка. Митрофан Платонович встретил гостя во дворике, в той вышитой рубахе, в какой навсегда простился с Литовченкой тридцать лет назад. Совпадение не удивляло: с годами люди научаются беречь испытанную дружбу вещей. Дворик стал пошире, и нарядней обычного распушились в нем цветастые мальвы. Друзья обнялись, но не радость, а как бы нездоровый озноб доставило Литовченке это объятие. Хозяин пошел впереди, и огорчило гостя, что ничем не напомнил о былом, не пошутил о глобусе, даже не подивился чудесным превращениям в судьбе бывшего ученика. Не было ни рассказов о прошедшем житье-бытье, ни обещанных кавунов, и в окошке ничего не было, будто в пустоте висел учительский домик.

Они сидели молча, великий вопрос читался в молчанье старика. «Чем возместит история неоплатную человеческую муку, причиненную войной? Чем вознаградит она труд современников, одетых в изорванные смертью шинели? Что там, за издержками века, за горными хребтами, на которые поднимались мы столько веков? Или ближе станет солнце к тем, кто доберется до их снеговой и все-таки земной вершины?»

И Литовченко отвечал с волнением, точно это был урок, заданный тридцать лет назад; и он знал, что старику мало только пространного отчета о материальных благодеяниях или перечисления параграфов еще не полностью осуществленной программы.

«Слушай, милый мой старик. Завтра бой, а нынче мое время — минутка. Простоим ее благоговейно у главных врат, которых мы достигли. Взгляни в звездный проем этой

вечной арки, окинь глазом принадлежащие тебе пространства... Не зарождается ли в тебе богоподобная способность реять над безднами, где ползали твои пращуры? Простор — отец крыльев. Колумб и Галилей так же стояли у океанов земли и неба, как сегодня мудрец из Гори стоит у океана людского возрождения. И уже не отречется от его слова человек, как невозможно ему забыть колесо или рычаг, или винт Архимеда, поднявшие его с четверенек».

«Я слышал это и раньше», — сказал Кульков.

«От кого? От самого себя!.. Оглянись, трудно жили наши отцы. Даже когда плясал, бывало, под хмельком дед мой Фадеич, мне преставлялось, что это он пудовыми сапогами отбивается от горя. Но никогда не покидала народ вера в правду, что постучится однажды в окошко мира. Мы решили помочь истории и сократить срок сказки... Смотри, грозные силы состоят служанками при людях, но уже протянута рука за ключиком от сокровенных тайн материи и жизни. И надо спешить, пока они не стали достоянием злых, готовых ее созидательный потенциал обратить на разрушенье. Судьбу прогресса мы, как птенца, держим в наших огрубелых ладонях. Оказалось, никому она так не дорога, как нам. Преданность идее мерится готовностью на усилия и жертвы».

«Цена должна соответствовать товару», — сказал учитель Кульков.

«Учась ходить на двух, человек ушибался больнее, но страдание не вернуло его назад, в пещеру. Кто отправляется далеко, тот обрекает себя и на лишения. Терпение — посох подвига, который награждает время... По чередованию событий трудно представить вечность, как слепому постигнуть море по соленым брызгам на губах; смертному, слабому мнится, что он живет на краю времени; боль застилает ему взор в будущее. Но когда мой танкист покуривает свою махорочку перед атакой, он смотрит вперед и как бы держит ее в руках, газетку двадцать первого века, полную великих новостей! В том и заключено бессмертие советского солдата».

«Искать друзей в будущем — удел одиночества», — сказал Кульков.

«Нет!.. потому что никто, кроме нас, не смеет глядеть в будущее без боязни. Неодолимые резервы движутся оттуда нам навстречу. Ни с посланиями, ни с жалобами мы

не обращаемся к ним. Они и без того до последней кровинки — наши. С непокрытой головой они посетят скелеты наших городов, они раскопают известковые карьеры братских могил, святая и умная печаль отуманит их сердце. Кто свалит их или прельстит соблазном скотского существования, где наука изобретала душегубки, а насилие и грабеж были заповедью древних государств? Поняв все, они восславят наши горести и грубоватые песни, бедность одежды и суровый обычай времени, увенчанный победой...»

«Ты против войны!» — сказал Кульков.

«Я не собирался быть солдатом, но раз коснулись меня огнем — горе им, кто обнажил меч неправедной и неразумной войны. Нам, которые голыми руками разворотили свою темницу и вырвались на простор Океана, ничто не страшно. Что фашизм! Мы пройдем сквозь него, как сквозь дым последнего дикарского костра. Наше железо будет становиться лишь острей от ударов врага, пока не поймут, насколько оно безопасней в наших плугах и станках, чем в образе наших танков».

Больше Литовченко не слышал Кулькова. Толчок рванул его с сиденья и заставил открыть глаза. По ветлам вокруг черной воды можно было узнать Ставищи. Свет фар доставал до шлагбаума, преградившего путь. Остановка произошла в том же месте, что и утром, шагах в ста от бывшего контрольного пункта. Бешеная дрожь мотора передавалась телу; чужие не стучали поблизости, некого стало спросить — отстали или проскочили вперед. За смотровым стеклом стоял немецкий верзила, переодетый в красноармейскую шинель. Он почти не отличался от обычного регулировщика; всего их там было трое. Остальные выжидали во тьме, на краю плотины, не сводя автоматов с проезжих. У них был свой план. Никто не произнес ни слова.

Левый флажком отсигналил приказ стать к обочине. Шофер повиновался; волнуясь и рискуя сжечь сцепление, он стал делать это на больших оборотах и с пробуксовкой. Вдруг резким броском — скорее хитрости, чем даже радиатора — он спихнул двух в жидкую черноту позади, где, верно, уже лежала на дне та давешняя, воронежская, с ямочками на щеках. На мгновенье колесо повисло над бездной; в последующее, вывернувшись и выжав газ до конца, он с ходу пустил машину на опущенный шлаг-

баум... Никто не помнил впоследствии, гаркнул ли он при этом *ложись,* или сама передалась им спасительная догадка. Последовал треск, будто смаху полоснули дубиной по фанере; звонкий холод пополам со стеклом обрушился на спины пассажиров. Их выручила накатанная в этом месте дорога... Когда шофер разогнулся на сиденье, машина вскачь неслась по краю глубокой балки, и впечатленьице было посильнее, чем самая встреча с передовым немецким патрулем. Полкилометра все молчали, привыкая к жгучему ветру и слушая фанерный дребезг позади. Они так и не дождались автоматных очередей вдогонку; это служило добрым признаком, что немецкое купанье еще не закончилось.

— Эх, теперь совсем простудитесь без шапки, — сокрушенно прокричал шофер, удостоверясь в сохранности седоков. — Стекло в грязи, ни дьявола не видно. Зато теперь поспособней будет, круговой обзор! — и помахал рукавичкой впереди себя.

— Не дразни счастья, — проворчал капитан, обирая битое стекло с шинели и в предчувствии крупного разговора с начальством. — Второй раз оно дураку не улыбается!

— Точно, — согласился тот и плавно остановил машину. — Придется вас слегка побеспокоить... товарищ гвардии генерал-лейтенант!

Проверив на ощупь, не отвязались ли запасные бачки, он не без видимого удовольствия принялся срывать остатки фанерного короба. Делал он это со словоохотливой присказкой, понятной после встряски, но, может быть, ему и в самом деле нравилось, что и для них, наконец, после долгого перерыва началась война. По скату спускались качающиеся огни отставших *виллисов.*

— Торопятся... ничего, проскочат. Теперь ганцы сушиться в село поднялись. Нонешние воды, ой, ядовитые. Прямо скажем, иностранному телу они ни к чему.

Холод ослабел, едва движение прекратилось. Беззвездная ночь освещалась лишь заревом, которое теперь неотступно следовало за генералом. Если не считать шоферской возни да привычного в небе гудения какого-то связного шмеля с фонариком, было совсем тихо. Тем слышней доходил до сердца далекий звук, похожий на ворчанье, с каким зверь ворочает и рвет безгласное поверженное

тело. Литовченке припомнились глаза старухи из Коровичей, девочка с бутылью, черная клякса на обочине шоссе, старенькая книжка в руке прокурора. Летящая гоголевская фраза вошла в него как стрела, и острие обломилось в памяти, чтобы остаться там навеки: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи...»

Грузный, понижающийся лай дважды пронесся над головой в ту сторону, куда в облегченном виде и двинулся головной *виллис*. Литовченко читал эти дорожные мелочи, как ноты с листа, завершая ознакомление с обстановкой. Германские дивизии выходили к железной дороге; назад, в Лытошин, было бы теперь, пожалуй, и не проехать. Вскоре поземка побежала по полям; она превратилась в пеструю и крутую, как вчера, изморозь, когда машины вступили в расположение корпуса.

Множественный след гусениц сводил с дороги влево, во мглу горелой сосновой рощи. Деревья стояли в дряблом вислом снегу, как древние озябшие хвощи. По несмолкающему треску древесины и бормотне моторов можно было заключить, какая уйма железа размещалась там на ночлег.

Наступил поздний по военному времени час. Люди еще не спали.

7

Тридцать седьмая бригада пришла на место затемно: нараставшие события удлинили намеченный маршрут, посдвинув ее на крайнее левое крыло армии. Сразу по прибытии экипажам выдали неприкосновенный запас, а ротных командиров вызвали в батальон. Пока они, на ночь глядя, лазили со штабным начальством по артиллерийскому бурелому на опушке и спускались в окрестные поля, откуда ждали немца, поступило приказание закопать машины. Еще основательней этих явных признаков подсказывало старым танкистам особое обостренное чутье, что утро застанет бригаду в огне. Их невольная озабоченность, происходившая от перерыва в боевой практике, передавалась и новичкам. На марше тридцать седьмая попала под бомбежку, которую еще нельзя было считать боевым крещеньем. Прямых попаданий не было,— бригада увеличила дистанцию и скорость. Кроме закли-

ненной осколком башни да разбитого баяна, привязанного с барахлишком снаружи, повреждений на всю часть не оказалось. На минутку в открытом люке мелькнули немецкие штурмовики, и младшему Литовченке верилось — все целились в него одного!

Смущенья от этой первой встречи он не испытал, а только боялся, что само тело дрогнет и выдаст товарищам его понятное волненье. Ему помогло одно из собольковских наставлений, какими не первый год тот воспитывал новичков: мысленно, с предельной живостью представить себе данного конкретного врага, как бы раздеть его из фальшивой славы, а затем и крушить в полную силу русской оплеухи. Литовченко так и поступил, и опасенье, что не удастся ему довести задуманное до конца, рассеялось, и он увидел за штурвалом белесое, помятое злобой и бессонницей лицо летчика, бескостное и гнусное, точь-в-точь как у сверчка по выходе из личинки где-нибудь на гнилой картошке. И заглянув так в его черные, расширенные движением зрачки, он понял, что этот человек умрет, не достигнув цели... Так и было. Танк слегка шелохнуло, обдало горячим ветром и глиной, и у всех было торжественное ощущение, будто война напутствовала их дружеским шлепком по броне, как рекрута бывалый солдат, принимая в свое кровное братство. Ей немедленно отсалютовали крупнокалиберные зенитные установки. Литовченко впервые видел вблизи, как самолет врылся в землю, стремясь закопать в нее свой огромный и шумный огонь... Местность позволила быстро рассредоточить колонну, ранние сумерки помешали вражеской авиации повторить заход.

Когда капонир был готов, лейтенант лично опробовал боевые механизмы; Обрядин светил ему переноской. Все находилось в исправности, не считая лопнувшего ролика ведущего колеса, но это означало лишь, что экипаж получасом позже отправится на отдых. К особой удаче для тридцать седьмой, в лесу обнаружились добротные землянки немецкой работы, построенные в начале войны, когда Германия рассматривала поход в Россию как увеселительную прогулку по славянским заповедникам. Послушав мотор, пока двести третья спускалась на дно земляного стойла, Собольков отметил, что тот работает, как часы, и незачем ковыряться в нем больше.

— Какое число у нас сегодня? — вспомнил он вдруг, не обращаясь ни к кому.

— Двадцать первое кончается, — ответил из потемок радист и поднес лампу к его лицу, различив незнакомую нотку в голосе лейтенанта. — Не обедали нынче... вот он тебе и показался за неделю, нынешний денек... а что?

Лейтенант раздумчиво улыбнулся, с такой недоверчивой пристальностью вглядываясь в глубину леса, что и радист невольно оглянулся туда же.

— Нет... это хорошо, — неопределенно сказал Собольков и прибавил обычным тоном, что, кроме радиста, который после ужина вернется сюда с автоматом, все смогут выспаться до рассвета; охрану нес моторизованный батальон, но лейтенант всегда считал, что предосторожность — старшая сестра отваги.

Сам он ушел от машины последним. Она стояла в земле, в уровень с основанием башни; ходовые чернорабочие части были скрыты брезентом, и снежок, процеженный сквозь ветви, уже округлял впадины на нем. Ничего нельзя было разобрать во тьме, но Собольков видел ее всю, двести третью, как в полдень. Сейчас она лишь отдаленно напоминала ту, что два месяца назад уходила в тыл, на поправку. Та была старая; перед тем семь летних месяцев, когда жара и пыль вдвое изнашивают цилиндры, она не выходила из боя. Нельзя было понять из формуляра, сколько пробежал этот железный воин по пути к победе: паспорт танка в его холщовом мешке был одновременно с командиром пробит осколком. Кашель слышался в моторе, вонючий черноватый дым валил из сапуна, стучали выношенные подшипники коленчатого вала. После каждой ездки жирная горячая испарина покрывала стенки выхлопной трубы, потому что сработались и поршневые кольца; едва хватало силы довести стрелку масляного манометра до двух атмосфер. Сдавало танковое сердце, расшатанное приключениями жаркой бранной жизни. В ту пору ничего грозного не оставалось в двести третьей, кроме надписи мелом по башне — *смерть фашизму*. На осмотре перед уходом в тыл кто-то выразился в том смысле, что полудохлый этот танк годится если не на переплавку, то лишь под долговременную огневую точку. Экипаж встретил обещание помпотеха выдать новую взамен таким угрюмым молчаньем, что никто не ре-

шился разлучить этих людей с их машиной. Двести третья осталась в строю.

Биография танка была написана на его броневой шкуре. Прежде чем приступить к починке, старики завода долго и почтительно читали эту краткую родословную корпуса, где каждая битва оставила свой неистовый и неизгладимый росчерк. И один, сам бывший солдат и отец трех танкистов, молча сдернул шапку с лысой головы при этом. То была высшая награда танку... Так, вмятина на башне была получена под Орлом, а сквозная, от болванки, рана в обе боковые плоскости — тотчас за Валуйками, а пушку почти на локоть обрезали на Днепре, когда противотанковая пуля вырубила ее нарезку, но, и культяпая, машина ухитрялась приставлять ее вплотную, как пистолет, ко вражескому виску... Двести третьей доводилось также возвращаться на буксире у тягача или даже вовсе без ленивца, выкинув лишние траки и закрепив гусеницу через каток... Эти пробоины, зашитые электрокузнецом из ремонтного батальона, выглядели как ордена и медали на груди ветерана; их было девять. «Пускай добирает до десятка!» — решило начальство.

Такая привязанность экипажа к своему временному жилищу объяснялась не только воинским тщеславием. Броневая кровля, вторично пройденная по швам электросваркой в ПРБ, казалась хозяевам надежней иной новехонькой, изготовленной в серийной спешке военного времени. Даже теплилась в них уверенность, хоть и не признались бы в ней, что война уже заприметила их машину и в дальнейшем пощадит ее, со всех боков исковырянную танковой смертью. Вдобавок лейтенант обещал лично присмотреть за ремонтом, который, к слову, производили тоже очень злые на немца люди. Новая пушка грозно выглянула из бойницы, свежий мотор мог без устали носить ее по становищам врага. Кроме орудия и мотора, они заменили рацию и коробку перемены передач, и Собольков дважды опробовал машину на заводском танкодроме, прежде чем вернулся с нею в часть. Так началась вторая молодость двести третьей.

К бою за родные горы, родившие ее металл, за людей, ее создавших, за Сталина, который повелел ей быть, двести третья была готова. И если человеческий инструмент, каким добывается независимость поколений, заслу-

живает такого слова, то была последняя ее спокойная ночь перед рывком в *бессмертие*. Ей уже не довелось показать свои почтенные раны на Большом параде по окончании войны; все же ее удел был счастливей, чем у тех, чьи распиленные тела отдали огню на переплавку, как прах героев возвращают в материнское чрево земли. Советскому танкисту некогда было заботиться об отдельном куске даже качественной стали и хотя бы он весил двадцать восемь с половиной тонн. Но, будь время обдумать заранее, как умнее обозначить в веках победу, он сохранил бы это дырявое железо как образчик вещества, из которого творится истинная слава. Он поставил бы эту тридцать-четверку на высоком уральском мраморе, черную и страшную, как она стала выглядеть через двое суток, с развороченным лобовиком, с листами брони, порванной на бортах, и раскинутыми, как крылья, точно и мертвая она собиралась лететь в одиночку на полчища врага...

Похвала танку означает похвалу его экипажу и, в первую очередь, его командиру. Войну Собольков начал водителем на двести третьей. Тогда в бой с ним ходили другие; полностью их имена мог теперь перечислить только он один, и как хотелось ему порою попировать с ними когда-нибудь потом за дружеским пол-литром! У него как-то вышутилось не без горечи однажды, что жизнь выбрала его мишенью для своей иронии. И правда, желания его исполнялись, но всегда в несколько исправленном виде. К примеру, он обожал сады, и в любой его сказке, какими он коротал и без того малый досуг танкиста, непременно и под разными предлогами осыпался яблоневый цвет. Судьба же два года водила его мимо чужих и горелых садов; даже выпал такой вечер в прошлом году, когда двести третья на полном газу и стреляя прошла по цветущим плодовым деревьям, и вихрь боя не сдул с нее налипших кое-где к мазуту лепестков. И когда на торжественных собраниях части он как бы с вызовом и блестящими глазами начинал речь привычным словесным завитком: «Мы, танкисты, особый народ, бензинщики... и не зря нам завидует пехотка, хоть и не обожает стоять рядом, когда нас бомбят», — люди верили, будто он затем и родился под солнышком, чтобы век гулять в газолевом чаду. Собольков обучался на агронома, но стать им не смог по причинам семейных обстоятельств...

В каждой сказке у него появлялось юное светловолосое существо всевозможных достоинств и не тронутое даже нескромным взором; а жениться ему довелось на одной пышной огневолосой вдове с целым выводком чужих и рыжих племянников. Семья жила на Алтае, куда он и отсылал целиком свой денежный аттестат. Взамен и изредка приходили треугольные писульки с детскими каракулями; заметили, что разбирать их лейтенанту нравилось наедине и вслух и чтобы, по возможности, листва шумела над головой при этом. Конверты бывали склеены из синей тетрадочной обложки; он прочитывал все подряд, вплоть до таблицы умножения, напечатанной на обороте... Кроме непреклонной храбрости, этот суровый, в свои тридцать лет, советский воин владел еще удивительным даром русской сказки; истоки ее терялись, верно, в таежном дымке еще ермаковского костерка. Повествуя, он обычно глядел в огонь походного очага, и у всех создавалось впечатление, что рассказывает ее не им, а в розовое ушко кому-то пятому — там, у далеких алтайских предгорий. Этот человек заслуживал уважения товарищей, которое на войне труднее заработать, чем приятельство или даже любовь.

Когда Литовченко пришел сюда из танковой школы, Обрядин отвел его после первого ознакомленья в уголок.

— Как зовут тебя, парень?

— Васильем, — отвечал Литовченко.

— Вася, значит? Так вот, милый ты мой Вася, — сказал Обрядин и показал глазами на лейтенанта, который правил бритву на ремешке, — тянись и уважай этого дядька́, парень. Он два раза горел на своей железной квартере... понятно? Про него, погоди, еще песню составят... и твои детки будут ее на Первое мая петь тоненьким голосишечком. Он этих самых ганцев массыю погубил! Из кремня сделан, но имеются в нем розовые прожилочки...

Всегда себе на уме и насмешливый даже в опасную минуту, он произнес это с редкой для него серьезностью. Товарищеская оценка соответствовала воинским качествам Соболькова. Обрядин потому и принял свое паденье без обиды на судьбу и начальство, что честному человеку роль башнера на двести третьей должна была представляться повышением в его человеческой должности. Старший в экипаже по возрасту, Обрядин имел немалый опыт для суждения о ближних. Службу кулинарному искусству

он начал поваренком с двенадцати лет; последующие двадцать пять лет он проплавал как бы в сладостной кухонной дреме на больших волжских пароходах, с каждым годом совершенствуясь как в добродетелях, так и в пороках,— с незначительным уклоном в последние. На вопросы простодушных, почему у него к твердой пище нет такого пристрастия, как к некоторым видам жидкой, Обрядин сокрушенно отвечал, что ею он лечит одно коварное заболевание, под названием малярия, происшедшее от долгого местонахождения у воды; малярия в нем сидела на редкость прочная, и борьбе с нею он беззаветно посвятил всю свою жизнь. Все обрядинские меню носили резко выраженный антималярийный характер, причем иное блюдо способно было одним запахом отогнать на выстрел вредного комара... Бывший повар любил вспоминать былые достижения, и члены экипажа охотно внимали ему, потому что и бахвальство развлекает во фронтовых буднях, если достаточно цветисто и не направлено в ущерб или поношение другу.

— Загибаешь ты, Сергей Тимофеич, — говаривал при этом Алешка Галышев, неизменно веселый и добродушный, тот самый, кого сменил Литовченко на посту водителя двести третьей; не затем говаривал, чтобы попридержать размахавшегося артиста, а чтобы подзадорить на дальнейшее.— Это все красноречие твое. Кто ж поверит, что у тебя волчатину от куропатки не отличишь!

Обрядин лишь головой покачивал, горько усмехаясь на его преступное неверие.

— Разве ж я виноват, что таким красноречивым зародился? Ведь я кто!.. Я мастер-художник, и все у меня крутится. Ты мне налима дай... не теперешнего дай, у зимнего-то у него тело самое хорошее. Ты мне летнего дай, когда он в норе сидит, млеет... и он у меня будет плавать в собственном масле и смеяться. Я товарищу Семенову Н. П. живых гусей к столу подавал... понятно? Я... — Он залпом перечислял свои изобретения, и если некоторые из них не были художественным преувеличением, значит, целебный волжский воздух помогал пассажирам выносить их без вреда для здоровья. — И я могу сготовить из любого любое. А спроси меня — почему, я отвечу. Я всегда пою, когда готовлю... и весь пароход слушает меня. — Он обводил глазами затихшую землянку. — Это верно, голос

у меня немножко сильный... запою — лампа в каюте гаснет, но пою я хорошо.

— Поешь ты — ровно яичница скворчит на сковороде, вот как ты поешь! — позже, через год, прерывал его Андрей Дыбок, новый радист на двести третьей. — Тебе только в печку петь... и то, как в Германию взойдем, для острастки населения. Свои же могут слушать тебя только под хлороформом. Протрезвись, милый русский человек!

Поглаживая небритые щеки, Обрядин подолгу глядел в грязный, натоптанный пол, прежде чем поднять глаза на обидчика.

— Эх, парень... гроб, и тот серебром оклеивают, а тут сердце с тоскою перед тобою лежит... Соври, укрась, непонятливый! Вот и красивый ты, а холодный — не погреешься о тебя. И слова твои жесткие, колючие... из них только настойку от клопов делать!

Разговор таким образом упирался в отвлеченные темы, и тогда, чтобы не плодить разногласий, вмешивался Собольков.

— Ладно, хватит тебе, Обрядин. А ну... скажи *зажигалка!*

— Ну... *жижигалка,* — старательно и сначала сосредоточась, чтобы не промахнуться, выговаривал башнер, и это служило верным признаком, что уже завелась у него очередная приятельница в окрестности, мастерица хмельного зелья.

Как всегда, Собольков пророчил в этом месте, что еще доведется Обрядину поразвлечь пехотку своими приключениями, и беседа мирно возвращалась в прежнее русло: какова должна быть плотность электролита в аккумуляторе при морозе, больше или меньше сорока́ или — что за вещество такое в нынешних снарядах, от которых свеженькие танки разваливаются в железную щепу.

Обрядин любил песню, но слушать его полагалось в землянке в ненастный вечерок и желательно в канун большого военного дня; поэтому и невозможно было ему прославиться пением, равно как игрой на трофейном, с перламутровыми пуговицами, полбаяне, разбитом при бомбежке. Сей незадачливый повар знал много песен, шуточных и сиротских, украинских, татарских, даже башкирских, в особенности часто доставалось от него грузинке

Сулико, и все получались у него на один манер, во всех одинаково поскрипывала старинная русская рябинушка. Голоса ему было отпущено достаточно, даже больше положенного по норме, но репертуар свой он выполнял с такой натужной и щемящей хрипотцой, что всякий раз приходилось заново привыкать ко вступленью. То бывало не менее трудно, чем выйти из теплого дома за околицу и отдаться на милость мокрого осеннего ветра. Зато, привыкнув, уже нельзя было оторваться от обрядинской песни, где каждый слышал свое, одному ему желанное.

Когда Сергей Тимофеич заводил ее, полузакрыв глаза, укрепя локоть на колене и зачем-то кончиками пальцев держась за мочку уха, чудилось всем — какой-то иной, прекрасный голос вторит певцу от своей беспокойной силищи, которой нипочем любой всемирный подвиг. Иностранец ни черта не понял бы в этой тайне — откуда оно берется, влекущее и странное очарование русской песни, потому что не в звуках тут дело и не в словах; к тому же их без зазренья совести всегда перевирал Обрядин. Нет, например, и не было такой песни на свете —

...в низенькой светелочке огонек горит,
молоденькая пряха за столом сидит,
а ветер занавесочку тихонько шевелит...—

как равно и припева к ней — «лодка да сети, сети да лодка», в рамку которого он неизменно заключал начало и конец. Но неспроста однажды после такого сеанса обронил с затуманенным взором Собольков, что Россию следует любить именно в непогоду, а при ясном-то солнышке она и всякому мила! Плотный, плечистый, щекастый, Сергей Тимофеич всегда уставал от песни.

Будучи женат, но по условиям деятельности находясь в разъездах, Обрядин постоянного местожительства не имел, но в любом климатическом поясе мог бы он обрести верное пристанище под старость. Из всех больших и малых населенных пунктов, где случалась хоть трехдневная стоянка, наперебой приходили к нему тихие и благодарные бабьи посланьица без упреков или напрасных надежд. Зная наперед их содержание, Обрядин их не хранил и, кажется, даже не читал: сердечные свои дела он считал нестоящими пустяками. Про жену он говорил со сдержанной жалостью, что она еще подождет его лет два-

дцать, а потом умоет проплаканные глазыньки и еще лет десять подождет.

Хотя он секретами ни с кем не делился, догадывались, что сердце женское он брал именно на песню, как уточку на манок: жертвам его нравилось, что про грустное поет, а сам улыбается... Каждый член экипажа мог в подробности рассказать жизнеописание соседа: в танке рождается особая братская связь, которой даже оскорбительна была бы неосторожная посторонняя похвала. Поэтому повар и не любил передавать в подробностях, как целых три километра тащил из боя Алешку Голышева и как добило Алешку осколком мины у него, у Обрядина, на спине.

Стало все известно и про Андрея Дыбка, хотя и слыл выдающимся молчальником; шутили, что даже в школе он избегал отвечать устно, а стремился — письменно. В корпус он пришел из артиллерии, где потерял мизинец на левой руке. Думали, что этот изъян, нанесенный его стройному, гибкому телу, и является причиной его особой ненависти к немцам, одетым в военную форму. На самом деле молчание вошло в него несколько раньше, когда оккупанты растерзали на Кубани его сестренку, студентку архитектурного вуза, и умер от горя его отец... Сблизился он только с покойным Алешкой, и то — как выяснилось, что тому известен адресок сестры, в переулке у Савеловского вокзала, куда неоднократно провожал ее после театра. Галышев узнал невесту по фотографии, наклеенной в танке возле листа с позывными и рядом с одной необыкновенной красоткой из американского журнала. Судя по хрупкости сложения, эта маленькая киноактриска квартировала, верно, в какой-нибудь апельсинной роще посреди Флориды, совместно с заграничными мотыльками, неживучими в наших русских снегах. Товарищи терпели помянутую картинку, ежели она помогала их стрелку-радисту в бою. Только раз, дивясь такому постоянству в привязанностях, попрекнул его мимоходом Обрядин:

— Эх, нашел себе... влюбился в статуеточку. У ей же головка глиняная. А доверился бы ты мне, Андрюша... выбрал бы я тебе заволжскую королевну. Засмеется — пар из подмышек идет... понятно?

— Пар из подмышек не может идти. Этого не бывает, — разумно и жестко возразил Дыбок,— если только ты не на русской печке хочешь меня женить.

С той поры экипаж примирился на мысли, что если бы эта американская, сливочно-волшебная штучка узнала про выбор русского танкиста, про высокую честь находиться в советской тридцать-четверке, пела бы втрое лучше свои песенки и человечной тревогой наполнились бы ее праздничные глаза, беспечальные ее ночи.

С гибелью друга стала еще заметней замкнутость Дыбка. Все считали его старше двадцати шести лет. Врага он разил попрежнему и как-то очень спокойно, но не по равнодушию, невозможному при его горячности, а потому, что это умножало меткость его руки. За полгода дружбы Галышев выцедил, однако, из Дыбка, что побывал он и столяром и слесарем-инструментальщиком, причем добился шестого разряда; пробуя силы в сельском хозяйстве, скосил однажды двумя комбайнами сто два гектара и, наконец, в качестве мозаичника выложил знаменитый пол на консервном заводе у себя в Крымской: только в валенках по нему ходить, из опасения попортить или оскользнуться. Семьи у него не было, он не торопился, он пока только примеривался к жизни, и все почтительно понимали, что этот аккуратный, всегда такой чистый и как бы со стиснутыми зубами человек успеет совершить на своем веку все ему положенное, отомстить за мертвых, запомниться живым, размножиться в потомстве, да еще останется время подвести итоги.

— Орел, казацких кровей... я таких знавал, — говаривал Обрядин при Дыбке. — Вижу тебя, как ты в Кремль по ковровой лестнице поднимаешься. Я к тебе тогда в гости приду, Андрюша... и пусть твоя дочка мне сто грамм на серебряном подносе вынесет. Не прогонишь?

— Приходи, — совсем серьезно отвечал Дыбок.

Всё это были вполне обыкновенные люди, и Литовченке лишь потому представлялись особенными, что он их разглядывал вблизи, как бы через увеличительное стекло. Он пришел сюда простоватым пареньком, таким молодым, что еще помнил наперечет все прочитанные им книжки. Так и ждал бы он у себя на деревне часа, когда по приходе Красной Армии вызовут его повесткой в военкомат, если бы не происшествие с куренком, о котором в ночь разгрузки рассказал генералу Обрядин. — Ударь немецкий офицер его мать, паренек убил бы его сзади, без раздумий, как падает камень с горы, и все закончилось бы

на протяженье вечера. Но тот лишь замахнулся, и мать так странно, точно хватаясь за соломинку, взглянула на сына, который с топором стоял у калитки и деревянно улыбался. Только через час внезапная ярость на свое постыдное бездействие вытолкнула его, дрожащего, из дому. Он не мог простить себе минутки неуместного молчанья, он искал обидчика и плакал от злости при этом. Удачливая звезда увела того из деревни. Это была самая длинная ночь в жизни Литовченки. Поочередно, то белесый и стриженый немецкий затылок, то боязливые глаза матери — не за себя, а за последнего своего хлопца! — плыли перед ним в тумане. Близ рассвета попался ему на опушке свежий, *похожий* на затылок немца, белесый пенек; Литовченко всадил в него по обушок свой топоришко и, может быть, ждал, что тот застонет... Так из полудетского стыда и муки родились решимость воина и достоинство человека. Он не вернулся к матери на печку. Но еще целый месяц дразнила его война, заставляя без выстрела валяться в партизанских дозорах, пока не послали с поручением на линию фронта. Специальность тракториста определила его дальнейшую судьбу. Танк и раньше привлекал его мальчишеское любопытство: танк показался ему чудом, едва он понял, что этим комбайном можно собрать десятикратный урожай мщенья.

Новая его семья так и не поняла, в чем тут дело; на войне некогда решать сложные душевные уравненья. Его крайняя молодость заставляла сомневаться в стойкости новичка, имевшего всего десять часов самостоятельного танковождения. Да и представился он этим обстоятельным требовательным людям словами — «сержант Литовченко прибыл», упустив положенное — «для продолжения службы». Дыбок даже проворчал что-то про *пупсиков,* которые норовят потом завести танк в трущобинку, чтобы отсидеться от боя. К счастью для него, Литовченко не понял. И только Собольков, рассмотревший злую искорку в его зрачке, оценил человеческую добротность этого юного паренька с румянцем и бровями девушки. На досуге тыловой стоянки он терпеливо делился с ним всем, что познает мастер в долговременном общении с материалом. Здесь были не только проверенные танковые истины вроде тех, что танк с плохим башнером — железная телега, а при плохом водителе — мишень с пушкой, или что в

танке гореть не страшно, если метко стрелять до последнего огонька. Командир научил Литовченку искать большой политический смысл в самой малой порученной ему задаче. И лишь после усвоения всех танковых основ он подарил ему, как брату, главный секрет победы, который усталому мускулу придает хромо-никелевую прочность.

— Считай то место, Вася, где ты находишься, за самую главную точку на земном шаре... а все остальное только прилежащие окрестности. И потому думай, что нет тебя важней у Сталина, и он тебе всемирную историю вести поручил. Потому что история, милейший Вася, это тоже танк... держи крепче руки на рычагах!

Остальное — как натянуть сбитую гусеницу в бою или отремонтировать сцепление, Литовченко знал и сам. Все же, для проверки, Собольков в первый же день приказал ему завести мотор на двести третьей, только что вышедшей из ремонта, и провести машину через заранее намеченные препятствия... Танк плавно поднялся из капонира, слегка встав на дыбки, как бы учуяв волю нового хозяина, и все отметили, что водитель не помял вишенки при этом, стоявшей по левому борту. «Ничего, подходяще... действуй так!» — одобрительно молвил Обрядин, словно Литовченко мог слышать что-нибудь за гулом своего железа. С высокой церковной паперти экипаж следил, как, перевалив канаву, танк вошел в поле, спустился в указанную балочку, пропал на минуту, и когда все решили, что заглох у него мотор, с дельной сноровкой принялся карабкаться вверх по крутой и вязкой глинке; утром прошел дождь, всюду солнце сверкало в лужах... Обратная дорога была прямая; согласно условию, Литовченко дал полный газ. В сущности испытание закончилось, Обрядин полез за табачком. Покачивая пушкой, не сбавляя скорости даже в виду села, машина неслась обратно, когда одно непредвиденное обстоятельство заставило умолкнуть всех, даже ребятишек, собравшихся в изобилии насладиться зрелищем гонки.

Улицу переходил котенок. Никто не обратил внимания, как он появился на пути танка. Осторожно, стараясь не запачкать лапок, он перебирался через изрезанную колеями дорогу. Грохот приближался, но котенок не ускорял походки; состоя в коротком знакомстве со всей бригадой,

он чувствовал себя в доброй безопасности; хромота на левую заднюю ногу также замедляла его путешествие. Зверь был явно нестоящий, его и разглядеть трудно было за пластами глины, а водитель торопился завоевать доверие экипажа. Стало поздно спасать котенка или хотя бы кинуть щепкой, если бы нашлась поблизости. На мгновенье все как бы выросли на вершок, и тогда Литовченко, сработав рычагами, ловко, как пулю, провел свои двадцать восемь тонн в узкий промежуток между ветхим колодцем и дурашливым существом, невозмутимо продолжавшим прогулку... Это и был Кисо́, пятый сверхштатный член экипажа.

Если бы не война, где особо ценят всякое проявление жизни, Кисо́ не сделал бы такой карьеры. Был он головаст, кошачьей грацией или подхалимством не обладал и вдобавок отличался крайне непрактичной белорыжей мастью. За ухом у него образовалось несмываемое пятно от ласкательных прикосновений танкистских пальцев. В штаб корпуса эта смешная фигура пришла из сожженной деревни, где еще дымились головешки, — ее последний житель, вышедший приветствовать освободителей! Нельзя было немцам ни сожрать его, ни угнать на каторгу, и, видимо, убийца пожалел на него патрона. Кто-то сунул зверя за пазуху, скорее для забавы, чем из милосердия; через неделю ему подбили ногу при бомбежке на Кромской операции, а фронтовики умеют окружать незаметной и трогательной заботкой всякого, кто делит с ними опасности военного существования. Повидимому, новое его имя было образовано из слова *Кацо,* друг. Кисо́ быстро сдружился со всеми, и если не дремал на кухне, обдумывая очередные мероприятия по борьбе с мышами, от которых в том году приходилось даже окапывать землянки, то изучал окрестность, навещал в непогоду часовых или запросто заходил в штаб посидеть у главного хозяина на карте. Лично ему больше всего нравилось, чтобы член военного совета гладил его своей пятерней, способной привести в замешательство любого нибелунга. Однако после того как Кисо́, решив поделиться с хозяином добычей, разложил у него рядком на байковом одеяле шесть штук безжизненных мышей, его постиг гремучий гнев богов. Случилось это ровно через сутки после обрядинского падения: они как-то снюхались в тот горестный вечер, и оба

решили, что штабная работа не соответствует их деятельным натурам. К сожалению, Кисо́ малярией не болел и с негодованием отверг те пять капель обрядинского лекарства, которые башнер якобы пытался влить в горло приятелю. Впрочем, иные шутники по-другому объясняли происхождение царапин на обрядинском лбу: Обрядин покидал на селе двух красоток разом.

С тех пор Кисо́ поселился на боеукладке, в пушистой шубе одного немаловажного итальянского чина, сбиравшегося присоединить к Италии Сибирь. Не загадывая наперед, кто приютит его, хромого и безродного, по окончании войны, Кисо́ участвовал во всех операциях корпуса и через Днепр переправлялся сквозь такой шквал огня, что танкисты предполагали выдать ему голубую ленту на хвост... До него в любимцах двести третьей состоял медвежонок, оказавшийся не портативным в условиях походного существования. Его целую неделю с успехом заменял один беспризорный гусь, Петр Григорьич, но, как на грех, тут подоспело празднование по поводу вручения гвардейского знамени, а дружба человека с гусем всегда носит несколько односторонний характер; к тому же Петр Григорьич был ужасный крикун... Кисо́ содержал в себе достоинства, отсутствие которых в такой степени повредило его предшественникам. Вдобавок, будучи философом, он разбирался и в людях; так, он не одобрял порывистых замашек стрелка-радиста, зато очень ценил в механике-водителе его склонность к раздумьям, позволявшую подолгу сидеть на его теплом, удобном колене... И в ту ночь, в канун последнего боя двести третьей, едва Обрядин ушел наверх сменить Дыбка, Кисо́ немедленно перебрался под шинель к Литовченке.

Тот спал неспокойным сном. Вереница людей в чужой зеленоватой одежде уходила от него в обратную сторону; он видел ее из танка с расстояния как раз необходимого для разгона. Сердце немело от ненависти, а нога судорожно выжимала полный газ, но никакая сила не могла сдвинуть пристывшего к месту железа... Обветшалый накат землянки, источенный мышами, пропускал влагу. С вечера никто не заметил капели. Вещевой мешок под головою просырел с одной стороны. Литовченко открыл глаза и сел на нарах. Рядом неслышно спал Дыбок, такой же подтянутый и статный, словно и во сне взбирался по

ступеням большой жизни. Тягостный мглистый свет утра пробивался в продолговатую щель окошка, окаймленного снежком. Освещение было недостаточным, и горела свеча. Огарок стоял между квадратным зеркальцем и лицом Соболькова, который брился. Он совершал это старательно и не спеша, следуя правилу: любое дело исполнять так, как если бы оно было самое важное в ту минуту на свете. Он слегка улыбался при этом, словно видел что-то дополнительно в стекле, тесном даже для его собственной щеки. Как всегда, он поднялся раньше всех, и уже посвистывал чайничек на печке, сооруженной из немецкого бензобака.

— ...пора?

Собольков ответил не сразу, а может быть, просто голос его должен был просечь какие-то необозримые пространства, прежде чем достиг Литовченки.

— Теперь скоро начнется,— отвечал лейтенант, возвращаясь, но улыбку оставил там, где-то в предгорьях Алтая. — Здорово ты бился во сне... испугался чего-нибудь?

— Бык меня бодал. — Ложь ему далась легко, тем более что до события с куренком это детское приключеньице бывало самым страшным из его снов.

— Так вот, ничего не бойся, Василий, — сказал Собольков, намыливая другую щеку. — Страх, это... как бы тебе сказать, тоже вроде уважения, — только пополам с ненавистью. А фашиста уважать не за что, проверенную правду тебе говорю.

— Ничего не боюсь, — твердо, как в клятве, сказал Литовченко.

— Не зарекайся, — продолжал Собольков и брился начисто, точно на смотр отправлялся или свататься к невесте. — Я и сам этак-то в первом бою!.. а как зачали огоньком по стенкам стучать, чую... лицо у меня нехорошее стало, низменное сделалось у меня лицо. И тогда стало мне так смешно на себя: для каких еще дел, важнее, мне себя беречь! И тут второе правило: как нахлынет на тебя это *самое,* телесное, ищи кругом смешного... война любит иной раз крепко посмеяться!.. К примеру, теперь уже можно сказать, очень я у себя, на Алтае, этим манером итальянцев уважал. Немца-то хоть на Волге видал, ничего особенного, только окурков наземь не ки-

дают, а этих еще не доводилось. Было время, весь мир под себя подмяли... Правда, мир тогда невелик был, в пол-Сибири!.. И вот, как посекли в тот раз Италию русские танкисты, взяли мы в плен трех ихних генералов... в Венделеевке, под Валуйками. Там еще конница Соколова из шестого корпуса действовала, только ее мало было...

— Ну-ну... генералы-то!— жарко, как всегда слушают новички, напомнил Литовченко, придвинулся ближе и машинально погладил голый подбородок.

— Куда!.. Тащились они, бедняги, пехом сто километров, подзябли, конечно. Младшенькому из них пятьдесят четыре годика. Ну, привели, выдали им по сто грамм... Усы гладят, оттаивают помаленьку, очень были довольны. «Мы, в Италии, говорят, не любим, когда холод». А пес его любит, отвечаем, с непривычки-то!.. И каждый записал себе на бумажке кто его в плен взял, на память. И меня тоже записал один... страшенный такой, лицо вовнутрь продавлено, и оттуда волос жесткий, как из дивана. Говорит мне по-своему, хорошо, дескать, воюешь. Ничего, отвечаю, если потребуется, еще раз в плен возьму... пожалуйста! Что рано отвоевались, спрашиваю, мы только в разгар входим? Молчи-ит, стесняется... — Собольков встал и погасил свечу. — Вот она какая, война-то!

Свету в окошке прибавилось. Время не торопилось. Собольков успел вытереть лицо и, завернув старенькую бритву вместе с огарком в тряпочку, спрятать их на дно походной сумки, когда вошел Обрядин. Он принес с собой лишь одно слово, но сразу все от него пришло в движение; Дыбок был уже на ногах, точно только и ждал тревоги. Литовченко обвел всех щуркими вопросительными глазами: ему казалось, что *это* начинается иначе. Он слышал, будто в последнюю минуту перед боем обычно пишут письма на родину или заявления в партию, и даже заготовил для колхозных подростков, с которыми недавно гонял голубей, прощальную фразу, полюбившуюся ему за красоту: «А больше писать нечего, идем в бой». Второпях он поискал взглядом, с кем бы обменяться адресками, чтобы сообщили родным, если что́... но каждый заканчивал свои личные дела без признака волнения даже, только стали на минутку суровее, как перед дальнею дорогой, и он понял: именно здесь глубже всего понимают жизнь и даже мысленно не называют имени ее могучей сопер-

ницы... Все были готовы, и еще осталось маленькое время на вопрос, возникший у Литовченки при пробуждении. Ему заранее хотелось узнать, слышно ли из танка, когда гусеница наезжает на человеческое тело, хотя помнил из рассказов, что железо станковых пулеметов беззвучно гнется и сплющивается при этом.

Вместо лейтенанта, который застегивал шлем у подбородка, утолить его любознательность вызвался Обрядин.

— А это смотря по тому, милый ты мой Вася, кто и в каком чине тебе попадет,— с видом опытного знатока таких дел пояснил он.— Мелкий, например, фашист попискивает, деликатно так пищит, покрупнее — тот уже похрустывает... Понятно? Что касается самых важных, надутых,— те под тобою только лопаются, подобно как рыбий пузырь... Приходилось тебе большую рыбину потрошить?

Насмешливые и только чуть более обычного блестящие глаза смотрели отовсюду на Литовченку. Все по-разному и неправильно оценили его смущение. Собольков дружественно коснулся его плеча:

— Ничего, это сейчас пройдет. Это и есть *телесное*. А ну... по машинам!

Дыбок пихнул дверь ногой, серенькое утро охватило их пронзительной сыростью. Литовченко услышал знакомый, как бы утолщающийся свист, и хотя кто-то пригнул его вниз, воздух смаху ударил ему в уши и по глазам. Когда он снова открыл их, земля уже оседала; длинная жердистая сосна, треща и сбивая сучья с соседей, падала прямо на него. Вершина ее с нахлестом легла на мокрый снег, но оказалось далеко, и брызги не долетели.

— Чего, война, кланяешься? Уж виделись... — сквозь зубы сказал Обрядин и, потянув носом воздух, озабоченно вгляделся в глубину леса. — Щами пахнет. А ведь это, пожалуй, щи погибли, товарищи. — Потом лицо его прояснилось. — Нет, тó не щи... при щах Иван Ермолаич состоит, а ему ворожейка нагадала сто лет жить да сто на карачках проползать... Ворожейкам веришь, лейтенант?

— Не трепись, — сухо сказал Собольков.

Иван Ермолаич был батальонный повар, который, вскоре после появления нового башнера в бригаде, стал страдать приступами неизвестной болезни. Наверно, то была малярия, как верная собака бродившая по следам Обрядина.

8

Противник стремился прощупать границы расположения корпуса.

Слабое и множественное гуденье висело над лесом. Невысокая облачность мешала разведке спуститься ниже. Изредка между деревьями вставали тугие жгуты как бы из железных опилок, скрученные свирепой магнитной силой, но в узкой щели перед собою Литовченко не видел ничего, кроме угла землянки, где провели ночь, да приникшей вплотную ветки лесной калины с красными водянистыми от заморозка ягодами. Моторы работали на малых оборотах, зенитки молчали. Экипажи наготове сидели в машинах, только командиры поглядывали из башенных люков. Время от времени, заслышав свист, Собольков оповещал своих — «держись, хлопцы!» — и опускал стальную вьюшку над головой. Следовал гулкий раскат пополам с древесным треском; всякий раз после того чуточку светлело, как всегда бывает на лесосеках. Летчик бомбил вслепую. Унизительное, даже подлое самочувствие мишени зарождалось от вынужденного бездействия; было томительно наблюдать из дрожащего от нетерпенья танка, как пешком тащится время.

Чтоб побороть гнетущее чувство холода и неизвестности, Собольков вторично и в деталях разъяснил боевую задачу: вместе с первым эшелоном прорваться сквозь пятиминутный заградительный огонь к переправе в направлении геодезической вышки, видимой отовсюду, и ждать второго сигнала в низинке у речки Стрыни, где изгиб русла и обрывистые берега надежно укрывали от обстрела. Позже надлежало взять на броню мотопехоту, чтоб по красной ракете совместно ринуться на передний край врага, — передовая проходила в двух километрах оттуда... Так ждали они знака к выходу, но его не было. Самолеты ушли, в танк сочилась разноголосая, похожая на шопот, перекличка инструментов войны. Уже раздумывали, как скоротать время, пока приказ от верхнего Литовченки докатится до Литовченки, находящегося внизу. Вдруг два беззвучных от неожиданности смерча поднялись по сторонам ночной землянки и, ухватив ее с подмышек, вышвырнули наверх со всем деревянным пожитком. Как бы понукая к действию, воздушная волна толкнула

двести третью, мотор заглох, и та же как бы ухмыляющаяся сила раздавила ягоды калины о триплекс; было видно, как розовые звездочки текли, пересекая смотровую щель. Дальнейшая стоянка становилась опасней самого боя. Собольков увидел комбрига, который бежал вдоль капониров, махал рукой и кричал: «Пошли, пошли...» Тотчас же, взревев и давя пеньки, штук тридцать приземистых тел стали вылезать на поверхность.

Успокоенье пришло, как только покинули свои ямы. Танк до краев налился металлическим звуком, все пропиталось им до последнего болта; Литовченке казалось, что и сам он начинает звучать в ноту со своим железом. И стало совсем легко, когда еще не заслеженное поле открылось за опушкой. Далеко впереди маячил сквозной удлиненный треугольник вышки, куда шли, но ближайшим ориентиром движенья был пока разрушенный домик, который на карте числился цветущей, в яблонях, усадьбой. Иные недолговечные деревья, сменившие их, изредка возникали теперь в слепящем, после лесных сумерек, утреннем пространстве; было что-то собачье в том, как они с громовым лаем перебегали с места на место, потрясая черной, неистовой листвой. Количество их удесятерилось, едва последние танки первой очереди покинули лес. Одно выросло как раз по левому борту, самое гривастое. Большой осколок с близкой дистанции ударил двести третью в лобовик над водительским люком; она шатнулась, сразу отемнились все смотровые щели. Отбитая покраска пополам с искрами, как показалось Литовченке, больно стегнула по лицу. Танк продолжал свой бег, и Собольков уже не сомневался в водителе; он не знал, что за мгновенье перед тем новичок сорвал кровяную мозоль о рычаг правого фрикциона, и эта маленькая боль в ладони спасла его от неминуемого шока... Двести третья извернулась, нырнула в кромешный мрак, и в момент разворота, сквозь падающую землю, Литовченко увидел всю шеренгу своего эшелона.

Она весело мчалась по бескрайной пойме, в проходах среди минных полей, заранее обозначенных хворостинками; пестрый вал метели оставался позади. Они мчались, поминутно меняя курс и словно издеваясь над неточным боковым обстрелом, почти в ровном строю, кроме нескольких машин, что несли на себе груз саперного леса; одна,

самая быстрая, уже пылала, но ускоряла бег, как бы в надежде сбить пламя ветром... Мчались, покачивая пушки, и пока без единого выстрела, потому что ничего не было впереди, а только серенький предзимний пейзаж с рваными, еще дымящимися проталинами да еще высокий противоположный берег с висящими над ним дымками. Передние уже вступали под его укрытие, и, как бывает иногда в начале боя, обстановка и местный замысел командования стали до мельчайшего штриха понятны самому неопытному солдату, но не разумом пока, а каким-то первичным физическим ощущением.

За ночь немцы форсировали Стрыню дополнительно и на южном участке, пробив еще километр в нашей обороне. Сплошная завеса заградительного огня сдерживала их левофланговый напор, и не стоило гадать, что случится, если устанут пушки или приостановится поток боепитания. Крохотный плацдарм оставался за советской пехотой на том берегу, все стреляло там. Под прикрытием ее смертной доблести и готовила свой маневр тридцать седьмая. Таким образом, получалось центробежное вращенье двух полярных воль, где осью служил домик садовода и где запоздавший обрекался на окружение и гибель. Именно в это место на карте и смотрел сейчас большой Литовченко на своем КП... Там, наверху, уже начался военный день, а здесь, под обрывом, было еще тихо, «как в раю во время землетрясения», по определению Обрядина, когда экипаж вышел из танка помочь саперам. Сложив оружье в сторонку, мотопехота совместно с ними прорубала крутую дорогу сквозь нависшую осыпь или подтаскивала к мосту многометровые тесаные брусья; они представлялись лучинками в присутствии самоходных орудий, тридцать-четверок и танкеток, что в просторечии войны зовутся *малютками,* — встревоженное стадо, сбившееся у водопоя. В обступившем артиллерийском грохоте не было слышно ни дробного стука топоров, ни шума незаглушенных моторов; те, наверху, могли подумать, что товарищи просто отсиживаются от бури, не торопятся, стремясь насладиться терпким запахом смолевого дерева, прежде чем войти в горячий смрад машинного боя; но они торопились, так как немецкий наблюдатель должен был когда-нибудь разгадать значение щепы в медлительном зеркале Стрыни... Тут пошел снег.

И опять железное войско ждало своей ракеты, пока танкисты яростными жестами бранились с саперным капитаном и все показывали на обрыв, откуда при каждом сотрясенье струился мелкий, еще не намокший песок; более нетерпеливые и злые спустились в реку и шарили брод по пояс в воде... Уходя к своим на подкрепленье, Собольков не забыл взглянуть на приборы водительского щитка. Температура масла достигала 105°, — судя по запаху, главный фрикцион был перегрет, для воды оставалось лишь три деленья на циферблате. Не столько тяжкий путь по пашне был причиной такой перегрузки, сколько волнение водителя, который с непривычки к огню явно задергал танковое сердце. И лейтенант мельком порешил дать при случае полную волю Литовченке, чтобы тот упоеньем танкового могущества исцелился от ребячьей и такой понятной нерешительности. В эту минуту Собольков и разглядел Кисó в потемках танка. Неизвестно, когда зверь успел забраться в свою походную квартиру, и представлялось уже несправедливостью выкидывать теперь за борт этого вполне заслуженного ветерана. Таким образом, на операцию экипаж уходил в полном составе.

Литовченко видел через люк, как лейтенант поднял котенка и, прищурясь, заглянул ему в глаза.

— Что ж, воюй, Кисó, зарабатывай себе место под солнышком, — сказал Собольков и, поймав на себе взгляд Литовченки, стал выбираться из танка. — Вот, посмотрим, что она означает... тихая и грозная судьба человека, — добавил он совсем непонятно, глядя на высокий берег с вихрами седой и мокрой, трясущейся травы. — Только помни, Вася... судьба не тех любит, кто хочет жить, а тех, кто победить хочет! — Голос был не прежний, собольковский, да и поучение относилось скорее к самому себе, чем к этому простодушному пареньку,— как следствие собственного минутного замешательства, нехотенья чего-то или от горечи внезапного открытия, что и жизни сам он жаждал не меньше, чем победы.

Литовченко зарделся, ему стало неловко от непривычной командирской откровенности, хотя в сущности ничего стыдного не случилось; кроме того, он еще не знал, что означает взрослое городское слово *судьба* и что полагается отвечать в таких случаях. Он поднял на лейтенанта

прямые ясные глаза, и тогда, смутясь, тот ушел поспешно, запретив водителю далеко отлучаться от машины.

При самом беглом взгляде на окрестность делалось понятным запоздание с переправой. Судя по незаконченным окопчикам, еще недавно здесь пыталась закрепиться горстка немецких автоматчиков и ее вышибали отсюда врукопашную, ценою потерь с обеих сторон. Литовченко обошел место схватки, всматриваясь в лица павших. Хотя *это* сглаживает различия, их легко было распознать издали, — немцам не успели выдать в срок маскировочные халаты. Враги лежали рядом, иные почти в обнимку, как бы продолжая сражаться и теперь. Наших было меньше; один — рябоватый, смуглый и скуластый — лежал на спине, грудью навыкат и с закинутой под голову рукой, как спят богатыри. Глаза были открыты, губы растянула полуулыбка, словно среди пасмурного неба встало вдруг над ним жаркое казахское солнце. Снежинка упала в его округленный покоем зрачок и не таяла. Литовченко отвел взгляд к артиллерийской воронке, которой не заметил вначале... На дне ее скопилась подпочвенная вода. Там валялся обыкновенный, весь целый, гитлеровский солдат. Ноги тонули в ледяной жиже, а руки были широко раскинуты, будто обхватить хотел ее всю, украсть, унести с собою — чужую землю вместе с ее сокровищами, святынями и этим тоскливым хлюпающим снежком... но оказалась тяжела, и нехватило объятий, и он поник тут, пугало Европы, бессильный даже отряхнуть снег с былинок, торчавших меж его разведенных пальцев.

Он мог бы рассказать много, этот солдат, — как росла, крепла и потом сокрушилась германская мечта о самородном русском золотишке в распадах сибирских гор, о тучных рыбных стаях в тесноте полноводных рек, о волшебных куполах, всегда манивших немецкое око, о самом солнце, что нисходит на землю в этом государстве в обличии нефти, хлопка, пшеницы и вина; он мог бы похвастаться, как началось бредовое шествие железных пауков по чужим столицам, этим начальным ступенькам к синим хребтам, за которыми раскинулись блаженные страны Азии, земной рай с даровым шнапсом, где закуска растет на деревьях, где гурий можно брать на гробницах непобедимых царей Востока, где дозволено, наконец, утолить темное зверство, прикрытое веками германской дисцип-

лины. Это была бы длинная повесть, как они отправлялись в поход, провожаемые криками женщин: «Убивайте их, убивайте в Америке и Азии, убивайте везде... мы отмоем ваши руки!» — и как их встретила непогодная пучина России, где поржавело их железо и обвяла душа, и как они, огрызаясь, ползли назад с распоротым брюхом, и каждый камень рвал им внутренности, и каждый куст стрелял вдогонку. Он знал много, но мертвые — плохие рассказчики. И хотя украинский тракторист не умел проникать в знаменья истории, он догадывался, над чем улыбается невдалеке спокойный и чуть иронический казах.

Завоеватель лежал в позе вора, стремящегося уползти, с подогнутым коленом и уткнувшись лицом в борт ямы. Белобрысый затылок напомнил Литовченке минуту, шрамом оставшуюся в памяти. Рядом, затоптанные в снег, валялись улики — автомат, походная шарнирная лопатка и еще какой-то неузнаваемый утиль войны. Литовченко увидел опрокинутую каску. Он пошевелил ее носком сапога. Талая вода кривой струйкой, как из чайника, полилась из пробоины. Дыра приходилась над самым надбровьем, с лучами трещинок, как кокарда; прицел русского стрелка был хорош. Кто-то встал рядом с Литовченкой, но он не пошевелился, как зачарованный следя за струйкой.

— Не тот, что на мамку замахивался? — спросил голос над самым ухом, когда каска опустела.

Это был Дыбок. Не насмешка, а лишь нетерпение читалось в его заметно похудевшем лице; ему хотелось скорее исполнить всю черную работу: с того и начиналась его большая и умная житейская дорога.

— Не-ет... тот постарше и с плешинкой был, вот тут, — нехотя протянул Литовченко и показал на затылок; но даже не в плешинке было различие, а в том, что не доставило душе сытости созерцание этого застигнутого на месте вора.

— Ищи его, парень... крепко ищи! Не только врага, но *себя* прежде всего ищешь... — с особым значением сказал Дыбок.

— Где-то рядом ходит, всякую минуту чую его близ себя...— начал было Литовченко и вдруг побежал к машине: уже падало над лесом алое яблочко сигнальной ракеты.

Дорога вверх была открыта, но одна дружная батарея без труда истребила бы здесь, в проходе, целый корпус, по мере того как он стал бы выбираться из низины. Какой-то чудак, в пылу усердия, раскидал дымовые шашки вдоль берега, не загадывая, что из того получится, и теперь немецкая артиллерия перенесла огонь по этой подозрительной клочковатой тьме, что, подобно чернилам в воде, распускалась во все стороны. Она клубами стекала с обрыва, ее рвали смерчи разрывов, в нее, как в туннель, незримые и незрячие, уходили облепленные десантниками танки. Одновременно немцы разглядели обрезки теса в реке. Десяток тяжелых мин с большим перелетом упал на пойму. Если бы Собольков вскочил в свой люк мгновеньем позже, он увидел бы, как, пошатываясь и с раскинутыми руками, с земли поднимались мертвецы, точно возобновляя рукопашную схватку, и это нестерпимое зрелище стало бы заключительным в его жизни... Советские батареи открыли ответный огонь.

С полуоткрытыми люками, чтобы не протаранить соседа и не свалиться с обрыва, танки распространялись в чернильной ночи перед броском в атаку. Еще до того, как вышли из завесы, Дыбок принял по радио хриплую команду *одиннадцать,* что, по условию, означало: *«развернись»,* и следом за тем — *«сорок два».* Больше приказов не поступало: у двести третьей осколком сбило штырь антенны. Не сразу пришло в память, чего требовала последняя команда — заходить углом слева или увеличить скорость; Собольков приказал и то, и другое... Всё смешалось и загремело. И оттого, что каждый раз в бою надо приспособляться к обстановке и даже смириться с чем-то, все пока молчали, кроме лейтенанта. Три души, три человеческих педали находились подле него, и он жал на них словом, шуткой и авторитетом, доводя отвагу до уровня самозабвенного ликования, — без этого немыслимо преодоление животных инстинктов, которыми жизнь вслепую обороняется от гибели. Казалось, провода переговорного устройства приникали к самому мозгу, и туда до боли громко кричал что-то Собольков в похвалу двести третьей, ее прочности и резвости, а Литовченко односложно откликался, всем телом вслушиваясь в ровное машинное биенье за спиной. Ему то чудился подозрительный звон в трансмиссии, то мешал четкий и частый стук о броню,

точно кто-то просился войти снаружи; ни разу не побывав под крупнокалиберным пулеметом, он с отчаяньем принимал эти звуки за прощальные сигналы десантников, вдруг ставших ему ближе всякой родни.

Те еще держались, хотя огненный ветер обстрела сдувал все постороннее с брони. Танки приближались к переднему краю. По существу, до этого места курс двести третьей зависел скорее от удачи да еще от того, с какой стороны возникала глыбистая падающая тьма, — чем от уменья водителя. Только теперь Литовченко привык к скачкам смотровой прорези, — она то надвигалась, то уносилась вдаль, то становилась почти вертикально, когда хлестала бортовая волна. Сперва он различил лесок впереди и перед ним бугристое поле, где метались разрывы; затем он увидел стрелковую цепь, частично залегшую в чистом поле и местами уже выбитую из обороны. Тяжкий минометный огонь шествовал по черте окопов, и еще шустрые вихорьки сверлили посеревший снежок. Здесь можно было оценить черный и страшный труд пехотинца. И одни, не оглядываясь и слегка подымая винтовки, указывали проходы своим танкам, другие же лежали как-то слишком смирно, точно внимали ласковому и последнему напутствию родной земли, которую защищали.

— Вот она, наша мотошомпольная, — смешливо и резко крикнул Обрядин, когда на мгновенье заглох мотор, точно испугавшись черной тени, с грохотом прошедшей мимо. — Заметь, обожаемый Вася, лежат, как львы, и непримиримо смотрят в сторону врага!

Его смаху оборвал Дыбок:

— Это всё земляки и братья твои лежат, чорт усатый. Полежал бы сам на мокром пузе... и полежишь еще у меня! — заключил он, точно он-то и был командиром.

Обрядин был умней своей шутки, которую придумал единственно для ободрения водителя. Как раз перед тем болванка прочертила, как полозом, путь перед двести третьей, а гусеница дрогнула, точно наехала на камень, и была опасность, что Литовченко сожжет диски сцепления. Собольков понял это с запозданьем и сразу забыл, потому что именно тут и увидел зайца.

То было единственное живое во всем поле, не имевшее отношения к войне. Обезумев от рева и пламени боя, он мчался наугад, весь белый, ясно различимый на темной

исковырянной пашне. Иногда он останавливался, вскинув уши, приподнимая удлиненное страхом тело, и смотрел, все еще невредимый, как рушатся громады огня и воющего праха, и исчезал, припадая к снегу, чтобы снова превратиться в неуловимый глазом белый пунктир. Должно быть, заячий бог хранил до поры и, как перышко, нес его пушистую, невесомую от ужаса шкурку; по неисповедимому заячьему провидению, он мчал ее прямо на немецкие траншеи. Он заведомо хитрил, сбивая с толку, показывая зверька одновременно в десятке мест по фронту атаки, и получалось, что именно за ним, повторяя его зигзаги, разя с ходу орудийным огнем, гнались шесть неистовых тридцать-четверок, как если бы он-то и был призом в этой беспримерной охоте. Они настигали, он метнулся, угол курса резко изменился... Застылая, наклоненная жижа блеснула под танками на дне окопа, и в нем, с поднятыми руками, стояли недвижные, как на фотоснимке, какие-то зеленые — значит, не русские люди; иные как будто падали и всё не могли упасть. Теперь уж и собственной стрельбы не слышал экипаж, и верилось: одной силой гнева и взгляда своего роняет их Собольков. Тогда-то, каким-то образом разглядев в своей неудобной щели, Обрядин и доложил лейтенанту, что противотанковая пушка справа, у кустов, тоже настоятельно просит своего пайка. Только он выразил это в одном каком-то неистовом, неповторимом слове, действия стали короче, чем их словесные определения, и приказания отдавала сама мысль.

Они увидели пушку: радист скорее догадался о ней. Это ее снаряд прошумел по башне и огненной вишенкой рикошета ушел в небо; это она била в упор по собольковскому танку. Ее мишень сделалась невыразимо огромной и такой близкой, когда промах следует считать чудом, но живое белое пятно, которое перепуганный заячий бог швырнул из снегопада под ноги орудийному командиру, отвлекло на миг внимание расчета, и это решило его жалкую участь. Собольков крикнул *дави,* когда сорванный ствол наполовину углубился в землю через живот наводчика под натиском двести третьей, когда Обрядин заряжал пушку для следующей цели. Ни шороха, ни стона не дошло до Литовченки; нет, не такого удовлетворения искал он в ту, первую свою бездомную ночь!.. А уже немецкие танки выходили на огневой рубеж, обте-

кая поле боя, и наши ускорили свой бег им навстречу. Так началось это грозное соревнование снаряда и брони, техники и воли, начальных скоростей и скрытой энергии взрывчатого вещества, а прежде всего—людей двух миров, расстояние между которыми не измеримо земною мерой.

Тут можно было видеть, как наши пятнистые громадины обминали края немецкого окопа, облегчая подход отставшим из второго эшелона, а по полю, кидаясь дымками, вливалась в прорыв мотопехота,— как советский танк, забравшись во вражескую гущу, стоял без башни и дымные космы подымались из страшной дыры, а стальной шишак богатыря валялся рядом и четыре врага факельно горели по сторонам, как бы почетный эскорт, сопровождающий героя в небытие, — как люди со звездочками на ушанках, крича слово *Сталин,* вступали в поединок с глыбой крупповской стали и она никла, дымилась, крутилась на порванной гусенице, как дьявол от магического заклинанья. И если только не ветер преждевременной ночи — значит, беззвучные всадники в бурках мелькнули вдалеке, где жарко пылали подожженные стога...

Литовченко заметил на развороте лишь часть этого стройного в своей беспорядочности движенья тел, металла и огня, но и это малое вызвало в нем знакомое по детским снам чувство полета через бездну. Ритм схватки усилился; все ожило, кричало, взрывалось; убивал самый воздух; предельно напрягались скрученные дымовые волокна его мышц, и мертвые уже не попадались на глаза живым, чтобы не ослаблять их броска к победе. То была мускулистая, могучая жизнь битвы; смерть, подобно собаке, тыкалась в ногах у бессмертных, чтобы урвать крохи с их великанского пиршества. И все это, как живая вода, нужно было нам, гордой и яростной нации, которая, восстав для великих дел, хочет жить вечно и глядеть на солнце орлиными очами!

Опять события опережали ленивое, неточное слово. Рука, отшибленная при откате казенника, с трудом закладывала очередной патрон, но Обрядин пока не чувствовал боли. Собольков еще ждал, когда догонят его отставшие танки, а они уже далеко вправо и впереди ломали и мололи вражескую оборону... Там двухметровая гряда, род естественного эскарпа, пересекала поле вдоль реки. На длинную и, казалось, последнюю ступеньку перед славой

хлынула теперь тридцать седьмая, чтобы, восстановив утраченный строй, ринуться на штурм Ставища; вкруг него и решалась судьба Великошумска. Село виднелось как на цитадели, за сбившимся в кучку леском, откуда били тяжелые немецкие батареи. И если туда передвинулось теперь самое главное этого кромешного дня, — значит, неправду утверждал Собольков, будто судьба боя решается там, где находится двести третья!.. Временно укрытая от обстрела, бригада как бы взрывалась сейчас, распространяясь в обе стороны и давя дзоты, размещенные по скату. Их было там насовано, как ласточкиных гнезд в речном обрыве; звук был такой, точно и впрямь яйца хрустели под тяжелой поступью бригады. Один из них, в особенности хлеставшийся огнем, достался на долю двести третьей; пулеметы царапали ее триплексы, в предсмертном ожесточении стремясь хотя бы ослепить машину, но она уже вошла в гнездо, как поршень, бельмастая и неотвратимая, и накренилась, вгрызаясь левой гусеницей, и вдруг осела, и это полуметровое падение также напомнило чем-то Литовченке пробужденье от детского сна. Все обстояло хорошо, если не считать временной слепоты танка да обрядинского ушиба. Рука плохо сгибалась в локте, но какое-то дополнительное злое озорство зарождалось из тупой, неотвязной боли; кстати, Обрядин никогда подолгу не таил в себе обиды.

— Дозвольте обратиться к водителю, товарищ стрелок-радист, — перекричал он мотор, пользуясь маленькой остановкой для последующего маневра, и, не дожидаясь позволенья, осведомился у Литовченки, что он испытывает теперь, глубокоуважаемый Вася. — Не укачивает тебя маненько, не беспокоит, не трясет?

— Щекотно будто...— жарко и с придыханьем ответил тот, задним ходом выводя машину из крошева.

Этот дзот был последним. Пользуясь передышкой, водитель выбросил левый триплекс, где ни на сантиметр не оставалось прозрачности. Стало видно, как необыкновенно крупный, ватными клоками, валил снег. Смеркалось, — все же Литовченко разглядел кровь на куске плексигласа. То была его собственная, так что вовсе не от пота прилипала к рукоятке фрикциона его растертая ладонь. Пришлось замотать руку тряпкой, Дыбок впервые выступал в роли санитара, — это также заняло щепотку времени.

Обрядин успел, кроме того, дать наставление водителю, чтобы теперь в особенности берег лицо от пулевых брызг, и даже начать рассказ, как угостил однажды того же бессменного товарища Семенова Н. П. зайчатиной, вымоченной в коньяке, чем и ввел свою жертву в глубокое поэтическое ошеломление. Случай пришел в память от неосознанного пока убеждения, что только заяц и спас их от прямого вражеского попаданья. Он оборвал повесть на том месте, когда помянутый Семенов лично пожаловал на кухню показать московским гостям этого невероятного художника пищи; он оборвал, чтобы коснуться пальцев лейтенанта, лежавших на штурвале орудия.

— Ты чего... чего замолк, Соболек? — пронзительно, в самую душу заглянул он. — Хочешь, у меня во фляге есть... непочатая. Одна хозяйка домашнего *кваску* на прощанье налила... понятно? — И он прищелкнул языком для обозначения обжигающих достоинств напитка.

Он и с женщинами не бывал так настойчив и нежен, но лейтенант не ответил. Высунувшись из люка, тот сделал вид, что вглядывается в сумеречное поле; оно приходилось на уровне головы. Двести третья оказалась левофланговой. Бригада ушла вправо, по лощине, куда перекинулся и грохот битвы. Прямо перед Собольковым подковкой лежал бугорок, и в неглубокой впадинке ее, подобно мотыльку, сновала взад и вперед какая-то тридцать-четверка, в суматохе боя вырвавшаяся наверх. Три больших немецких машины, прикрываясь снегопадом, двигались в обхват этого места, изредка стреляя, в намерении выпугнуть жертву из норы. Загонщики заходили на большом радиусе, ближняя находилась в створе со своей будущей добычей; вступать отсюда во фронтальный поединок с ними было для двести третьей вполне рискованно. Видимо, по неисправности орудия тридцать-четверка не отвечала на огонь, и ей уже нельзя было бежать, не подставив корму под прицел охотников.

Собольков признал их скорее по калибру грузного лаистого звука, чем по контурам, источенным снежной мигающей мглой.

— *Тигры,* смотри, ребятки: *тигры!* — твердил он, словно и остальным был доступен такой же круговой обзор, как из командирской башни. — Сволочи, губители... ну, сейчас мазнет — и, уже не понимая нелепости своего

решенья, бессознательно прикидывал, успеет ли добежать туда один, с противотанковой гранатой.

Не было бы ему лютее муки — смотреть из безопасности, как станут расстреливать безоружного товарища; сперва расколют ему железный череп и разорвут бока, потом в три длинных клюва будут долбить костер, пахнущий газолем и горелой кожей. Представлялось неразумным отвлекать огонь на себя, но, как часто случается в бою, доводы разума пересилились стихийным побуждением сердца. Собольков дал выстрел по правому, дальнему *тигру;* он и сам не понял, чтó произошло... Такой удачей не дарит война даже прославленных танковых ассов. То была не меткость, скорее совпадение, стоявшее на грани несбыточного. Так, значит, победить он хотел все-таки больше, чем жить в желанном послевоенном яблоневом саду!.. Он попал в самый ствол *тигра,* в черноту его орудийного зрачка; 76 хорошо разместилось в 88; двести третья как бы заткнула ему пасть куском своего железа, и та огненно распалась: короткий обрубок торчал теперь из шароустановки немецкого танка. В эту минуту Собольков и принял решение. Здесь его не остановили бы даже минные поля, слишком возможные в этом подозрительно чистом и девственно нетоптанном снегу, потому что подвиг и есть пренебрежение собой ради величайшей цели. Вдруг какое-то исковерканное несуществующее слово, означавшее даже не полет, а стремглавое орлиное паденье на добычу, вырвалось у него сквозь зубы. Только Обрядин, больше всех понимавший лейтенантское сердце, сумел перевести это на язык военной команды.

— А ну, дай копоти, сынок! — гаркнул он Литовченке; хорошо осведомленный, чем кого угощают в разных случаях жизни, он не требовал у командира, чтобы тот заблаговременно заказывал ему артиллерийское меню.

Весь дрожа, на самом малом газочке, Литовченко бережно стронул машину. И время стало маленькое, время молнии, в которое она успевает родиться, ослепить вселенную, ужаснуть живое и погаснуть. На счастье, не пришлось и разворачивать танк: он и без того смотрел пушкой влево — туда, откуда выгодней всего представлялось контрнападенье. Литовченко выжал газ почти до конца, так что даже хрустнуло в колене. Двести третья пошла на предельной скорости и с легкостью, порождавшей недо-

верчивую улыбку. Было что-то живое в том, как свистел мотор и просил еще ходу. Видимость почти пропала: чем быстрей движенье, тем темнее ночь. Вьюга крутилась в танке, — шли с открытым люком. Снег залеплял лицо водителя, но тот все забыл, забыл даже, что где-то поблизости находится крутой речной обрыв, забыл боль, самое тело свое забыл, лишь бы не терять из виду скачущей ленты чернобыльника, обозначавшей правый скат эскарпа. Рычаги ему выламывали руки, ветер гонки срывал односложные восклицания с закушенных губ, а лейтенант все давил ему ногой в плечо, словно в водительской воле было вырастить крылья у танка... Обратная дорога на Алтай, кратчайшая и единственная, проходила лишь через победу, и дочурка не упрекнула бы Соболькова, что плохо к ней торопился Собольков!

Поворота вправо не попадалось, гонка становилась бегством от цели. В эти считанные мгновенья и могло произойти убийство наверху. И опять судьба зловеще улыбалась Соболькову, прежде чем отчаянье остановило его лютый бег. Она разрезала лощинку пополам, и правый ее рукав под острым углом вывела на поверхность, в заросли густого кустарника, красноватого даже во мгле... Точно секундомер лежал в руке судьбы: охота еще не кончилась, только метания застигнутой тридцать-четверки стали суматошней и короче, так как сократился сектор ее укрытия. Вовсе не поломкой орудийного механизма объяснялось ее бездействие, а просто, израсходовав боезапас, она сберегала свой заключительный выстрел, последний из ста пяти, чтобы жалить наверняка. Значит, дождалась она своей минутки, и если только не дьявол, длинный и на раскинутых ногах, стоял на правом фланге, — и огненные мышцы просвечивались сквозь черные струйчатые сапоги! — так это подбитый ею немец исходил серым смертным дымом. Зато два других, увеличив радиус нападения и по существу уже без риска подступали к ней лобовиками вперед, а она вертелась всяко посреди все новых и черных ям. Как змей, вертелась она, лишь бы стать лицом к врагу, лишь бы умереть не спиною к полю боя!.. Слышно было, как задыхался ее мотор, как сипло кричал ее командир, что Сталин, который смотрит на них теперь, еще придет на выручку своим танкистам, и как ветер выл в пустом стволе, и даже как сердце билось у товарищей —

тоже было слышно на двести третьей... Все это, разумеется, не было вполне достоверно, но то, что глазом и ухом не различал Собольков, ему безошибочно подсказывала танкистская душа; именно так, в равных условиях, поступал бы он сам.

9

Маневр получал блистательное оправдание; даже стоило устрашиться в иное время, не слишком ли судьба баловала Соболькова. *Пантера* и вовсе не *тигр,* как оказалось, проходила всего в ста метрах, да и ощущение этих ста следовало наполовину отнести за счет метели и потемок; она проходила в профиль, дразня широким граненым задом вскинутое на подъеме жало двести третьей. Собольков ударил ее еще раньше, чем Литовченко вогнал машину в кусты; он ударил ее дважды — аккумулятивным снарядом и тотчас же, не меняя прицела, подкалиберным в живую мякоть у подмышки, над вторым сзади катком, где кожа *пантеры* утончалась до 45 миллиметров. Это было все.

Он испытал слабую ноющую усталость в руке, как если бы лично поразил коротким толстым ножом и повернул его в спине зверя. Двести третья стояла с открытыми люками, вся на виду, и потому экипаж мог в подробностях наблюдать это, недоступное ни на одном полигоне мира... Невыразимый полдень шумно рванулся из щелей *пантеры,* неправдоподобных, дырчатых и косых, а плита командирской башни отлетела, чтобы запертое солнце могло выйти наружу. Литовченко сменил место не потому, что слепительный свет превращал самое двести третью в мишень, а из желания укрыться от огненной измороси, от которой горел даже снег. Сам Дыбок — холодный, рассудительный Дыбок — поддался колдовскому очарованию зрелища:

— Хлебни русского кваску... Вот он, эликсир жизни, пусть напьется досыта, — запальчиво шептал он, но какое-то гордое достоинство мешало ему еще и еще бить из пулемета по пламени, хотя и чудилось, враг еще полз на одной гусенице и с вулканом в брюхе: так вихрился оранжевый пар вокруг него.— Выпей русского кваску... пей!

— Культурно сделано, Соболек, — похвалил и Обрядин сквозь зубы, срывающимся голосом, точно заправдаш-

няя малярия трясла его. Поглядела бы одна из его бабенок на нынешнего Обрядина — он был как мальчишка, пропала хваленая его степенность. Высунувшись из люка, он выставлял лицо в этот неистовый свет: душу, ознобленную близостью гибели, ласковей солнышка греет жар горящего врага. — Эй... пол-литра с тебя, товарищ! — гаркнул он вослед громадной тени спасенной тридцатьчетверки, шмыгнувшей через самое место их недавней стоянки. — Натерпелись, болезные... — сочувственно проводил он ее, когда как бы рассосалось в снежной тьме самое ее вещество.

— Похоже, мы у них тут целый зверинец разбудили. Смотри, еще один прётся, — сказал потом Дыбок, когда остыла первая радость удачи. — Так оно и есть... Не люблю я в ночное время *фердинандов,* товарищ лейтенант! — То было тяжелое самоходное орудие, германская новинка того года, прозванная так, по объяснению Дыбка, за сходство с профилем носатого болгарского царя, которого довелось ему видеть в старой *Ниве*.

Фердинандом оказался тот, что двигался в центре облавы. Он засветил фару; судя по перемещению светового эллипса на снегу, он разворачивал свое неуклюжее тело, идя на сближенье. Два звука слились попарно; кроме того, двести третья стреляла еще в промежутке, — были напрасны все пять залпов. В такой непроглядный вьюжный вечер успех решался не тем, кто железней или метче, а удачливей кто. Двести третья пятилась назад, и тогда случилось то, уже совсем невероятное, о чем до поздней старости обожал живописать внучатам ветеран великой кампании, Василий Екимович Литовченко. «Волос на мне дыбочком встал, — рассказывал он, гладя лысину, и ему верили не больше, чем Паньку Рудому, знаменитому его земляку. — Думаю-думаю, как же мне поступить при такой бисовой оказии...» Но если бы это «думаю-думаю» длилось у него в тот раз дольше секунды, никогда бы не узнали про этот случай маленькие, затихшие в страхе украинцы. *Фердинандов* стало два, потом сразу четыре зажженных луча пронизали взвихренную метельную неразбериху, да еще какой-то блудливый, так и не разгаданный огонек добавочно запетлял и заюлил в поле. Верно, они плодились там, ночные твари, вылезая друг из дружки, и, действительно, замогильная чертовщинка миргород-

ского пасечника представлялась, в сравненье с этим, поэтической выдумкой, навеянной шелестом вишен в благодатную южную ночь... Пользуясь даровым освещеньем от собрата, пылавшего, как солома, дьяволы разили из всех своих жерл, и двести третья поступила по меньшей мере правильно, заблаговременно и без выстрела спустясь назад, в низинку.

Бежать отсюда было хорошо, горящая *пантера* служила достаточным ориентиром, пока не взорвался ее боеприпас. Она исчезла с ловкостью привидения, оставив по себе глухое эхо, дырку в снегу, дождь железных клочьев и вспышку, как от адского магния... Двести третья мчалась, петляя, и *на бога*, потому что любое на свете было лучше прямого полупудового клевка в корму, — мчалась, заведомо углубляясь в расположение противника, мчалась, пока не отстала погоня. Последние выстрелы легли далеко в стороне, все погасло, самое окошко люка потерялось во мраке. Возбуждение успеха охладилось, на смену пришли озноб и голод; Обрядин, кроме того, вспомнил про разбитый локоть... Литовченко промолчал на вопрос лейтенанта, видно ли ему хоть что-нибудь на дороге; промолчал из боязни выдать голосом щемящую тоску, меньше всего происходившую от метельной неизвестности ночи. Следовало убавить ход до самого малого; так и сделали, но было поздно. Центр тяжести вполне ощутимо, шарообразно перевалился вперед, инструменты гремуче двигались по дну танка. Горный тормоз не остановил скольжения. Все одновременно ощутили, как пучина дохнула на них холодом.

«Вот оно, то самое, двадцать второе число...» — со странной вялостью подумал Собольков, клонясь на пушку. Машина весом сползала вниз, с заметным уклоном влево. Обрушилась левая гусеница, Литовченко вслепую и немедля выправил движение, и стоило отметить выдержку новичка, хотя нигде его не обучали, как падать в реку с наименьшим повреждением. Теперь танк полувисел на месте. И опять опоздало тело; команду *стой* Собольков подал, когда был включен уже и задний ход. Не жалея ничего, водитель до бешенства разогнал мотор, но оно не могло длиться долго — единоборство хотя бы и пятисот лошадиных сил с законом тяготенья. Земля одолевала, она стаскивала людей с сиденья, и это было пострашней поединка с *фердинандом*.

— Спокойствие, лейтенант, спокойствие... — чудовищно ровным голосом крикнул Дыбок в микрофон, точно ему принадлежала власть в танке, точно знал, что пока сам он здесь, товарищам не грозит несчастье.

В передний люк хлынула вода. Упираясь рукой в американскую картинку, Дыбок включил аварийный свет на плафоне рации; он увидел неподвижное от натуги, откинутое назад и в снежной маске лицо соседа. Шустрая пена, бурля и заполняя щели, вилась вкруг колен. Вдруг свет погас, пора было кричать: *вылезай, топимся,* — но все молчали, неживая сила придавила их волю. Дальше пояса вода не поднималась... Кое-как оторвавшись от танка, Обрядин выскочил наружу. Прошла вечность, и, может быть, две вечности сряду, когда он появился опять, невредимый, сухой, даже веселый.

— Глуши мотор, Вася... кажется, приехали, — оповестил он сперва собольковским голосом, потому что мотор еще работал, с поминутным кашлем и во весь мах своих двенадцати цилиндров; загляни сюда *тигр,* он мог бы спокойной лапой добивать двести третью до последнего пламенного вздоха, целясь на выхлоп. И когда Литовченко стащил с педали онемевшую ногу, Обрядин прибавил уже собственным в раздирающей уши тишине: — Приехали к теще в гости. Эва, на горочке с блинцами стоит. Выгружайтесь, граждане, помаленьку!

В сухом верхнем кармане гимнастерки у Дыбка нашлись спички. Их было семь. Головки с шипеньем отлетали, норовя в глаз; на коробочной этикетке было напечатано, как вести себя советскому гражданину во время войны. Зажглась четвертая, и пока не притушил ее хлопок снега, главное успело отпечатлеться в зрачке. Танк держался на скате стандартного немецкого рва, кормой вверх и с перевесом левого борта, — как в ночь разгрузки, когда комкор читал наставление новичку; машина опрокинулась бы на большей скорости. Вода достигала третьего катка; две широких колеи, прорытых гусеницами, круто уводили в черноту, смолянисто блеснувшую при вспышке. Собольков не успел различить стрелок на часах, — было скорее пять минут девятого, чем без четверти час, но и в первом случае событий явно недоставало на такую уйму протекшего времени. В суматохе дня, видимо, проскочили еще какие-то происшествия, не оставившие в

памяти следа. По сходству с собственным их положением Собольков припомнил только, как они вытаскивали из воронки одну завалившуюся *шестидесятку,* но эпизод тотчас поблек и затянулся как бы тинкой.

— Я уж думал, нас в подводную лодку за заслуги произвели, — пошутил Дыбок, но все не шибко поверили, что ему веселей, чем прочим.

Так они стояли, трое, молча и бездельно, без мыслей и усталые до степени равнодушия к тому, что случится с ними на рассвете, когда найдет и распорядится их жизнью мимоходный немецкий броневичок. Вдруг, опустившись прямо на снег, Дыбок принялся снимать сапоги; натекшая вода могла повредить его здоровью, необходимому для великих будущих дел.

— Не разберу... морозит или это малость озяб я? — спросил он ни у кого и зевая нарочито громко, словно это могло подбодрить товарищей.

Значит, не все еще кончилось здесь, у жирной итоговой черты в безвестном поле. Собольков поднял голову.

— Вася, — позвал он негромко, потому что теперь стало можно говорить и негромко. — Чего ж тебя не слышно, Вася?.. Ты где, чудак, а? — говорил он, обходя громаду танка.

Снег падал реже, чуть посветлело. Черно было сейчас на земле, и вот, в утешение, выдали ей где-то за бетонными облаками скупой и тонкий ломтик луны. Лейтенант увидел своего механика-водителя. Литовченко стоял с обратной стороны, прижавшись к гусенице, вздыбленной над его головой. Он весь дрожал, когда Собольков коснулся его лица, он так дрожал, что именно это ощутил сначала лейтенант и лишь потом — живую горячую влажность на кончиках своих онемевших пальцев.

— Вася, ты о чем?.. остыл, что ли? Да нет, погоди, не отворачивайся. Ты толком объясни, в чем дело? — шептал он в самое ухо, заслоняя от товарищей; тем временем подошли и остальные.

— Машину жалко... — всхлипывая, признался Литовченко и ребячливо, мокрой тряпкой, размотавшейся в ладони, тер свои безволосые щеки. — Я же знал, куда мы катимся... вот и запорол! — Но он еще умолчал о главном: — что все позапрошлые ночи снился ему сам Сталин, но не такой, каким его знает мир, а вполне обыкновенный,

с черными усами, как у Екима Литовченки; он наказывал хлопцу беречь двести третью, потому что из ста тысяч она самая дорогая у него, и какое-то сытное заветное слово, пароль победы, как колобок в дальнюю дорогу, клал ему за пазуху души... Вдруг новый приступ горя потряс паренька; сорвав шлем, плача и весь подавшись вперед, он закричал товарищам, что стрелять его надо за это, именно так, как делали немцы с детьми: — В рот, в рот мне за это надо стрелять!..

На войне нет ничего страшнее плачущего солдата, и не надо его останавливать, пока не выгорит отчаянье до конца. Экипаж молчал; они тоже были однажды новичками, как и этот чумазый хлопец, — такой чумазый, что и вековухи отворачивались от него на стоянках. Зато платок любимой девушки можно было уронить на дно трансмиссионного отделения в его танке, и, незамаранный, спрятать назад в кармашек. Им нравилась скрытная мальчишеская гордость Литовченки, когда ему доверили шрамистую, прославленную двести третью, и, верно, до его крестьянского сознания достигла ужасная, совершенная в глазах современников целеустремленная красота советской тридцать-четверки... Кроме того, эти люди понимали, что только настоящий человек может требовать справедливости и подвигу своему, и оплошности.

— Сердечко не выдержало... — сочувственно буркнул Обрядин, толкнув локтем командира и держа наготове бачок для питьевой воды, налитый на этот раз лекарством от малярии. — Нежную душу и снежинка царапает. Знаю, сам имею такую же!

Литовченко приходил в себя. Он поднял голову и виновато усмехнулся, стыдясь товарищеского внимания. Тогда они подошли ближе, заговорили вперебой, и не различить было, кто и что произносил в той жаркой словесной толчее; даже Дыбок испытал ту особую волнительную размягченность чувств, какой опасался больше всех болезней на свете.

— Эх ты, вояка полтавская! А мы тебя женить после войны собрались. Она ж целая: смотри, ее чорт рогом колупал, да скис. Ее до Берлина хватит пока, а там коли потребуется, еще моторишко попросим... У меня земляк *закудышный* на заводе имеется, замдиректор, тоже художник своего дела... Только малярия его гложет, вроде меня.

А танкисты, брат, особый народ... и не зря им завидует пехотка! — Последнее, чуть ироническое замечание принадлежало Дыбку и так откровенно, хоть и не злостно, было направлено в лейтенанта, что Собольков, нащурясь, даже покосился на него.

Полдела было сделано, водитель возвращался в строй; по степени важности теперь оставалась меньшая половина, — выйти к сроку из немецкой мышеловки. Обрядин поднял шлем и, отряхнув от снега, надел на голову товарища.

— Посушить бы теперь парнишку, лейтенант, — заметил он при этом.

Дыбок с хозяйской властностью заставил водителя сесть на снег и повторить все, что проделал сам незадолго перед этим.

— Ладно, теперь другую ножку, — шутил он. — Выжми, выжми ее потуже. Ишь, сколько воды набрал... куда ее тебе столько! Теперь лезь наверх, погрей ноги на моторе...

— Не холодно мне,— оборонялся Литовчено и вдруг вспомнил, что и Дыбок рядом с ним принимал ледяную купель. — А сам, сам?!

— Э, мне эта штука нипочем. Я телу моему хозяин строгий, — с жесткостью, исключавшей и тень похвальбы, бросил Дыбок; все же озноб мешал ему выразить мысль короче, чем полагалось по его характеру. — Я от тела моего много требую... а то ведь и расчет дам. Оно меня боится! — пригрозил он вслух, чтоб прониклось его волей продрогшее солдатское тело; Собольков подумал даже, что если убьют его, Соболькова, то именно Андрею Дыбку надлежит стать капитаном двести третьей.

— Греться изнутри надо... ну-ка! — осторожно вставил Обрядин, поднося флягу Литовченке. — Та-ак, еще отпей на рупь семьдесят. Хватит! Эх ты, девушка... Ей бы пройтись маненько, покружиться теперь в вихре вальса, товарищ Собольков!

— Верно... — как-то поспешно согласился тот; он руководился тем соображением, что после происшедшего следовало поднагрузить паренька каким-нибудь заданием. — Ну-ка, пройдись, посмотри место на ближнем радиусе.

— Нельзя посылать водителя, лейтенант!..— тихо, под руку, возразил Дыбок.

И оттого, что Дыбок был тысячу раз прав, всегда прав, этот удачник, Собольков посмотрел на него с каким-то пристальным и ожесточенным интересом, как если бы видел его из последующих суток. Он недобро усмехнулся: вот уже и самая правда становилась на сторону его преемника! Глаза встретились, одна и та же мысль ранила обоих. Дыбок смущенно отвернулся, едва прочел, что содержалось в этом взгляде, и тогда Собольков медлительными словами повторил то, что сказали раньше его глаза:

— Не рано примеряешься, Андрюша? Потерпи, я еще живой. — И подтолкнул Литовченку. — Иди, ничего пока не будет... Я тебе велю. Иди!

Ни на один факт не могла опереться догадка: собственные их следы уже замело, и хоть бы зарево или выстрел в пустоте! Жгла и жалила мучительная надежда, что в это самое время тридцать седьмая вступает в Великошумск. Только одна двести третья засела в трущобинке крайнего левого фланга; ей предоставлялось воевать в одиночку, в меру разумения и солдатской совести.

Прежнее ощущение беспомощности постепенно замещалось решимостью на предстоящий, долгий и тяжкий труд. Нужно было передохнуть, поесть, подкопить сил, а там, глядишь, сами собою разъяснятся обстановка и мысли!

Они взобрались на танк. Горячий воздух обильно поднимался сквозь жалюзи мотора. Обрядин слазил за едой. Соскучась в одиночестве, замяукал Кисо́, и всем стало немножко веселей от сознания, что количество их умножилось на единицу. Ему также выдали полагающийся рацион, и он довольно усердно занялся этим делом.

— Давай думать, лейтенант, — сухо и тихо сказал Дыбок.

— Успеем, отдохни... Не торопи войну, Андрюша! Пять минут всего прошло, как сели, — ответил Собольков и снова занялся котенком. — Что, Кисо́, хвост-то намок? Ничего, на войне это и есть главное: будни. А сражение, это уж праздничный день, гуляй, душа! Ешь, ешь... Тебе бы щец со свининкой? Я твою натуру знаю. Не хочешь щец? Ну, врешь, хищный зверь, притворяешься. Ладно, вот закопаем Гитлера, поедем с тобой на Алтай. Новая хозяйка у тебя будет, маленькая и добрая. Все глупые —

добрые, вот почему и умный у нас Дыбок. Небось, злится на меня, памятливый... А ты скажи ему, Кисо́, чтоб не серчал. От этого дружба вянет, волос лезет, здоровье портится. Сказал?.. ну, что он тебе ответил?

Дыбок промолчал на этот шаг к примиренью. И верно, злость в какой-то степени помогала ему бороться со стужей, ломавшей ему кости. Обильный пар стал подниматься от ног, начавших согреваться, и он хорошо знал, что зато потом будет хуже, но нечто неодолимое, *телесное* мешало ему сдвинуть ноги с горячей решетки. Так, злясь на все кругом, он злился в первую очередь на свое затихшее тело... Обрядин пытался сгладить неловкость деликатным посторонним разговором.

— Меню рояль, что означает королевский харч! — сказал Обрядин, смачно надкусывая какую-то особо прочную колбасу. — Что-то мой товарищ Семенов Н. П. нынче поделывает? В артиллерии был... Нет, друзья, я вам так скажу: лучше зима, чем беда... Лучше беда, чем война, а тут все три разом навалились!

— Ты прямо рудник, Сергей Тимофеич, — тотчас заметил Дыбок, аккуратно ножичком надрезая ту же колбасу.

Заведомый капкан таился в этом загадочном замечании, но Обрядин безобидно ступил в него, лишь бы облегчить сердце товарища.

— Всем я бывал у тебя, Андрюша, а вот рудником еще ни разу. Откройся, чем же я рудник, глубокоуважаемый товарищ!

— Я к тому, что... глыбы на редкость ценной мысли в тебе содержатся. Ты бы записывал, чтоб не забыть. Можешь прославиться, как выдающийся светоч человечества. По Волге будет ходить нефтяная баржа под названием *Светоч Обрядин.* Как мыслитель ты в особенности для баржи хорош.

Обрядин со вздохом взялся за флягу.

— Этак скрутят они тебя, злость и холод, Андрюша,— спокойно сказал он, — нельзя. Ну-ка, отпей еще грамм на триста... разом, разом! Не согреет, так дух повеселит.

И Дыбок пил пороховую жидкость, отзывавшую сырцом, а сам безотрывно глядел в хитрую, с дружеской ухмылкой, такую милую ему вдруг рожу Обрядина, который все причмокивал и облизывал губы, спрашивая —

хорош ли, не горит ли на языке, гладко ли проходит в нутро этот жидкий огонь, из которого, видать, и наварила ему того кваску одна скромная богобоязненная женщина на расставанье. «Пей, пей, сколько хочешь, дружок...» — приговаривал он, бескорыстно радуясь за товарища, хотя сам ни глотка не отпробовал с самого прибытия на место. Теперь уже почти совсем не плескалось на донышке. И что-то случилось с Дыбком; он положил руку на колено Соболькову, точно в тисках зажал, и сами сорвались с губ эти слова, каких в иное время и пыткою не выжать бы из Дыбка:

— Эх, лейтенант... — и что-то дрогнуло в его голосе, — хороший народ проживает на моей земле, *мой* народ. Семь раз сряду жизнь за него отдам. Потом отдохну немножко... и еще раз отдам. А только... Вот ты, Обрядин, всему честному миру друг, а ведь ты бы у лодырей королем был!

— Большие реки не торопятся. В океан текут, — как-то неожиданно серьезно и важно ответил Обрядин, хоть и смотрел с прежней хитрой приглядкой его прищуренный глазок.

— Вот, вот, — с горечью сказал Дыбок, — узнаю! Души океан, а спички не зажигаются... Стыну я, лейтенант, валит меня, свалюсь. Пора начинать, — заключил он, поднимаясь, и без команды, сам, полез через верхний люк за лопатой.

Лопата, лом, гранаты — все соскользнуло в переднюю, полную воды, часть танка. Дыбку пришлось как бы нырять туда и шарить в ней на ощупь.

— Лом-то намок, ровно губка... а еще железный, — шутил Обрядин сверху, принимая от него инструмент. — Не утонешь, Андрюша?

— Тут мелко. В Днепре глубже было, — как-то в растяжку, застылыми словами, отзывался тот.

Он потешной шуткой извинялся перед Кисó, которому чуть замочил его палаццо, и не забывал пояснить товарищам, что палаццо есть жилплощадь итальянского феодала; он шутливо осведомлялся, протекает ли в такой же степени снаряжение у настоящих водолазов. Щемило сердце это сдержанное, на звенящей волевой струнке, балагурство. Вот он был каков, Андрей Дыбок с Кубани! Людям следовало знакомиться с ним впервые

даже не в бою, когда отвага сама родится из недр разгоряченного сердца, а здесь, минуткой позже, пока он молча стоял, раскинув руки, и темные талые дырья рождались вокруг него на снегу.

— Эх... отожми водицы сколько можно со спины, — попросил он потом лейтенанта.— Повозиться бы теперь с каким-нибудь ганцем... я б ему ребра в кашу стер. А ну, тронь, тронь меня побольней!—стеклянно крикнул он подходящему Литовченке и в полсилы толкнул его в плечо.

Благоразумно отступив на шажок, тот доложил Соболькову, что и следа немецкого присутствия не обнаружил поблизости, кроме прокинутой мимо стога телефонной линии, которую на свой риск и порезал ножом; метров шесть провода висело у него на руке. Подумав, Собольков решил, что это, пожалуй, правильно, так как война для них еще не кончилась, а на поверку линии выйдут теперь немецкие связисты, и от одного из них можно будет добиться приблизительной ориентировки. Следовало быстро накидать план действий и расставить людей. Лейтенант исправил давешнюю ошибку, на этот раз оставив водителя у танка; Обрядин же, как мыслитель, в особенности годился для земляных работ, — кстати, это ему принадлежало глубокое замечание, что подкопку надо начинать изнутри, чтоб машина не села днищем. Собольков решил взять с собой в засаду Дыбка, который навострился за войну в немецкой речи; ему, таким образом, представлялась возможность погреться в рукопашной.

— Ну, лезь, Сергей Тимофеич, — сказал Собольков Обрядину. — Береги лопату, чтобы не защемило. И помни, выберемся — будем живы!

— Сейчас, дай с духом собраться. Вот она, главная-то малярия! — с прискорбием заметил тот, глядя в темное месиво под танком; он раздумывал при этом: стоит или нет признаться экипажу, что почти не сгибается в локте разбитая рука; и выяснил, что неправильно, не по-товарищески будет это.

Было еще время и помедлить; какая-то живая стрелка в них с точностью отсчитывала время, потребное на то, чтобы немцы обнаружили поврежденье связи, и доложились начальству, и снарядились в путь.

— А не любишь ты воды, Сергей Тимофеич... зря! Прохладная, она закаляет организм. Это тебе надо знать как

ходоку по женской части, — сказал наконец Дыбок. — Полеза-ай!

Обрядин безропотно отправился под танк, отметив вскользь, что уже не Собольков, а как бы Дыбок становится командующим танковыми силами на данном отрезке фронта. В темноте слышно стало чавканье жижи да металлические удары по тракам. Глина детскими горстками выкидывалась наружу, танк стоял недвижен, хотя и Литовченко давно уже в полный мах мотыжил землю по скату рва, вдоль гусеницы. Уходя, Собольков прикинул в уме, что работы хватит часов на пять, если не прервет ее какая-либо внезапность.

10

Он взял с собою провод на случай, если придется вязать *языка*. До стога было не больше метров семидесяти. Уже с полдороги корма танка расплылась в подобие куста. Идя по следу Литовченки, который, к счастью, возвращался из обхода не по прямой, лейтенант отыскал конец провода и показал Дыбку... Раскидав снег, они вырыли норки в соломе и разместились на стогу, плечом к плечу и ухом к уху. Сперва молчали, привыкая к месту.

— Ну как, Андрюша... загораешь?

— Теперь хорошо, мягко, — неопределенно сказал Дыбок.

— Слушай... хочешь, сапогами поменяемся? Все-таки посуше.

— Не надо, не хочу, — упрямо сказал тот. — Сейчас придут, смотри.

Опять стало темно, месяц убрали до следующего раза, чтоб не износился. Временами Собольков поднимался, вслушиваясь, не идут ли; никогда такой шумной не была солома. Кажется, подмораживало... Представлялось несбыточным, чтобы цветы, птицы и синее небо могли когда-нибудь явиться здесь, и хотелось впоследствии, по окончании войны, непременно посетить это место в летние месяцы и полежать в этом самом стогу, если уцелеют — и стог, и он сам. Нескончаемо длились сутки, до отказа начиненные событиями. Кстати, Собольков открыл, что между людьми возможен разговор без единого звука. Так, он мысленно спросил Дыбка, доводилось ли ему проводить

ночь в свежем сене и чтоб кузнечики при этом. И тот отвечал сразу, что доводилось — мальчишкой, только тогда светили звезды...

— Знаешь, как придут — тихо надо, холодным способом, — сказал Собольков несколько спустя. — Я с одним управлюсь, а ты своего сбереги... не зашиби только.

— Да, — согласился Дыбок неохотно, точно ему в чем-то помешали. — Ты молчи. Сейчас придут.

А нельзя было молчать, хоть и в дозоре. Делались всё односложней ответы Дыбка, недвижимей его тело. Его усыпляла стужа, ему стало все равно, только бы спать дали. Он хотел спать, тело становилось сильнее воли... Из знакомства с сухими алтайскими буранами Соболькову было известно, как происходит *это*.

— Я слушаю, я услышу... А знаешь, Андрей, ты прав был давеча. Хорошие мы люди. Очень!

— Будем хорошие... потом. Ты к чему это?

— На что мы только не пускаемся для них, для деток... для всемирных деток. Сами в гать стелемся, лишь бы они туфелек своих в сукровице не замочили. Веришь, всю дрянь жизни выпил бы одним духом, чтоб уж им ни капельки не осталось. А может, и не поймут?

— И не надо им понимать. У них свое. — Он догадывался, для чего Соболькову нужен был этот разговор; а тот уже и сам сбился — из душевной потребности начал его или из хитрой уловки расшевелить товарища. И хотя слова, вязкие и стылые, застревали во рту, Дыбок по дружбе шел к нему навстречу. — Что ж, говори, расскажи мне про *нее*... большая у тебя дочка?

— Восемь, — тихо, как тайну, доверил тот. И с этой минуты точно и не было размолвки между ними.— Знаешь, у нее там беда стряслась, смешная. Пишет, даже к бабе Мане в гости перестала ходить. Понимаешь, котенок у ней пропал... любимец, только черный. Верно, жена закинула... не любит кошек.

— Мачеха? — издалека откликнулся Дыбок.

— Хуже, злодейка жизни моей. Второпях как-то это у меня случилось... а вот все тянет к ней, как к вину... как к зеленому вину, Дыбок! Двадцать два годика было, как женился. Злая цифра, двадцать два, перебор жизни моей! Брата поездом в двадцать втором году задавило, война тож под это число началась... Да нет, не так уж

и хороша, как приманчива, — ответил он на мысленный вопрос Дыбка. — Дочка пишет, чужой дядька к ней ходит... конфетку каждый раз дарит. Бумажку мне в письме прислала, образец... видно, на подарочек подзадорить меня, отца, хотела. Они ведь хитрые, ребятки-то... Люди!.. Ума не приложу, что за утешитель завелся... может, эвакуированный, из Прибалтики: по-русски плохо говорит. — Приподнявшись на локте, лейтенант послушал застылый воздух; немцы еще не шли, точно пронюхали о засаде. — А баба Маня — это не женщина, не думай, это гора... понимаешь? Это мы с дочкой так ее прозвали: ягод много. Вроде старушки, вся в зеленых бородавочках. У нас там секретный каменный столик есть, на нем бархатная моховая скатертка. Дочка сведет тебя туда... — И лишь теперь получала объяснение его путаная, просительная исповедь. — Слушай, Андрей... Ты не спишь? Не спи! Я все просить собирался, да совестно было. Ты ведь холостой, тебе все равно...

— Мне все равно... — сказал Дыбок еле слышно, одним своим дыханьем.

— ...тебе все равно, говорю, куда ехать потом. Ты же холостой. Если что случится со мной, отвези дочке Кисо́... понимаешь? И писем никаких не надо. Ты ее враз узнаешь, едва увидишь. Она сама первая к тебе выбежит... как завидит военную одежу. А больше послать, скажи, нечего... ничего я ей в жизни не накопил. Скажешь, папа шлет... воевали вместе. Посиди с ней, если понравится, — там хорошо! Словом, тебе видней на месте будет!

Он успел довольно подробно обрисовать алтайские красоты, утверждая, что не раскается Дыбок... Немцы не шли; Собольков подумал даже, что за подобное промедленье стоило бы их отдать под суд. Лежать так становилось нестерпимо. Была полная ночь. Временами она раздвигалась, Собольков тоже начинал видеть звезды. Тяжелой рукой он стирал одурь с лица; чувство холода возвращалось, и звезды гасли... Потом он вспомнил, что еще не получил ответа от Дыбка.

— Ладно... Андрей?

Радист не отозвался, он уже дал согласие. Еще в самом начале он согласился даже на то, чего и не просил Собольков. Похоже было также, что он чему-то засмеялся.

— Ты о чем... Андрей?

— Заяц... — без движенья губ сказал голос Дыбка. — Испугался... глаза по половнику. Хороший, все хорошие... свои.

Он замолк. Больше не надо было его просить. Алтай холостому недалеко... Он хотел спать. Разве мало солдат на свете, кроме него? Собаки и зайцы, все спят. Это была правда... Но через крохотное пулеметное отверстие Дыбок не мог разглядеть давешнего зайца, и лейтенант схватил руку товарища. Она была не теплее снега на стогу, зато там, за тесемками рубахи, стояло ровное парно́е тепло в пазухе Дыбка, еще не пламень. Сердце слышалось на ощупь, как бы на малых оборотах, значит то еще не жар, а лишь смертное томленье полусна.

— Нельзя, не смей спать, Андрей! — зашептал Собольков, касаясь губами его уха. — Сейчас придут... теперь уже не отменишь. Жалей товарищей... Кисо́ убьют. Обрядина убьют... кто тебе петь станет, радист? — Ни лаской, ни приказанием, ни шуткой не удавалось ему проникнуть в меркнущее сознание Дыбка. — Ведь это ж немцы, понимаешь? Забыл, как они сестренку твою волокли... жеребья на ее голом теле метали, кому первее начинать. А она, небось, кричала им — «вас Алеша Галышев побьет всех, вам жених мой отплатит...»

Он говорил много грубее, лишь бы просунуть хоть искорку в порох Дыбковой души. И случилось, чего он добивался. Поднявшись, Дыбок сидел с открытыми глазами и дрожал — пока еще не от гнева, а от озноба, но и это было хорошо.

— ...они тогда и Галышева. Ты один остался. Пусть зайцы и собаки спят... не ты! Ты же слышишь меня, а молчишь... Я давно раскусил, кто ты есть: потому ты и живым в такой войне остался! Небось потроха со страху вянут... а?

— Не надо, пусти... — пробормотал Дыбок, отпихивая его от себя. — Нехорошо тебе будет... пусти!

Они сравнялись в силах, и, возможно, радист четче командира понимал теперь действительность, потому что прежде него почувствовал, что немцы уже тут. Еще и снег не хрустел и глаз не видел, но только как-то теснее стало в пространстве ночи... Двое, как всегда ходят немецкие связисты, шли по линии, пропуская провод в ладони. Они нашли место обрыва и остановились,— неожиданное

продолговатое пятно стога заставило их насторожиться. Сквозь бурелом соломы, коловшей лицо, Дыбок отчетливо увидел, как левый поднял автомат. Тот же, левый, спросил быстро и негромко, *кто там,* а другой засмеялся и, возможно, пошутил, что солома не обязана откликаться даже на немецкую команду.

— Бери правого, — шепнул Собольков товарищу, и тот услышал.

Немудрено было догадаться, что кто-то унес кусок провода... Пока один немец, став на колени, подключался к линии, другой двинулся по следу Литовченки, водя автоматом, как таракан усами. Он был и длинный такой же, как таракан, с утолщением посреди от хорошей пищи; возможно, он и мастью также походил на таракана-прусака... Он проходил мимо, на нем была пилотка с приспущенными наушниками, чтобы уши не зябли. Дыбок упал на него всей своей зыбкой тяжестью, и странно было, что у того не переломился позвоночник. Собольков также ударил своего гранатой, как кастетом, но промахнулся. Так началась эта маленькая и неравная битва... Немцы были свежее, перед выходом они поели жирных наших щей и хорошо выспались на теплой лежанке; им недоставало как раз того, чем с избытком располагали их противники, — чувства поруганной справедливости и голодного исступления мертвой хватки. Уже оба лежали снизу, и один вслепую царапал рот Соболькову, а другой, наполовину примирясь с неизбежным, мокрый и полузадушенный, смотрел в нависшее над ним лицо судьбы. Он был много крупнее Дыбка, которого вдруг стала покидать уверенность в исходе. Наступала та степень взаимного изнеможенья, когда и плевка достаточно, чтобы опрокинуть врага, но и на плевок нехватало силы.

— Брудер... — прохрипел тот, что был внизу, даже не пытаясь дотянуться до автомата, упавшего поблизости; он упоминал, кажется, также слово *муттер* и, кажется, испробовал силу слова *швестер,* перечисляя все степени родства, какими можно было проникнуть в старинную славянскую жалостливость.

— Не брудер, а бутерброд... — неистово сказал Дыбок, и еще не родилось могущества на свете разжать его пальцы. — Я тебя двадцать лет брудером звал. Я тебе карман и житницы раскрывал свои, в самую душу пускал

тебя... а ты мою сестренку на жеребьях делил! Ах ты, брудер, сукин сын!.. — Оно опалило его разум, подлое иудино слово; искра добралась до пороха.

Ему хотелось только заглушить скорее этот чужой, нечистый голос. Стало очень тихо, хорошо. Дыбок не заметил, как подошел вполне спокойный Собольков с автоматом и документами своего партнера.

— Отпусти... теперь не убежит, — велел он, вытирая испарину и кровь с лица. — Ишь, смирный лежит... многоуважаемый. Скажи, чтоб вставал да приятеля на стог завалил... Нечего ему тут, на виду, валяться.

Дыбок еще стоял на коленях, шумно переводя дыхание. Он не слышал, только эхо *брудер, брудер* по-обезьяньи скакало и дразнило его со всех сторон. И то самое, в чем он когда-то усомнился: пар валил из его подмышек; он посмотрел на руки себе, и не увидел их, — желтые фонари качались в глазах. Он хотел лишь пожаловаться Соболькову, в какую бездну затоптал человека фашизм — и тотчас же забыл об этом. Зато ему было тепло теперь, только очень хотелось есть. Ему так хотелось есть, что даже не замечал, как стало ему тепло теперь. Лейтенант повторил приказание пленному и толкнул ногой его огромную ступню.

— Вставай... обиделся? Думал, в трактир на радостях поведем?

Тот не хотел. Собольков наклонился к лежащему. Открытый мертвый глаз связиста пристально и так нехорошо глядел поверх его головы, что Собольков отвернулся. Лишь теперь он заметил, что живые не могут долго лежать так, с выкрученными назад руками.

— Видать, переложил я в тебя своего лекарства, Андрюша, — усмехнулся он, поднимаясь. — Жа-аль... Что ж, и то хлеб! Знаем по крайней мере, в какую сторону пушку целить. Помоги мне...

Они вскинули немцев в те належанные ямки, где недавно сами, ухом к уху, коротали ночь... Провод пригодился: Собольков самолично починил порезанную связь, из расчета, что это отодвинет появление второй, усиленной немецкой группы на срок, достаточный для откопки танка. Тропинкою Литовченки, следом в след, они вернулись назад, захватив все, не нужное теперь связистам.

Шагов через двадцать лейтенант резко обернулся в сторону тех, с кем они только что поменялись местами.

— Кто там? — вполголоса окрикнул он и постоял, что-то соображая; со стога не ответили. — Какое у нас число сегодня?.. двадцать второе?

Он и сам знал, что время перевалило за полночь, но, как в воздухе, нуждался в подтверждении товарища.

— Нет, теперь уж двадцать третье потекло, — ответил Дыбок, вглядываясь в небо, как в большой календарь; он поежился и широко зевнул. — Морозит, хорошо... а то совсем наш брат танкист замаялся. Чудно... никогда мне есть так не хотелось, лейтенант!

11

Еще три больших часа длился нечеловеческий труд, из которого в равных долях с опасностью и скукой состоит война. Похолодало, изредка прогревали мотор. Все были мокрые, все успели побывать под танком. Молча сменяя друг друга, теперь они жалели силы даже на шутку. Первым выбыл Обрядин; сквозь рукав легко прощупывалась опухоль на локте. Он взялся за флягу и сразу бросил ее на дно танка, чтоб не дразнить себя оставшимся полуглотком. Потом лейтенант приказал водителю поспать часок до рассвета, перед тем как тронуться в путь. Последнюю четверть часа он копался сам, в одиночку, в липкой, стынущей гуще.

Корма опускалась,— и крутизна наклона становилась преодолимой для мотора. И в третий раз Дыбок по колено вступил в воду, чтобы выпустить целое озеро ее через аварийный люк. Зато потом он разулся без всякого разрешения и оставил обувь сушиться на полуостылой решетке трансмиссии: воевать вовсе босым было бы ему не в пример легче.

— Ну... будем живы, — повторил давешнее слово Собольков и засмеялся. — Ангел мщенья, а не машина. Доброе утро тебе... ангел! — взволнованно прибавил он, обходя танк и лаская рукой его ходовые части.

Давно, ребенком, в глухой староверской моленной на Алтае он видел одного такого ангела, которого в рост, на кривой, как корыто, доске, изобразил дотошный и по-

этический богомаз. Непонятно, как не отвергла церковь его жестокого и чрезмерно правдивого творенья. Ангел был щербатый, некрасивый и худой, в будничной рабочей одежде цвета неостылого пепла; широкие, едва ли не демонские крылья были опалены от груза пламени, который ему постоянно приходилось таскать на себе. Ему не ставили свечей, старухи обходили его, избегая попадаться на глаза, и было страшно представить в действии это мифологическое созданье суровой совести неграмотного сибиряка... Было что-то от ангела мщенья и в двести третьей, как стояла она сейчас, обратясь лицом к врагу, невредимая после стольких бедствий, если не считать оторванного буксирного крюка, смятых надкрылков и многочисленных вмятин, лишь умножавших ее гневную и грозную красоту. Белесый ледок успел намерзнуть на железных веках ее триплексов; она, как живая, помигала ими, когда Собольков разворачивал машину.

Было еще темно, но предметы, казалось, уже сами отдавали свет, поглощенный ими накануне; представлялось рискованным отправляться в рейд по полутьме. Просторная и торжественная, словно перед громадным праздником, удлинявшая пространство, заставлявшая сосредоточиться и говорить шопотом, — такая была тишина! Кое кто уже пробуждался, и раньше всех — ветер. Он донес мягкий и вкрадчивый отголосок орудийных залпов; экипаж слушал эту кошачью поступь проснувшейся войны с сердцебиеньем, точно весточку с родины. В такие минуты предки этих людей надевали чистые рубахи... Потом, все приведя в боевой порядок, экипаж сидел на своих местах, торопя рассвет и стараясь лишь не прикасаться к металлу. Здесь потихоньку стал застигать их сон.

Он уже давно бродил возле танка и заглядывал в щели, как лазутчик. Вяло и молча мечтали о теплой лежанке или хотя бы о костерке, но у одного уже спала рука, а другой не мог пошевелить пристывшею к железу ногою.

— А знаешь, Соболек... этак задремлем мы тут по-апостольски и не заметим, как вознесут нас живьем на небеса, — заговорил Обрядин, сдвигая шапку на левую бровь. — А ну, скрути мне кто-нибудь дыхнуть разок, а то рука... от холода онемела, не сгинается. — Ему даже не столь хотелось пополоскать себя дымком, сколь подержать

в ладошке милый уголек цыгарки. — Недаром и стишок сложен такой... Папироской ароматной мне приятно подымить. У ней дымочек аккуратный, на концу огонь горит.

Он покосился на Дыбка, не терпевшего обрядинской поэзии, но и тот оживился при упоминании о махорке. Этой божественной русской крупки у Обрядина с избытком хватило бы на всех, включая и Литовченку, если бы он не спал сейчас в обнимку с Кисо́ в дебрях итальянской шубы; пар и храп валили из щелей. Бережно, как святыню, Собольков достал коробок со спичками; вспышка осветила три с нетерпеньем протянутых к огню самокрутки. Из четырех последних не загорелась ни одна, и надо считать, в эту самую минуту начальник всех тружеников спичтреста с грохотом проснулся на своем диване от добротной братской, к сожаленью — мысленной, оплеухи; тут и пригодилась трофейная зажигалка у Дыбка. Мороз и усталость, однако, брали свое, и тяжкая дремотная лень, такая неодолимая перед рассветом, все больше вливалась в тело.

— Соври нам что-нибудь, Соболек, — попросил тогда Обрядин, и его поддержал тот самый Дыбок, который с детства не любил сказок, потому что сам собирался бессчетно творить их наяву. — Про что-нибудь такое соври, чего на свете не бывает.

Собольков молчал; было в нем маленькое смущенье перед этими людьми за себя вчерашнего, хоть и не обнаружилось ни в чем его мимолетное малодушие перед неизбежным. Но по мере того как прибавлялось свету, полнокровная радость вступала в него, как бывает всегда, когда, пройдя через узкое горлышко ночных сомнений, вырывается душа на простор нового утра. Он молчал, не зная лишь, какую сказку выбрать из тысячи; любую окрашивала личная, собольковская, горечь и рушила ее степенный, строгий лад...

— Есть у нас одна гора такая, вся бирючиной заросла, — начал Собольков, чуть стесняясь вначале, словно самое сокровенное рассказывал про себя, и глядя, как движутся во тьме огоньки цыгарок. — Там, под навесом, каменная коечка, на ней постелено моховое одеяльце. Я шел раз из МТС, прилег от жары и сам слышал, как птица птице сказывала. Может, и неправда, ведь кто

ее проверит, птичью быль!.. Будто проживал там поблизости, в стародавнее время, один обыкновенный гражданин, только служил в кооперативе. Имел хозяйство с яблочным садиком, жену, трех девчурок краше вишенок... и все три в одну недельку закатились. Пойдут по ягоды, шажок в сторону, да две приступки вниз, где поспелее, а уж там ждут, кому надо. Брехали, что змей семиголовный поселился, он девок и таскал. Вырастит, музыке обучит, потом женится по всем правилам: видать, еще в соку был. Конечно, нонешние профессора это опровергают, но, значит, тогдашняя наука послабже была!.. Так и замухрел с горя мой мужик. Всегда при нем бутылочка — сидит, срывает цветы удовольствия. Что и накрал, весь прожился, а жена только пышней цветет, ходит, коленкором шурстит. Кстати, весна выдалась крутая, деревья почку — во, наиграли!

А в ту пору все попроще было. В горах жили странники, собирали травы для аптекоправления. У нас в Сибири беглых много проживало. Один и забрел на дымок. «Чего ты печальная, хозяйка?» — «А что тебе, дедка, печаль моя?» — отвечает. «Ежели грех мутит, то не беги. Им спасаемся, в ем огонь. Без него погнили бы от святости. — Она сперва брыкается, как всякая верная жена... совесть заглушить, чтоб удовольствию не мешала. — А коли хочешь свой огонь притушить, нà, отпей глоток». Пригубила она из его ковша, да и проглотила горошинку, и с того сына родила. Мужу так объясняла, а как в точности было, науке неизвестно. Назвали сына Покати-Горошком. Стал парнишечка расти, матереть не по годам. По седьмому году кралю себе завел, даже перстеньками обменялись. Чистенькая да кроткая, ровно яблонька, только никогда, никогда не осыпется ее цвет. Словом, *та* красавица! Скажи, с каждым днем расширялось у него сердце к этой барышне, пока и ее змей не уволок. Тут заказал он родителю железный батожок, чтоб ни сломать, ни согнуть. «Отвоюю я себе невесту, а тебе дочерей. А из этого зеленого бабника наделаю костей в полном, как говорится, объеме». Всей округой и сготовили ему три палки. Две Покати-Горошек сразу в узелок повязал, скорбно посмеялся: «Нет, эта мне не гожая!» А про третью, что семь кузнецов ковали, сказал: «Это моя палка». Мать ему сухарцов насушила, фотокарточки с каждой дочки

дала; хоть и переросли, а признать можно. Отправляется в путешествие!

На пятые сутки попадается ему при горелом селе мужчина, тощий да длинный, да коряжистый, на башку короб берестяный надет. Облокотился о колоколенку, куполок промял, плюется... все норовит плевком птичку мимолетнюю подшибить. «Как зовут, — Покати-Горошек спрашивает, — и почему при таком теле имеете такой слабый ум?» — «Я есть Вырви-Дуба, — отвечает, — не знаю, где мне силу применить. От этого и расстраиваюсь». — «Мне таких и надо. Известен мне один адресок, могу услужить, пойдем вместе!» Неделю-вторую идут, вода им дорогу переступила. Они в обход, видят — такой же мужчина в озере купается... только этот в ширину, наподобие шара, раздался. Башку окунет, вода на семь метров подымется. Ну, документов у голого не спросишь. «Дозвольте поинтересоваться, — наши говорят, — кто вы есть, такой беспорядок устраиваете?» — «А я Переверни-Гора, — объясняет. — Сковырнул сейчас одну, да вот взопрел малость». — «Какие бесполезные пустяки! — наши усмехаются. — А ведь по врагу и сила мерится. А лучше мы вам такого господина предоставим, что все человечество в ножки вам поклонится». Взяли и его в компанию... Так они месяц шли, сухарцы кончаются, застает их в дороге вечер. Подобрали на ночлег разваленную хатку, а утром гадать принялись, как им пополнить продовольствие. Решили подкопить харчей охотой; ушли, а Вырви-Дуба хозяйкой оставили. Ходят, дерево с дичью приметят, Переверни-Гора ладошкой прихлопнет — и все наше!..

— Ты поглядывай кругом, Осютин, — неожиданно вставил Соболько, — но никто не заметил его оговорки.

Теперь слушали Соболькова все: Литовченко, проснувшийся как по тревоге, слушал Обрядин, в интересных местах поталкивая Дыбка в плечо, чтобы обратил внимание, слушали американская, шибко помятая при аварии девушка, и Дыбкова несчастная сестра; самые стены танка, казалось, жадно впитывали человеческое тепло сказки. Она создалась давно, когда другие люди, не эти, сидели вот так же вкруг Соболькова: незабвенный Алешка Галышев, а рядом великан Осютин, едва умещавшийся

в тесной башнерской келье, а наискось вниз — Коля Колецкий, верный друг, закопанный с дыркой в сердце в мерзлой россошанской земле. Потухшие цыгарки не освещали лиц, и рассказчику казалось, что именно они слушали его, милые, непобедимые, все еще живые. Тогда Собольков еще не знал про измену жены, и сказка имела простодушный и счастливый конец.

— ...А Вырви-Дуба тем временем сварил последнюю солонинку, горницу подмел березкой, сидит. Вдруг под ногами голос является, ссохшийся, не из ихних. «Полно носом-то клевать, отпирай!» Распахнул — никого за дверью, а только стоит при порожке удивительный дед, вполне карманный, четверть сам да бородища в три четверти. «А ну, пересадь меня через порог, — хрипит. — А ну, подмости под меня, чтоб я грудями до стола касался. Обедать наварил? Давай!» — «Не имею права, — Вырви-Дуба отвечает. — Питания нехватит на товарищей». — «Я тебе приказываю!» Да швырк ему полено под ноги. Повалил долговязого, спинку ему разрезал перочинным ножиком по *это* самое место, соли под шкуру насыпал, мякишем залепил, обед скушал — и до свиданьица!

— Ты уж не торопись, товарищ лейтенант, в сказке все — самое важное, — сказал Литовченко.

— ...В ту ночь кое-как обошлись, а на утро Переверни-Гору оставили. Однако та же картина, только соли больше ушло. В третий раз Покати-Горошек остался. Дед ему командует: «Поставь меня на стол. Давай, а то время нет. Я люблю, когда меня хорошо кормят». — «Нет, это не те ребята, что вчера были», — Покати-Горошек отвечает. Дал ему хорошо, сбил, вытянул во двор за бородищу, еще дал для памяти, а там валялся дуб, водой подмытый. Он комель надколол, бороду запхал в трещину, сидит у окна, размышляет про свою королевну. «Когда я цвет твой увижу, яблонька моя?..» Приятели вернулись, смеются. «Соли-то хватило на тебя?» — спрашивают. А он: «Пойдем, покажу!» Смотрит — ни деда, ни дуба во дворе: сбежал. А этот дед был *тот* дед!.. Ладно, надо выходить из положения. Четыре километра шли они следом, как дуб корнями прочертил, видят — за кустками дырка в земле, а на дверце золотая шишечка — открывать. Заглянули — голова кругом пошла: бездонная трубища, в концу светлое пятнышко, но человек, между прочим, свободно про-

лазит. «А ну, рви корни, вей веревку... чего силе зря стоять! Вей, аж до Берлина...» Те свили, дрожат, такой у них страх создался: а вдруг Покати-Горошек лезть их туда заставит? «Ладно, сидите уж тут, — он их утешает, — ждите меня месяц, а как дерну ту веревку, тяните потихонечку, чтоб не порвалась...»

— Я эту сказку слыхал, — вставил Обрядин, пока Собольков закуривал притухшую папироску. — Они все змеиные сокровища да кралю его наверх подымут, а самого внизу оставят.

— Нет, браточек, с тех пор подрос, умный стал Покати-Горошек, — непонятно поправил Дыбок. — Еще кто кого, думается мне, обманет!

Сказано было гораздо больше, чем уместилось в пересказе. Там были камни и звери, говорящие на иностранных языках, прозорливые одноглазые старцы, реки, что в бурю гуляют на своих водяных хвостах, бездонные пропасти, куда скатывался заветный перстенек, и прочее, точно рассчитанное по времени Собольковым... Неторопливо подступал рассвет. В сизой мгле, непоследовательно, как на негативе, проявлялись бессвязные пока черные и белесые пятна. Расстояния изменялись на глазах, но тьма еще надежно держалась в небе, и можно было лишь догадываться о значении смутной бахромы, протянувшейся по ровному ночному месту. И то, чудилось, шевелился ближний кусток, то пригибался кто-то к земле, врасплох застигнутый обрядинским глазом. Теперь только сказка да мысль о солнышке и согревали продрогший экипаж двести третьей.

— ...Словом, долго он спускался, все руки ободрал. Огляделся, видит — туда-сюда шоссейная дорога, на ней след от дуба процарапался. Ладно, двинулся по тому ориентиру. Жуть его забирает, — под землю попал, а вокруг такая обыкновенность... только все как бы плохими спичками приванивает. А сердечко-то чует, как кличет она его: «Томлюсь в темнице, торопись, мой милый, пока не облетел мой пышной цвет!» Наконец видит — город. Средь зубцов развешаны на просушку туловища, руки... разные куски человечества, которое сюда достигало. Головы отдельно кучкой сложены, печально смотрят их впалые очи. «Мы тоже жили и стремились. Остановись, поприветствуй нас, путник!» А при самых вратах — и смех и грех — дед

все с дубом возится. «Здорово, старик, — Покати-Горошек говорит, и дает ему разок для просветления. — Теперь и я к вам в гости собрался. Сказывай, чьи хоромы и зачем геройские кости по стенкам висят?» Тот ему докладает, что это есть дворец змея. А имеет он не семь, а все двенадцать голов, и проживает с главной женой в боковом флигере, налево за углом, пока меньшенькие подрастают. Их всего здесь, змеиных невест, девяносто восемь штук. Лет ему неисчислимо, а кости для острастки висят. «Сейчас, — говорит, — улетел на тот свет прикупить кое-что и для моциону перед обедом». — «Где ключи?» — «При мне». — «Давай сюда!» Подвязал брюки, чтоб какая ядовитая мелочь не заползла, и пошел. Разомкнул все три парадных крыльца — нет никого. Змеевы холопы, как завидят тросточку, так и прячутся... Идет, каждый уголок по имени окликает: «Милая, отзовись, вот он я!..» В одной комнате непочатые бочки стоят с провиантом, в другой — запасное хозяйское обмундирование — зубчатые хвосты, зимние крылья на черном меху, когти разного размера... В третьей — товаров целый универмаг: отрезы, чулки, пишущие машинки. Разомкнул он десяту комнату — колена подломились. Сидит его краля за столом, нарядная... как они только нашему брату снятся! Однако с лица малость бледная... с зеленцой... не то от душноты подземного помещения, не то притомил ее прошлой ночкой змей. И при ей девочка сидит на стульчике, худенькая, о трех головках... Змеи им чай с вафлями подают.

Враз она голову повернула, «вы чего хотели?» — интересуется. «Где милая детка, твой муженек двенадцатиголовый?» — Покати-Горошек спрашивает. «А вам по какому делу?»—«Хочу его убить для всеобщей пользы».— «Не советую, — говорит и жует вафлю при этом, — а советую, гражданин, скоренько уходить. Он вас погубит». — «Что ж, я это теперь только приветствую...» — «Хорошо, тогда обождите, — говорит, — в прихожей. Почитайте там газетки со столика!» А сама все дочку потчует: «Ешь, маленькая, ешь, а то у тебя малокровие разовьется!» И тут приметила она свой перстенек у Покати-Горошка, да прыг к нему через стол в его объятья. Дрожит вся, ластится, без умолку говорит. «Я тебя ждала, мне с ним жить хуже смерти. Я буду тебе верной женой. Хотя и обучил он меня различной музыке, но он меня, между прочим, и погубил.

Ты сейчас покушай, выпей пока сто пятьдесят грамм, больше не надо, и ложись под койку. А как прилетит да заснет, ты ему головы отрубывай; а я буду в большую корзину складать, чтоб не приклеивались назад. Только остерегись, из его ушей иногда выскакивает опасное пламя... Будем с тобой жить, золото распечатаем, да я еще из одежды запасла. И не серчай, я тебе хорошую, справную дочку рожу, а эту сырой водицей напоим... может, и помрет, бог даст. И таким манерцем мы выйдем с тобой из положения».

Она ему крабы, портвейн придвигает... он не ест, не пьет. Она его хочет целовать, он не может на нее смотреть, мой бедный Покати-Горошек... лишь только головой качает. Сердце его в клочья летит!.. Уж он простить ее собрался, да вдруг представилось ему, как входит к ней муж под вечерок во всем своем змеином сраме, ночной халат нараспашку, а из ворота все двенадцать голов букетом торчат... и целует она их в зеленые их прыщи, по очереди все двенадцать, одна другой краше, и гладит точеной ручкой его подлое ледяное тело. И махнул он рукой на нее, но не убил, а только шатнул от себя тварюку. «Нет, дорогая, я не такой. Посмотри, какой я из-за тебя ошарашка стал, ведь ты меня и не узнала. Неделями не ел, месяцами не спал из-за тебя. Но зачем ты надругалась над героем?» И заплакал на женскую любовь, а потом вышел, опустя голову, из змеиного дворца, видит — дед. Высвободил ему бороду, посидели они тут, свернули по одной, покурили. «Так-то, дед, зря я тебя обидел. Лучше бы мне и не приходить». А тот смеется. «Ласки в тебе мало, молодой человек, — отвечает, — небось все в делах. А ведь женщина, что чурка: лизнуло огоньком — и горит. Я это дело по своей старухе на практике изучил... Ты знаешь, отчего я седой? Так я скажу тебе, отчего я седой»... И только зачал он про себя рассказывать, прошумело над ними небо. Глядь — летит с зеленым выхлопом большая лысая птица, целая гроздь виноградная заместо головы...

Дальше Собольков не сказал ни слова, Обрядин тронул его колено.

— Идут, — шепнул он, и все поняли, что ночь кончилась и наступил долгожданный день; башнер также спросил взглядом, нужно ли закрыть люки, но лейтенант отрицательно качнул головой.

Бахромка в поле оказалась густой кустарниковой порослью, за которой виднелись деревца и повзрослей. Полем деловито шли немцы, шестеро, но, может быть, их было восемь; они шагали, видимо, не по целине, потому что двигались быстро и не проваливались в снегу. Патруль увидел двести третью и свернул к ней с дороги. Произошло маленькое совещание, они залегли, и Собольков пожалел, что заблаговременно не положил дымовую шашку на плиту моторного отделения. Но лежать так было глупо; кроме того, танк мог оказаться и своим, немецким, подбитым во вчерашнем сраженье. Двести третья молчала, они стали расползаться цепью. Отделясь от потемок, двое в рост двинулись вперед со связками круглых и на длинных ручках банок, похожих на большие детские погремушки. Ноги едва волоклись, им не хотелось; сзади подталкивали криком и, донеслось, припугнули чем-то вроде Гитлера. Самоубийцы приближались с частыми остановками и в смертной надежде силясь рассмотреть на танке его грозную рану. Наблюдать из-за броневой стены их петушиное недоумение было смешно и весело. Один пошел в обход. «Без команды не стрелять», — почти вслух приказал Собольков... Расстояние сокращалось, но он знал, что не бывает таких силачей, чтобы связку гранат швырнули за тридцать метров. Так чего же еще жаждал он испытать в жизни, куда заглянуть стремился этот не раз простреленный человек? Ждал, когда подымутся остальные, или просто смеялся над собой за вчерашнее?.. Извернувшись, Обрядин тискал ему колено здоровой рукой: такая игра происходила не по уставу. Но теперь все происходило не по уставу. Не разрешалось отрываться от штурмующей бригады или сидеть ночь в противотанковом рву; кроме того, двадцать третье число также не было обозначено красным праздничным цветом в уставе... Те опять залегли, и стало слышно, как левый, передний, судорожно плачет и корчится, уткнувшись лицом в снег. Видимо, он был не из героев.

— Испугался, дермо... — каким-то тягучим голосом сказал Дыбок, заражаясь волнением Соболькова. — Цып-цып-цып, — позвал он еле слышно, но те лежали; он еще позвал, послышней, и тогда, как бы повинуясь, те поднялись в окончательную перебежку.

— Заводи! — в голос крикнул Собольков.

12

Так началась война и в этом рассветном затишье. Гул мотора слился с беспорядочным треском стрельбы. Кому было положено, те сразу свалились навзничь, а другим немцам дано было видеть еще полминуты, как, вспугнутая, вилась и галдела над лесом галочья разведка. Двести третья намеревалась прорваться по прямой, как ей было короче, но сбоку застучал по броне станковый пулемет, и она сделала небольшой крюк, чтобы наказать дурака за бесцельную трату патронов. В зимнем эхо лесов, как в зеркалах, отразилось множество батарей. Артиллерия проснулась, лишь когда двести третья, отвернув пушку назад, чтобы не повредить при таране, уже углубилась в перелесок... Подобие лесной сторожки попалось ей на пути; Литовченке на мгновенье показалось, что видит в упор, в триплексах перед собою стол с самоваришком и немецких командиров, мирно сидящих вокруг: они так и не успели сообразить, что помешало им попить чайку во благовременье... И еще километра три мчалась двести третья по опушке, выбирая полянки и стараясь не выдать своего направления падением сбитых деревьев... Им попалась прогалинка в мелком ельнике, там сделали они остановку — осмотреться, оправиться, принять последнее решение. Собольков отбежал с компасом метров на десять от машины, но стрелка объяснила ему не больше, чем подсказывали чутье и опыт; вдобавок события ночи неминуемо должны были смешать диспозицию вчерашнего дня. И тут Собольков произнес самую краткую свою речь; ему хотелось, чтобы каждый в отдельности и вслух подтвердил свою решимость на то грозное и нечеловеческое, что не умещается в обычном приказании.

— Вот, товарищи... — и ростом выше стал, и засмеялся, радуясь чему-то, как мальчик.— Неизвестность окружает нас! Мы нынче как заноза в немецком теле... и выручки нам ждать не приходится. Но мы, танкисты, особый народ... они не жалуются на долю. Ихнее сердце и в огне смеется над судьбою!.. Мое решение — вперед и напролом идти. Чтоб ветер не догнал, так лететь. Так биться, чтоб навек у них застряло в памяти двадцать третье декабря. Но... может, неправильно я болтаю, Андрей? Ты ведь холостой, детишек нет у тебя... тебе драться не за кого, а? Ты,

Вася, одного себе искал для мщенья, а я их тебе сотню враз подарю. Бери жадней, сколько в горстку влезет. А ты, повар, чего потускнел? Ой, не любишь ты беспокойства в жизни. Твою силу три раза вкруг земного шара обмотать... да еще чорту шею сломать останется! Прав Андрюшка, не обожает беспокойства русский человек. Сам того ж племени, знаю. А скажи, можно ли задарма экое серебро отдавать?

Он окинул глазами зимнее убранство леса, строгие елочки в снежных коронках и с царственным горностаем на детских плечиках, небо, громаднейшее, как родина, самый этот снег, легкий и лапчатый, еще на синей ночной подбивке, но уже волшебно и ало подкрашенный сверху. Его сердце зашлось, его голос срывался. Никогда в такой вещественной прелести не воспринимал он родной природы, ее вкрадчивых шорохов и запахов, — все ему было дорого в ней, даже эта знобящая, шероховатая тишина. Обрядин глядел себе в ноги; вдруг его лицо потемнело, точно Собольков, тряхнувший седым хохолком, кнутиком хлестнул по самому больному месту.

— Решай, Сергей Тимофеич! А и убьют дружка твоего, товарища Семенова Н. П., — другие хозяева найдутся. Ведь тебе главное — было бы кому жареного медведя в томатах подавать. Ну, вали, потрепись, коли охота... пока земляки кровь льют!

— Чего меня терзаешь... али я слабже тебя, лейтенант? — поднял голову Обрядин, и что-то пугачевское, черное, атаманское слепительно блеснуло в его взоре, — блеснуло и, не выплеснув, погасло. — Я тебя постарше буду, во мне твоей прыти нет. Куда собрался? Что в уставе сказано? Глава восьмая, двести сорок четвертый номер... действовать в составе танкового взвода, в боевом порядке место сохранять, поступать по заданиям командира. Где все это у тебя? А обождать бы — глядишь, наши и придвинутся. Ишь, воздух-то гудет! — А то не воздух, то сердце шумно билось в нем самом. — Но ты прикажи, я выполню!

И тогда, злой, машистый и веселый, ударил его по плечу Дыбок.

— Везет тебе, законник... везет тебе, Сергей Тимофеич, — с двух приемов выговорил наконец он. — Везет тебе, друг милый, что есть при тебе советская власть. Без

нее, точно тебе говорю, так и слонялся бы ты по земле на манер Вырви-Дуба... вконец извелся бы, что силушку некуда приложить. Ну, хватит, поговорили, лейтенант. Пора, а то вон пташка смеется... — И верно, какая-то одинокая синичка резво порхнула с ветки, осыпая снег. — Садись, поехали!

Обрядин переключил горючее на левый бак, Собольков приказал закрыть жалюзи мотора, на случай если кинут бутылку с бензином. Литовченко надел рукавички, чтобы так и не вспомнить о них до самого конца... С опушки они огляделись в последний раз, стараясь угадать место и высмотреть добычу. Ничего там не было впереди, кроме неба с голубыми морозными промоинками да сожженного села под ним. Да еще дикая простоволосая женщина, без возраста и худая до сходства с дымом, встала им на дороге. Все в ее жизни покончилось, она тащилась до первого германского патруля... Высунувшись из люка, Собольков посоветовал было ей сидеть дома и спросил кстати, как называлось когда-то село, лежащее ныне в безжизненных головешках.

— Война, где мои дети... где мои дети, война!? — тягуче и безнадежно простонала та, цепляясь за надкрылок. Ничего там не было, в ее красных обветренных веках — ни разума, ни страданья, ни самых зрачков: все съело горе и не подавилось.

Понадобилась третья скорость, чтобы оторвать машину от ее рук; встреча подстегнула ожесточенную удаль экипажа. Отсюда начинается тот баснословный кинжальный рейд, о котором лишь потому своевременно не узнала страна, что он затерялся в десятке ему подобных. Поколениям танкистов он мог бы служить примером того, что может сделать одна исправная, хотя бы и одинокая тридцать-четверка, когда ее люди не размышляют о цене победы!.. Впоследствии даже участники не могли установить истинную последовательность событий: действительно ли автомобильный парк немецкого мотополка стал первой жертвой Соболькова или тот эшелон с боеприпасами, что рвался вплоть до прихода нашей основной бронетанковой лавы. Все спуталось в их памяти, утро и вечер, лето и зима, явь и бред, — самый пейзаж, наконец, так прыгавший в смотровых щелях, словно разрезали пополам и сложили обратными концами... Блаженная теплота, исходившая от

перегретых механизмов, превращалась в зной; к исходу боя все в танке сравнялось веществом и температурой. Показания уцелевших как раз и сходятся лишь на том, что отменно жарко стало в машине.

Зарывшись в тело германской дивизии, двести третья низала его во всех направлениях: так движется во внутренности танка ворвавшийся снаряд, пока не погасится его живая сила. И как снаряд не жалеет себя, вламываясь во вражескую броню, так и люди забыли об опасностях своего стремительного бега. Здесь следует искать причину, почему до самого конца ни одно попаданье из всех, какие двести третья во множестве приняла на себя, не оказалось для нее смертельным. Но уже не удивляла и не пугала командира чудесная неуязвимость его машины!.. Одна могучая бронированная тварь с белым фашистским крестом вырвалась из сарая наперерез двести третьей; стальной тоннель пушки уперся круглым мраком в ее сердце. Обе машины выстрелили одновременно. Ветер немецкого промаха на мгновенье оледенил лейтенанта; все болты и клетки напряглись в своем технологическом пределе... Потом гадина горела,— ее стрелка ослепило солнце, что поднималось за танком Соболькова; теперь всё, даже это холодное медное светило работало на гибель Германии.

— Нет, сперва ты, а потом уж я!.. — сорванным голосом, торжествуя, закричал Собольков.

Гром и треск огневой погони остались позади. Пока преследовать двести третью было некому. И тогда, круто вывернувшись из-за бугра, они увидели высокую гряду насыпи. Она была полна немецкими солдатами, повозками, машинами и лошадьми. Все это двигалось в сторону, обратную той, откуда пришла двести третья. Не обмануло Соболькова солдатское чутье. Это было шоссе.

Тяжело дыша, приоткрыв грузные веки, двести третья, не мигая, смотрела из-за кустов, смотрела туда долго и страстно, точно хотела, чтобы досыта насладилось око, прежде чем доверить железу самую работу мщенья. Тихо, на малых оборотах, рокотало ее сердце и что-то уже бесповоротно надорвалось в нем за два часа исполинской расправы. Слабый звенящий вой слышался в его неровном гуле, но такой же тонкий и пьяный звон, словно от вина, стоял и в ушах экипажа. Как в кочегарке плохого паро-

хода, машинный чад выбивался изовсюду; масло достигало почти аварийной температуры — 130. Собольков взглянул под ноги себе: снаряды были на исходе, дисков нехватило бы даже пунктиром пройтись по всему горизонту. Он также увидел живое белое пятно на полу, блестевшем от масленого пота. Это был Кисó, которому, видно, разонравился жаркий климат итальянской шубы и начинало пугать такое затянувшееся землетрясение. Озабоченным, вопросительным взором он скользнул по своему беспокойному командиру.

— Терпи, Кисó... недолго осталось, — мигнул ему Собольков. — Скоро приедем домой, а там и Алтай близко, будут тебе щи со свининкой... слышишь, варятся? — И правда, издалека, из снежной сини, внятно доносилось как бы глухое бульканье варева.

Возможно, что и это он сказал лишь мысленно: его все равно заглушил бы другой, неслышный и нечеловеческий крик, от которого давно оглохла душа: «Вот они, вот... убийцы, поработители, изверги!»

Шоссе в этом месте поднималось на мост, который легкой журавлиной ступью перешагивал реку. Плоское, сплющенное и цвета отпущенной меди, восходило солнце. Мороз нарядно приодел деревья, и праздничное затишье этого первозимнего дня оглашали лишь истошный немецкий окрик да еще однообразный шелест движения, стлавшийся над крупнейшей артерией фронта. Плотная черная кровь текла по ней в сражающуюся руку, которую на протяжении часа должны были отсечь от тела. Основной инвентарь убийства уже работал на передовой, и теперь, вперемежку с подходящими резервами, туда подтягивались подсобные товары германской стратегии. С расстояния полувыстрела это казалось безличной пестрой лентой... но и в полном мраке видит глаз ненависти!

Сама смерть двигалась по шоссе, всякая — в бидонах, ящиках, тюбиках и цистернах, добротная немецкая смерть, проверенная в государственных лабораториях, смерть жидкая, твердая и газообразная, смерть, что кочевала по нашим землям в душегубках. Загримированные под штабные автобусы, они шли здесь в ряду бронетранспортеров и грузовиков, *круппов, опелей и мерседесов,* как бы возглавляя их шествие, а за ними, мелким дьяволком и на бесшумной резине, неслось все, что века таилось в под-

польях германских университетов — скотские бичи на наших мужиков, гвозди — прибивать младенцев для мишеней, негашеная известь и сквозные металлические перчатки для пытки пленных, черная паста, что вводится в ноздри грудных для умерщвленья, пустые и жадные чемоданы под трофейное барахло и мины, пока еще безвредные, бесконечно замедленного действия, не уловимые приборами мины на святыни и элеваторы, обсерватории и школы наши — когда они наполнятся детворой. Горемычные лошадки, выбиваясь из сил, тянули этот инструментарий страданий, и даже пешие маршевые батальоны опережали их. Эти шагали уже без песен, скучные и томные, но еще прочные — железная связка фашистских отмычек к сокровищницам мира, отребье, стремившееся поселиться во внутренностях человечества; трехтонки с фабричными деревянными крестами сопровождали их, смертельно раненных мечтой о надмирном могуществе... Все это двигалось в самое пекло великошумской битвы, чтобы, распылясь в ничто, обратиться в поражение; они еще не знали, что творится у них на левом фланге. Было шумно, но не очень весело в этом потоке: двести третьей нехватало им для оживления!

Так крадется охотник, чтобы не спугнуть трепетную дичь, — двести третья медленно набирала скорость. Удобный отлогий подъем выводил дорогу на шоссе; став в сторонку, германский штабной связист копался здесь в своем мотоцикле, пока другой материл его по-немецки из прицепной коляски. Оба они увидели над собою танк, когда он стал величиной с полнеба... Задние шарахнулись, передние не успели понять, что случилось за спиной. Норовя уйти от гибели, трехосный, специального назначения, *бюсинг* зарылся, было, в свои же повозки, но Собольков подумал только: «Куда, сатана!» — и тот через мотор, наперегонки со своими ящиками, закувыркался под насыпь. Этим ударом открывается победоносный бег двести третьей к ее немеркнущей военной славе.

— Твои!.. — крикнул Собольков, даря водителю весь этот черный, многогрешный сброд, застылый вокруг его гусениц.

В каждом мгновенье есть своя неповторимая подробность, которой не превзойти последующим столетьям. Защищая своих малюток от дикарей, мой народ создаст

боевые машины утроенной мощности, но страшней и прекрасней двести третьей у него не будет никогда. Стоило бы песню сложить про это крылатое железо, которого хватило бы на тысячу ангелов мщенья, и чтобы пели ее — пусть неумело! — но так же страстно и душевно, как умел Обрядин... Двести третья недолго пробыла в схватке, но ради этих считанных минут не спят конструкторы, мучатся сталевары и милые женщины наши стареют у станков. Так, значит, не зря мучились они, не спали и старели!.. Танк швыряло и раскачивало, как на волне; движение почти поднимало его над гудроном, и тогда верилось — на первом препятствии вылетят пружины подвесок или лопнет стальная мышца вала... Но вот он становился на дыбы и опрокидывался на все, дерзавшее сопротивляться; он крушил боками, исчезал в грудах утиля и вылезал из-под обломков неожиданный, ревущий, гневный, переваливаясь и скользя в месиве, которое щепилось, горело, кричало, вздувалось пеной и пузырем. Все в нем убивало наповал; картечный, с нахлестом, и иной огонь, что лился из всех его щелей, подавлял волю врага не больше, чем самый вид его и то красное, шерстистое, неправдоподобное, что прилипало к броне или моталось кругом, застряв в крепленьях траков. Никто не плакал, не поднимал рук, не молил о пощаде, — *у них* не оставалось времени на это. Простреленные насквозь, они еще стояли, когда набегал на них танк.

Главное началось потом, как только двести третья вступила на высокое и узкое полотно моста. Любо было видеть, как горохом рассыпалось смертоносное немецкое добро, падая в алую зимнюю бездну, а лошади сгибались, точно подвешенные под брюхо на лебедке, а солдаты, которые и шли сюда за этим, цеплялись за колеса машин, подвернувшиеся им в полете. Уже не было перил, и ничего кругом не было, кроме вместительного, насыщенного голубой снежной пылью простора, — довериться ему, опереться о него раскинутыми руками было умнее, чем остаться на узкой ленте шоссе. И он принимал их всех, громадный розовощекий воздух, и, поиграв, швырял смаху о бетонные откосы, а река распахнула лиловый, непрочный ледок, размещая без задержек грузы, войска и технику, прибывшие наконец к месту назначения. И каждый раз горячий пар облачком вырывался из воды, а отражен-

ное солнце разбегалось на куски, чтобы, порезвясь, снова сомкнуться в круглое, медное, целое... Находились и смельчаки; в исступлении отчаянья они вскакивали на танк, били железом по командирскому перископу или пытались просунуть куда-нибудь гранату, а потом неслись вместе, начиненные ее осколками, свисая и судорожно держась за поручни, пока там, внизу, гусеницы рвали и грызли их тело...

Тут же, затаясь в угрюмых впадинах глаз, в извилинах мозга, в походных сумках, где лежали письма о разрушении фатерланда, тяжелое немецкое сомненье контрабандой пробиралось к Великошумску. Сейчас оно преобразилось в ужас, и он умножал число советских танков, оседлавших шоссе. Он взрывался сам, с силой тола разнося поток по обе стороны магистрали. Его взрывная волна давно опередила двести третью, почти расчистив ей дорогу: все валилось само, чтобы не быть поваленным... Мост, пламя, хруст, трескотня бесполезной стрельбы — все осталось позади. Впереди становилось пусто, и Литовченко перешел на третью скорость, разгоняя танк, как торпеду, единственное назначение которой — взорваться в гуще врага... Лишь одна открытая штабная машина суматошливо виляла на шоссе, выбирая место для безопасного спуска с крутизны. За рулем сидел майор; видимо, то были важные армейские инспектора или знаменитые хирурги — из тех, что крали кровь наших детей для иссякших воровских артерий; им повезло, машина сошла без повреждений. Патронов больше не было на двести третьей, вес и скорость стали ее оружием... Впоследствии улыбались на рассказ Литовченки, будто машина с разгону прыгнула сама, а снежный сугроб и вражеское мясо спружинили ее падение, но таково же было впечатление всех, еще имевших признак жизни, очевидцев... На пути двести третья срезала телеграфный столб, дополнительно ожесточая ужас удара, и только один успел выпрыгнуть, пока двести третья висела в полете, — майор.

Его колени усердно бились в полы длинной шинели, всякие походные футлярчики скакали по бокам, фуражка скатилась с него, и слетели очки. Вслепую и не оглядываясь он бежал к ближним кустам, где можно было притвориться падалью,— проваливался в снег и опять бежал: он любил жить! Ему удалось выиграть время, — двести

третья не сразу выбралась из ямы, словно мертвые генералы дружно ухватились за ее скользкие катки. Видно было по всему, что надолго майора нехватит. То был пожилой, средней упитанности, фашистский хлюст с майорскими зигзагами на рукаве и, кажется, в хороших заграничных сапогах со шпорами для совращенья девок... Но Литовченко не видел ничего, кроме круглой, как бельмо, лысинки на его затылке; это был он, тот самый, что посмел замахнуться куренком на старуху, и теперь уже никто не уберег бы обреченного германского майора от Литовченки. Изогнувшись, Дыбок поднял передний люк, чтобы догнать беглеца хоть из автомата, потому что не тратить же было на удовлетворение частной потребности последний их, последний в жизни снаряд! Расстояние блистательно сокращалось... и в этот момент сокрушительный удар где-то близ кормы слегка подкинул двести третью.

Левая гусеница была цела и мертва, снаряд ворвался в ведущее колесо танка. Машина тяжко и медленно закрутилась на месте, как бы стремясь ввинтиться в мерзлую землю. Собольков решил сгоряча, что немецкий танк подобрался сбоку. «Вот я тебе, вот я тебе всыплю в посадочную площадку... сейчас, погоди, сейчас!» — бормотал Собольков, пытаясь обернуть орудие к врагу, которого еще не видел — сколько его и каков. Второй удар пришелся по венцу башни, и все поворотные механизмы отказали разом. Это был полный паралич, но еще бешено и грозно ревел мотор; в его раздирающий уши звон вплелись неясные смертные стуки... и все же он еще тянул куда-то, уставший жить, но не сражаться.

— Уходи... все! — успел крикнуть лейтенант, тяжестью тела налегая на штурвал пушки. И он никогда не думал, что она будет такой мучительной, тишина последней остановки, когда Литовченко снял ноги с педали.— Лес... бежать... всем... — повторил он криком, которому нельзя было не повиноваться.

Короткий белый полдень вспыхнул в башне. На этот раз попадание было точнее, — Обрядина предохранили казенник и балансиры орудия. Оглохший, полуслепой, точно взглянул на солнце, слизывая соленую горячую росу с обожженных губ, он обернулся к командиру. Тот еще сидел, привалясь к задней стенке, прямой и очень строгий,

только непонятная темная дыра, которой не было раньше, образовалась в нижней половине его лица. Его ударило осколком в рот, в самую сказку, незаконченную сказку всей его жизни. Убитый командир еще глядел и, кажется, приказывал Обрядину покинуть танк; и опять, уже в последний раз, ослушался его башнер, как изредка по мелочам делал это и при жизни.

Он привстал, упираясь головой в круглое стальное небо; ему удалось поднять крышку люка и поставить на стопор. Он не заметил, как внизу, сквозь каток в одну и ту же дыру, туда, где тревожно мяукал Кисо́, вошли четвертый и пятый, и дрогнули по-братски все семьдесят два трака, и почему-то смертно заломило ноги у Обрядина.

— Погоди, не вались... давай вылезать отсюда, — осипло и почти спокойно шептал Обрядин, вертясь в своей тесной рубке. — Вылезай, Соболек... милый, вылезай. Хватайся за меня, я помогу. Врешь, танкисты особый народ... мы еще во!.. Давай, упрись сюда ножкой, Соболечек мой...

Обхватив лейтенанта, он поднял его на весу, на выпрямленных руках, и если бы даже остался жив теперь, вылежал бы месяц за одно это нечеловеческое усилие. Его зеленые глаза почернели, едва понял, что и у десятка Обрядиных нехватит силы вытолкнуть командира наружу. «Одолели, одолели...» — прохрипел он, усмехаясь на подлую радость того, кто бил его сзади. Тогда-то, без боли и шума, в башню и в спину ему вошел шестой.

Чуть впереди, на шоссе, стояла одна немецкая противотанковая пушчонка. Чорт поставил ее там на страже своего воинства. Она расстреливала двести третью в упор, не целясь, со стометрового расстояния, с какого не промахиваются и новички. Уже были исковерканы и сбиты все левые катки, ленивый дым валил из трансмиссии и командирского люка; уже вся двести третья просвечивала насквозь, уже чинить в ней было нечего, а те всё стреляли, дырявя кормовые баки, откуда хлестала огненная кровь, голили ее, сшибали все крышки и, как жесть, разгибали броню; только животный страх, что еще оживет двести третья — без гусениц, без башни, — мог быть причиной такого шквального и уже недостойного огня. Все, что теперь успело снова подняться на шоссе, мрачно и без

ликования наблюдало эту солдатскую истерику... Напрасно Дыбок с Литовченкой, прячась за танком, пытались автоматными очередями унять неистовство артиллерийского микроба; он добивал их милый тесный дом, где родилась их дружба, до той поры, пока десятиметровое милосердное пламя не одело его весь, и выстрел из накаленной пушки потряс окрестность как прощальный салют живым. И так продолжалось все это, пока другие зрители не пришли на место расправы.

...Герой, выполняющий долг, не боится ничего на свете, кроме забвения. Но ему не страшно и оно, когда подвиг его перерастает размеры долга. Тогда он сам вступает в сердце и разум народа, родит подражанье тысяч, и вместе с ними, как скала, меняет русло исторической реки, становится частицей национального характера. Таков был подвиг двести третьей... По живому проводу шоссе волна смятенья покатилась на передовую, и тот момент, когда в армейском немецком штабе была произнесена фраза «на коммуникациях русские танки», надо считать решающим в исходе великошумской операции. Одновременно с этим корпус Литовченки с трех направлений охлестнул поле сражения, и третья танковая группа двигалась как раз той трассой, какую за сутки перед тем проложил Собольков... Одинокая размашистая колея двести третьей, изредка прерываемая очагами разгрома и опустошения, вела их теперь к победе. Похоже было — не один, а целая ватага сказочных великанов крушила германские тыловые становища, и шла дальше, волоча по земле свои беспощадные палицы.

Штурмовая лава Литовченки размела и свалила под откос остатки вражеской колонны, пропуская в прорыв конницу и мотопехоту. На больших скоростях, как бы церемониальным маршем военного времени, они проходили мимо догорающего товарища. И каждый, кто глядел из люка, или с седла, или с сиденья транспортера, поворачивал голову по мере бега, не в силах оторваться от печального и благородного зрелища. Клочок тепла от этого уже маленького, как представлялось сверху, костерка они на своих лицах уносили в бой... Время перевалило за полдень, двести третья еще пылала, но черные прожилки усталости все гуще струились в мышцах огня. Ветерку не составило бы труда вовсе погасить леностное, остывающее пламя,

сквозь которое стал проступать остов преображенного танка... Дело шло к вечеру, и примораживало. Нестерпимая красота наступала в природе...

Большое солнце опускалось за низкие облачные горы. Глаз легко различал покатые хребты и малиновые склоны, пересеченные глубокими лиловыми распадами; розовые реки и спокойные озера светились там, недвижные, как в карауле. Возможно, сам Алтай в праздничной своей одежде припожаловал через всю страну проводить земляка в вечный путь танкистской славы. А тот, в ком есть отцовское сердце, отыскал бы там, в огне заката, и каменный стол под моховой скатерткой, за которым отдыхал не однажды со своей дочкой Собольков... Чуть вправо от этой родины героев сказочно и совсем близко рисовался синий профиль Великошумска, потому что пригороды его начинались тут же рядом, за тонким полупрозрачным перелеском. Мускулистые стылые дымы поднимались над ним; казалось, само горе народное встало на часах возле двести третьей... Тем отрадней блистал сквозь них крохотный клочок золотца на высокой, узорчатой, может быть лишь для этого уцелевшей колокольне. Город горел; догорало неиспепеленное накануне. Ясно различимы были изгрызенные взрывом стены собора, у которого не раз Украина браталась с Русью, тесные вишневые садики, разгороженные плетнями и спускавшиеся к реке, безлюдные улички, где неторопливо проходила дымная мгла, — все, кроме пламени; оно никогда не бывает видно в закате.

Двое сидели на поваленном телеграфном столбе, лицом к солнцу и танку. Как у всех, перешагнувших пропасть, не было у них пока ни раздумья, ни ощущения времени или голода, ни понимания всей новизны обстановки, — ничего, кроме чувства безвозвратной потери. Душою они находились еще там, внутри; еще крошилась броня над ними и звучал голос Соболькова... Снежинка, спорхнув с порванного провода, опустилась на руку Дыбку, на запястье. Она была маленькая и нежная; даже удивляло, что целую ночь, пока дрались и падали люди, трудился над нею мороз, чтоб выковать такую пустяшную и хрупкую бесценность. И сам собою возникал вопрос — повторится ли она когда-нибудь за миллионолетье — в точном ее весе, рисунке, в ее живой и недолговечной прелести? Она растаяла прежде, чем родился ответ.

Вдруг Дыбок вспомнил про Кисо, его лицо исказилось, виноватая тоска сжала душу. Он побежал к танку и заглянул через передний люк, как будто еще не поздно было исполнить ночную просьбу Соболькова. Чадный жар пахнул ему в глаза. Ничего там не было, на дне танка, в копотной мохнатой тьме, кроме горки застылой коричневатой пены да желтого пятнышка заката, проникшего сквозь пробоину. Нельзя было долго глядеть сюда: жгло.

13

— Поезжайте медленно... мне нужно осмотреть все, — сказал Литовченко своему шоферу; оба Литовченки смотрели сейчас на одно и то же, только один издали, а другой совсем вблизи.

Старинное желание сбывалось, генерал навестил наконец родные места. Три *виллиса* и один броневичок проехали по пустынной набережной, поднялись в горку, потом спустились на круглую базарную площадь, где когда-то, бывало, галдели бабы, странники и кобзари и где он на паях с Дениской покупал копеечные лакомства ребячьего рая... Немецкое самоходное орудие с развороченной кормой чернело пугалом посреди. Ветерок гудел в зеве поникшего ствола. Вокруг лежали немцы, как застигнутые глубоким сном.

Никто не встречал победителя, точно спали все за поздним часом; ничто не двигалось, кроме огня. Тушить было некому: жителей угнали раньше, а войска ушли в прорыв... Вот нахохлилась в стороне одноэтажная деревянная развалюха его приятеля Дениски, но ничто не катилось навстречу облаять чужое колесо. Значит, спят Денискины собаки, как и тот, неугомонный, вроде чернильной кляксы, спит сейчас под откосом шоссе. А вот и три дружных пенька от срезанных тополей при дворике учителя Кулькова... Никто не опросил генерала, кого он ищет здесь, ни сосед, ни хозяин, ушедший в дальнюю отлучку. Сквозь едучий дым в окнах видна была ободранная железная коечка и этажерка над нею, уже без книг, раскиданных на полу; огонь неспешно листал их странички, с несложной, в глазах переросшего ученика, мудростью учителя Кулькова.

«Что же не ведешь меня в дом, не угощаешь знаменитыми кавунами, не хвастаешься, как вкушал их заморский профессор и все просил семечек на развод как благодеяния американскому человечеству?»

«Вот видишь сам, какие дела творятся, дорогое ты мое превосходительство...» — так же полуслышно отвечал Митрофан Платонович голосом летящих искр и пустых зимних ветвей, скрипом снега под ногами; еще доносилось порой, как кричал радист в машине рядом, вызывая *Льва Толстого* с левого фланга и требуя обстановку на 16.00.

— Да, непохоже... изменилось, — вслух подумал Литовченко и жестко, до боли, пригладил усы. — Раньше тут по-другому было. И сарайчик не там стоял...

— Верно, любовь какая-нибудь... на заре туманной юности? — пошутил помпотех, ехавший с ним вместе.

То был румяный весельчак, не терявший духа бодрости даже тогда, когда следовало посбавить и бодрости; они давно воевали вместе.

— Ты у меня просто сердцеведец, — кашляя от дыма, а также потому, что еще не прошла его простуда, сказал Литовченко. — Не зря ты у меня железо лечишь.

Оставалось посетить лишь школу. Обветшалое двухэтажное зданьице, плод кульковских усилий еще в царское время, стояло там же, близ почты, недалеко: больших расстояний в Великошумске не было. Переднюю стену сорвало взрывом, точно занавеску; внутренность школы представлялась в разрезе, как большое наглядное пособие. Литовченко узнал изразцовую, украинской керамики, печку, а также лестницу, по перилам которой они всем классом в переменки съезжали вниз. И хотя ступеньки достаточно приметно колебались под ним, он поднялся и благоговейно обошел темные загаженные комнаты с немецкими кроватями и окровавленной марлей на полу, каждому уголку отдавая дань внимания и благодарности. В дальнем крыле находился чуланчик, куда и раньше складывали отслуживший учебный хлам. Дверь пошла на топку, и на полке, засыпанной известью, Литовченко еще издали увидел глобус, сохраненный, видимо, ради этой встречи хозяйским усердием учителя Кулькова.

— А, здравствуй!.. — протянул генерал, точно увидел приятеля давних лет.

Стряхнув белую пыль, он внимательно глядел в глян-

цовитую поверхность, расписанную линялыми материками и освещенную закатцем. Вмятина приходилась чуть севернее того места, куда теперь устремлялись его танки; вмятина еще оставалась, так как для исправления глобуса, как и земного шара, потребовалось бы безжалостно распороть его и соединить половинки заново.

Он поставил его на место и огляделся, прощаясь с тем, что изменялось теперь каждое мгновенье. В пролом стены видна была река, движение на переправе и, среди прочих, один очень знакомый домик на том берегу. Окна ярко светились, точно старуха Литовченко затопила печь к приезду внука, только дым валил не из трубы, а из-под самой кровли. Генерал посмотрел на часы и удивился: на все вместе ушло одиннадцать минут — посетить родные места, выслушать стариковское молчанье, подвести тридцатилетние итоги.

— Ишь, как быстро управились, а я думал, неделей не обойдусь. Новое, во всем новое надо строить! Вот, помпотех, где закончился старый, смешной век девятнадцатый и начался другой, совсем другой век!.. Ну, что там у *Льва Толстого?* — Он выслушал сводку до конца, не перебивая. — Ладно, поехали.

Городок отодвинулся назад, во вчерашний день. Сразу за окраиной начинались уже привычные картинки немецкого разгрома. Там, как в музее, были представлены для обозрения образцы вражеской техники и вооружения, вразброс и навалом, и зачастую в нетронутом виде. Еще не оплаканные матерями и вдовами юнцы и тотальные солдаты того года валялись всюду, приникнув к чужой земле и вслушиваясь в гул своих отступающих армий. Одни из них пребывали уже в плохой сохранности, другие вовсе не имели внешних повреждений; может быть, их убил страх. *Виллисы* ловко скользили между ними, стараясь не замарать свои чистенькие, после великошумского снега, колеса. Вихрь машинного боя разметал мертвых по всей окрестной пойме, шеренгами наложил у переправы или воткнул как попало в сугроб, где им предстояло ждать весны, пока не выйдет украинский пахарь на поля, освобожденные от зимы и нашествия. Ее было здесь много, иноземной мертвечины; казалось, вся она лежала тут, Германия, вымолоченная, как сноп. Так выглядела дикарская мечта, по которой прошли история и танки.

Все это неслось мимо, не оставляя следа в привычном к таким зрелищам сознании Литовченки. Но вот воспоминания отступили перед большим черным пятном в обтаявшем снегу. Генерал тронул шофера за рукав.

— Стой!.. Это, кажется, мои.

По колено проваливаясь в снег, он спустился вниз. Остальные последовали без приглашения. Два человека в матерчатых шлемах, понуро сидевшие на бревне, вскинулись и молчали, пока адъютант не намекнул глазами левому из них. Держа руку у виска, тот принялся докладывать о происшедшем, но губы его тряслись и судорожно вздергивались плечи: еще не доводилось Дыбку в присутствии Соболькова рапортовать за командира.

— Ладно, не надо, — сказал Литовченко, касаясь его влажного плеча; все вокруг — раздавленная на шоссе пушчонка, непросохшая одежда, обломки штабной машины — рассказывало опытному глазу обстоятельнее, чем этот пошатнувшийся танкист. — Ну, ну, пройдет! — прибавил он, переглянувшись со своими. — Озябли, ребятки. Кто командир... ты?

Дыбок отрицательно качнул головой, и что-то поняв, генерал сам двинулся к танку. Длинная лиловая тень от двести третьей была дорожкой, по которой он шел. Она растаяла, когда он добрался до цели; солнце зашло, сказка кончилась, вступали в свои права ночь и военная действительность. Как бы считая дыры, генерал обошел танк по жесткому войлоку обугленной травы. Он припомнил эту машину; сквозь копоть был достаточно различим ее номер, только теперь рваное отверстие зияло вместо нуля. Привстав на отогнутый клок брони, генерал заглянул в башню и снял папаху.

— Дайте-ка мне сюда вашу науку и технику, — приказал он адъютанту, потому что в однообразной черноте танка сумерки настали скорее, чем в остальном мире. — Ишь, как они обнялись, — заметил он дрогнувшим голосом, как-то слишком спокойным для того, что он увидел. — Вот они, советские танкисты. Вот они, мы!..

За двое суток капитан удосужился наконец сменить батарейку, и командир корпуса сумел прочесть в танке все, что требуется для определения степени подвига. Надев шапку, Литовченко уступил место помпотеху. Пока остальные, в очередь и подолгу, глядели внутрь этого потухшего

вулкана, генерал вернулся к экипажу. Теперь он признал и тезку, только этот был много старше того мальчика на железнодорожной станции.

— Узнаю. Значит, отца все-таки Екимом звали? Так... Кажется, брат у тебя в неметчине имеется?

— Точно... товарищ гвардии генерал-лейтенант,— ответил Литовченко с суровостью, какой не было раньше. — Трое нас было. Тот — младшенький, Остапом по деду звать.

Генерал вопросительно взглянул на адъютанта, но, запутавшись в однообразии имен и горя, капитан уже не помнил, как ему называли угнанного паренька из Белых Коровичей.

— Помню командира вашего... кажется, Собольков? Такой, с седым вихорком был? Как же, помню Соболькова. Что ж, сгорела знаменитая ваша хата. Ничего, новую дам. Сам не ранен?

— Организм у меня целый... товарищ гвардии генерал-лейтенант.

— Это главное!.. Так вот: там, метров триста отсюда, танк без водителя стоит, — он кивнул в меркнущую глубину шоссе. — Новичок... с открытым люком воевать хотел. Скажешь — я послал. Хозяин там тоже хороший, я его знаю. Он тебя посушит, покормит... и воюй. Будет что рассказать внучатам! — Затем он обернулся и к Дыбку, потому что обоих нужно было поддержать словом товарищеского участия. — Дети есть?

— Дочка... — неожиданно для себя сказал Дыбок, и желанная легкость вошла ему в сердце.

— Это хорошо. Дочка — значит, мать героев. Большая?

— Восемь... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — ответил Дыбок, покосившись на танк, таявший в сумерках.

— Большущая. Верно, и читать умеет. Станешь писать — кланяйся от меня. Все. Записать фамилии!..

Молча подошли офицеры. Помпотех стал закуривать.

— Да... могила неизвестного танкиста, — сказал он раздумчиво, для самого себя.

— Неверно! — немедля возразил Литовченко. — Это у *них* солдат одевают в форму, чтоб были одинакие, чтоб их не жалко было. А мы... нет, мы не забывчивые, мы все

помним. Жена изменит, мать в земле забудет... но у нас каждое имечко записано. Кстати, — он показал на танк, — *этих* не закапывать. Выйду из боя, сам буду их хоронить... в Великошумске. Таким и поставлю на высоком камне этот танк, как есть. Пусть века смотрят, кто их от кнута и рабства оборонил...— И тут же подумал, что проездом на теплые черноморские берега всякий сможет видеть из вагона высокую, как маяк, могилу двести третьей.

Виллисы ушли и сразу пропали в сумерках. Пора было и Литовченке отправляться к месту новой службы. У товарищей не было даже кисетов, поменяться на прощанье: все осталось в танке. Они взялись за руки и стояли без единого слова; мужской солдатской силы нехватало им порвать это прощальное рукопожатье.

— Слушай меня, Литовченко, — глухо и не своим обычным голосом заговорил Дыбок, и сейчас не было в нем ни одного потайного уголка, куда не впустил бы товарища. — Что бы с тобой ни случилось... — Он помедлил, давая ему срок проникнуть в глубину клятвы. — Что бы ни случилось с тобой, приходи ко мне... Отдам тебе половину всего, что у меня будет. Меня легко найти, ты обо мне еще много услышишь... Я знаю. Приходи!

Литовченко выбрался на шоссе и, задыхаясь, побежал прочь от этого места. Еще незнакомое чувство клокотало в нем и просилось слезами наружу. Лишь когда всё, танк и товарищ, затерялось в потемках, он перешел на шаг; идти в обратную сторону было бы ему гораздо легче, но Литовченко тут же решил, что за истекшее время он не мог уйти далеко, тот майор с зигзагами на рукаве!.. Новые, незнакомые люди ждали его где-то совсем рядом, и паренек испытал такую же щемящую раздвоенность, как и Собольков в ночном танке, когда он принял своего башнера за Осютина.

Непонятная сила повернула его лицом назад. Война тянула к себе. Горизонт оделся в грозное парадное зарево, а над ним сияла одна немерцающая точка, на которую в эту минуту глядели все — и Дыбок, и черный Собольков из открытого люка, и разорванное орудие двести третьей, и сиротка на Алтае, — простая, чистая и спокойная звезда, похожая на снежинку.

Январь — июнь 1944 г.

ПЬЕСЫ

НАШЕСТВИЕ

ПЬЕСА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Таланов Иван Тихонович — врач.
Анна Николаевна — его жена.
Федор — их сын.
Ольга — их дочь.
Демидьевна — свой человек в доме.
Аниска — внучка ее.
Колесников — предрайисполкома.
Фаюнин Николай Сергеевич — из мертвецов.
Кокорышкин Семен Ильич — восходящая звезда.
Татаров, Егоров — люди из группы Андрея.
Мосальский — бывший русский.
Виббель — комендант города.
Шпурре — дракон из гестапо.
Кунц — адъютант Виббеля.
Старик.
Мальчик Прокофий.
Паренек в шинельке.
Партизаны, офицеры, женщина в мужском пальто, официант, сумасшедший, солдаты конвоя и другие.

Действие происходит в маленьком русском городе в дни Отечественной войны.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Низенькая комната в старинном каменном доме. Это квартира доктора Таланова, обставленная по моде начала века, когда доктор лишь начинал свою деятельность. Влево двустворчатая дверь в соседние комнаты, с матовыми стеклами до пояса. Простая девичья кровать и туалетный столик, отгороженный ширмой в углу. Уйма фотографий в рамочках, и над всеми главенствует одна — огромный портрет худенького большелобого мальчика в матроске. В широком среднем окне видна черная улица провинциального русского городка с колокольней вдали, на бугре. Сумерки. Анна Николаевна дописывает письмо на краешке стола; на другом его конце Демидьевна собирает обед.

Демидьевна. А ночью тараканы с кухни ушли.

Нетерпеливый жест Анны Николаевны.

От немца бегут. Послушала бы на улице-то.

Анна Николаевна. И все-то ты в дом тащишь. То подкову битую, то слух поганый.

Стучат в дверь.

Демидьевна. Войди. Кто еще там ломится?

Кокорышкин (*просунув голову*). Это я, извиняюсь, Кокорышкин. Нигде Ивана Тихоновича застать не могу.

Анна Николаевна. У него операционный день сегодня. Скоро вернется. Пройдите, подождите.

Кокорышкин. Ничего, я тут-с.

И дверь закрылась.

А н н а Н и к о л а е в н а. Кокорышкин!.. Чудак какой!

Она идет за ним и приводит его, упирающегося. Это подслеповатый неопределенного возраста человек в пальтишке с чужого плеча.

К о к о р ы ш к и н. Тогда уж дозвольте не раздеваться, в домашнем виде я. Мне и дела-то — только бумаги подписать.

Д е м и д ь е в н а. Приткнись и не мешай. Письмо Федору Ивановичу пишем.

Кокорышкин сел, кашлянул разок и замер с папкой на коленях.

Точно с ума повскакали. Боровков всем домом укатил. Наверху тетка сидит, самовар держит. Уезжают люди-то.

А н н а Н и к о л а е в н а. Никто никуда не уезжает. Спроси вон Кокорышкина, он все знает.

К о к о р ы ш к и н *(привстав)*. Точно. Уезжают-с.

А н н а Н и к о л а е в н а. Сейчас звонил Колесников и ничего не сказал. А уж ему-то, как председателю райисполкома, было бы известно.

К о к о р ы ш к и н. И он уедет-с.

А н н а Н и к о л а е в н а. И пускай едут. (*Склоняясь над письмом.*) И перестань бубнить, Демидьевна.

Д е м и д ь е в н а. Мне бубнить нечего... а вещи закопать, пока земля не задубенела, это всякий скажет. (*Кокорышкину.*) У Аниски три рубахи исподних забрали. Ленточка сверху лежала, стираная, косу заплетать... и на ту польстились.

К о к о р ы ш к и н. Это которая же Аниска?

Д е м и д ь е в н а. Внучка, даве из Ломтева, от немцев, прибежала. За сорок верст пешком маханула. Значит, сладко!

Кокорышкин сочувственно почмокал и снова замер.

Еле чаем отпоила, дрожма́ девка дрожит. Сейчас за сахаром послала постоять. Уж такова-то ласкова у меня: все баушка да баушка... (*Анне Николаевне.*) Я ее на сундучке пристроила. Она и полы нам помоет и постирает что.

А н н а Н и к о л а е в н а. Конечно, пускай отдохнет. (*Закончив письмо.*) Ломтево! Там Иван Тихонович работу начинал, Федя родился, на каникулы туда приезжал. Как все обернулось!

Д е м и д ь е в н а. Пиши, пиши, обливай его материнскими слезами. (*С сердцем взглянув на портрет мальчика.*) Может, хоть открыточку пришлет!

А н н а Н и к о л а е в н а (*заклеивая конверт*). Последнее! Если и на это не откликнется, бог с ним. (*Стеснительно, сквозь полуслезы.*) Извините нас. Мы к вам так привыкли, Кокорышкин.

К о к о р ы ш к и н. Сердечно понимаю. (*С чувством.*) Хотя сам по состоянию здоровья детей не имел... однако в мыслях моих всем владал и, насладясь, простился. (*Коснувшись глаз украдкой.*) Не встречал я их у вас, Федора-то Иваныча.

А н н а Н и к о л а е в н а. Он в отъезде... Закрывай окна, Демидьевна, скоро самолеты полетят.

К о к о р ы ш к и н. И давно они в этом самом... в отъезде?

А н н а Н и к о л а е в н а. Три года уже... и восемь дней. Сегодня девятый пошел.

Д е м и д ь е в н а. Незадачник он у нас.

А н н а Н и к о л а е в н а. Он вообще был хилого здоровья. Только нянька его и выходила. А добрый, только горячий очень был... (*Поднявшись.*) Кажется, Иван Тихонович вернулся.

Демидьевна закрыла окна фанерными щитами и включила свет. С портфелем, в осеннем пальто и простенькой шляпе вернулась с работы Ольга. Минуту она, щурясь, смотрит на лампу, потом произносит тихо: «Добрый вечер, мама», и проходит за ширму. И вот тревога улицы вошла в дом вместе с сыростью на ее подошвах.

Раздевшись, Ольга бездумно стоит, закинув руки к затылку.

А н н а Н и к о л а е в н а. Разогреть тебе или отца с обедом подождешь?

О л ь г а. Спасибо, я в школе завтракала.

А н н а Н и к о л а е в н а (*заглянув к ней*). Ты чем-то расстроена, Оленька?

О л ь г а. Нет, тебе показалось. (*Достав из портфеля кипу тетрадей.*) Устала, а надо еще вот контрольную просмотреть.

А н н а Н и к о л а е в н а. А почему Оленька в глаза не смотрит?

О л ь г а. Так. Давеча войска мимо школы шли. Молча. Отступление. Ребята сидели присмире-евшие. И сразу

как-то пусто стало... даже собаки затихли. *(Очень строго.)* На фронте плохо, мама.

Анна Николаевна. Когда же... случилось-то?

Ольга. Прошлой ночью. Они ударили танками в обход Пыжевского узла и вышли клином на Медведиху. К Колесникову по дороге забежала: бумаги жгут.

Кокорышкин. Копоть везде летает, точно черный снег идет. Тяжелое зрелище!

Ольга. Простите, я вас и не заметила, Кокорышкин.

Кокорышкин *(жестко)*. Их бы теперь проволокой окружить да артиллерией всех и уничтожить.

Ольга. Легко нам, в тылу, судить о войне. А там...

Анна Николаевна. А еще что случилось, Оленька?

Та молчит.

Вы не обедали, Кокорышкин? Идите на кухню. *(В дверь.)* Демидьевна, покорми Кокорышкина.

Кокорышкин. Балуете, растолстею я у вас, Анна Николаевна. *(Уходит.)*

Мать выжидательно смотрит на дочь.

Ольга. Только не пугайся, мамочка... он жив и здоров. И все хорошо. Я сейчас Федю видела.

Анна Николаевна. Где, где?

Ольга. На площади... Лужа большая, и рябь по ней бежит. А он стоит на мостках, нащурился во тьму, один...

Анна Николаевна. Рваный верно, страшный, в опорках... да?

Ольга. Нет... похудел очень. Я только по кашлю его и признала.

Анна Николаевна. Давно приехал-то?

Ольга. Я не подошла, я из ворот смотрела. Потом домой кинулась предупредить.

Анна Николаевна. Что же мы стоим-то здесь... Демидьевна, Демидьевна!

Демидьевна вбежала.

Демидьевна, Федя приехал. Собирай на стол, да настоечки достань из буфета. Уж, верно, выпьет с холоду-то. Дайте мне надеть что-нибудь, я сбегаю. А то закатится опять на тыщу лет...

Демидьевна. Короткая у тебя память на сыновнюю обиду, Анна Николаевна.

Ольга (*за руки удержав мать*). Никуда ты не побежишь. Мы предупреждали его об этой женщине. Он сам ушел от нас, пусть сам и вернется. (*Слушая тишину.*) Кто-то у нас в чулане ходит.

Они прислушиваются. Жестяной дребезжащий звук.

Корыто плечом задел. Верно, больной к отцу, впотьмах заблудился.

Демидьевна (*шагнув к прихожей*). Опять двери у нас не заперты.

Анна Николаевна. Ступай, я запру.

Она выходит, и тотчас же слышен слабый стонущий вскрик. Так может только мать. Затем появляется снисходительный мужской басок: «Ладно, перестань хныкать, мать. Руки-ноги на местах, голова под мышкой, все в порядке!»

Демидьевна. Дождалася мать своего праздничка.

На пороге мать и сын: такая маленькая сейчас, она придерживает его локоть — тому это явно неприятно. Федор — высокий, с большим, как у отца, лбом; настороженная дерзость посверкивает в глубоко запавших глазах. К нему не идут эти франтовские, ниточкой, усики. Кожаное пальто отвердело от времени, плечо испачкано мелом, сапоги в грязи. В зубах дымится папироска.

Федор (*избавившись от цепких рук матери*). Здравствуй, сестра. Руку-то не побрезгуешь протянуть?

Ольга (*неуверенно двинувшись к нему*). Федор! Федька, милый...

Смущенный ее порывом, он отступил.

Федор. Я, знаешь, простудился... в дороге. Не торопись.

И вдруг яростный приступ кашля потряс его. Папироска выпала на пол. Ольга растерянно подняла ее в пепельницу. Он приложил ко рту платок, потом привычно спрятал его в рукав.

Федор. Вот видишь, какой стал...

Анна Николаевна. У печки-то погрейся, Феденька. У нас печка горячая. Стаскивай кожу-то свою. Давай я ее повешу.

Ф е д о р. Ладно, я сам. (*Нетерпеливей.*) Пусти же, я сказал.

Она стала еще меньше, попятилась. Он ставит пальто торчком у двери на полу.

Не по чину на вешалку-то, постоит и так. (*Пригрозив пальцем, как собаке.*) Стоять! (*И только теперь, вместо приветствия.*) А постарела, нянька. Не скувырнулась еще?

Ни один мускул не шевельнулся на лице Демидьевны.

А н н а Н и к о л а е в н а. Оля, ты займи Федора... я пока закусочку приготовлю. (*Федору робко.*) Без ужина не отпустим тебя.

О л ь г а. Демидьевна приготовит, мама.

Д е м и д ь е в н а. Не трожь, дай ей руки-то чем-нибудь занять.

Анна Николаевна торопится убежать. Губы ее закушены.

О л ь г а. Кажется, любовь к женщине, в которую ты стрелял, поглотила все в тебе, Федор. Даже нежность к матери. Ведь ты бы мог и помягче с нею. Она хорошая у нас. Она консерваторию для нас с тобой бросила, а какую ей карьеру пророчили!

Ф е д о р. Неловко мне, не понимаешь? Три дня по улицам шлялся, боялся войти, только бы этого... надгробного рыдания не слышать. (*Он обходит комнату, с любопытством трогая знакомые вещи.*) Все то же, на тех же местах... Узнаю... (*Открыл пианино, тронул клавишу.*) Мать еще играет?

О л ь г а. Редко. Ты даже не написал ей ни разу. Стыдился?

Ф е д о р. Нет, так. Занят был. (*Он взглянул на портрет; на мгновенье поза его совпадает с позой мальчика на портрете.*) Все мы бываем ребенками, и вот что из ребенков получается. (*Не оглядываясь, няньке, через плечо.*) Ты чего, старая, уставилась? Даже в спине загорелось.

Д е м и д ь е в н а. Любуюсь, Феденька. Больно хорош ты стал!

О л ь г а. Срок твой кончился? Ты, значит, вчистую вышел?

Ф е д о р. Нет, я не беглый... не бойся, не подведу.

О л ь г а (*обиженно*). Ты зря понял меня так. Посиди с ним, Демидьевна, я пойду маме помочь. (*Уходит, опустив голову.*)

Д е м и д ь е в н а. Ну, всех разогнал. Теперча, видать, мой черед. Давай поиграемся, расправь жилочки-то...

Она садится на стул, посреди, поплотнее. Робея перед ней, Федор одергивает слишком короткие ему рукава пиджака.

Похвастайся няньке, как ты бабенку зашиб за то, что красоты такой не оценила.

Он быстро и зло взглянул на нее.

Глазом-то не замахивайся. Береги силу. Скоро папаша придут.

Ф е д о р. Ладно, нянька, ладно. Уймись.

Д е м и д ь е в н а. Уж тайком-то и богу намекала, прибрал бы тебя от греха, скорбного да бесталанного... ан нет! (*Сурово усмехнувшись.*) И ведь что: в ту пору ж пальто семисезонное племяннику обыденкой у бога вымолила. А про тебя не дошла до уха божия моя молитва.

Федор слушает стоя, упершись в письмо на столе. Бумага хрустит под его ладонью.

Люди жизни не щадят, с горем бьются. А ты все в сердце свое черствое глядишь. Что делать-то собрался?

Ф е д о р (*глядя на пол.*) Не знаю. Жить по старому я больше не могу.

Д е м и д ь е в н а. Совесть заговорила... аль шея еще болит?

Ф е д о р (*сдаваясь*). Не надо, нянька. Продрог я от жизни моей.

Д е м и д ь е в н а. То-то, продрог. Тебе бы, горький ты мой, самую какую ни есть шинелишку солдатскую. Она шибче тысячных бобров греет. Да в самый огонь-то с головой, по маковку!

Ф е д о р. Не возьмут меня. (*Тихо и оглянувшись.*) Грудь плохая у меня.

Д е м и д ь е в н а. А ты попытайся, пробейся, поклонись.

Заглянула А н и с к а; ей лет пятнадцать, на ней цветастое платьице и толстые полосатые шерстяные чулки. Она робеет при виде незнакомого человека.

Входи, девка, не робей. Мы тута не рогатые.

А н и с к а. Я, баушка, сахарок принесла.

Д е м и д ь е в н а. Положь на буфет, умница. Носом не шмыгай, сапогами не грохай, люди смотрят.

Благоговейно, на цыпочках, в вытянутых руках Аниска относит пакетик. У нее так светятся глаза и горят с холоду щеки, такая пугливая свежесть сквозит в движеньях, что нельзя смотреть на нее без улыбки. Лицо Федора смягчается.

Не признаешь?

Ф е д о р. Важная краля. Кто такая?

Д е м и д ь е в н а. А помнишь, кубарик такой по двору в Ломтеве катался, спать тебе не давал? Она, Аниска. Ишь, вытянулась. От немцев убежала. *(Аниске.)* Поздоровкайся, это Федор Иваныч, сын хозяйский. Он из путешествия воротился.

Аниска кланяется, облизывая губы. Федор недвижен.

Ф е д о р. Чего смеешься, курносая?

А н и с к а. Это я не смеюсь. Это у меня лицо такое.

Д е м и д ь е в н а. Ты поговори с ней, она у меня на язык-то бойкая.

Ф е д о р (*не зная, о чем спросить*). Ну, как немцы-то у вас там?

А н и с к а. А чево им! Ничево, живут.

Ф е д о р. В разговоре-то они как, обходительные?

А н и с к а. Ничего, в общем обходительные. Что и взять надоть — все на иностранном языке.

Ф е д о р *(Демидьевне)*. Все ребята в Ломтеве приятели мне были. У длинного-то Табакова, поди, уж и дети. Много у него?

А н и с к а. Трое, меньшенькому годок. (*Оживясь, Демидьевне.*) Забыла тебе сказать-то, баушка.. Как повели его с Табачихой на виселку, шавочка ихняя немца за руку и укуси. Аккуратненькая така была у них собачка. Беленькая! Так они шавочку рядом с хозяйкой вздернули... (*Содрогнувшись, как от озноба.)* Видать, уж и собаки воюют.

Ф е д о р (*угрюмо)*. Та-ак.. А Статнов Петр?

А н и с к а. Этот с первочасья в леса ушел. В баньке попарился напоследок и баньку спалил. И парнишку увел с собой, из шестого класса. Прошкой звать.

Федор улыбнулся на ее певучие интонации.

(Сердится.) А ты чево смеешься, путешественник?

Ф е д о р. Так, смотрю на тебя: смешная. Кабы все люди такие были!

О л ь г а, приоткрыв дверь, произносит одно лишь слово: «Отец». Все приходит в движение. Демидьевна отставляет стул, Аниска исчезает. Заметно волнуясь, Федор заправляет под пиджак концы серенького шарфа, которым обмотана шея.

Д е м и д ь е в н а. Не лай отца-то. Дай ему покричать на себя, непоклонный.

Федор отходит к окну. Входит Т а л а н о в — маленький, бритый, стремительный. Кажется, он не знает о возвращении сына.

Т а л а н о в. Обедать не буду. Чаю в кабинет, погуще. Демидьевна, пришей же мне, милочка, вешалку, наконец. Третий день прошу. *(Заметив сына и тоном, точно видел его еще вчера.)* А, Федор! Вернулся в отчий дом? Отлично.

Федор собирается ответить — ему мешает глухой, мучительный кашель. Склонив голову набок, Таланов почти профессионально слушает и ждет окончания припадка.

Отли-ично...

Демидьевна унесла шубу, Федор спрятал платок.

Давно в городе?

Ф е д о р. Вчера. *(И заученно, точно заготовил раньше.)* Я доставил тебе с матерью неприятности. Извини.

Т а л а н о в. Мы тоже виноваты, Федор. Ты был первенец. Мы слишком берегли тебя от несчастий... и ты решил, что все только для тебя в этом мире.

Федор покривился при этом.

Эта женщина... умерла?

Ф е д о р. Нет. Я хотел и себя, но не успел.

Т а л а н о в. За что же ты ее... так?

Ф е д о р. Я любил ее. Зря.

Т а л а н о в. А теперь?

Федор молчит.

Приехал отдохнуть? Что ж, поживи, осмотрись.

Ф е д о р. Спасибо. Нет. Все будут смотреть, учить. Я пришел к тебе на прием, как к врачу.

Таланов. Отлично. Только, брат, я вечерами плохо видеть стал. Садись к свету, хочу рассмотреть тебя.

Послушно и даже приподняв край матерчатого абажура, Федор садится у лампы. Свет искоса падает ему на лоб. Опершись в руку Федора, брошенную на столе, Таланов смотрит в лицо сына. Федор выдергивает руку.

Федор. Ну... поставил диагноз?

Таланов. Да. Кашель твой мне не нравится... и этот *глянцауген,* и руки твои — влажные, горячие.

Федор. Это все пустяки. Я другое имел в виду.

Таланов. И другое. Ты растерян. Резкость твоя от смущения. И эти усики тоже. Ты ищешь выхода. Это уже хорошо. (*Так говорят с провинившимся ребенком.*) Оглянись, Федя. Горе-то какое ползет на нашу землю. Многострадальная русская баба плачет у лесного огнища... и детишечки при ней, пропахшие дымом пожарищ, который никогда не выветрится с их душ. Знаешь, сколько этих подбитых цыпляток прошло через мои руки? Вчера, например... *(Он махнул рукой.)* Э, боль и гнев туманят голову, боль и гнев. А болезнь твоя излечимая, Федор.

Федор. Тем лучше. Садись, сочиняй рецепт.

Таланов. Он уже написан, Федор. Это — справедливость к людям.

Федор. Справедливость? (*Возгораясь темным огоньком.)* А к тебе, к тебе самому справедливы они, которых ты лечил тридцать лет? Это ты первый, еще до знаменитостей, стал делать операции на сердце. Это ты, на свои кровные копейки, зачинал поликлинику. Это ты стал принадлежностью города, коммунальным инвентарем, как его пожарная труба...

Таланов *(слушая с полузакрытыми глазами).* Отлично сказано, продолжай.

Федор. И вот нибелунги движутся на восток, ломая все. Людишки бегут, людишки отрезы вывозят и теток глухонемых. Так что же они тебя-то забыли, старый лекарь, а? Выдь, встань на перекрестке, ухватись за сундук с чужим барахлом: авось подсадят. *(И зашелся в кашле.)* Э, все клокочет там... и горит, горит.

Таланов. Не то плохо, что горит, а что дурной огонь тебя сжигает.

Ольга приоткрыла дверь.

Не мешай нам, Ольга.

Ольга. Папа, извини... там Колесников приехал. Ему непременно нужно видеть тебя.

Таланов *(с досадой)*. Да, он звонил мне в поликлинику. Проси. *(Сыну.)* У меня с ним минутный разговор. Ты покури в уголке.

Федор. Мне не хотелось бы встречаться с ним. Черный ход у вас не забит?

Ольга. Зайди пока за ширму. Он спешит, это недолго.

Федор отправляется за ширму.

(Открыла дверь.) Папа просит вас зайти, товарищ Колесников.

Тот входит в меховой куртке и уже с кобурой на поясном ремне. Он тоже лобаст, высок и чем-то похож на Федора, который из-за ширмы слушает последующий разговор.

Колесников. Я за вами, Иван Тихонович. Машина у ворот, два обещанных места свободны. *(Ища глазами.)* У вас много набралось вещей?

Таланов. Я не изменил решения. Я никуда не еду, милый Колесников. Здесь я буду нужнее.

Колесников. Я знал, что вы это скажете, Иван Тихонович.

Ольга *(тихо, ни на кого не глядя)*. Времени в обрез Небо ясное, скоро будет налет.

Таланов *(Колесникову)*. Торопитесь, не успеете мост проскочить. Ну... попрощаемся!

Колесников не протянул руки в ответ.

Вы ведь тоже уезжаете?

Колесников *(помедлив)*. Нас никто не слышит... из соседней квартиры?

Таланов. У нас булочная по соседству.

Ольга хочет уйти.

Колесников. Вы не мешаете нам, Ольга. *(Таланову.)* Дело в том, что... сам я задержусь в городе... на некоторое время. Я член партии и, пока я жив...

Таланов. Вот видите! *(В тон ему.)* Я тоже не тюк с мануфактурой и не произведение искусства. Я родился в этом городе. Я стал его принадлежностью... *(для Федора)*

как его пожарная труба. И в степени этой необходимости вижу особую честь для себя. За эти тридцать с лишком лет я полгорода принял на свои руки во время родов...

Колесников (*улыбнувшись*). И меня!

Таланов. И вас. Я помню время, когда ваш отец был дворником у покойного купца Фаюнина. (*Иронически.*) Постарели с тех пор, доложу вам. Мало на лыжах ходите.

Колесников (*взглянув на Ольгу*). Ну, теперь будет время и на лыжах походить.

Федор задел гребень Ольги на столике. Вещь упала.

(*Насторожился.*) Нас кто-то слушает там... Иван Тихонович.

Таланов. Нет... Никто.

Колесников заметил пальто Федора и молча поднял глаза на Таланова. В ту же минуту Федор выступает из-за ширмы.

Федор. Никто — это, повидимому, я. Как говорится в романах, из стены вышел призрак средних лет. Гутен абенд, бояре!

Таланов (*смущенно*). Вы не знакомы? Это Федор. Сын.

Федор. Когда-то мы встречались с гражданином Колесниковым. В детстве даже дрались не раз. Припоминаете?

Колесников. Это правда. У нас в ремесленном не любили гимназистов. (*С упреком Таланову.*) Не понимаю только, что дурного в том, что сын... после долгой разлуки... навестил отца!

Федор. Ну, во-первых, сынок-то меченый. Тавро-с! А во-вторых, прифронтовая полоса. Может, он без пропуска за сто километров с поезда сошел да этак болотишками сюда... с тайными целями пробирался?

Ольга. Чем ты дразнишь нас, Федор? Чем?

Колесников. Вы напрасно черните себя. Вы споткнулись, правда... но если вас выпустили, значит общество снова доверяет вам.

Федор. Так полагаете? Ага. Тогда... Вот вы обронили давеча... что остаетесь в городе. Разумеется, с группкой верных людей. Как говорится — добро пожаловать, немец-

кие друзья, на русскую рогатину. Пиф-паф!.. Так вот, не хотите ли взять к себе в отряд одного такого... исправившегося человечка? Правда, у него нет солидных рекомендаций, но... *(твердо, в глаза)* он будет выполнять все. И смерти он не боится: он с нею три года в обнимку спал.

Неловкое молчание.

Не подходит?

Колесников *(помедлив)*. Я остаюсь только до завтра. Я тоже покидаю город.

Федор. Понятно. *(Поглаживая усики.)* Не потому ли так настойчиво и рекомендуете папаше драпануть отсюда?

Таланов. Я прошу тебя быть вежливым с моими друзьями, Федор.

Колесников. Я отвечу ему. Иван Тихонович безраздельно подарил себя людям. К нему ездят даже из соседних районов. Нам хотелось избавить его от опасностей. К тому же здесь будет довольно шумно, начнут оживать всякие мертвецы. Уже и теперь высовываются кое-где из подполья змеиные головки.

Федор. Значит, сестре моей, например, полезен этот шум?

Ольга. Я остаюсь со школой, Федор.

Федор *(руки в карманах и покачиваясь)*. А не проще? Немцам потребуются видные фигуры для разных должностей...

Ольга *(с намеком, резко)*. Боюсь, что они уже нашли их, Федор!

Колесников. Кончайте вашу мысль. Меня мать ждет в машине.

Федор. А не опасаетесь ли вы, что папаша здесь глупостей без вашего присмотра натворит?

Колесников. Вы озлоблены, но в вашем несчастье повинны только вы. Кроме того, мне некогда вникать в ваши душевные переливы. В другой раз. До свиданья, Иван Тихонович!

Они обнялись. Колесников перевел взгляд на Ольгу.

Ольга *(тихо)*. Я провожу вас до машины.

Колесников *(Федору)*. От души желаю вам найти себе место в жизни.

Федор *(фальцетом)*. Мерси-и.

Ольга выходит вслед за Колесниковым.

Таланов. Догони и извинись, Федор.

Федор. Доктор Таланов никогда не сек своих детей. С годами его взгляды на воспитание изменились?

Таланов устало полузакрыл глаза. Вернулась Ольга. Она зябко обхватила руками плечи.

Ольга. Звезды, звезды... И, кажется, уже летят.

Федор *(полувиновато, отцу)*. Слушай, неужели ты и теперь боишься его? Сколько я понимаю в артиллерии, эта пушка уже не стреляет.

Таланов. Теперь я знаю твою болезнь. Это гангрена, Федор. *(Ему дурно; ухватясь за край скатерти, он оседает в кресло.)*

Ольга кинулась к нему.

Ольга. Папа, ты заболел?.. Дать тебе воды, папа?

Демидьевна, вошедшая с ужином, торопится помочь ей.

Только тихо, тихо, чтоб мама не услышала.

Они успевают дать ему воды и подсунуть подушку под голову, когда приходит Анна Николаевна.

Мама, ему уже лучше. Ведь тебе уже лучше, папа?

Таланов. Трудный день выпал. Все дети, дети...

Демидьевна *(Федору)*. Ступай уж пока, ожесточенный. Потом постучишься... *(совсем тихо)* я тебя впущу.

Через плечо няньки Федор все смотрит на отца и суетящихся вокруг него женщин. Он, кажется, не верит, что такие пустяки могут вызвать такие следствия.

Ольга *(подойдя к Федору)*. В самом деле, тебе лучше уйти теперь. Отец рано поднимается... работы много, очень устает.

Федор *(беря пальто)*. Я не знал, Оля, что это... твой жених. Извини!

Ольга *(с горечью)*. И это все, что ты понял за весь вечер, Федор?

Издалека, все повышаясь и усиливаясь, возникает сигнал воздушной тревоги. Федор слушает, подняв голову, потом уходит, никем не провожаемый. Молчание. Присев к столу и сжав уши ладонями, Ольга принимается за правку тетрадей.

Анна Николаевна *(мужу)*. К тебе Кокорышкин с бумагами. Позови его, Демидьевна.

Д е м и д ь е в н а *(на кухне)*. Войди, казенная бумага. Засох, поди, у печки-то.

Она уходит, взамен появляется К о к о р ы ш к и н и уже на ходу достает чернильницу из кармана.

Т а л а н о в. Задержал я вас, Кокорышкин.

К о к о р ы ш к и н. Пустяки-с. Зато помечтал на досуге.

А н н а Н и к о л а е в н а. О чем же вам мечтается? *(С болью.)* Не о сыне ли?

К о к о р ы ш к и н. Мои мечтания больше все из области сельского хозяйства. *(Копаясь в портфеле.)* Диоклетиан, царь, удалился от государственных дел для рощения капусты. В Иллирию! *(Подняв палец.)* Громадные кочны выращивал. *(Подавая бумагу.)* О проведении оборонных мероприятий.

Т а л а н о в. Это о курсах медсестер? *(Подписывая.)* А ведь был день, Аня... и у нас все наше, мечтанное, было впереди. И ты держишь экзамен, на тебе майское платье. И ты играла тогда... уже забываю, как это?

Анна Николаевна идет к пианино. Одной рукой и стоя она воспроизводит знаменитую музыкальную фразу.

И дальше, дальше. Там есть место, где врываются ветер и надежды.

Тогда она садится и играет в полную силу. Молча Кокорышкин подает, а Таланов подписывает бумаги.

К о к о р ы ш к и н. И последнюю, Иван Тихонович.

Слышен разрыв бомбы, и второй — ближе. Музыка продолжается. Это борьба двух противоположных стихий. Когда героическая мелодия заполняет все, следует третий, совсем близкий разрыв. Дребезг стекла и грохот обвала. Свет гаснет. С разбега Анна Николаевна успевает сыграть два последующих такта. Потом тишина.

Чернил не опрокиньте, Иван Тихонович. Погодите, я вам спичечку черкну.

А н н а Н и к о л а е в н а. Оля, зажги лампу. На окне стояла.

Вспыхнула спичка. Ольга уже у окна. Громадные тени колеблются на стенах. Короткая пальба и непонятный шум с улицы. Лампа разгорается плохо. Все на ногах. Портрет Феди лежит на полу, и как будто уже наступил другой вечер другого мира. Д е м и д ь е в н а с огарком входит из кухни.

О л ь г а. Принеси метлу, Демидьевна, стекла вымести. Федя упал.

Демидьевна уходит. Слабый шорох у двери. Только теперь Талановы замечают на стуле возле выхода незнакомого старичка с суковатой палкой между колен. Он улыбается и кивает, кивает плешивой головой, то ли здравствуясь, то ли милости прося и пристанища.

Т а л а н о в *(с почтенного расстояния)*. А ты как попал сюда, отец?

С т а р и к. Со страху заполз, хозяин. Небеса рушатся.

Ольга подносит лампу ближе. На госте грязные стеганые штаны и такая же кофта; сума и ветхая шапочка лежат у ног. Точно принюхиваясь, Кокорышкин со всех сторон осматривает старика.

О л ь г а. Ты сам-то откуда, старик?

С т а р и к. Странствую, как Лазарь... в пеленах, в коих был схоронен. И, эва, плита гроба моего еще глядит мне вслед. *(И, стуча палкой, таким обострившимся взором уставился в угол, что все невольно покосились туда же.)* Чево, чево чресла-то разверзла, вдовица каменная!

А н н а Н и к о л а е в н а *(вполголоса)*. Наверно, больной... на прием к тебе притащился.

Т а л а н о в *(уже профессионально)*. И давно странствуешь, отец?

С т а р и к. Ведь как: ум-то жадный, немилосливый, шепчет — год, год, а ноги-то стонут — триста, триста! Так и бреду, в два кнута.

О л ь г а. Так ты не туда забрел, дедушка.

С т а р и к. Дом-то фаюнинской?

Т а л а н о в. Дом-то фаюнинский, да тебе через площадь надо. Номера не помню, тоже бывшего купца Фаюнина дом. И там проживает доктор вроде меня, с бородочкой. Он как раз специалист по странникам. К нему и ступай.

А н н а Н и к о л а е в н а. Пускай переждет, пока налет кончится.

С т а р и к. Спасибо, Анна Миколаевна, за жалость твою.

А н н а Н и к о л а е в н а *(насторожась)*. А вы меня откуда знаете?

С т а р и к. Может, и во сну встренулись ненароком. Вот креслице стоит, мяконькое... и креслице снилось не раз. На нем еще подпалинка снизу есть.

О л ь г а. Никакой подпалинки там нет, вы ошибаетесь.

С т а р и к. Есть, дочка, есть. Сон был такой: колечко закатилось, а дворник свечку под низ и поставь. Чуть пожара не наделал.

Т а л а н о в. Я такого случая не помню.

С т а р и к. А давай взглянем, Иван Тихонович. Подержи-ка батожок мой, хозяюшка. *(Кокорышкину.)* Помоги, мушиная чахотка.

Вдвоем с Кокорышкиным они кладут кресло набок. На холщовой подбивке явственно видно большое горелое пятно. Талановы переглянулись.

Тебя, дочка, еще на свете не было, а вещь эта уже в конторе у Николая Сергеевича Фаюнина стояла.

И что-то в отношениях решительно меняется. Кокорышкин почтительно и чинно кланяется старику.

К о к о р ы ш к и н. Добро пожаловать, Николай Сергеевич. Измучились, ожидамши. Свершилось, значит?

С т а р и к. А потерпи, сейчас разведаем. *(Жесткий, даже помолодевший, он идет к старомодному телефонному аппарату и долго крутит ручку.)* Станция, станция... *(Властно.)* Ты что же, канарейка, к телефону долго не идешь? Это градский голова, Фаюнин, говорит. А ты не дрожи, я тебя не кушаю. Милицию мне. Любую дай. *(Снова покрутив ручку.)* Милиция, милиция... Ай-ай, не слыхать властей-то!

К о к о р ы ш к и н *(выгибаясь и ластясь к Фаюнину)*. Может, со страху в чернильницы залезли, Николай Сергеевич, хе-хе!

Фаюнин вешает трубку и сурово крестится.

Ф а ю н и н. Лета наша новая, господи, благослови.

Теперь уже и сквозь прочные каменные стены сюда сочится треск пулеметных очередей, крики и лязг наползающего железа.

Ныне отпущаеши, владыко, раба своего по глаголу твоему с миром. Яко видеста очи мои...

Его бесстрастное бормотанье заглушает яростный звон стекла. Снаружи вышибли раму прикладом. В прямоугольнике ночного окна — искаженные ожесточением боя, освещенные сбоку заревом, люди в касках. Сквозь плывущий дым они заглядывают внутрь. Это немцы.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина первая

И вот беда грозного нашествия застлала небо городка. Та же комната, но что-то безвозвратно ушло из нее: стала тусклой и тесной. Фотографии Федора уже нет, только срамное, в паутине и с гвоздем посреди, пятно зияет на обоях. Сдвинутые вещи, неубранная посуда на столе. Утро. В среднее окно видна снежная улица с тою же, но уже срезанной наполовину колокольней на бугре. Соседнее, высаженное в памятную ночь, забито поверх одеяла планками фанеры. Откуда-то сверху то усилится, то затихнет — доносится унылое, от безделья, мужское пение. Ольга, одетая по-зимнему, собралась уходить. Анна Николаевна держит дверь за скобку.

Ольга. Мама, мне каждая минута дорога... Мама!

Анна Николаевна. А я не пущу тебя, Ольга, не пущу.

Ольга. Пойми, дети могли собраться... Из шестидесяти хоть трое. Что будет с ними?

Анна Николаевна. Сядь и рассуди: какие же занятия сегодня? И кто, безголовый, пошлет своего ребенка в школу!

Два, один за другим, выстрела. Пригнув голову, кто-то суматошливо и беззвучно пробежал под окном.

Отойди от окна, Ольга.

Ольга *(переменив место)*. Некоторые живут при глухих бабках, а те и землетрясенья не услышат, если бы случилось... Я должна, мне нужно пойти. Я деньги за это получаю, мама!

Таланов *(из соседней комнаты)*. Дай человеку что-нибудь делать, Анна.

Анна Николаевна. Ты хочешь потерять и дочь? Последнюю, Иван. *(Демидьевне, которая вошла из кухни.)* Чего они там распелись-то? Точно отпевают кого...

Демидьевна. И верх и флигелек во дворе заняли. Куды ни глянь — солдат торчит. *(Доверительно.)* Опять нонче четверых немцев нашли заколотых. А сверху записочка на всех общая.

Анна Николаевна. А в записке что?

Демидьевна. А в записочке надпись, сказывают, — «добро пожаловать». Наро-оду похватали! И у нас на дому синяя бумага висит. Большие деньги сулят, кто докажет. Ищут...

Анна Николаевна. Кого же ищут-то?

Демидьевна. Кто его знает, Андрея какого-то. А у нас в городу Андреев-то штук тридцать, поди, наберется.

Ольга. Нам это неинтересно, Демидьевна. Мы люди мирные. И вам лучше заниматься своим делом.

Демидьевна. В немки, что ль, записаться? *(Обиженно.)* Картошка-то у нас на погребе, мимо немца идти. Рази Аниску послать? Она, как ветерок, проскочит.

Анна Николаевна. Пока не стихнет, никому из квартиры не выходить. Пошли-ка ее сюда, на столе прибрать. *(Ольге, после ухода Демидьевны.)* Расспроси-ка ее, что в Ломтеве-то делается!

Ольга, не раздеваясь, терпеливо садится на стул. Вошла Аниска.

Аниска. Меня баушка послала. Что делать-то надо?

Анна Николаевна. Прибери посуду, девочка, только не побей чего-нибудь.

Пыхтя от важности порученного дела, Аниска приступает к работе.

А вот Ольга говорит, что зря ты из Ломтева убежала.

Аниска *(рассудительно)*. Чево зря! Лютовать стали, Анна Миколавна. Избу вытопят, сестры нашей, бабенок, нагонят, распатронят как следовает быть... и пошла карусель. У меня подружка была, на одной парте сидели, Клавушка... Так, нагишом, в ледяную воду и кинулась.

(По-бабьи, концом головного платка она коснулась глаз.) Чать, помните, озерышко-то наше?

Анна Николаевна. Помнишь, Оля, ломтевские озерки? Ивы старые кругом... помнишь?

Ольга безучастно смотрит в окно.

Аниска. Офицер один боле всех зверовал. Белобрысый, ровно дым, а хроменькой. Надругается да еще спину сургучом припечатает. С чего бы это, Анна Миколавнушка? Ведь баба-то, чать, не письмо.

Ольга *(решительно поднявшись)*. Ну, мамочка, я пошла. А то мне поздно станет.

Анна Николаевна. Платок-то порва́ней надень. Да горбься, горбься на улице-то. Горбатая да убогая кому глянется!

Ольга отворила дверь и тотчас закрыла. Долетел шум ссоры: ворчливый басок Демидьевны и знакомый тенорок Фаюнина.

Ольга *(отцу, в соседнюю комнату)*. Иди, папа. Начинается светлая жизнь. К тебе власть с визитом. Я черным ходом пройду. *(Обернувшись.)* Не беспокойся, мама... я скоро вернусь. *(Ушла.)*

Обороняясь от наступающего гостя, появляется Демидьевна. На Фаюнине летний просторный пиджак со складками от лежанья в заветной укладке. Сапоги, стоячий воротничок и лысина блестят, как натертые воском. У него вид и повадки дореволюционного филера.

Фаюнин. Не заигрывай, голубушка, старик я. Пусти руки, не заигрывай.

Демидьевна. Не посмотрю, что Лазарь. Вдругорядь уже поглубже закопаем, чтоб не вылезал.

Фаюнин. Ай-ай, дуреха какая. Уйди, не расстраивай меня, уйди.

Таланов *(выходя к Фаюнину)*. И правда, уйди, Демидьевна.

Косясь и ворча, та отходит в сторону.

Фаюнин. Разве можно такие слова, да на людях, да под горячую руку, да кому?.. Мне! Ай, дуреха. *(Всем.)* Поздравляю вас, родные мои. Не за горами, не за горами свет.

Все молчат. Он напрасно ждет ответа.

А вы не молчите со мной, родные. Не за платой квартирной, с миром пришел. И пришел к вам один. Мог бы и во множестве нагрянуть, а один пришел. Эва, весь тут.

Анна Николаевна. Зачем же вы нас пугаете, Фаюнин?

Фаюнин. Чем тебя, хозяюшка, птаха сирая испугать может, чем? Твой дом — полная чаша, а мое гнездо где? Где слава моя, фирма где? Одна газетина парижеская писала, что-де лён фаюнинский нежней, чем локоны Ланкло Нинoны... Нету! Где птенец мой любимый? В тесной земляной каморке почивает.

Демидьевна. В богадельню, что ли, его, красногорожего? Уж он людей травить зачал.

Фаюнин (*круто повернув голову, так что воротничок врезался в шею*). Чего-с? У сирой пташки востры зубки прорезались. Как бы ей тебя, старушечка, не укусить!

Таланов. Ты, Демидьевна, так и не пришила мне вешалки. Принеси в кабинет. Пусть Анна Николаевна займется.

Обе поняли и уходят.

Таланов. Вы, конечно, по делу ко мне, господин Фаюнин?

Фаюнин. Угадали. Второй день стремлюсь задушевно поговорить с вами, Иван Тихонович. (*Аниске, которая подметает пол, намеренно пыля на Фаюнина.*) Стань, деточка, в подъезде. Как машина подкатит, упреди. Брысь!

Аниска убежала.

Сядем, Иван Тихонович. Старики, а равно на дуели стоим.

Таланов. Я слушаю вас.

Они сели.

Фаюнин. Где пешком, где опрометью — светлый день грядет. Уже скоро, шапки снявши у святых ворот Спасских, войдем мы с вами в самый архангельский собор. И падем на плиты и восплачем, изгнанники рая. (*Мельком.*) Давно в Кремле-то не бывали?

Таланов. Давно.

Фаюнин (*иронически*). Я тоже, все как-то собраться не мог. Сперва, знаете, скитался, потом в одиночестве томился, затем строительством занимался, в горах Акатуя... (*Заметив движение Таланова.*) Виноват?!

Таланов. Мне непонятно... чем я вызвал такое доверие ваше.

Фаюнин. Сходность судьбы-с. Милостями от прежних оба мы не отягощены; сынки наши, может, на одних нарах в казенном доме спали. Кроме того... (*Он щелкнул крышкой часов и почмокал.*) Ай-ай, время-то. Давайте уж пряменько. Домичек этот со всей его начинкой предназначен под комендатуру. Сперва в школу метили, где Ольга Ивановна ваша, да поскольку сгорела дотла, а ремонт нонче, сами знаете... Словом, сейчас сюда прибудут для осмотра адъютант Виббеля, коменданта, и Мосальский-господин. Значит, вас с супругой тряханут отсюда на старости лет. Но... (*почти на ухо, по-приятельски*) бог-то силен! Виббель, по слухам, на тигров охотился, но, подобно Первому Петру, государю, ужасно мышек боится. Вот мы бы его мышками, а?

Таланов. Вы покороче, я понятливый.

Фаюнин. Слушаю-с. (*Деловито.*) Утречком опять четверых нашли. Все одним почерком, в бочок, заколоты. И с записочкой... Следовательно, остался в городе один какой-то шутник. Андреем его зовут, Андреем. Кто бы это мог быть, а? Хоть бы фотографию взглянуть, что за Бова такой бесстрашный.

Таланов. Фотографией не занимаюсь. Андреев знакомых не имею. Все больше Иваны. И сам я тоже Иван.

Фаюнин. Теперь неповинные пострадают. Виббель-то отходчив, да с него Шпурре требует. А Шпурре этот... Известно вам, что такое дьявол? Так вот господин Шпурре этим самым дьяволом кровь у себя в управлении, как тряпкой, вытирает. Вытрет, выжмет насухо и сушиться на веревочку повесит. Да-с! А уж чего, казалось бы, этому Андрею руками махать. Можайск-то пал, уж в подзорную трубу воробьев на архангельском соборе видать... (*В самые глаза.*) Убедили бы вы его при личном свидании, чтоб сокрылся от греха, не мутил бы нашего города!

Таланов. Это кого же убедить?.. Шпурре, дьявола или самый архангельский собор?

Ф а ю н и н *(почти по-детски)*. Нет, а этого самого, Андрея.

Т а л а н о в. На площадь, что ли, выйти и кричать, пока не услышит?

Ф а ю н и н. Разве так дозовешься!.. А вы черканите ему письмишечко, чтоб пришел по срочному делу. Кокорышкин так полагает, что адресок его вам непременно известен. Вот и повидаетесь.

Он ласково поглаживает рукав Таланова. Тот поднялся, шумно отставив стул.

Т а л а н о в. И опять не туда вы забрели, Фаюнин. В должности этой я никогда еще не состоял.

Ф а ю н и н *(тоже встав)*. Это... в какой должности?

Т а л а н о в. А вот в должности палача. Не справиться мне, силы не те. Тут, знаете, и веревку надо намылить и труп на плече оттащить...

Ф а ю н и н. Жаль, жаль! Боюсь... больно Кокорышкин кругом вьется. С Мосальским снюхается, из зубов кусок вырвут... *(С надеждой.)* Ведь не к спеху, можно и завтра, а?

С перепуганным видом А н и с к а влетает из прихожей.

Ну, что там?

А н и с к а. Енарал приехал! *(Пометавшись, она потом незаметно прячется за портьерку.)*

Фаюнин выглянул в окно.

Ф а ю н и н. Хватайтесь за свое счастье, Иван Тихонович. Сам Виббель прикатил. *(Он заранее замирает в полупоклоне.)*

Входит М о с а л ь с к и й, из эмигрантского поколенья, в русском, видимо отцовском, башлыке и дубленом командирском полушубке. Он пропускает вперед похрамывающего адъютанта К у н ц а, белобрысого, как дым.

К у н ц. Achtung! [1]

Затем, потирая подмерзшие уши, появляется В и б б е л ь, высокий пожилой офицер в шинели. Фаюнин устремляется навстречу.

---

[1] Смирно!

Ф а ю н и н *(скороговоркой)*. Рад приветствовать в собственном доме, где познал жизнь и сам родил сына моего, павшего в беззаветном бою с коммунизмом. Фаюнин... градский голова. Фаюнин.

К у н ц. Zurück! [1]

В и б б е л ь *(Кунцу, гладко и медленно, точно читает упражнение)*. Я уже давал приказ моим офицерам говорить в этой стране по-русски. *(Полуобернувшись.)* Sklave?

М о с а л ь с к и й *(переводит на ухо)*. Раб.

В и б б е л ь. Раб может не знать язык господина, aber [2] господин объязан знать язык раба.

К у н ц *(покраснев и с усилием)*. Это та-ак трудно, господин майор.

В и б б е л ь *(сердясь)*. Но я сам говору по-русску. *(Указав пальцем на Таланова.)* Кто этот?

Ф а ю н и н *(самозабвенно)*. Таланов, знаменитый здешний, извините за выражение, эскулап-с.

Виббель склонил голову к Мосальскому.

М о с а л ь с к и й *(на ухо)*. Arzt! [3]

В и б б е л ь. Пошему молшит?

Ф а ю н и н. Доктор Таланов взволнован честью видеть господина Виббеля.

М о с а л ь с к и й. Тебе приличнее, Фаюнин, называть господина команданта — господин майор.

В и б б е л ь. Нишево. *(Таланову.)* Надо говорит, мой дружок.

Ф а ю н и н. Господина Таланова сын известен нам, как борец против советской власти.

Т а л а н о в *(вспыхнув и со стыдом)*. Это все неправда... Ложь и неправда.

Ф а ю н и н. От скромности!.. Господина Таланова сын совместно с геройски погибшим сыном моим Гавриилом...

Виббель хмурится.

М о с а л ь с к и й. Когда ты напомнишь это в десятый раз, Фаюнин, мы отправим тебя в долговременную побывку

---

[1] Назад!
[2] Но.
[3] Врач.

к твоему сыну. *(Таланову.)* Отвечай. Сколько здесь комнат и выходов?

Таланов. Когда вы родились, молодой человек, я уже лет десять верно служил моей родине. *(Помолчав.)* Три и кухня. Выходов два.

Мосальский *(опустив глаза)*. Подвальное помещение у вас имеется?

Таланов отрицательно качнул головой.

Угодно господину майору осмотреть расположение комнат?

Фаюнин *(забегая вперед)*. Здесь, изволите видеть, у них кабинет. Имеется неудобство: как ни кинь, стол приходится против окна. Конечно, если поставить дополнительно часового...

Мосальский останавливает его за плечо.

Мосальский. Останешься здесь, Фаюнин.

Таланов. Могу я уйти теперь?

Ему не отвечают. Виббель взглянул на Кунца, тот остается. Мосальский с Виббелем уходят.

Фаюнин *(желчно)*. Уж если вы, Иван Тихонович, сами выгоды своей не понимаете, так мне по крайней мере не мешайте. Они же вам тут кровью все загадят!

Таланов. Ах, не трогайте вы меня, Фаюнин.

У окна, где стоит Кунц, дрогнула портьера. Кунц с интересом отводит ее в сторону. Прижавшись к косяку, Аниска в ужасе молчит. Кунц узнал свою беглянку.

Кунц. Ah, du, mein feiner Käfer! [1]

Он тянется пальцами к ее подбородку. Аниска с визгом бросается наутек; приговаривая: «Komm mal her, komm mal her, Liebchen» [2], Кунц спешит за нею. В сопровожденье Мосальского возвращается встревоженный Виббель.

Мосальский. Кто тут кричал?

Фаюнин *(разводя руками)*. Такая оказия! Мышка скользнула да прямо девчонке под подол...

---

[1] Ах, это ты, милочка!

[2] Поди сюда, поди сюда, красотка!

В и б б е л ь *(тихо)*. Что есть мишка?

М о с а л ь с к и й *(на ухо)*. Maus [1].

Ф а ю н и н. Их тут и раньше пропасть бегало. По причине соседства булочной. За обоями так, бывало, стайками и шурстят.

Виббель в нерешительности посматривает под ноги себе. Виновато посмеиваясь, возвращается К у н ц.

Только они тута ласковые, господин майор, как канарейки...

В и б б е л ь *(содрогнувшись)*. А, ньет. Этот плохой дом. Ньет этот, ну... Kein Raum für die Wachtmanschaft [2].

М о с а л ь с к и й. Конвойная рота.

В и б б е л ь. Да, так. Wir müssen in alte Loch zurück [3].

Вскинув два пальца к козырьку и все еще поглядывая по углам, он поворачивает к выходу. Для прочности воздействия Фаюнин решается даже преградить ему путь.

Ф а ю н и н. А ведь только, господин майор, от них вреда нету... от мышек. *(Действием показывая, как это делается.)* Ее в уголочек загонишь, пальчиками этак сдавишь шеечку... и в форточку. Сальто-мортале — и все!

Виббель ускоряет шаг. Не отставая, Фаюнин убегает за ним.

М о с а л ь с к и й *(уже вежливо)*. Скажите, доктор... Я не очень верю этой лисе. Сюда действительно забегали мыши?

Т а л а н о в *(в лицо)*. И крысы, господин офицер.

В глазах Таланова не читается и следа насмешки. Мосальский неохотно берется за скобку двери. Вернувшийся Ф а ю н и н, облизывая губы, сторонится в дверях.

Ф а ю н и н. Видали, — как пробка у меня вылетел! Вопите «ура», Иван Тихонович: сам буду жить у вас. *(На радостях он даже пытается обнять Таланова.)* Зато уж потесню маненько, кабинетик-то отберу. Временно! Крупной фирме место только в Москве. Кстати, я его и на новоселье пригласил. Четверть века именин не справлял... теперь уж по-новому стилю их отпляшем. Подарков не жду, а уж с супругой пожалуйте!

---

[1] Мышь.

[2] Нет помещения для охраны.

[3] Придется возвращаться в прежнюю дыру.

Таланов. Вряд ли выйдет, — мы люди больные...

Фаюнин. Не пренебрегайте: сам Шпурре будет. Пригодится! Насчет Андрея подумайте. И хотя... *(загадочно)* мы его, возможно, еще нынче вечерком сами увидим, политически важно, чтоб это исходило именно от вас. А ведь ловко придумано: *добро пожаловать!* Шпурре так распалился, что аж искры от него летят, как эти словца услышит.

Таланов. Я устал, я устал от вас, Фаюнин.

Фаюнин. Лечу. Еще в управу надо, потом мертвяков немецких хоронить, потом с жителями совещание... Дела! Вы пока вещи-то переносите, а вечерком и сам переберусь. Ауфвидерзен, что значит — будьте здоровеньки, господин эскулап! *(И, сделав ногами балетный росчерк, убежал.)*

Минуту Таланов стоит посреди, повторяя: «Обезьяны, обезьяны...» Потом начинает снимать фотографии со стен. За этим делом застает его Анна Николаевна.

Анна Николаевна. Что ты делаешь, Иван?

Таланов. Освобождаю место, Аня. Здесь предполагается обезьянник.

Анна Николаевна закутывает голову шерстяным платком.

Далеко собралась?

Анна Николаевна *(с досадой)*. И ведь запретила из дому выходить. Солдаты шляются по городу, трезвые хуже пьяных... Аниска пропала, Иван.

Войдя через заднюю дверь, Ольга проходит к себе за ширму.

Хоть Ольга-то вернулась, слава богу. *(Громко.)* Оля, к тебе два каких-то товарища пришли по школьным делам.

Ольга. Ничего, подождут.

Анна Николаевна ушла.

Таланов. Что у тебя в школе, Ольга?

Ольга *(почти беспечно)*. Как всегда, мама оказалась права. Из ребят никто не явился. *(Она вышла, взяла хлеб со стола.)* Ужасно проголодалась.

Таланов. Что же ты делала в школе?

О л ь г а. Заглянула в класс. Пустой, неприбранный... И только сквозняк Африку на стенке шевелит. Там окно разбито.

Т а л а н о в. Одно разбито... или несколько?

Опустив руку с хлебом, Ольга пристально смотрит на отца.

Мы жили дружно, Оля. И у тебя никогда не было от нас секретов. Но вот приходят испытания, и ты выдумываешь разбитое окно... и целую Африку, как могильный камень, нагромождаешь на нашу дружбу. Ты рассеянная. Ты даже не заметила, что школа-то сгорела, Оля.

О л ь г а *(ловя руки отца)*. Милый, я не могла иначе. Я не имею права. Ты же сам требуешь, чтоб я дралась с ними... мысленно требуешь. Кого же мы — Федора туда пошлем? *(Нежно и горько.)* И я уже не твоя, папа. И если пожалеешь меня — уйду. *(И сквозь слезы еще не известная Таланову нотка звучала в ее голосе.)* Ах, как я ненавижу их... Речь их, походку, всё. Мы им дадим, мы им дадим урок скромности! И если пушек не станет и ногти сорвут, пусть кровь моя станет ядом для тех, кто в ней промочит ноги!

Т а л а н о в. Вот ты какая выросла у меня. Но разве я упрекаю или отговариваю тебя, Ольга, Оленька!

О л ь г а. И не бойся за меня. Я сильная... и страшная сейчас. В чужую жалобу не поверю, но и сама не пожалуюсь.

Т а л а н о в. Вытри слезы, мать увидит. Я пока взгляну, что она, а ты прими своих гостей. *(С полдороги, не обернувшись.)* Фаюнин обмолвился, что вечером намечается облава. Так что, если соберешься в школу...

О л ь г а *(без выражения)*. Спасибо. Я буду осторожна.

Отец ушел. Ольга отворила дверь на кухню. Она не произносит ни слова. Так же молча входят: Е г о р о в, рябоватый, в крестьянском армяке, и другой, тощий, с живыми черными глазами, — Т а т а р о в, в перешитом из шинели пальтишке. Говорят быстро, негромко, без ударений и стоя.

Кто из вас придумал назваться школьными работниками? На себя-то посмотрите! А что в доме живет врач и вы могли порознь прийти к нему на прием, это вам и в голову не пришло?

Т а т а р о в. Верно. Сноровки еще нет. Учимся, Ольга Ивановна.

Е г о р о в. Ничего. Ненависть научит. Мужики-то как порох стали, только спичку поднесть. *(Передавая сверток в мешковине.)* Старик Шарапов велел свининки Ивану Тихоновичу передать: жену лечил у него... Видела Андрея?

О л ь г а. Да. Он очень недоволен. В Прудках разбили колунами сельскохозяйственные машины. Зачем? В Германию увезут или стрелять из молотилок станут? Паника. А в Ратном пшеницу семенную пожгли. Прятать нужно было.

Е г о р о в. Не успели, Ольга Ивановна.

Т а т а р о в *(зло)*. А свою успели?

О л ь г а. И все забывают непрерывность действия. Чтоб каждую минуту чувствовали нас. Выбывает один — немедля, с тем же именем заменять другим. Партизан не умирает... Это — гнев народа!

Дверь распахнулась. Ничего не понять сперва: шум, плач, чей-то востренький смешок. Не замечая посторонних, вбежала А н н а Н и к о л а е в н а.

А н н а Н и к о л а е в н а. Быстро, дай что-нибудь теплое... юбку, одеяло, все равно!

О л ь г а. Что случилось? С папой? Ты вся дрожишь, мама.

С силой, непривычной для женщины, Анна Николаевна выдернула из-под кровати чемодан Ольги и наспех выхватывает вещи. Ольга выглянула в прихожую.

Она под машину попала, мама?

А н н а Н и к о л а е в н а *(убегая с ворохом вещей)*. Самовар поставь... и корыто железное из чулана сюда!

О л ь г а *(гостям)*. На кухню. Там договорим.

Егоров и Ольга уходят. Татаров задержался: ему видна прихожая. По его посуровевшему лицу можно прочесть о происходящем там.

Г о л о с Т а л а н о в а. Я подержу под руки пока... Освободи диван, Демидьевна!

Г о л о с А н н ы Н и к о л а е в н ы. Ничего, милочка, ничего. Здесь их нету... успокойся.

Пятясь и не сводя глаз с Аниски, которую сейчас введут в комнаты, появляется Д е м и д ь е в н а.

Д е м и д ь е в н а *(причитая)*. Махонькая ты моя, звездочка, потушили тебя злые во-ороги...

Горе ее бесконечно.

Картина вторая

И вот переселение состоялось. Теперь жилище Таланова ограничено пределами одной комнаты, заваленной вещами: еще не успели разобраться. Вдоль стен наспех расставлены кровати: одна из них, видимо, спрятана и за ширмой. Веселенькая ситцевая занавеска протянута от шкафа к окну, закрытому фанерой. В углу, рядом со всякой хозяйственно-обиходной мелочью — щетка, самовар, еще не прибитая вешалка — стоит разбитый, вверх ногами, портрет мальчика Феди. Поздний, по военному времени, час. У Фаюнина передвигают мебель, натирают полы: торопятся устроиться до ночи... Только что закончилось чаепитие на новом месте. Присев на тюк возле стола, Анна Николаевна моет посуду. Таланов склонился над книжкой журнала.

Таланов *(откладывая книгу)*. Так рождается новая область медицины: детская полевая хирургия!

С фаюнинской половины слышен визгливый голос Кокорышкина: «Краем, краем заноси... Люстра, люстра! В ноги надо смотреть...» Треск мебели, жалобный звон хрустальных подвесок, что-то упало и покатилось. «Мильонная вещь, деревенщина!» Какой-то огромный предмет протаскивают за открытой дверью. В жилетке, с перекошенным лицом, влетает, обмахиваясь картонкой, Кокорышкин, произносит: «Упарят они меня нынче. Откажусь, откажусь... Капусту стану садить!» — и исчезает. Таланов идет закрывать дверь, но и после сюда сочится брань и скрежет; кажется, нечистая сила переставляет там стены с места на место, а на матовом стекле появляются размахивающие руками силуэты и тени фантомов, занятых благоустроением фаюнинского уголка.

Помяни мое слово: съест Фаюнина наш Кокорышкин. В гору пошел!.. Ну, спать пора, Аня, поздно.

Анна Николаевна. Надо еще Ольги дождаться. *(Вдруг.)* Как ты думаешь, зачем сюда приехал Федор?

Таланов. Не надо о нем, Аня. Мы похоронили его еще тогда, три года назад.

Анна Николаевна *(обычным голосом)*. Не пора давать лекарство?

Таланов. Через десять минут.

Анна Николаевна. Через десять минут уже нельзя ходить по улицам, а Ольги еще нет.

Таланов. Открыла бы дверь на всякий случай.

А н н а Н и к о л а е в н а. У нее есть ключ.

На кухне хлопнула дверь.

Легка на помине.

Рванув на себя дверь, вся в снегу, вошла О л ь г а. Стоя к родителям спиной, она отряхивает шубку за порогом. Так удается ей скрыть одышку от долгого бега.

О л ь г а *(еле переводя дыхание)*. Кажется... я опять опоздала к чаю?

А н н а Н и к о л а е в н а. Чайник еще горячий. Пей. Что на улице?

О л ь г а. Снег идет... вьюга. По двору на ощупь шла.

На стекле сгущается силуэт К о к о р ы ш к и н а, потом входит он сам. Ольга делает вид, что не замечает его.

Жалко часовых в такую ночь!.. Вам что-нибудь нужно, Семен Ильич?

К о к о р ы ш к и н. Метелочки у вас не найдется? Пыль обмести.

О л ь г а. Конечно. *(Она подает ему щетку.)* И вообще, если что-нибудь потребуется... Устраиваетесь?

К о к о р ы ш к и н. Расставляемся. Все фаюнинские вещи разыскал. Стол письменный в исполкоме, буфет из детских яслей вырвал... Бесстрашно по улицам ходите, Ольга Ивановна!

О л ь г а. О, у меня еще семь минут в запасе, Семен Ильич.

Голос Фаюнина: «Симе-он!»

К о к о р ы ш к и н. Несу-у... *(Проникновенно и с намеком.)* Ну, на новом-то месте приснись жених невесте! *(Он побежал.)*

Ольга прикрывает за ним дверь.

А н н а Н и к о л а е в н а. Я даже не знала, что его зовут Семен Ильич. Что же ты стоишь? Садись, пей чай, раз пришла.

О л ь г а *(неуверенно)*. Видишь ли... я не одна пришла. Такое совпадение, знаешь. Я уже во двор входила, гляжу, а он бежит...

Т а л а н о в. Кто бежит?

О л ь г а. Ну, этот, как его? Колесников! А с угла патрульные появились. Я его впустила...

Родители не смотрят друг на друга: каждый порознь боится выдать то, что знает об Ольге.

Он уйдет, если нельзя. Он минут через шесть... или десять... уйдет.

Таланов. Так зови его. Где же он сам-то?

Ольга. Видишь ли, он ранен немножко. Пуля случайно задела. Пустяки, плечо...

Таланов быстро уходит на кухню.

Мамочка, ничего не будет. Папа перевяжет ему, и он уйдет... домой. Я так прямо ему и сказала... Он понимает.

Анна Николаевна. Посмотри мне в глаза, Оля. *(Она приподняла за подбородок ее опущенную голову.)* Ты у нас смелая и честная девочка, но ты... последняя. Федор не вернется. Отец стар. Несчастье убьет его.

Ольга порывисто целует ее в лоб. Таланов впускает Колесникова. Он в той же меховой, уже потрепанной куртке, небритый и безоружный, рука бессильно висит вдоль тела.

Ольга. Что с ним?

Таланов. Сейчас посмотрим. Оля, воду и тазик. За ширму. Стань у двери, Анна.

Беззвучная стремительная суета. Все на своих местах.

Пройдите сюда, на кровать.

Колесников *(идя за ширму)*. Как нескладно все получилось. И спать вам не даю, да и нагрянуть за мною могут. Снег бы не подвел!

Таланов. Придумаем что-нибудь. Снимайте ваш камзол. *(Уходит следом за Колесниковым.)*

Сцена пуста. Дальнейший разговор происходит за ширмой. Льется и булькает вода. Таланов моет руки.

Снимите совсем. Помоги, Ольга. Не торопитесь, вытяните руку...

Треск разрываемой ткани.

Здесь больно?

Колесников. Немножко... Тоже нет, только ноет. А как странно все это, Иван Тихонович! *(Его интонация меняется в зависимости от степени боли при перевязке раны.)* Я говорю, как странно: восемь лет мы работали с вами вместе. Я вам сметы больничные резал, дров вмеру не давал, на заседаниях бранились. Жили рядом...

Он замолк. Упали ножницы.

Таланов. Спирт. Потерпите, сейчас закончим. Выше, выше... Бинт.

Потом из молчания снова возникает голос Колесникова.

Колесников. И за все время ни разу не поговорили по душам. А ведь есть о чем. Нет, теперь не больно... И сколько таких неопознанных друзей у нас в стране...

Таланов. Пока все. Утром еще посмотрим. Где мы его положим, Аня?

Та не успевает ответить. Резкий и властный стук в раму окна. Смятенье. С усилием натаскивая на себя куртку, Колесников первым выходит из-за ширмы.

Колесников. Это за мной. Вот и вас-то подвел. *(Идет к выходу.)* Я встречу их во дворе. Сразу тушите свет — и спать.

Анна Николаевна. Оставайтесь здесь.

Колесников. Они будут стрелять... Да и я так, запросто, им не дамся.

Анна Николаевна уходит, сделав знак молчать. Текут томительные минуты. От Фаюнина несется игривая музычка: музыкальный ящик аристон. На кухне голоса. Колесников отступает за ширму. Обессилевшая, хотя опасность и миновала, Анна Николаевна пропускает в комнату Федора. Он щурится после ночи, из которой пришел: непонятный, темный, тяжелый. Усики обриты. Позже создается впечатление, что он немножко пьян.

Анна Николаевна. А мы уж спать собрались, Федя.

Федор. Я так, мимоходом зашел. Тоже пора бай-бай: уста-ал. *(Он садится, потягиваясь и не замечая, что все стоят и терпеливо ждут его ухода.)* Деревни кругом полыхают. Снег ро-озовый летит, и в нем патрули штыками шарят. *(С зевком.)* Облава! *(Подмигнув Ольге.)* А я знаю, по ком рыщут... Найдут, чорта с два! Он глядит где-нибудь из щелочки и ухмыляется. Бравый товарищ, я бы взял в компанию такого.

Ольга. А сам-то как же прошел? У тебя ночной пропуск есть?!

Федор. У меня в каждом заборе пропуск. *(Задиристо.)* Стрельнули бы, так и у меня есть. *(Хлопнув по карману.)* Пуля за пулю, баш на баш.

Таланов. Выдали, что ли... оружие-то?

Ф е д о р. Из земли вырыл, товарищ завещал. *(И только теперь заметив обступившую его выжидательную тишину, поднимается.)* Я ведь, собственно, по делу. У вас выпить чего-нибудь не найдется? Иззяб весь.

Т а л а н о в. Странно, Федор. Русские деревни горят кольцом, а тебе холодно. Зашел бы да и погрелся у головешек... *(Резко.)* Нет у нас водки, Федор.

Ф е д о р. У доктора да нету... Смешно!

О л ь г а *(примирительно)*. Я на днях зарплату получила. *(У нее все падает из сумочки при этом от спешки.)* Возьми, купи себе... только там, там...

А н н а Н и к о л а е в н а. Убери свои деньги, Ольга. *(И вдруг, сорвавшимся голосом.)* Подлец... как тебе не стыдно! Волки, убийцы в дом твой ворвались, девочек распинают, старух на перекладину тащат... а ты пьяный-пьяный приходишь к отцу. Ты уже испугался, испугался их, бездомный бродяга? *(Мужу.)* Он трус, трус...

Т а л а н о в *(дочери)*. Уведи на кухню. Фаюнин услышит.

О л ь г а. Мама, пойдем, мамочка. Там, за печкой, поплачешь. *(Беря ее под руку.)* Он сейчас уйдет. Осталось же в нем хоть немножко сердца. Он уйдет...

А н н а Н и к о л а е в н а. Бог его накажет... пусть бог его накажет!

Ольга увела плачущую. Федор выдерживает пристальный взгляд отца.

Ф е д о р. И опять сорвалось. Вот три дня мотаюсь по городу... и все додумать не умею. Сто мильонов разве меньше, чем я?.. Мелькнет ниточка и рвется. Озяб я... Дай мне лекарство, отец, чтоб спалило все внутри... Дай!

Т а л а н о в *(не сразу)*. Хорошо, я дам тебе лекарство, сильней которого нет на свете.

Ф е д о р *(хрипло)*. Сейчас дай.

Т а л а н о в. Сейчас дам. Выпей его залпом, если сможешь.

Он неторопливо отдергивает веселенькую занавесочку. Сперва и не поймешь, в чем дело. Сгорбясь, сидит Д е м и д ь е в н а, поглаживая кого-то, лежащего на кровати и накрытого почти с головой. Из-под одеяла посверкивают горячечные точечные зрачки.

Можно к вам, Демидьевна?.. Не задремала?

Д е м и д ь е в н а. Не может. *(С глухой мужицкой лаской.)* Спи ты, касатка. Спи ты, яблонька моя полевая. Спи...

Т а л а н о в. Вот тебе лекарство, Федор. Оно на человечьей крови замешано.

Ф е д о р *(почти спокойно)*. Кто же это?

Т а л а н о в. Ты видал ее у нас. Смешную Аниску помнишь? Она. Ей пятнадцать. Их было много... рыжих, беспощадных. Твоя мать нашла ее уже на дровах, в сарае. Всю в занозах.

Д е м и д ь е в н а. Была смешна, да ни смешиночки в ей не осталося.

А н и с к а *(высвободив голову и каким-то дрожким, пылающим голосом)*. Ска-азку давай... баушка. Где ты, где?

Д е м и д ь е в н а. Тут я, тут, яблонька. *(Напевно и меланхолично.)* И вот, махонька моя, лишь успел он вымолвить свое прошение, глянь — идут к нему полем четыре великих мастера. За руки держутся, голова в облаках. Один в сером, другой в полосатом пальте, в белом третёй, а четвертый в черном. Ветер, дождь, мороз-воевода...

А н и с к а *(с проблеском сознанья)*. А в черном-то кто же... баушка?

Д е м и д ь е в н а. А в черном пальте — солнышко. В черном-то, чтоб ему ненароком не спалить чего. Оно куда и полюбовно глянет, а там огонь бурлит.

Аниска заулыбалась, довольная, поднялась на локте. Демидьевна откидывает со лба ее волосы.

И пошла меж их дружная работа. Ветер пыхтит — дорожки подметает, дожжик рощу моет, а солнышко радугу над воротами ме-елким гвоздичком приколачивает...

Ф е д о р *(грубовато, тронув Демидьевну за плечо)*. А ну, пусти меня посидеть близ нее, нянька.

Демидьевна смотрит на Таланова, тот разрешительно кивает.

Т а л а н о в *(вполголоса)*. Приподними ее немножко.

Д е м и д ь е в н а. Подымайся, звездочка. Ты его не бойсь. Это сынок хозяйский, Федор Иваныч. Он тебе пряничек преподнесет.

Безотрывно, опершись локтем в колено, Федор смотрит в горящие глаза Аниски.

Ф е д о р. Есть у ней кто-нибудь из родни-то?

Д е м и д ь е в н а. Были. Были у ей и браты, соколиной рати. Один-то убит, в десантной части. А другой и пононче бессонно бьется. Танкист он подмосковный. Одна я у ей тута. А и самоё — утресь завязало в узелок, и развязаться не могу...

Ф е д о р *(в самые глаза)*. Здравствуй, Аниска!

В лице Аниски родится ужас.

А н и с к а. Ой, беги, беги... они тебя за шею повесят, беги-и!

Она бессильно отваливается к стене. Федор поднимается, разминаясь.

Ф е д о р. Хватит мне, пожалуй. Уж больно жжет...

Д е м и д ь е в н а *(Таланову)*. Спиночку-то ейную не показать ему? Спиночка-то всея сургучом закапана. *(Решительно Аниске.)* Сыми, давай, рубашечкю-то, чернавушка. Пускай Федор Иваныч посмотрит. Он из путешествия воротился, еще не знает...

И вот начала было приподымать розовую, с прошивками, Ольгину сорочку, но Таланов остановил ее, а Федор уже отошел.

Т а л а н о в *(поверх уже задернутой занавески)*. Лекарство пора, Демидьевна... Вот и все, Федор. Ну, спать нам тебя положить негде, а уж ночь во дворе.

Ф е д о р *(смотря на свой портрет)*. Слушай... у тебя здесь никого нет?

Т а л а н о в. За дверью — Фаюнин, а здесь — нет. А что?

Ф е д о р. Поцелуй меня, отец. В лоб. Вперед и за все разом поцелуй... Можешь?

Таланов криво усмехнулся на непонятную просьбу сына. Вернулась на цыпочках О л ь г а. И вдруг оказывается, сами того не замечая, все смотрят на один и тот же предмет: тазик с яркокрасными бинтами после перевязки. Ольга делает порывистое движение убрать таз, и это выдает тайну. Сдержанное лукавство проступает в лице Федора. Зайдя сбоку, он сильным и неожиданным движением сдвигает ширму гармоникой. Там стоит К о л е с н и к о в.

Э, да у вас тут совсем лазарет. Комплект!.. Ну, как, приятно стоять за ширмой?

О л ь г а. Понимаешь, он случайно вывихнул руку, и вот...

Федор (*насмешливо*). Не вижу смысла скрывать... что к врачу на прием зашел такой знаменитый человек. *(В лицо.)* А за вас большой приз назначили, гражданин Колесников.

Колесников. Мне это известно, гражданин Таланов.

Федор. И все-таки за тебя — мало. Я бы вдесятеро дал. *(Четко и не без вызова.)* Вникни, старик, в мои душевные переливы. Сейчас я пойду из этого дома вон. Пока не выгнали. Никаких поручений мне не дашь?.. Могу что-нибудь твоим передать, а?

Колесников. Да видишь ли... нечего мне передавать. Да и некому.

Федор. Та-ак, понятно. Как говорится в романах: и он удалился, низко опустив голову. Зря зашел, наследил только. *(Наклоняясь к ногам.)* Вы чего тут наделали в благородном семействе? Пошли вон!

И действительно, создается впечатление, что это устыженные ноги торопятся вынести его из дома. Все тревожно провожают его взглядом: какую решимость уносит он под этим шутовством? Ольга, не выдержав, рванулась вслед.

Ольга (*вдогонку*). Большие деньги можешь заработать одним ударом! *(И сразу ослабев.)* Он все любовь переживает, шут гороховый!..

Он обернулся на эту пощечину. Высоко приподняв одну бровь, он обводит всех почти смеющимися глазами. Потом резкий поворот, рывок в дверь, что-то упало на кухне, — и молчание.

(Презрительно.) Любовь переживает...

Таланов. Это ты зря сделала, Ольга. Теперь, я боюсь, вам придется быстро уходить отсюда, Андрей Петрович.

Колесников двигается к выходу. На пороге его останавливает Анна Николаевна.

Выпусти Андрея Петровича.

Анна Николаевна (*шопотом*). Нельзя. Во дворе какой-то человек стоит. В шляпенке. Мычит и весь дрожит при этом.

Таланов. Может, больной ко мне?

Анна Николаевна. Какие же теперь больные! Не думаю.

О л ь г а. Как же Федор-то ушел в таком случае?

А н н а Н и к о л а е в н а. Значит, не Федор ему нужен.

Двустворчатая дверь торжественно открывается. В одной жилетке, с приятностью в лице, в упоении от достигнутого могущества, входит Ф а ю н и н. Сзади, с подносом, на котором позванивают налитые бокалы, семенит К о к о р ы ш к и н. Шустренькая мелодия сопровождает это парадное шествие.

Ф а ю н и н. Виноват. Хотел начерно новосельишко справить... Да у вас гости, оказывается?

Выхода нет. Точно в воду бросаясь, Анна Николаевна делает шаг вперед.

А н н а Н и к о л а е в н а *(про Колесникова)*. Гости и радость, Николай Сергеевич. Только что сын к нам воротился.

Т а л а н о в. Через фронт пробирался. И, как видите, пулей его оттуда проводили.

О л ь г а. Знакомьтесь. Федор Таланов. А это градоправитель наш, Фаюнин.

Церемонный поклон. Кокорышкин подслеповато и безучастно смотрит в сторону.

К о л е с н и к о в. Простите, не могу подать вам руки.

Ф а ю н и н. Много и еще издалека наслышан о вас. Присоединяйтесь!

Все разбирают бокалы. У Кокорышкина дрожат руки, стекло позванивает.

Возьми и себе бокалишко да поздравь с возвращением молодого человека, муха.

Не спеша Кокорышкин ставит поднос на стол, выбирает бокал пополнее.

К о к о р ы ш к и н. Добро пожаловать... Федор Иваныч!

Все смущены. Кажется, Кокорышкин и сам понял свою оговорку — завертелся, заюлил. И, может быть, это только танец его сокровенного ликованья.

О л ь г а. Забудьте вы эти слова, Семен Ильич. Попадете вы в историю!

Все смеются над смущением Кокорышкина.

Ф а ю н и н. Он теперь и наяву бредит: тайну бы раскрыть... *(Поднимая бокал.)* Ну, будем радехоньки!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же, что и вначале, комната Таланова, теперь улучшенная и дополненная во вкусе нового жильца: ковры, пальмы, аристон, солидная мебель, вернувшаяся по мановению старинного ее владельца. Длинный, уже накрытый стол пересекает сцену по диагонали. К нему приставлены стулья, — много, по числу ожидаемых гостей. На переднем плане высокое, спинкой к рампе, кресло для Виббеля. Кривой и волосатый официант, весь в белом, завершает приготовления к новоселью. Сам Фаюнин, в золотых очках и дымя сигарой в отставленной руке, подписывает у столика бумаги, подаваемые Кокорышкиным. Тот уже побрит, приодет, в воротничке, как у Фаюнина, даже как будто немножко поправился. День клонится к вечеру. На месте Фединой фотографии висит меньшего размера портрет человека с мокрой прядью через лоб. Разговаривая, все часто на него поглядывают.

Кокорышкин. И еще одну, Николай Сергеич.

Фаюнин. Что-то мне, братец, голову от твоих бумаг заломило.

Кокорышкин. Государственное дело только с непривычки утомляет. А как обмахаешься, так и ничего. *(Подавая следующую.)* О сокрытии от германских властей пригодного для них имущества. Не беспокойтесь, сам Шпурре составлял-с!

Фаюнин подписывает.

И последнюю, Николай Сергеич. *(Злорадствуя чему-то.)* При мне господин Федотов, начальник полиции, от Шпурре выходили. Утирали платком красное лицо. Видимо, получивши *личное* внушение. От собственной, господина Шпурре, руки... Плохо Андрея ловит-с! *(Подавая бумагу.)* О расстреле за укрытие лиц партизанской принадлежности.

Ф а ю н и н *(беря бумагу)*. Что с облавой?

К о к о р ы ш к и н. Осьмнадцать душ с половиной. Один — мальчишечка. Из них, полагают, двое соприкосновенны шайке помянутого Андрея.

Ф а ю н и н. Эх, его бы самого хоть пальчиком коснуться.

К о к о р ы ш к и н *(тихо и внятно)*. Это можно-с, Николай Сергеич.

Выронив бумагу на колени, Фаюнин уставился в него поверх очков. Кокорышкин многозначительно косится на официанта.

Ф а ю н и н. Слетай, ангелок, проведай там телятину. Не готова ли!

Официант уносится на талановскую половину.

К о к о р ы ш к и н. Есть у меня один приятель... да дорого просит.

Ф а ю н и н. Ну!

К о к о р ы ш к и н. Смеяться станете!.. Имея довоенный еще позыв к политической деятельности, а также стремление искать и находить... Словом, поскольку господина Федотова теперь турнут за непригодность...

Ф а ю н и н *(сообразив)*. В начальники метит твой приятель? Да он в своем уме? Это же к самому дракону в пасть лезть. Его сам Виббель трясется. Да ты сам-то видал Шпурре хоть раз?

К о к о р ы ш к и н *(благоговейно вдыхая воздух)*. Уму непостижимо. Сила!

Ф а ю н и н. Деньги ж дают, муха.

К о к о р ы ш к и н. Я с ним и так и сяк, — отказывается. Деньги, говорит, есть условный знак мирного времени. Теперь ничего на них не укупишь, а после взятия Москвы другие выпустят.

Ф а ю н и н. Еще когда выпустят-то! За Москвой-то еще Волга. А за ей Урал лежит в шубе снеговой. А еще дале — Сибирь, с речищами, с лесищами. А уж позади ее и нивесть что! Только сполохи шатаются... Россия — это, брат, такой пирог, что чем боле его ешь, тем боле остается!

Кокорышкин пожал плечами: дескать, мое дело сторона.

Ты выуди адресок-то да и обмани.

К о к о р ы ш к и н. Эх, Николай Сергеич! Нонче еще три солдатика задобропожаловали. Может, и сейчас заго-

товка на завтра идет. А ведь за это с градского головы взыщут... Скажут: все сигары курили-с?

Фаюнин суеверно откладывает сигару.

Повременим — может, и дешевше подвернется.

Он складывает бумаги в портфель; Фаюнин сердится. В сопровождении официанта осунувшаяся и строгая, в зловеще-черном платье Демидьевна вносит блюдо с телятиной.

Демидьевна *(почти величаво)*. Куды падаль-то ставить, коршуны?

Кокорышкин. Не задевай. Зачем, зачем торопишься? Час настанет, сама помрешь.

Демидьевна. Эх, не доглядела я тебя, Семен Ильич.

Кокорышкин. Еще придешь ко мне в стряпухи наниматься. И прогоню... и прогоню!..

Фаюнин *(шикнув на Кокорышкина)*. Сюда, на серединку, ставь, старушечка. Ой, хорошо ли ужарилась-то? *(Отрезав кусок.)* Ну-ка, пожуй, не жестка ли?

Демидьевна. По моим зубам и каша тверда.

Фаюнин. А все равно пожуй, старушечка.

Усмехнувшись на его опасения, Демидьевна ест мясо. Тогда, осмелев, и Фаюнин лакомится куском поменьше.

Ай-ай, ровно бы горчит маненько, а?.. Пригаринка, видно. А не смейся. Видала на стенках-то? Уж ищут одного такого, Андрейкой звать. *(Подмигнув.)* Вот бы тебе хватануть капиталец, на черный-то день, а?

Демидьевна. Куды мне! Капиталу в могилу не возьмешь. Кабы еще продуктами выдавали.

Фаюнин. Можно, можно и продуктами.

Демидьевна. Еще смотря, какие продукты. Сухие аль в консервах?

Фаюнин. По желанию. Мыло да крупка хоть век пролежат.

Кокорышкин. В Египте мумию нашли. При ей пшено и кусок мыла. Как вчера положено!

Демидьевна. А как уладимся-то, змей? По чистому весу, с нагиша, станешь платить али с одежей? А ну-к, у ево бомбы в карманах? Ведь, поди, чугунные?

Деликатно отвернувшись, Кокорышкин беззвучно смеется. Плечики его вздрагивают. Официант вторит ему, прикрываясь салфеткой.

Фаюнин. Не омрачай мне праздника, старушечка. Именинник я. Уйди, уйди от греха. *(Он оглянулся.)*

Официант усердно перетирает бутылки. Медленная и прямая, Демидьевна уходит, бросив на прощание: «Чушки!» Фаюнин толкает в бок Кокорышкина.

Кокорышкин. Уж дайте досмеяться, Николай Сергеич. Хуже нет, когда недосмеюсь!

Фаюнин. Полно, рассержусь, полно.

Кокорышкин. Ну, чево, чево вам от меня? Ей-богу, Мосальский дороже даст. Только мигнуть.

Фаюнин. Человек-то он верный, приятель твой?

Кокорышкин. Господи! *(Вкладывая всю душу.)* Он является сыном бедного околоточного надзирателя. Пятен в прошлом не имел. И даже наоборот, судился за растрату канцелярских средств. Сто сорок два рубля-с.

Фаюнин. Больше-то, — аль рука дрогнула?

Кокорышкин. Больше не доверили, Николай Сергеич.

Фаюнин. Ты?

Кокорышкин. Я-с!

Оба смеются.

Фаюнин. Ну, показывай товар лицом, а то гости собираться станут.

Кокорышкин. Увольте, сам тыщу лет ждал. Вся душа перегорела.

Фаюнин. Хоть за ниточку-то дай подержаться. Может, ты только завлекаешь меня!

Кокорышкин. Разве уж ниточку!..

Косясь на дверь к Талановым, он шепчет только: «Ольга Ивановна!» — и отскакивает. Фаюнин раздумчиво мычит.

Фаюнин. Сам-то он далеко отсюда находится?

Кокорышкин. Небыстрой ходьбы... минут двадцать семь.

Фаюнин. А не сбежит он у тебя?

Кокорышкин. Я враз, как прознал, шляпу одну во дворе поставил. Сам не пойдет, чтоб своих не выдать... Все одно как на текущем счету лежит.

Фаюнин. Ну, муха, быть тебе слоном. Бумаги отнесешь, надушись... и покрепче надушись... Пахнешь ты не-

хорошо! И приходи. Я тебя на Шпурре выпущу, а уж ты сам яви ему свое усердие.

С дороги Кокорышкин оглядывается, опасаясь за врученную тайну: «Не спугните, Николай Сергеич!» И верно, оставшись один, Фаюнин сразу оказывается у талановской двери. Он дважды собирается постучать туда, но еще прежде на стекле появляется силуэт Таланова и раздается стук. Отскочив в противоположный угол, Фаюнин сурово вертит ручку телефона.

Комендатуру. Фаюнин. Подожду.

Повторный стук.

Войдите.

Это Таланов. Он очень теряется в своей новой роли просителя.

Ай-ай, а супругу-то на кухне забыл, просвещенный человек!

Таланов. Я не в гости, я по делу, Николай Сергеич!

Фаюнин *(суше)*. Личному?

Таланов. Не совсем.

Фаюнин. Присядьте пока. *(В трубку.)* Не освободилась еще? Подожду. *(Раздумчиво, глядя на стол.)* Четверть века зажмурясь жил, в надеже: проснусь... и все позади. Отшумело, как дождь ночной. И солнышко. И яблонька в окошко просится. И раскрылись очи, и, эва, яства райские стоят, а на душе — ровно на собственные поминки попал. Как эта болезнь прозывается, доктор?

Таланов. Предчувствие, Николай Сергеич.

Фаюнин. Предчувствие?.. *(В трубку.)* Спасибо, деточка. Битте, мне фирте нуммер нужен. Данке. *(Почтительно.)* Это помощник господина Шпурре? Фаюнин беспокоит. Да опять насчет новоселья-с. Обещались. Что?.. Плохо слышно, что? *(Он трясет и дует в трубку.)* Комендант тоже обещались... в целях поддержания авторитета градского головы. Да, кое-кто уже собирается. Что?.. Не слышу, не слышу, что? *(Таланову.)* Визг какой-то. И кричит-то как, по́слушайте-ка!

Таланов *(склоняясь ухом к трубке)*. Это женщина кричит.

Фаюнин. Допрашивают... Ай-ай, и голос знакомый будто. *(Озабоченно.)* Ваша-то Ольга Иванна дома ли?

Таланов *(вздрогнув)*. Была дома... А что?

Ф а ю н и н. Ну и слава богу. *(Бережно повесив трубку.)* Не будем мешать им. Вот я и готов, Иван Тихонович.

Таланов собирается с силами. Фаюнин слушает, откинувшись к спинке, прикрыв глаза и играя цепкой часов.

Т а л а н о в. Я пришел выразить свою глубокую обиду.

Ф а ю н и н. Чем именно?

Т а л а н о в. Вам известно, что ко мне вернулся сын. Временно он живет у меня. Вчера он собрался в баню с дороги...

Ф а ю н и н. С простреленной-то рукой? Ай-ай, не бережется наша молодежь... Виноват, слушаю, слушаю!

Т а л а н о в *(решаясь после промаха идти напролом)*. И тогда оказалось, что к моим дверям приставлена какая-то гнусная фигура... в шляпенке да еще с обмороженными ушами.

Фаюнин приоткрыл один глаз, глянул, словно клювом ударил, и снова замер. И только засуетившиеся пальцы обнаружили его волнение.

Ясно, Федору стало противно... и он вернулся домой. *(Горячо и убежденно.)* Слушайте, Фаюнин. Мне шестьдесят. Меня никто никогда не трогал. И я прошу господ завоевателей оставить мою семью в покое и теперь!

Он даже стукнул ладонью по столу. Фаюнин ловит его руку.

Ф а ю н и н. Да успокойтесь вы, Иван Тихонович. Голубчик, придите в себя, успокойтесь. Господи, да кто же вас обидеть собирается! Людей-то ведь нету... я да Кокорышкин на весь город. Ведь вы, к примеру, не согласитесь у чужих ворот постоять... ведь нет? Ну, вот! Вот и берут всякую шваль. *(Возмущенно.)* Да еще с обмороженными ушами... ай-ай-ай! И вид из окна портит да еще и заразу занесет. Скажу, непременно скажу... чтоб сменили!

Часы-кукушка в соседней комнате глухо кричат шесть раз. Окончательно смерклось.

Не идут гости-то. Вот вам и точность немецкая.

Фаюнин намеренно молчит, а Таланов все не уходит. Его мучит подозрение, что Фаюнину что-то известно.

Кстати, как вы решили насчет того письмеца?

Т а л а н о в. Это какого письмеца?

Ф а ю н и н. Написали бы, говорю, а дочка ваша, Ольга Иванна, и отнесла бы, поскольку она и теперь с ним видается. С Андреем-то!.. А вот и гости сползаются...

Просочился откуда-то в щель длинный, со стоячими волосами и в слежавшемся сюртуке господин артистической внешности, если только лошадям доступна эта деятельность. Он поклонился в пространство и сел, сложившись в коленях. Впорхнули — толстячок с университетским значком на толстовке под руку с вострушечкой в мелких бантиках. Они задержались у столика, а когда отошли, оказалось, что там уже обмахивается веером старушка в бальном платье, под которым видны подшитые валенки. Гости двоятся и троятся, как шарики под чашкой фокусника, переставляемой с места на место. И между всеми уже носится с одухотворенным лицом, теперь даже шикарный К о к о р ы ш к и н. Таланов кланяется. Фаюнин провожает его.

А Федору Ивановичу я и пропуск выхлопочу. Пускай хоть ночью в баню ходит... *(Заслышав оживление в прихожей и заглянув туда.)* Я это ему, пожалуй, и сам скажу. *(Уходя с Талановым.)* Принимай гостей, Семен Ильич!

Кокорышкин включает свет. Теперь видны и гости второго плана, уже плакатные, с ограниченными манекенными движениями. Нерусская речь из прихожей. Кокорышкин выглянул и даже будто уменьшился в размерах.

К о к о р ы ш к и н *(молитвенно)*. Внимание, господа. Шпурре!

Все взоры обращены к двери. Быстро входит М о с а л ь с к и й.

М о с а л ь с к и й *(конфиденциально)*. Господа... я должен предупредить друзей, что Вальтер Вальтерович является сюда сразу после работы. Вальтер Вальтерович не спал ночь. И потому лучше не раздражать его... громкой русской речью...

Тишина испуга. Кое-кто попятился к дверям.

Нет, зачем же... вы разговаривайте, общайтесь. Вальтер Вальтерович сам любит повеселиться.

Все затаили дыханье. Мелким шажком, точно его катят на колесиках, появляется плотный, кубического сложения человек с желтоватым лицом, в штатском, фиолетовых тонов и в обтяжку, костюме. Шея поворачивается у него лишь вместе с туловищем. На пиджаке, под сердцем, Железный крест первой степени. Он останавливается и глядит. Кокорышкин приближается, делая изящные движения кистями рук, точно плывет.

К о к о р ы ш к и н *(просветленно)*. Добро пожаловать, добро пожа...

Это производит впечатление выстрела из пушки в упор. Вострушка ахнула. Середина сцены опустела. Рыжая щетка усов у Шпурре становится перпендикулярно к губе. Лицо меняет цвет. Он испускает странный свистящий звук. Помертвевший Кокорышкин пятится назад.

Извиняюсь, нет, нет...

Ш п у р р е *(шагнув на него, как в пустоту)*. Ah, Himmelarsch! [1]

Кокорышкин жмется к столу, падают позади него бутылки. В его лице закаменелое выражение какого-то смертельного восхищения. Шпурре запускает ему ладонь за стоячий воротничок. Суматоха.

Колесникофф?

Он, как перышко, поворачивает Кокорышкина спиной к двери и ведет его вытянутой рукой. Они уходят ритмично, как в танце, нога в ногу и глаза в глаза. Кокорышкин не сопротивляется, он только очень боится наступить на ногу Шпурре. Процентов на тридцать пять он уже умер. При выходе его, как дитя, перенимает рослый д и н с т ф е л ь д ф е б е л ь. Затем карьера Семена Ильича идет много быстрее. Откуда-то сквозь стену доносится его сдавленный и, скорее всего, удивленный вопль: «Николай Сергеевич!» И все стихает. Самый выстрел похож на то, будто кто-то гулко кашлянул на улице. В ту же минуту, покусывая усы, возвращается Ф а ю н и н. Он с первого взгляда понимает все.

Ф а ю н и н *(поискав глазами)*. Тут у меня старичок был такой. Где ж это он?

Г о с т ь - л о ш а д ь *(в октаву)*. Прекратился старичок.

М о с а л ь с к и й *(нервно поламывая пальцы)*. Пустили бы какую-нибудь музыку, господа.

Кто-то запускает аристон. Погромыхивая на стертых валах, звучит полька піччикато. Ш п у р р е вернулся.

Ш п у р р е. Уфф! *(И, странно, из него выходит дым при этом.)* Он... пошел... домой. *(С юмором.)* Немножко!

---

[1] Солдатское ругательство.

Мосальский (*тихо*). Das war eine alte russische Redensart [1].

Мгновение Шпурре быковато молчит, потом разражается громовым смехом. Тогда уже и все начинают подсмеиваться над блистательной неудачей Кокорышкина.

Шпурре (*хохоча*). Redensart? Ha, Trottel! [2].

Входят три немецких офицера. Фаюнин аплодирует, гости следуют его примеру. На губах переднего офицера родится язвительная усмешка.

Первый офицер. Das ist ja das reinste Paradies [3].

Второй офицер. So fern's, im Paradies Bordelle gibt [4].

Третий офицер (*явно под хмельком*). Aber, es scheint, wir sind in die Abteilung für Pferde geraten [5].

Они залпом и металлически смеются. Шпурре скосил глаза.

Шпурре (*ворчливо*). Hier hängt das Bild des Führers, meine Herren! [6]

Струхнув, офицеры отходят в сторону. Их привлекает вострушка в бантиках, к неудовольствию толстячка. Мосальский жестом подзывает Фаюнина.

Мосальский. Тебе лично известен весь этот зверинец?

Фаюнин. Помилуйте, Александр Митрофанович. Промышленность, адвокатура-с! Даже бас имеется, только прославиться не успел.

Мосальский. Отвечаешь за благополучие вечера. Шампанское в доме найдется?

Фаюнин. На столе-с. Победы ждут, извиняюсь, али приезжает кто?

Мосальский. Я скажу. Комендант будет через четверть часа. Приглашай к столу.

---

[1] Это было старинное русское выражение.
[2] Выражение? Ха, идиот!
[3] Да это просто рай!
[4] Если только в раю имеются бордели.
[5] Но, видимо, мы попали в лошадиное отделение.
[6] Здесь висит портрет фюрера, господа!

Ф а ю н и н. Прошу дорогих гостей закусить, чем бог послал.

Орава движется к столу. Влево от кресла, предназначенного для Виббеля, садится Шпурре. Пространство вокруг него знаменательно пусто. Мосальский кладет перед ним часы и стучит ножом о бокал, требуя внимания. Это приходится повторить, так как один офицер через стол рассказывает другому анекдот: Ach, übrigens... Kennen Sie schon den neuen Witz? Also, zu einem Mädchen kommt ein Jude... [1]

Тот уже хохочет.

М о с а л ь с к и й. Хозяин просит налить бокалы.

В тишине булькает разливаемое вино.

Господин комендант, который уже вышел сюда, поручил мне сказать эту речь. Времени нет, господа, я буду краток. *(Шпурре.)* Можно говорить по-русски?

Тот монументально кивает головой.

Сейчас, господа, когда мы так приятно сидим у радушного хозяина, пишется последний абзац исторической справедливости. Германская раса, как в бутылку запертая славянами в старой тесной Европе, вышибла пробку и стремительно потекла на восток, неся новый порядок и повелевающую волю. В эту минуту мы ожидаем телефонных сообщений колоссального значения.

Ш п у р р е. Zeit! [2] *(Среди тишины он по прямой идет к телефону и выжидательно кладет руку на рычаг.)*

М о с а л ь с к и й *(звеняще)*. Ржавый замок, тысячу лет провисевший на воротах Востока, взломан. Господа... сейчас взята Москва!

Фаюнин украдкой крестится. Артист-лошадь вытирает лоб громадным носовым платком. Стоя, все берутся за бокалы. Телефонный звонок. Шпурре срывает трубку.

Ш п у р р е. Hier Hauptmann Spurre. Wer dort? *(И вдруг, почти наваливаясь на аппарат.)* Ermordet... wen? Uff!! Wer noch? Lorenz, Pfau, Mülle... Ja! [3].

Откинув стулья, офицеры обступают Шпурре.

---

[1] Кстати, знаете новый анекдот? К одной девушке приходит еврей...

[2] Время!

[3] У телефона Шпурре. Кто говорит? Убит... кто? Уфф! Кто еще? Лоренц, Пфау, Мюлле... Да!

Фаюнин *(подталкивая Мосальского)*. Что, что там? Эх, спросить бы его, стоят ли еще московские-то соборы?

Мосальский *(переводя междометия Шпурре)*. Тихо!.. Виббель убит. И с ним трое, из штаба. По дороге сюда.

Фаюнин схватился за голову.

Шпурре. Wer ist der Täter? *(Яростно.)* Antworten sie auf meine Fragen und stottern sich doch nicht so, Waschlappen! Einer? Jawohl. Ha, sechs Schüsse! [1]

Мосальский *(для Фаюнина)*. Стрелял один. Шесть выстрелов... К чорту руку!

Фаюнин отдергивает руку от его локтя. Тем временем артист-лошадь под шумок подносит бокал к губам. Мосальский с силой ударяет его по руке.

За что пьешь, скотина?

Артист-лошадь *(оскорбленно)*. Как вас понимать... в переносном смысле или буквально?

Мосальский *(сквозь зубы)*. Буквально. Понимать.

Артист-лошадь *(стряхивая брызги с сюртука)*. Ну, тогда другое дело.

Шпурре шипит на них. Вид его страшен, воротник ему тесен. Гостей сразу становится вдвое меньше. Они растушевываются так же незаметно, как и появились.

Шпурре. Haben sie ihn geschnappt? So richtig. Jch bleibe hier. Bringen sie ihn her! [2] *(Он вешает трубку и валится на случайный стул, одиноко стоящий посреди.)*

Офицеры уже стоя и пальцами подкрепляют силы у стола.

Raus mit der Bande da! [3]

Мосальский *(гостям, толпящимся у двери)*. Здесь будет происходить допрос, милорды. Продолжение увидите на площади. Покойной ночи, господа. *(Он сам выпроваживает гостей.)*

Шпурре недвижен. Кого-то ударили в прихожей. И тогда, не подозревая о случившемся, являются запоздавшие гости: муж и жена Талановы.

---

[1] Кто стрелял? Отвечать на вопросы и не заикаться, тряпка. Один? Конечно. Шесть выстрелов!

[2] Схватили его? Так. Я буду здесь. Доставить его сюда!

[3] Вон эту сволочь!

Т а л а н о в. Гостей еще принимают, Николай Сергеич?

А н н а Н и к о л а е в н а. Федор придет попозже. Ему делают перевязку.

Фаюнин скользит к ним, прижав палец к губам.

Ф а ю н и н. Слышали, камуфлет какой? Виббеля угрохали. И не пикнул. И с ним еще шестерых. Допрыгались.

А н н а Н и к о л а е в н а. Не может быть... Это ужасно!

Ф а ю н и н. Десять пуль, одна в одну всадил. Наповал.

Т а л а н о в. Кто же это, кто стрелял-то?

Ф а ю н и н. Должно быть, этот... не то Обозников, не то Хомутников. Ай-ай, Виббеля-то как жаль. В Амстердаме и сейчас еще его постановления на стенках висят. И угодил с размаху в русскую окрошку!

Т а л а н о в *(берясь за скобку)*. Нам тогда, пожалуй, лучше...

Ф а ю н и н *(преграждая выход)*. Наоборот, самое интересное начинается... Сейчас его сюда приволокут. *(Кивнув на Шпурре, сидящего к ним спиной.)* Самому невтерпеж стало взглянуть, что такой за Тележников. Присаживайтесь тихонько в уголок.

Ш п у р р е. Tisch. Papier [1].

Он не меняет позы мешка с мукой, вкось поставленного на стул. К нему приставляют ломберный столик, приносят чернильницу, бумагу, графин с водой, расставляют стулья для участников предстоящего допроса.

Nehmen Sie Platz meine Herren! [2]

Офицеры, дожевывая, занимают места. Грохот сапог и стук оружия. Деловито возвращается М о с а л ь с к и й.

М о с а л ь с к и й *(Шпурре)*. Он здесь. Разрешите ввести его?

Тот делает движение указательным пальцем. Склонившись, Мосальский уходит. Солдаты занимают места у выходов. Команда, потом слышен надрывный, уже знакомый кашель. Анна Николаевна тревожно поднимается навстречу звуку, — Таланов едва успевает удержать ее. В ту же минуту быстро вводят Ф е д о р а. С непокрытой головой, в пальто, он своеобычно прячет платок в рукаве. Он кажется строже и выше. С каким-то обостренным интересом он оглядывает

---

[1] Стол. Бумага.

[2] Займите места, господа!

комнату, в которой провел детство. Конвойный офицер кладет перед Шпурре пистолет Федора и на ухо сообщает дополнительные сведения при этом. Тишина, как перед началом обедни. Шпурре обходит свою жертву, снимает неприметную пушинку с плеча Федора, потом в зловещем молчании садится на место.

Шпурре *(Мосальскому)*. Verhören Sie ihn! [1].

Мосальский *(со злой и подчеркнутой вежливостью)*. Встаньте дальше.

Федор. Не бойтесь. У меня все отобрали.

Мосальский. Встать дальше.

Федор отступает на шаг, зябко потирая руки.

Рекомендую отвечать правду. Так будет короче и менее болезненно. Это вы стреляли в германского коменданта?

Федор. Прежде всего я прошу убрать отсюда посторонних. Это не театр... с одним актером.

Обернувшись в направлении его взгляда, Мосальский замечает Таланова.

Мосальский. Зачем эти люди здесь?

Фаюнин *(привстав)*. Свидетели-с. Для опознания личности изверга.

Мосальский. Я разрешаю им остаться. Займите место ближе, мадам. Вы тоже... *(указывая место Таланову)* сюда! *(Федору.)* Имя и фамилия?

Федор. Я хочу курить.

Мосальский смотрит на Шпурре. Тот делает разрешительное движение пальцем. Держа папиросу за табак, Мосальский протягивает ее Федору.

И спичку.

Шпурре усмехнулся. Мосальский подносит спичку. Они смотрят в глаза друг другу. Огонь жжет пальцы, но ненависть еще сильнее. Мосальский отворачивается, когда падает свернувшийся уголек спички.

Фаюнин *(в величайшем оживлении)*. Видать, закоулистый господин!

Шпурре. Wer ist der Mann? [2]

Мосальский. Итак, кто вы?

---

[1] Допрашивайте его.

[2] Кто он?

Ф е д о р. Меня зовут Андрей. Фамилия моя — Колесников.

Общее движение, происходящее от одного гипноза знаменитого имени. Анна Николаевна подняла руку, точно хочет остановить в разбеге судьбу сына: «Нет, нет...» Шпурре вопросительно, всем туловищем, повернулся к ней, — она уже справилась с собою.

Записывайте, второй раз повторять не стану.

М о с а л ь с к и й *(с сомнением)*. Это точно... ваша фамилия?

Ф е д о р. Думаете, что я хочу присвоить себе честь поболтаться за него на виселице? Это, пожалуй, слишком *высокая* честь для самозванца.

М о с а л ь с к и й *(офицеру)*. Bitte, schreiben Sie auf! [1] *(Федору.)* Ваше звание, сословие, занятие?

Ф е д о р. Я русский. Защищаю родину.

М о с а л ь с к и й *(смутясь)*. Я понимаю, но... нам нужно знать вашу последнюю должность.

Молчание.

Ф а ю н и н. Разрешите пояснить. Председатель уездной советской власти.

Мосальский вполголоса диктует офицеру, который записывает.

Точно-с. Вот хоть и господина Таланова спросите. Им, как врачу, все жители известны.

М о с а л ь с к и й. Вы подтверждаете?

Т а л а н о в *(не очень уверенно)*. Да... Мы встречались на заседаниях.

Ф а ю н и н. И мамашу спросите заодно.

Мосальский переводит глаза на Анну Николаевну.

А н н а Н и к о л а е в н а *(не отрывая глаз от Федора)*. Да. И хотя, мне кажется, десять лет прошло с последней встречи, я узнаю его. Я могу уйти?

М о с а л ь с к и й. Еще минуточку, мадам.

Талановы сели.

Ш п у р р е. Wieviel Männer hat er gehabt? [2]

---

[1] Пожалуйста, записывайте!

[2] Сколько людей у него было?

М о с а л ь с к и й. Сколько людей состояло...

Ф е д о р. Я понял вопрос, офицер. Нас было пятеро.

Шпурре жмурится в усмешке.

М о с а л ь с к и й *(почти вкрадчиво)*. А вы не ошибаетесь, господин Колесников?

Ф е д о р *(в тон ему)*. Да нет, я в арифметике силен.

Все кратко посмеялись.

М о с а л ь с к и й. Но ваши люди действовали одновременно в десяти местах. Минимально мы считали вас за тридцать — сорок.

Ф е д о р. А это мы так хорошо работали, что вам показалось за сорок. *(Сдержанно.)* Погодите, когда их останется четверо, они померещатся вам за тысячу.

Фаюнин возмущенно подталкивает в бок Таланова, — какова, дескать, дерзость.

М о с а л ь с к и й *(подавив в себе ярость)*. Если ты не перестанешь скалиться, потаскуха, я сам сдеру этот смех с твоей морды...

Ф е д о р *(так же негромко и с потемневшими зрачками)*. Это твоя мама обучала тебя на чужбине русскому языку?

Шпурре бьет кулаком по столу. Звон стакана о графин. От прежней элегантности Мосальского не остается и следа. Со словами: «Скорой смерти ищешь, дьявол?» — он пружинно поднимается и, схватив пистолет за ствол, кидается к арестованному. Два солдата привычно, со спины, выпрямляют Федора. Нахмурив брови, Анна Николаевна безотрывно смотрит в лицо сына.

Ф а ю н и н *(вцепясь в локоть Мосальского)*. Только не здесь, Александр Митрофанович, ради Христа, миленький... не здесь! Тут же еда, вы мне всю обстановку забрызгаете. Там у нас тихий чуланчик есть... Александр Митрофанович!

Шпурре также показывает жестом, что делать это предпочтительнее там. Федора уводят.

А н н а Н и к о л а е в н а. Если не уйти... то хоть отвернуться я могу, господин офицер? Я не люблю жандармских удовольствий.

М о с а л ь с к и й *(смешавшись)*. Вы свободны. Благодарю вас, мадам.

На ходу расстегивая рукав сорочки, он спешит догнать ушедших.

А н н а Н и к о л а е в н а. У меня закружилась голова. Проводи меня, Иван. *(Она видит на полу оброненный платок Федора. Вот она стоит над ним. Она поднимает его. В его центре большое красное пятно... Все смотрят. Она роняет платок.)* И тут кровь. Какая кровь над миром...

Фаюнин любезно провожает Талановых до дверей. Анна Николаевна уходит первою.

Ф а ю н и н. Железная у тебя старушка, доктор. Ты послабже будешь. *(И враз притворил за ним дверь.)*

Исподлобья поглядывая на телефон и внезапно меняя направления, Шпурре ходит по комнате. Он даже берет трубку, свистит, стучит по ящику, как бы стремясь разбудить в нем голоса победы. Потом очень обеспокоенный М о с а л ь с к и й вводит м о т о ц и к л и с т а. Отдание чести. Из громадного штабного конверта Шпурре извлекает крохотную, в несколько слов, записку. Он вертит ее в руках. Мосальский воровски заглянул через плечо. В его лице отразилась растерянность.

Ш п у р р е. Verhör vertagen! [1]

Уходит мотоциклист. Удаляются офицеры. Конвойный командир снимает караул: «Wegtreten, marsch!» [2] Шпурре все еще смотрит в записку.

Ф а ю н и н. Ай новости есть, милый человек?

М о с а л ь с к и й *(торопливо застегивая запонку на обшлаге)*. Не пришлось бы тебе, Фаюнин, где-нибудь в канаве новоселье справлять. Плохо под Москвой.

Ф а ю н и н *(зловеще)*. Убегаете, значит... милый человек? А мы?

Уходит и Мосальский. Шпурре все стоит. Фаюнин осторожно, чтоб разведать обстановку, подходит к нему с бокалом вина.

Не позволите винца... для поддержания сил?

Точно не узнавая, Шпурре смотрит на него сверху вниз и вдруг хватает за плечи. Это разрядка бешенства. Оба бормочут что-то — Шпурре и Фаюнин, раскачивающийся в его лапах. Вино расплескивается из бокала. Откинув градского голову

---

[1] Допрос отложить на завтра!

[2] Команда.

в кресло и оглашая тишину одышкой, Шпурре покидает гостеприимного именинника. Фаюнин долго сидит зажмурясь: судьба Кокорышкина еще витает над ним. Когда он открывает глаза, в меховой куртке, надетой на одну руку, другая на перевязи, перед ним стоит Колесников и с любопытством разглядывает его.

Колесников. Шею-то не повредил он тебе?

Фаюнин щурко смотрит на него.

Я бы и раньше зашел, да вижу — ты с гостем занят... *(И показал жестом.)* Мешать не хотел.

Фаюнин *(с ядом)*. В баню, что ль, собрался, сынок?

Колесников. Уходить мне пора. Засиделся в отцовском доме.

Фаюнин. Посиди со стариком напоследок... Федор Иваныч.

Колесников садится: задуманное предприятие стоит таких задержек.

Поближе сядь.

Колесников. Поймали, слыхать, злодея-то. Что ж не радуешься?

Фаюнин. Задумался я, Федор Иваныч... Как отступали красные-то, я эдак при обочинке стоял. Тишина, кашлянуть страшно. А они идут, идут... И не то зубы, знаешь, не то снег под лыжами поскрипывает. Тут соскочил ко мне паренек один в шинелке, молоденький, обнял, дыханьем обжег... «Не горюй, говорит, дедушка. Русские вернутся. Русские всегда возвращаются...» *(Поежась.)* Как полагаешь, сдержит свое слово паренек?

Колесников. Тебе видней, Николай Сергеич. Не меня паренек-то обнимал.

Фаюнин. И вспомнилось еще: как зайдешь, бывало, в дворницкую, к родителю твоему: «Запрягай, Петруха, рыженькую, а в пристяжку Гамаюна да Сербиянку возьми!» Вскинет он кафтанишко, кушаком опояшется, ровно пламенем... да как вдаримся с ним во льны, в самый ветер луговой... Э-эх!

Ничто не изменилось в позе Колесникова, равно и в лице Фаюнина, раскрывающего свои карты.

Мы Петра Колесникова не забижали. К праздникам обновки, малюточкам сластей. *(Толкнув в колено.)* Ай забыл фаюнинские прянички?

Колесников. С кем говоришь, Николай Сергеич? Невдомек мне.

Фаюнин *(строго)*. Бог тебя нонче спас. Бог и я, Фаюнин. Это мы с ним петелку с тебя сняли.

Два громких аккорда на талановской половине, и потом музыка, почти затухающая порою.

Железная старушка играет. Доказать мне стремится, что не жалко ей родимого сынка... *(Тихо.)* Сдавайся, Андрей Петрович. Ведь я тебя держу.

Колесников стремительно поднимается, оглянулся. В залитом луною заиндевелом окне постояла тень в шлеме и со штыком и снова двинулась взад-вперед. Тогда он садится и закуривает.

Колесников. Куда уж сдаваться? И так в паутине твоей сижу. Сказывай, зачем звал?

Фаюнин. В непогодную ночь мы с тобой встретились. Какие дерева-то ветер ломит, оглянись. И мы с тобой в обнимку рухнем посередь людского бурелому... А может, полюбовно разойтись?

Колесников. Так ведь не пустишь, хорь.

Фаюнин. Милый, дверку сам открою... А как вернется паренек в шинелке, и ты мою старость приютишь. Не о фирме мечтаю. Не до локонов Нинины: сыновья на отцовские кости ложатся мертвым сном спать! Хоть бы конюхом аль сторожем на складу... Мигни — и уходи! *(Помолчав.)* Выход только в эту дверь. Там не выйдешь!

Колесников. Значит, бьют ваших под Москвой... русские-то?

Фаюнин. Все — весна и жизнь лежат перед тобою. Нюхни, сынок, пахнут-то как! Хватай, прячь, дарма отдаю... Ночь ведь, ночь, никто не услышит нас.

Глубоко, во всю грудь затягиваясь, Колесников курит папироску.

Сыми веревку-то с Ольги Ивановны... Шаршавая!

Он отваливается назад в кресло. Колесников тушит окурок о каблук.

К о л е с н и к о в. Да, вернется твой паренек, Николай Сергеич. Уж в обойме твоя пуля и в затвор вложена. Предателей в плен не берут. Думалось мне сперва, что обиду утолить на русском пожарище ищешь. Гордый три раза смертью за право мести заплатит. А ты уж все простил. Нет тебя, Фаюнин. Ветер войны поднял тебя, клуб смрадной пыли...

Кажется тебе — ты городу хозяин, а хозяин-то я. Вот я стою — безоружный, пленник твой. Плечо мое болит... и все-таки ты боишься меня. Трус даже и в силе больше всего надеется на милосердие врага. Вот я пойду... и ты даже крикнуть не посмеешь, чтоб застрелил меня в спину немецкий часовой. Мертвые, мы еще страшней, Фаюнин. *(Ему трудно застегивать куртку одной левой рукой.)* Ну, мне пора. Заговорился я с тобой. Меня ждут. *(Он выходит.)*

Без движения, постаревший и маленький, Фаюнин глядит ему вслед. Кукушка кричит время. Вопль вырывается у Фаюнина. В прыжок он оказывается у телефона.

Ф а ю н и н. Комендатуру! Разъединить! Здесь Фаюнин. *(Крутя ручку телефона.)* Врешь, мой ножик вострей твоего, врешь... *(В трубку.)* Цвай. Это Шпурре? Фаюнин здесь. Давай, миленький, людишек быстренько сюда... я тебе подарочек припас... то-то! *(Бросив трубку.)* За Оленькой-то вернешься, сынок. Ой, ночь длинна, ой, не торопись с ответом!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Подвальное складское помещение, приспособленное под временную тюрьму. Два полукруглых окна под тяжелым сводчатым потолком. Одно забито вглухую, с дощатыми склизами, по которым спускали товар; другое — веселое, в розовой оторочке от недавней метели. Там, вверху, редкий для декабря погожий полдень. Блики солнца, точно задуваемые ветерком, мерцают на кирпичной выбеленной стене со следами надписей: «Лукоянов, 1907» и еще: «Не курить, а кто заку 1 ру». Ниже, в сумерках, за уступом стены, виден сквозь дверь с копейчатой, церковного образца решеткой немецкий часовой; на крюке у него русский лабазный фонарь. Это часть подвала; другая, соединенная низкой аркой, направо, во мраке. На нарах, сооруженных из разнокалиберной ящичной тары и рогож, разместились люди, которым назначено провести здесь остаток их последнего дня. Старик в кожухе, и, примкнув к его плечу, дремлет мальчик в лапотках; рябой Егоров, громадный и беспокойный, ходит взад-вперед, словно ищет выхода из этой братской ямы; Татаров стоит на ящике у стены с замотанными тряпьем пальцами; время от времени он коротко и зло встряхивает ими. Ольга в меховой жакетке горячо и, видимо, напрасно убеждает в чем-то все время зябнущую женщину в мужском пальто; сумасшедший с обмороженными ушами и в заерзанной шляпе пирожком... Другие без движения лежат на нарах. Что-то неравномерно гудит над головой, и, притулясь на рогоже у стены, сумасшедший томительно вторит этой почти музыкально-чистой ноте. На фоне этих двух сливающихся звуков солдат за дверью тянет старую окопную песню:

Steh' ich in finster Mitternacht
So einsam auf der stillen Wacht,
So denk' ich an mein teures Lieb,
Ob sie mir treu und hold verblieb![1]

---

[1] Когда я стою мрачной полночью
Одиноко на часах,
Я думаю о моей верной зазнобе,
Верна ли она нашей любви!

Татаров *(подняв обе руки открытыми ладонями в солнечный блик над головой)*. А щекочет солнышко-то, пробирается. Я так думаю, что ежели год целый день и ночь держать их в солнышке, так поправились бы пальчики мои... а?

Ольга. Не думай о них, Татаров. Не так больно будет. Рассказывай дальше-то!

Татаров *(его ярит непрестанная боль)*. Ну, тут кэ-эк п-у-стит он меня по всей немецкой матушке... «Это ты, кричит, Татаров... ты, потаскуха, вместе с Колесниковым эшалон под откос пустил?» Может, и пустил бы, отвечаю, да времени не было. Враз за всем не угонишься! А Колесников, спрашиваю, кто таков?.. «Ну, смеется, сейчас мы тебе копию его покажем. Привести». А пока опять за дело принялись. И обращенье враз стало такое вежливое...

Егоров. Нация культурная. У них ведь как: окурочка наземь не кинешь. Кинул — сейчас с тебя штраф, семь копеек.

Татаров. Во-во! «Положьте руку на стол. Пальчики раздвиньте». А я уж и боли не чую. Эх, заарканили, думаю, милого дружка... И до третьего еще не добрались, слышу — ведут. Вижу краешком глаза, кто-то еле ноги переставляет, а глаз поднять не смею... струсил, все во мне повяло. А потом ка-ак махану глазами-то, так сердце во мне...

Егоров *(с надеждой)*. Не он?

Татаров покосился на сумасшедшего, вдруг прекратившего свое нытье и раскачиванья. Все повернулись к нему лицом, — тот еще усерднее возвращается к прежнему занятию.

Ольга. Неинтересно это, Татаров, право же, неинтересно.

Егоров *(резко)*. А по-моему, Ольга Ивановна, так очень даже завлекательно.

Молчание.

Татаров *(разглядывая закутанные пальцы)*. Уж и мастеровиты были: все могли. Валенки тебе обсоюзить, конька взнуздать, танец на гармонии изобразить... Стрелять тоже умели. *(Мечтательно.)* Эх, в тихий бы, тихий вечер, когда цветики на ночь засыпают, встренуться мне

с этим боровком у овражка, один на один. И не надо мне ничего, ни твоего вострого ножичка...

Егоров. Та-ак. Еще чего тебе желательно?

Татаров (*виновато*). Тоже щец бы с капусткой напоследок похлебать.

Егоров. Еще! Ты заказывай, не стесняйся.

Татаров. Посмотреть тоже охота, что там, на воле-то, делается.

Егоров поднял голову к окну.

Егоров. Вот это можно. Сейчас узнаем, что на свете новенького. (*Он составляет ящики один на один.*)

Старик. Тогда уж парнишку моего снарядим. Он полегше.

Егоров. Не буди. Больно спит-то сладко.

Старик. Ничего, он привышный у нас. (*Тормоша мальчика.*) Прокофий, Прокофий...полно на коньках-то кататься. Ишь, нос обморозил совсем. Очнись!

Мальчик протирает глаза.

А ну, полезай за новостями наверх. Мир просит.

Часовому не видно за выступом стены, как мальчик карабкается к окошку. Старик снизу поддерживает это шаткое сооруженье.

Прокофий. Ух, снегу намело-о!

Егоров. Ты дело гляди. Столбы-то стоят?

Прокофий. Не видать. Тут какой-то шут ноги греет.

В окно видно: рядом с неподвижным ружейным прикладом беззвучно топчутся две иззябших немецких ноги в военных обмотках.

Пляши, пляши, подождем.

Он даже припевает: «У-уторвали от жилетки рукава, уторвали от жилетки рукава...» Движенья ног и припев, к общему удовольствию, совпадают:

Старик. Не озоруй, парень. Услышит.

Ноги, наконец, отошли.

Прокофий (*удивленно*). На качель похоже, дедушка.

Татаров (*зло и негромко*). Не туды смотришь. В небо выглянь: чье гудит-то... Наши аль ихние?

И тотчас же доносится отдаленная стрельба зениток.

Прокофий. Тоже спрашивает. Рази они по своим станут палить! (*Старику.*) А боле ничего, дедушка! Только воробьев массыя летает.

Старик. Слезай, еще застрелит.

Мальчик спускается во-время. Шаги на лестнице. Звон ключей. Татаров произносит мельком: «Это правильно, в тюрьме всегда должны ключи звенеть. Я в описаниях читал». Все, кроме сумасшедшего, уставились на дверь. Ольга выглянула на лестницу.

Ольга. Спокойствие, товарищи, спокойствие. Кажется, Колесникова с допроса ведут.

Гремит засов. Конвойные вводят Федора. Кроме надорванного рукава, внешнего ущерба на нем не видно. Пиджак накинут на плечи, голова склонена набок. Прислонив его к стене и удостоверясь, что стоит прочно, конвойные удаляются.

Ольга. Товарищи, помогите кто-нибудь довести его до койки.

Никто не смотрит на Федора. Ольга одна идет к нему.

Егоров (*вполголоса*). Это он?

Татаров. Он.

Егоров (*иронически*). Шибко изменился Андрей Петрович. Не признаешь!

Ольга (*точно будя спящего*). Андрей, Андрей... посмотри на меня. Это я, Ольга. Ну, что, что там было? Нам показалось, ты год там пропадал.

Федор (*взглянув на сестру*). Длинный... разговор был.

Ольга (*не выдержав его взгляда*). Пойдем, я уложу тебя.

В молчании Ольга отводит его на свое место у стены. Она помогла ему взвалить на койку отяжелевшие ноги и сама присела рядом. Вся камера украдкой наблюдает за ними.

Лежи, теперь тебе надо отлежаться. А пока я зашью тебе пиджак.

Федор. Лишняя роскошь теперь, Ольга.

Ольга. Колесников всегда должен быть опрятен. Даже сегодня, даже *там*. Пусть никто не увидит, как это трудно... быть Колесниковым. Давай сюда пиджак... (*Она снимает с себя жакетку и накрывает ему грудь.)* Лежи. Так надо.

Егоров *(Татарову)*. Эй, герой... не видишь, что делается?

Татаров *(быстро сдергивает с себя шинелишку и остается в одной кочегарской тельняшке)*. Накинь на него лучше душегрейку мою, Ольга Ивановна. Простудишься!

Ольга. Спасибо, Татаров. А сам!

Татаров. Я теплый. Об меня счас прикуривать можно, во! *(Подойдя к койке.)* Здорово, товарищ Колесников. Не признаешь дружка? А вместе за смертью-то рыскали.

Ольга. Оставь его, Татаров... потом! *(Накрывая шинелью.)* Хочешь пить? Можно достать снега.

Федор. Нет, мне хорошо. Я даже кашлять перестал. *(Улыбнувшись.)* Должно быть, выздоравливаю. Накрой меня с головой.

Ольга. Зачем?

Федор *(подражая ей)*. Так надо.

Она исполняет его желанье.

Ольга *(женщине)*. Вы помянули, что у вас иголка есть. Дайте... О, и с ниткой! *(Она принимается за работу.)*

Подошел Егоров.

Егоров *(глядя на ее проворные руки)*. Ты что-то путаешь нас, Ольга Ивановна. Колесникова я с малых лет знавал... и мать его и деда.

Ольга *(понизив голос)*. Этот человек умрет сегодня первым.

Татаров *(надменно)*. Что ж, это большая честь: умереть Колесниковым.

Ольга. Идите в угол, зовите других. Я подойду туда сейчас.

Ж е н щ и н а. Ступайте, Ольга, я сама зашью. Надо же что-нибудь делать, делать, делать...

Ольга передает ей работу. Люди собираются в углу под окном. Сумасшедший проявляет признаки беспокойства. Совещание началось. Часовой снова затянул песню:

Als ich zur Fahne fortgemust,
Hat sie noch einmal nuch geküsst,
Mit Blumen meinen Hut geschmückt
Und liebend mich aus Herz gedrückt[1].

Прокофий открывает глаза.

П р о к о ф и й *(не поворачивая головы)*. Дедушка, а дедушка...

С т а р и к. Чего не спишь, человек?

П р о к о ф и й. Дедушка... это больно?

С т а р и к. Это *недолго,* милый. *(С суровой нежностью.)* Зато с кем сравняешься! Поди, проходили в школе-то и про Минина Кузьму и про Сусанина Ивана?

Прищурив глаза, Прокофий смотрит в пространство перед собой.

То бородачи были, могучие дубы. Какие ветры о них разбивалися! А ты еще отрок, а вровень с ними стоишь. И ты, и ты землю русскую оборонял. Вот ты сидишь, коньки твои отобрали, сон тебя бежит. А уж Сталину про тебя известно. Ему только виду показывать нельзя, его должность строгая. Послы держав пред им чередуются, армии стоят, генералы приказов ждут... все народ бывалый, неулыбчатый. Тут уж бровинкой не шевельни!.. А внутри одна дума, что томится в лукояновском подвале русский солдат тринадцати годков, Статнов Прокофий, ожидает казни от ерманского палача...

П р о к о ф и й *(оживясь)*. Дедушк... *ему* по телефону доложат аль по радио? Думается, по радио быстрей, а?

С т а р и к. Нет, человек. Про это по прямому проводу, из сердца в сердце, передают.

Совещание окончилось. Мальчик снова закрыл глаза.

---

[1] Когда я отправлялся в поход,
Она меня еще раз поцеловала,
Украсила шапку мою цветами
И любовно меня прижала к сердцу.

Е г о р о в *(проходя мимо старика)*. Внучек, что ли?

С т а р и к. Еще родней, человек. Внучком-то он мне и раньше был.

Т а т а р о в. На войне все — родня.

Е г о р о в. На чем зацапали с мальцом-то?

С т а р и к. Прошибка у нас вышла. *(Он мигнул на сумасшедшего, вновь прекратившего свои упражнения.)* Собачка, вишь, у нас проголодалась. И пошли мы на речку, грибков для ей нарубить. Да, глядим, ухо из сугроба торчит. А при ухе гражданинишко, паршивый такой, земли своей падаль...

Е г о р о в *(громко)*. Вот бы ухом-то собачку и покормить!

И опять сумасшедший старательно делает свое дело. Егоров садится возле Федора. Он говорит с ним, не открывая его лица.

Е г о р о в. Что, товарищ... болит?

Ф е д о р. Теперь лучше, согрелся.

Е г о р о в. А ты не стыдись. Это больно, когда бьют. Кого хошь спроси, всех били. Били тебя, Татаров?

Т а т а р о в. По телу нет. Только этот... маникюр делали.

Е г о р о в. Слышал? И Катерину Петровну не пожалели... а надо бы: она *не одна*. До Ольги Ивановны еще дойдет черед. *(Так, обводя глазами камеру, он доходит до сумасшедшего.)* А того дядьку до безумия заколотили. Ишь, качается... Эй, шляпа, били тебя?

С у м а с ш е д ш и й *(плачевно)*. Били...

Е г о р о в *(подмигнув товарищам)*. По большой били аль по маленькой?

Тот уже раскаялся в своем промахе. В подражание куриному перышку, засунутому у того за ленту шляпы, Егоров сует за ухо себе пучок соломы и присаживается на корточки рядом.

Ты какой же... тихопомешанный аль бурный, вроде меня? *(Жестко.)* Я не люблю, когда со мной молчат! Давно спятил-то?

С у м а с ш е д ш и й. Во вторник два месяца будет.

Е г о р о в. Давно-о! Мой стаж меньше... я еще любитель, так сказать. Зато порой такое на меня вдохновление находит, что как стукну иного подлеца промеж бровов... остается сильное впечатление на всю жизнь. *(Поднеся кулак к его глазам.)* Посмотри, какая прелесть! *(Подняв-*

шись, другим тоном.) Нам тут надо заседание провесть. Сядь у двери и скули пошибче, чтоб часовой не скучал. Все, пошел!

В мгновенье ока сумасшедший переселяется с рогожей на указанное место.

(Гадливо, вслед ему.) И какая-то несчастная песенкой тебя баюкала, у бога счастья для тебя просила... *(Всем.)* Начнем, товарищи?

Ольга *(приоткрыв лицо Федора)*. Ты не задремал, Федя? ...отдохнул? Как же... все еще любишь ее?

Федор. Да. *(Совсем тихо.)*

Молчание.

Ольга. Друзья твои хотят поговорить с тобою. *(Она помогла ему надеть пиджак.)* Можно и лежать, Федор.

Федор. Нет, я хочу сесть. Помоги мне. *(Он спускает ноги.)*

Татаров снова надевает шинель.

Егоров *(с горечью)*. Президиума выбирать не станем? Пусть будут там те, кто раньше нас, в самые черные дни, отдал жизнь за *это*. За самое дорогое на свете... Еще один человек стучится к нам, товарищи. Ольга Ивановна рассказала вам про него.

Внезапное гуденье самолета, прошедшего на бреющем полете. Пулеметная очередь. Единодушный вздох, и вдруг женщина кричит навзрыд, запрокинув голову и разрывая платок на себе.

Женщина. Отомстите за нас, отомстите... Убивайте убийц, убивайте убийц!

Все сдвигается с места, кроме мальчика, который сурово из-под приспущенных век смотрит на обезумевшую. Зашевелилось за дверью, щелкнул затвор винтовки, к решетке приник часовой. Ольга торопится отвести женщину на другую сторону камеры. Приходит успокоение. Мальчик закрывает глаза.

Татаров *(ворчливо)*. К порядку, товарищи, к порядку.

Егоров *(спокойно)*. Этот человек дважды просился к Андрею в его партизанскую дружбу. Андрей проявил осторожность, обязательную для всех нас. Оставшись один, этот человек вел себя хорошо. *(Чуть повысив голос.)* Он убивал убийц, ворвавшихся в наш дом. Когда Андрей выбыл, он взял на себя его имя...

Ольга. И не уронил его.

Егоров. ...и не уронил его. С великой болью Андрей принял эту жертву для общего дела. Будем кратки: нас могут прервать в любую минуту. Кто имеет вопросы к товарищу?

Татаров. Я хочу. *(Федору.)* Вот она сказала, что когда ты вышел ночью от отца, у дверей стоял тот самый, в шляпе с перышком. А ты сообразил будто и решил дать время Андрею уйти. Верно это?

Егоров *(Федору)*. Ответишь?

Федор. Да... Неверно это. А просто спеклось все во мне... после Аниски. Я себя не помнил, вот.

Татаров. А ты не из обиды Колесниковым стал? Не хочешь, дескать, живого приятеля, примешь мертвого. Полюбуйся, мол, из папашина окошка, как я на качелках за тебя покачаюсь... Так нам таких не надо!

Ольга. Объясни, Федя, почему ты принял чужое имя.

Федор. Мне казалось *(и в его улыбке явилось что-то от того мальчика Феди на разбитом портрете)* ...что им еще страшнее станет, когда Колесников снова нагрянет, уже убитый. *(Сквозь кашель.)* Наверно, он теперь не спит, не спит...

Молчание.

Я протянул вам жизнь... и расписки в получении не требую.

Егоров. Не сердись, товарищ. Партизан имеет право на любые вопросы. *(Лежащему под рогожей.)* Ты, Паша, не хочешь высказаться?

Молчание.

Раз сама совесть наша молчит, дело ясное. Голосую. Кто против принятия этого человека в наш истребительный отряд... пусть поднимет руку.

Старик. Чего? В герои не просятся... туды самовольно вступают.

Егоров. А ты, Паша?

Молчание. Егоров снимает с его лица рогожу. Тот лежит с открытыми глазами.

Паша, Павел... ты что? Ты слышишь меня, Паша?

Молчание. Егоров прикрыл вновь лицо мертвого.

Итак, единогласно. Ну, дай, я поцелую тебя, новый Колесников!

Т а т а р о в *(зло и настойчиво)*. В губы, в губы!

Егоров обнял Федора. Где-то вверху лестницы шум и голоса. Слышна команда «Ganzer Zug, halt! Links um! Richt euch!» [1] И, сбросив с себя личину, выпрямившись в рост, сумасшедший устрашенно прижимается к стенке.

Е г о р о в. Приготовьтесь, товарищи.

Все, кроме Федора, сбиваются в кучку на правом ближнем плане.

О л ь г а. Идти в ногу, глядеть легко, весело. На нас смотрят те, кто еще сегодня вечером сменит нас. Красивыми, красивыми быть, товарищи!.. *(Федору.)* Вставай, Федя, Пора...

Федор присоединяется к остальным. За дверью показываются люди.

Т а т а р о в. Раньше в барабаны били при этом. Я в описаниях читал. Что-то не слыхать...

Мальчик шарит шапку на нарах.

С т а р и к. Шапку-то оставь, Прокофий. Тут недалеко.

Дверь открылась. Входят с о л д а т ы, о ф и ц е р, Ш п у р р е, М о с а л ь с к и й. У офицера фотоаппарат на ремне.

Т а т а р о в. Видать, карточку будут сымать на память. Своим мамашам пошлют!

Ш п у р р е *(показывая на выход, свистяще)*. Добро пожаловат!

Все разом двигаются вперед. Конвойный офицер предупредительно выставляет руку — три пальца.

Е г о р о в. По трое, значит...

Короткое замешательство, никто не смотрит в глаза друг другу. Егоров выбирает глазами первую партию.

Ну, я пойду *(Федору)*, ты, конечно, и...

Т а т а р о в. ...и я. Пойдем, пойдем... я им покажу, я им покажу, сволочам, как наши умирают. *(Федору.)* Ты на

---

[1] Взвод, смирно! Налево равняйсь!

плечо мне опирайся, Андрей. Плечи-то у меня пока здоровые.

Федор. Ничего, я сам. *(Ольге.)* Если увидишь мать, объясни ей... я не был пьян в ту ночь, накануне. Я просто не спал тогда две ночи, негде было...

Солдаты окружают их и уводят. Последним покидает подвал Мосальский.

Ольга. Слушайте, офицер... Офицер говорит по-русски?

Мосальский наклонил голову.

Здесь есть беременные...

Мосальский *(поморщившись от слова)*. Веревка выдержит, мадмуазель.

Ольга *(упавшим голосом)* ...и дети!

Мосальский. Вы задерживаете меня, мадмуазель. *(Прокофию.)* Сколько тебе лет, Статнов?

Прокофий *(с вызовом)*. Семнадцать.

Иронически поклонившись, Мосальский уходит. Уже по своему почину Прокофий поднимается по ящикам к окну.

Народу сколько нагна-али...

Он вынул тряпку из пробоины в окне. Ветерок пахнул в лицо его горсткой снега. Снова пальба зениток.

Дедушка, а что... Сталин большого росту?

Старик молчит, он слушает гул наверху.

Ольга. Где ты, отец, Сталина видал?

Старик. Так, по сельскому хозяйству видались. Диковинку я одну вырастил... *(Точно видя заново.)* Залища просто-орная была, и нас поболе тыщи. А пустынно вроде и как-то каменно. И вошел *один* человек, и враз местечка лишнего не стало. Тесно стало и пламенно.

Мальчик отвернулся от окна. Все затихло. Слышен дважды повторенный на площади возглас: «Сталин, Сталин!» Голос замирает на полуслове.

А росту он будет вполне обыкновенного.

Залпы зениток ближе и громче.

Салют, что ль, заместо барабанов дают?

Прокофий *(вцепившись в решетку)*. Дедушка, парашуты, парашуты. В небе тесно стало, дедушка!

Он соскочил, уткнулся в колени старика, и все, что скопилось за день, разряжается теперь нестыдными, ребячьими слезами.

Сталин, Сталин пришел...

Видны бегущие ноги в окне. Снятое полотнище парашюта розовым облаком застилает его на мгновенье. Потом кто-то вопя: «И-эх ты, злое семя!» — вышибает прикладом забитое досками окно. И тотчас несколько человек, громыхая и крича, спускаются по склизам в сумрак ямы, и первым из них — Колесников. После яркого полдневного снега они ослепленно молчат.

Колесников. Чужих нет? *(Ольге, кивнув на выход.)* Встреть мать. *(Двум с карабинами.)* А ну, пошарьте под корягами. Может, налимишко найдется.

Двое уходят во тьму соседнего подвала. Женщина беззвучно плачет.

(Всматривается в лица людей.) Федор Таланов... Федор!

Все молчат.

Прокофий. Троих наверх увели. Теперь уж их не догонишь.

Из соседнего подвала слышен голос: «Дай сюда фонарика, Андрей Петрович... налима держу. Руку лижет. Тут запасный выход есть».

Колесников. Иду. *(Он уходит.)*

Ольга шагнула к пареньку в шинельке, который, засучив рукав, зажал локоть ладонью.

Ольга. У вас кровь, товарищ.

Паренек *(еще в возбужденье атаки)*. Разве убережешься в этой суматохе!

Ольга наспех рвет платок для временной перевязки, паренек шарит глазами по подвалу.

Старик. Аль что потерял, сынок?

Паренек. Не-е... А как отступали мы в прошлом месяце, пожалел я старичка одного. Сбежал я к нему на обочинку, прижал ко грудкам... «Не горюй, говорю, дедушка...» И последнюю горбушечку в пазуху ему сунул...

Ольга. Вот и все пока, только не гните в локте.

Паренек. И весь месяц я его во снах видал. Подойду: «Потерпи, скажу, дедушка... скоро придем: русские всегда возвращаются. Дай только обозлиться маненько. Ведь русского обозлить — проголодаешься!» А у меня установка такая: слово дал — держись...

Из соседнего подвала, пятясь перед партизаном, выходит в защитной бекешке Фаюнин, потом Колесников.

Колесников. Какой же это налим? Это есть по всем статьям щука. А еще рыбак!

Паренек растерянно засматривает в лицо Фаюнина.

Никак наш-то нашел своего старичка с обочинки.

Паренек. А поправился ты, дедушка, с горбушечки-то моей.

Фаюнин молчит. Сверху спускается Таланов, с ним Анна Николаевна.

Анна Николаевна *(во всю силу боли своей)*. Ольга!.. *(И затихла, уткнувшись в плечо дочери.)*

Паренек касается фаюнинского плеча.

Паренек. И порадоваться-то нам с тобой тут негде, дедушка. *(И в ласке его звучит железо.)* Пойдем на свежий воздух, там обнимемся...

Они уходят.

Ольга *(отцу)*. Она видела... там?

Тот утвердительно кивает.

(Заглянув в лицо матери.) Мама, у тебя сухие глаза. Нехорошо, поплачь о Феде, мама. Он уходил, а теперь снова вернулся. Он рядом с тобой стоит, он снова твой, мама!

Анна Николаевна. Он вернулся, он мой, он с нами...

1941—1942

ЛЁНУШКА

НАРОДНАЯ ТРАГЕДИЯ
В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Похлебкин Василий Васильевич — председатель сельсовета.

Дракин Максим Петрович — он же Бирюк.

Дракин Степан Петрович.

Потапыч — балагур на старости лет.

Устя — девушка позднего возраста.

Мамаев — житель из Кутасова.

Катерина — его жена.

Лена — их дочь.

Дракин Илья Степанович — жених Лены.

Темников Дмитрий Васильевич — командир танка «Т-34».

Сержант Ваня — механик-водитель при нем.

Травина Полина Акимовна — инструктор райкома, хозяйка.

Женщина в черном, Туркин и его жена, старуха и ее внучек Донька, женщина с ребенком, пленный, плотник, гармонист, немой и другие люди из отряда «Плачь, Германия!»

Действие происходит в дни войны.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Теплая, благополучная, с занавесками и бальзаминами на окнах изба Мамаева. Жестяной колпак висячей лампы весь свет отдает вниз, — потолок остается во мраке. Из потемок красного угла, спрятанные в роще венчальных свечей и пасхальных розанов, сурово смотрят боги. Опершись локтями о стол, Катерина наблюдает за руками рябой и громадной Усти, которая с важностью раскладывает карты. Илья, красивый парень в военной гимнастерке и шинели внакидку, сидит у печки с котом на коленях, черным, как сажа. Время от времени, повернув его голову, он щурко смотрит ему в глаза, как бы спрашивая: «Чего, черный, глядишь?.. скажи, что знаешь!..» В окне слабо помигивают непонятные вспышки, похожие на зарницы.

Устя *(положив последнюю карту)*. Ну, ставь поллитра, Катерина. Катит твоя дочка домой... ишь, торопится. А при ей, с сердечной стороны, военный король.

Катерина. Знать, ты, Илья.

Устя. Не, то не Илья. Илья черный, крестовый... ишь, в ногах валяется. А этот русый, во весь рост король.

Скинув кота с колен, Илья, похрамывая, идет к столу.

Илья. Где ты там русого углядела? Дай сюда. Я его в цыгарку заверну.

Устя. Не горюй. Как уйдет она с русым, ты на мне женишься. *(С полунадеждой.)* Меня уж никто у тебя не уведет... Теперь глянем на сердце ей. При чем находится, обо что ударяется. *(Она приподымает карту и вдруг, спрятав ее за спину, смахивает остальные со стола.)* Ой, не хочу... не буду больше, не буду!

Илья. Покажи.

Устя молчит.

Илья (*берет ее за локоть*). Не балуй с солдатом, Устинья. Он людей убивал.

Недолгая борьба. Разжав Устину ладонь, Илья расправляет карту на столе.

Катерина. Девятка винновая. Какое ей означенье-то, Устенька?

Устя молчит, потирая помятую руку.

Илья. Отвечай старушке.

Устя (*нехотя*). А означенье ей — великая печаль.

Катерина. Ты по-нашему, по-русски скажи, Устенька.

Устя. Убьют у ей, кого она полюбит. В самом сердце настигнут... и убьют там.

Илья (*еле слышно*). Меня... или русого?

Устя. Ай в картинки поверил, пристал. Встречай невесту-то. Уж, верно, при пороге стоит.

Илья недоверчиво оборачивается к двери. Тягучий скрип петель, и в ту же минуту входит Лена. Слышно урчанье отходящего танка. Спустив рюкзак со спины, она скрытно улыбается чему-то, оставшемуся за порогом.

Катерина. Лёнушка-то наша, господи!

Лена подчиняется материнской ласке. Катерина вытерла передником скупую слезинку.

Катерина. Не во-время ты, Лёнушка. Видала зарева-то вокруг? Скоро и наш черед.

Дочь подняла большие ясные глаза, и, кажется, светлее становится в избе.

Лена. Все будет хорошо, мама. Вот, шевельнем плечами, и спадут вороги. О, Устенька забежала посидеть. (*И холодное облачко скользнуло на лицо.*) А, и ты здесь, Илья!

Что-то мешает им протянуть руки друг другу.

Я думала, ты на фронте.

Устя. Жалей его, Лёнушка. Из лазарета вырвался, на тебя поглядеть.

Лена. Он и сам мог ответить, Устя. (*Заглядывая в соседнюю каморку.*) Папаня отдыхает?

Катерина. Ходит. Места себе не найдет... (*Беря глиняную миску с полки.*) Пойдем, я тебе покушать накрою. Тут у нас собранье будет.

Устя. Клуб у нас третевось бонбой спалило. Ладно еще ветру не было.

И пока Катерина вытирает миску полотенцем, Устя торопится вывалить Лене весь ворох новостей.

А в председатели нынче Похлебкин выскочил. А братцы-те Дракины делиться вздумали. Бирюк-то уже в смолокурной избушке живет...

Катерина *(уходя)*. Прибери карты, Устенька. Отец браниться станет.

Лена проходит по избе. Илья исподлобья следит за нею.

Лена. На дорогах грязища... ступить некуда.

Илья. Грязища, а ноги сухие.

Лена. Меня танкисты подвезли. Нам по пути оказалось.

Устя *(собирая карты с полу)*. Кажный вечер мимо нас ходят. Станция там у них какая-то.

Илья. Знакомые, значит, танкисты-то!

Лена *(просто)*. Их часть рядом с нашим общежитием стояла. И, знаешь, еду, а лес шум-ит... Гневно так. Точно кулаки над головою поднял.

Илья. Та-ак! *(Как бы нечаянно.)* Кстати, забыл... как этому, русому, фамилия-то?

Лена. Темников... а что?

Усмехаясь и похрамывая, Илья отходит в сторону.

Тебя в ногу ранило, Илья?

Илья. Нет, мне в сердце попало.

Лена недоуменно переглянулась с Устей. И только появление Мамаева выручает их всех из неловкого молчания.

Лена. Здравствуй, папаня. *(Взяв за плечи, она вглядывается в лицо отца.)* Седины-ы прибавилось... и капельки в бороде!

Мамаев *(сдержанно)*. Дождик маненько сыпет. Отучилась, умница?

Лена *(весело)*. Вот, воевать к вам прибыла. Весь техникум разъехался. Сму-утный ты нынче какой!

Мамаев. Не знает разумок твой детский, какой огонь идет, любимица.

И, слегка отстранив дочь, отошел. Лена искоса смотрит, как, остановясь посреди, он поднял голову к образам.

Катерина *(появляясь из каморки)*. Раздевайся да похлебай молочка с Лёнушкой. А там и представленье вместе посмотрите. *(Дочери.)* За артистами поехали.

Она увела дочь.

Илья. Что там, тихо, в мире-то?

Мамаев *(не прежде, чем досказал что-то богу)*. Тихо пока. *(Раздеваясь.)* Азаровка горит. В одно пламя полыхает... ровно свеча по мертвеце.

Устя *(всхлипнув)*. Господи, дай ты нам хоть минуточку отдохнуть от тебя!

Она затихает от одного взгляда Мамаева. Дверь приоткрывается, и в щель просунул лысую свою и шишковатую голову, похожую на айву, Потапыч, мужичонка вострый, крикливый и не по возрасту подвижный.

Потапыч *(не входя)*. На собранье стучали. Заём будут проводить... аль обложенье какое?

Илья. Не бойся, что с тебя взять-то, голь?

Мамаев *(в сени)*. Ноги вытирайте, там рогожка постелена.

Потапыч. Это можна-а. *(В сени.)* Слушать мою команду. Ноги вытира-ай!

Он на время скрывается. Слышно множественное пришаркиванье ног. Вслед за Потапычем, который, с шутовским пением «аллилуйя, аллилуйя, аллилуй-ия!» пройдя по кругу, снимает шапку перед образами и, погрозившись богам, отходит в сторону, входят остальные и размещаются на скамьях вдоль стен. Тут баба с ребенком, сухорукий старик, который все мигает, старуха и ее внучек Донька, стайка девчат и подростков, мужики—по разным явным статьям оставшиеся вне призыва, и другие. Потапыч успевает сказать: «Держись, мужички! Братцы Дракины пришли, значит драчка будет...» И тотчас, глядя под ноги себе, опрятный и весь литой, входит Степан Дракин, знахарь, в круглой рыжей, точно в иод ее окунули, бороде и в сапогах с широкими голенищами, где, верно, и содержит свой коновальский инструмент. Следом, позже всех и не снимая громадной кудлатой шапки с красным донышком, громоздко вваливается Максим Дракин, похожий на младшего брата, как отраженье его в черных болотных кутасовских водах. Шопот идет по собранью: «Бирюк, Бирюк пришел...»

Донька *(не в меру громко)*. Баушк, верно это... будто у ево в шапке сатана живет?

С т а р у х а *(легонько замахиваясь)*. Шши ты, Донька.

Б и р ю к медленно оборачивается к мальчику. И когда, не смея вступиться за маленького, люди ждут зла от этого лесного человека, он гладит голову ребенка и, со всех сторон показав ему шапку, проходит в угол. Тем временем Степан Дракин как бы невзначай оказывается возле сына.

Д р а к и н. Илюш... а Илюша?

Тот знает, о чем будет речь, и молчит, барабаня пальцами в стол.

Ты, что ль, аржанухи мешок нищим кинул?

У с т я. Он не нищим, он сироткам отдал, Степан Петрович.

И л ь я. Ты бы глянул на них. С утра, босеньки из войны идут. На них и глядеть-то — кровь из глаз течет.

Д р а к и н. Всемирной нишшеты мешком муки не покроешь. *(Ярясь на молчанье сына.)* Я ее горбом, горбом я ее, эту мучку. Я табун коней за нее перелечил. *(Ударив картузом в пол.)* Судиться буду с тобой, Илюха.

У с т я. Люди слушают, Степан Петрович.

Подняв картуз с пола и ворча, Дракин отходит в сторону.

П о т а п ы ч. Эх, что с людьми деется! *(Сопровождая речь наглядным жестом.)* Глянешь на иного — все в порядке: и волос растет и картузом сверху прикрыто. А заместо рожи — рукомойник глиняный висит, пра-а...

Все смеются его ужимкам.

Д р а к и н. Береги яд, змея. Блох травить.

Б а б а с р е б е н к о м *(закачивая грудного)*. Уж начинали бы. Печка у нас топится.

Тогда, поглаживая богатые усы и посверкивая новенькими калошами, быстро входит предсельсовета П о х л е б к и н; за ним, в перешитом из шинели пальто с костяными пуговицами и в черном беретике — Т р а в и н а. Деловитым жестом Похлебкин требует себе места у стола.

П о х л е б к и н *(Усте, с важностью)*. Иди, девушка, гостей покарауль.

Устя уходит.

(Раскладывает портфель на столе.) Пожарные дозоры проверял, Мамаев?

Тот утвердительно кивает в ответ.

Тогда откроем, значит. Товарищи, время военное... не будем, значит, курить.

И, шумно обрадовавшись напоминанью, мужики закуривают. Илья рвет косой лоскут газетки, Потапыч со словами: «Вот это можна-а...» — достал из-за пазухи носогреечку. Кашлянув разок, и сам Похлебкин вынул из кармана тоненькую мятую папироску, подул в мундштук и сунул под усы. Он братски закуривает от одной спички с Ильей.

Товарищи, приехавший новый инструктор из райкома... *(Пыхнув дымком.)* Извиняюсь, как все-таки вас кличут... опять в суматохе из башки вылетело.

Травина *(улыбнувшись)*. А кличут меня Полина Акимовна Травина.

Похлебкин. Так вот, указанная *(недоверчиво покосясь)* Полина Акимовна доложит вам потом, как и что, после чего состоится выступленье гостей. А покеда кратенькое слово для доклада предоставим, как председателю, мне. *(Поглаживая портфель.)* Итак, что мы имеем на текущий момент, товарищи? Отвечаю на заданный вопрос. На текущий момент *(ткнув перстом в окно)* мы имеет пылающую Азаровку. Горе и слезы мужицкие — вот какую картину мы имеем на текущий момент, дорогие мои товарищи. А это есть верный показатель того, что главный волк, наточив зубы на мелких державках, припожаловал к нам с волчатками за свежатинкой. И это я вам сейчас как дважды два докажу.

Он раскрывает портфель. Мужики сокрушенно вздыхают и кашляют.

В самом деле, товарищи! Еще сам Фридрих Енгельс указал нам на всемирной заре человечества... Где это у меня тут? Чорт, точно провалилось куда. Повторяю, на заре всемирного трудового человечества...

Он шарит в портфеле какой-то заветный листок, сердится и не находит. Травина неодобрительно качает головой. Легкий ропот идет по собранью.

Потапыч *(нараспев)*. Проки-имен, глас седьмы-ый!

Мамаев. Имей бога, Василь Васильич. Жженой человечиной пахнет, а ты все от книги проповедуешь.

Похлебкин *(настойчиво продолжая поиски)*. Не будем, не будем, товарищи. Это есть обывательский раз-

говор. Душевно убеждаю вас, как председатель, давайте не будем!

Д р а к и н. Он теперь не кончит, пока всею портфель не прочтет.

П о х л е б к и н. А ты у меня, знахарь, помолчи. Недозволенной наукой кто лечит? Бабку Аксинью кто вылечил?.. Кто лихачом в Питере всяких министров катал?.. Отвечай на заданный вопрос, кто?

И л ь я. Сократи его, Полина Акимовна, а то мы больно сердимся.

Травина шепчет на ухо Похлебкину, тот зловеще захлопывает портфель.

П о х л е б к и н. Хорошо. Похлебкин кончил.

Т р а в и н а *(выступив вперед)*. Так вот, хозяева. Армия уходит. Старый русский враг у ворот стоит. Решайте, что делать станем. Кто просит слова?

Молчание. Похлебкин торжествующе смотрит на нее. Два глухих, как бы в большие литавры, разрыва.

Стучатся! Отпирать им двери-то... или повременим? Как скажете, хозяева?

П о х л е б к и н *(подсказывая собранью)*. А то можно и в болотину уйти да отколь злодеев наших тревожить.

П о т а п ы ч. Во-во, там теплы-ынь. Залез по шейку и сиди. *(Вскочив, горячо.)* Уж ине́ва по утрам-те. Избы-те на закорках унесем?

Т р а в и н а. Армия уходит, но землянки остаются. *(Помолчав.)* Кто еще хочет сказать? *(Бирюку.)* Кажется, вы... руку поднимали.

Б и р ю к. Не, это я почесался. Чево, — тут и без меня, эва, умы пресветлые сидят.

Тишина, потом топот в сенях, грохот опрокинутой бадьи, и бегом возвращается У с т я.

У с т я. Артисты приехали!

Она вклинивается в стайку девчат. Собранье волнуется. Ближние засматривают в черноту сеней, но холод сочится к ногам, и Катерина закрывает дверь.

Т р а в и н а. Ну, Похлебкин, пускай они пока на гостей посмотрят, а мы... Там скотину угоняют. Взглянем, попоили ли в дорогу.

Поняв друг друга, они уходят. Наступает некоторое оживление.

Баба с ребенком *(сторожко, оглянувшись на дверь)*. Сказывали, *они* мужиков-то не трогают.

Мамаев. Ясно: поползать перед ими, то не трогают. Кто же свою скотину лупит? С нее и шкура, с нее и мясо.

Потапыч. А может, и стороной пройдут. Бонапарт-те, как шел, обыкновенно, трех полковников посылал: «Сыскать мне Кутасово-село. Жалаю видеть дураков, которы... *(метнув глаза на Дракина)* волков посередь стада держат!» — «Можна», — полковники отвечают. Семь ден по болотам ползали, каждый листочек подымали, мундиры промочили, Кутасова не нашли.

Никто не смеется на этот раз.

Споем, что ли? Запевай, Доня, развеселую.

Мамаев. Брось клоуна ломать, Потапыч. Болтает-болтает, язык за уши заплетается.

Старуха *(крестя зевок)*. Ох, господи. Сидим, как грыбы, и артистов не видать.

Дверь открывается. Не старая, худая очень, со строгим, даже отреченным лицом; женщина в черном на брови приспущенном платке помогает переступить порог высокому благообразному старику с каким-то снежным покоем на лице: «Тут порожек, дедушка, не оступись». На его штопаном пиджаке, надетом поверх белой, косой, со стеклянными пуговками рубахи, в ряд — три георгиевских креста и орден Красного Знамени в пунцовой розетке. С другой стороны гостя поддерживает крохотная, в больших лаптях, старушка — и ветром ее повалишь. Мужики пристально и недоверчиво взирают на это шествие нищих. Достигнув средины избы, гости кланяются: старика приходится подтолкнуть при этом в спину.

Женщина в черном *(тихо)*. Дайте табуреточку, гражданы. Ноги у ево плохие.

Устя робко ставит перед ними табуретку и возвращается на место. Приехавшие женщины усаживают старика. Устремив голубые, точно утро в лесной чаще, глаза куда-то в матицу, он как бы слушает птиц милой родины. Черная гостья говорит почти без выраженья, от великой скорби или усталости.

Мы являемся, гражданы, Колычевского района, села Малые Грачи. Вы нас не бойтеся, мы ничего не просим. Мы просто так... Нам мир повелел: «Вам теперь, сказано, жизни нет. А все идите, леса и пустыни наскрозь, поколе в крайные льды не упретесь. Покажите, сказано, раны свои русским людям. А уж как они порешат, так тому и быть».

Д о н ь к а. Баушк, они настоящие, а?

С т а р у х а. Шши-ты!

Ж е н щ и н а в ч е р н о м. Сельцо наше, гражданы, ничем не знаменитое. Сорок дворов было, как немец пришел. И мы горем своим не выставляемся. У иных уж моря наплаканы... хошь кораблики пущай! *(Ее голос дрогнул; закусив губу, она помолчала, пока не справилась с собой.)* Тут перед вами находится русский житель, герой своей жизни. Фамилия ему Туркин.

Не отрывая глаз от старика, Бирюк поднимается. Тяжелое раздумье бороздит его лицо.

С т а р у ш к а. А иди поближе, миленькой. Гляди на нас, что получилося. *(Беспечально и разведя руками.)* Все у нас тута. Батожка не осталося, собачку отогнать.

Бирюк недоверчиво отступает.

Ж е н щ и н а в ч е р н о м. При нас имеются карточки, за годок в газету сымалися. *(Она достает их из глубокого кармана, три, обернутые в красный, как кровь, платок.)* Вот тут он у себя на пасеке стоит. При ём внучки Лида и Маня... Берите, берите, гражданы, кто желает взглянуть для интересу. С платком берите!

Карточки в молчании идут по рукам. Бирюк вглядывается в старика, как бы сравнивая портрет с оригиналом.

Б и р ю к *(неуверенно, Туркину)*. Слушь-ка, отец... ты не Филипп Демьяныч будешь... а? *(И вдруг, припав на колено, чтобы заглянуть в опущенное теперь лицо старика.)* Эй, взводный... это я тут, Максимка Дракин. Ты не смотри, что в бороде, а это я, я! И шапка, эва, что казак-то подарил... и дырочки в ей незашитые, держи! *(Взволнованно, обернувшись к своим.)* Он это, он и есть, Туркин Филипп. Служили вместе... Осподи, история какая!

Ребячливая нежность звучит в голосе Бирюка, когда руки гостя ощупывают бороду его и шапку.

Б и р ю к. Помнишь, Демьяныч, как Перемышь-то брали в пятнадцатом? Как курей-то шрапнелью шарахнуло, а одна, эка, яичко со страху и родила... помнишь?

Молчание. Распрямляя огромную спину, Бирюк переводит взгляд на старушку.

Чего он у тебя, бабка, своих-то не признает? Он у нас великий стрелок был. Мухе крылышко мог отстрелить... без остатнего поврежденья. Совсем глумной стал.

Старушка *(с доброй и лучистой улыбкой)*. А он, миленькой, четыре часа в колодце под мертвыми лежал. Доверху было у нас насовано. Спасибо солдатикам нашим... из колодца его, миленькой, достали.

Устя. Знать, тьма ему очи-то погасила.

Мамаев *(крестясь)*. Эко злодеяние, господи!

Женщина в черном *(строго)*. Гражданы, нам на разговоры время не дадено. Росея-то больно велика... Имейте внимание, гражданы!

Бирюк пятится. Туркин недвижен, но, по мере того как гостья произносит родные его слуху слова, еле приметный блеск родится в незрячих его глазах.

Филипп Демьяныч, тут перед тобою гражданы сидят, правды ждут. Расскажи им, как ты за отечество грудью стоял, поколе в силе находился. И как Грачи твои черным пеплом разлетелися, скажи им. И куда ты внучку свою, мертвенькую, три дни на спине тащил, пока не почернела. И темно ли было в колодце твоем... Все объясни им, не утаивай!

Голос ее звенит, как тетива, спустившая стрелу. И эхо всемужицкого горя, единодушный вздох вздымается и замирает в избе.

И еще сознайся людям, Туркин. Может, ты жизнию своей обидел народ ерманский, что он железо поднял на тебя, как на пса? *(Вся дрожа.)* Встань, перед родиной стоишь, Филипп Демьяныч!

Старик поднимается, одергивая на себе рубаху. Невнятное клокотание слышно в его груди. И вдруг, точно подломившись, он валится ничком перед собранием.

Туркин. Заступися, мати русская земля!..

И когда его белая борода касается пола, все собранье, как по команде, поднимается. Слышны возгласы: «Аль у них в Германии плакать некому?», «Что ж они делают-то с нами, изверги!» и один, Устин, навскрик: «Душить их, душить, всю середку из них вырвать...»

Все стоят — прямые, с суровыми и торжественными лицами, как бы заново рожденные.

С т а р у ш к а *(бабам)*. Не плачьте, миленькие. Через слезу гнев утекает. А вы глядите на его, силами запасайтеся...

Б и р ю к *(не смея прикоснуться к лежащему)*. Филипп Демьяныч... Демьяныч! Что ж ты во всех крестах-то перед нами? Чать, не черти мы лесные, чать, люди...

Пряча заплаканные глаза, Устя и Лена поднимают старика. Прежний беспамятный покой возвращается в лицо гостя.

Ж е н щ и н а в ч е р н о м *(поклонясь в пояс)*. Теперь прощайте, граждань. Нет у нас больше слов, одни угольки осталися. Учитеся на нас. *(Старушке.)* Давай пока тулупчик, не остудился бы. Где там карточки-то наши... спасибо. *(Потапычу, подвернувшемуся на глаза.)* Узнай насчет лошадки, дяденька.

П о т а п ы ч. Можна-а. *(Всем с важностью.)* Эй, жители, кто вчера в Путилино ездил?

У с т я *(утирая лицо)*. Я, Потапыч, ездила.

П о т а п ы ч *(подняв палец)*. Не реви. Марш за мной! Аллюр три креста.

Они уходят за старушкой. И, пока черная гостья, бережно завернув в платок, прячет карточки на дно кармана, старушка возвращается с одеждой Туркина. Гостей окружили полукольцом: Мамаев держит короткий латаный полушубок. Катерина — старую военную фуражку и дырковатую шаль, а Бирюк — детский шарфик с пестрой бахромкой — видимо, даяния добрых.

К а т е р и н а *(кланяясь)*. Может, закусите... что осталося.

С т а р у ш к а *(повязывая шалью старика и высвобождая бороду наружу)*. Неколи, миленькая, сроку нет. Поедем людей будить.

М а м а е в. Счас ехать-то хорошо, светлы-ынь. Пожары кругом.

Возвращаются П о т а п ы ч с У с т е й, одетой в брезентовый, с капюшоном, подпоясанный веревкой плащ.

П о т а п ы ч. Ну, жизни своей ерой, сбрую тебе отыскали... С бубенцом! На всю Русь прозвенит. Одолжи кучеренку кнута, Мамаич!

М а м а е в *(подавая Усте кнут)*. У опушки, где селезни, силы-то подкопи да внахлест махани: стреляют.

Устя. Слава-те, езживано.

Бирюк. Эй, может, и не встренемся... Демьяныч!

Но Туркин не отзывается на зов друга, и руки Бирюка опускаются. Все провожают отъезжающих стоя, за исключением Дракина: явно потрясенный зрелищем народной беды, он сидит — локтями в колени и закрыв руками лицо. В открытую дверь слышны — последнее напутствие черной гостьи: «Обороняйтеся, родные, обороняйтеся...» и нещадный дребезг бубенца. — Устя стегнула лошадей. «Э-эх ты, горе мое с колокольчиком!» — произносит Бирюк и надевает шапку. В сопровождении Похлебкина возвращается Травина.

Травина *(обведя всех глазами)*. Ну... побеседовали, хозяева? За вами слово теперь.

Илья *(решительно становясь к ним в ряд)*. Кто с нами, на жизнь и смерть, чтобы Германия плакала... называйсь!

Они стоят трое на отлете, и взглянуть на них сейчас — значит бесповоротно присоединиться к ним.

Догорает Азаровка!

Похлебкин *(доставая бумагу из портфеля)*. Кстати и в ведомостя оформим.

Травина *(вполголоса)*. Эти вещи, Похлебкин, не записывают.

Илья. Ты, Василь Васильич, лучше на пальцах загибай.

И опять, пожав плечами, Похлебкин закрыл портфель.

Мамаев. Во-от!.. и начинай с хозяев: Мамаев с дочкой.

Он обнял подошедшую к нему Лену. Со словами: «И я, и меня вставь!» — несколько человек переходят на сторону добровольцев. Донька тоже перебежал к ним, и бабка, поднявшая было руку, уже не успела произнести свое обычное: «Шши-ты!»

И Устю! Вековухе ничего не заказано. И плакать по ей некому.

Еще двое-трое присоединяются к этому ядру будущего отряда. И вдруг Похлебкин, зорко следивший за течением собранья, резко поворачивает голову в сторону, где, за спинами односельчан и под шумок, Потапыч пробирается к выходу.

Похлебкин *(ударив, как бичом)*. Стой... Потапыч!
Потапыч *(вздрогнув и не сразу)*. Можна-а...

Среди расступившихся людей он виден весь, оторопелый и жалкий, застигнутый на месте.

Похлебкин. Ай в гости к немцам собрался, дружок?

Потапыч *(глядя на лапти себе)*. Обыкновенно... телочка у меня непоена стоит. У меня и родни-то на свете одна ета телочка. С ей и посидишь, с ей и душу отведешь, пра-а...

Виноватый смешок вырывается из его груди. Собрание безмолвствует, и он делает отчаянную попытку отбиться от этого молчаливого презренья.

Чево, ну чево! Какой я вояка... У меня сердце в час ударяет пять раз, а ему положено семьдесят. Видите, дело какое...

Илья *(хлестко)*. Трус ты, дядя, старый плешивый трус. И дурак к тому же.

Потапыч. Чево, у меня в голове-то — как в банке золота, во! *(Воинственно.)* Мы его и тут, немца-то... пускай придет. Харю-то наклонится помыть, а мы его, обыкновенно, по шее-те топором. Задремит, а мы ему в глаза-те лучинкой!

Дракин *(насмешливо)*. Эдак-эдак, они этого страсть не любят. *(Поднявшись, сурово и гневно.)* Росея тебя кормила — не выкормила. Власть советская двадцать лет с ладошки тебя питала... все забыл, стервец? Ай у новой-то коровы вымя сытнее, а?

Травина. Не задерживайте его, друзья. Телочка у него. *(Потапычу спокойно.)* Идите, куда вам надо, гражданин.

Дверь Потапыч открывает медленно, в надежде, что его вернут, прикажут, остановят. Великое молчание. Он побито обернулся.

Потапыч. Телочка-то... ведь она коровкой станет, точно. А то я и останусь, гражданы, а?

У всех на лицах кривая усмешка. Дверь закрывается нестерпимо медленно. И тогда, не помня себя, Дракин кидается к сеням.

Д р а к и н. Погоди, как пятки-то прижгут, — вернешься, собачья радость!

Рот его перекосило, он задохнулся. Илья торопится успокоить отца: «Папань, успокойся, папань, нас и без него хватит!» В одышке, раздернув ворот рубахи, Дракин обернулся к Похлебкину.

Заместо прохвоста пристегни меня, Василь Васильич. Степан Дракин меня зовут.

Б и р ю к *(в полной тишине)*. Предлагаю не принимать Степку Дракина.

Т р а в и н а *(с острым интересом)*. А почему бы так? Поясните, товарищ.

Б и р ю к *(угрюмо, поглаживая край лавки, на которой сидит)*. Больной он, грыжа у него.

Голоса: «Пожалел братана-то!», «Явственно, однех кровей...»

П о х л е б к и н *(жестко)*. Ничего, Бирюк. Нам не на парад ходить. Помалкивай и с правильных граждан пример бери!

Д р а к и н. И еще дивуюсь я на вас, хозяева. Воевать собрались, а жевать... елову шишечку станете? Кланяюсь харчами, чем могу.

Вышагнув вперед, Бирюк кладет руку ему на плечо.

Б и р ю к. Ты што, што задумал... каторжный?

Д р а к и н. Не жалей, все одно сгорит. Пора нам человеками быть.

Но Максим не отходит, и Степан сердится.

Уйди с путя моего, Максим. Не хочу в такой день братнюю кровь лить. *(Стряхнув с плеча его руку.)* Страдаешь, что не тебе достанется?

Б и р ю к *(отойдя)*. Предлагаю ничего не брать от Степки Дракина.

И л ь я. Не мешай, дядя Максим. Отец дело говорит. *(Отцу.)* Давай, папаша. Пора тебе, пора. Встань во весь рост перед людьми!

Д р а к и н *(невозмутимо)*. Вношу на мирское дело муки сеяной три мешка да немолотого четыре центнера. Капустка тоже есть, отдаю вместе с дубовой кадушечкой. Боровка я в заговены засолил, да повял малость...

П о х л е б к и н. Ничего, в мужицком брюхе долото сгниет. Давай сюды!

Бирюк раскатисто смеется: «Вали, куча мала... а поверх он сам сядет!»

П о х л е б к и н. Лишаем тебя голоса, Максим Дракин.

Поднявшись, Бирюк вызывающе смотрит на Похлебкина: не уйти ли, дескать?

Не задерживаем!

Бирюк отправляется к выходу. Голоса вслед: «Злоба какая!», «Бирюк, он Бирюк и есть...», «Шут с ним, после сосчитаемся!», «Потапычев приятель...»

Д о н ь к а *(вслед)*. И шапка-то на ём, как у главореза какого!

Бабка его подслеповато шарит вокруг себя внучка, которого ей уже не достать. Бирюк ушел.

Д р а к и н *(выждав тишины, ровным голосом)*. Еще ядрицы вношу четыре мешка с половиной, а половину старухе оставлю. Все-таки венчаные... Картошка не копана, корову я продал. За корову деньгами вношу три тысячи...

Одобрительный возглас: «Эк его горем-то обожгло!» И по мере того как он вываливает перед миром свои сокровища, пустеют его глаза.

Также отрез вношу синего губернаторского сукна, с прикладом, как есть. Еще имею при себе часы анкерного ходу. Получено за отличную езду в городе Санк-Петербурге в девятьсот осьмом году... *(Он долго отцепляет их, точно снимает с самой души, и вдруг, вырвав с лоскутом и наотмашь какое-то зацепившееся колечко, кладет на стол.)* Прошу принять. Ты загибай на пальцах-то, Василь Васильич!

П о х л е б к и н *(зачарованный этим размахом, с чувством)*. Вот видишь... вот посняли мы тогда жирок-то с тебя, Степан Петрович... а ты через посредство этого человеком стал. Во все вникаешь, очи имеешь открытые на картину людского горя!

В порыве сердца он даже руку было протянул для пожатия. Тот как бы не заметил его движенья.

Дракин *(отечески посмеиваясь)*. На тебе калошки, сынок, — все собранье в их, как в зеркале, видать. А людей в дырьях да в лапотинке на болотину посылаешь. *(Мужественно и сухо.)* Вношу сапоги яловые с новыми головками. Да еще пару хромовых, женихом носил. Да еще дёржаные, резиновы, выменял надысь... отдаю. Да еще...

Голоса: «Ладно, хватит, дядя Степан. Чего ж догола-те раздеваешься!», «Не срами нас, Дракин!»

...да еще полсапожки новые, старухины. *(Сыну, который блестящими глазами, не узнавая, смотрит на отца.)* Не жалей, Илюша: куды ей! До господа-то и босичком недалеко, добежит. Ну... петушок еще у нас остался. Пускай под окошком поет, птичка божия... *(Чеканно.)* Можете получить, Василь Васильич. Местожительство имею четвертый дом от пруда, под осокорем. Теперь пойду дому поклониться последний раз. С приветом, Дракин!

Среди благоговейного молчанья он с достоинством надевает картуз. Следуют два глухих разрыва, и сразу — гуденье взмывшего в небо самолета. Красноватый отсвет ложится на плечи сидящих у окна. Катерина выглянула и, помертвелая, привстала.

Катерина. Горим... Опять бонбы горючие скинул.

Травина. Потом, старик, дому поклонишься. Людям помогай. На улицу, товарищи!

Похлебкин *(уже с порога)*. Сбор у конюшен внизу, через двадцать минут. За мной...

Изба пустеет. Из чужих только Илья в нерешительности стоит теперь посреди избы. С улицы приглушенно доносятся мычанье скота и пожарные крики: «Багры давай, голова...», «Коней, коней отводи!» Слышно, как, присев на ларе в сенцах, баба закачивает плачущее дитя. В эту адскую мешанину звуков вливается скрежет бреющего вдоль улицы самолета. Короткая, с низкого захода, пулеметная очередь. Где-то тоненько звенит стекло. Лена закрывает дверь, шум стихает.

Мамаев *(очень волнуясь)*. Ну, собирай нас, мать. Чего не хотели, то и придвинулось.

Он уходит с женой в каморку. Илья делает шаг к двери. Лена берет его за руку.

Лена. Куда тебе, хромому!

Илья. Уж подживает, плясать могу.

Лена. Посиди со мной минуточку... словом не обменялись. О чем задумался?

Илья *(неохотно)*. Так. Вдовой тебя делать не хочется. *(Горько и убежденно.)* Но, что бы ни случилось — верь, Лена, ты мне жизни дороже. Пропасть раскройся, и лягу мостком поперек... А ты по мне ступай, и ничего не бойся.

Лена *(неумело ласкаясь к нему)*. Ты хороший, ты лучше всех.

Илья. А тот... русый?

Лена *(искренне)*. Что мне русый! Два раза и встретились, а с тобой... Помнишь, как в лесу заблудились, а ты за плечи обнял и вел меня. Сквозь ночь, как в сказке. И звезд в небе было — как дней впереди! Мне десять, тебе двенадцать едва пробило... *(В раздумье.)* Странно: с тобой как-то тревожно всегда, торопиться куда-то надо, а с ним...

Илья. С кем это?

Лена. С этим, с Темниковым... как на горе стоишь. Спокойно, и воздуху мно-ого, и лететь хочется. Отчего это?

Он собирался ответить, она зажала ему рот ладонью.

Погоди, в сенях скобку шарят.

Илья. Сиди, никого там нет.

Лена *(трепетно, как во сне)*. Нет, я знаю. Пусти...

Она движется к двери, открывает ее. В сенях стоит высокий, в синем комбинезоне и кожаном шлеме, танкист. За расстегнутым воротом видны отличия лейтенанта. Не двигаясь, опустив руки, они смотрят друг на друга. Потом, чуть смутясь, гость снимает шлем и проводит рукой по русым слипшимся волосам.

Лейтенант *(улыбаясь)*. Вот... заехали воды напиться напоследок. Жарко...

Лена. Да... сегодня жарко. Есть молоко... хотите?

Лейтенант *(глаза в глаза)*. Нет... воды.

Илья сердится. Ему понятно, что этот незначащий диалог — только оболочка других, из сердца в сердце, непроизнесенных слов.

(Опускает взгляд и, точно зовя на помощь, оборачивается в сени.) Эй, Ваня... тут вода имеется знаменитая. Заходи!

Входит другой в чине сержанта, коренастый с озорным и слегка закопченным лицом.

С е р ж а н т *(про лейтенанта)*. Ни в один дом, кроме твоего, не заехал. Видать, здешняя вода вкуснее. А ну, попробуем... Ковшичка не найдется, гражданочка?

Лена подает ковш и снимает крышку с ушата. Сержант пьет с видимым наслаждением. Взяв с полки миску блинов, Лена держит ее в руках, наготове.

Хороша-а, сытна земли родной водица. *(Заметив угощение Лены.)* Извиняюсь, танкисты не закусывают!

Вытерев черные свои усы, он передает ковш лейтенанту. Илья, прихрамывая, приближается к ним.

И л ь я. Это вы, значит, на такси тут... извозчиками работаете?

Л е й т е н а н т *(оторвавшись от ковша)*. Про что это он, Вань, балакает?

И л ь я *(упорно)*. Я спросил... это вы на боевой машине барышень по домам развозите?

С е р ж а н т *(Лене)*. Интересный товарищ. Смешное говорит, а сам не смеется.

И л ь я. Я когда засмеюсь-то — со страху помрешь.

С е р ж а н т *(подняв палец)*. Сурьезный деятель. Если и воюешь так, то молодец. Как звать?

Л е н а. Это Дракин Илья, мой... знакомый.

С е р ж а н т. Илюша, значит... подходяще. А я Ваня. Так и зови меня, я простой. А это командир танка моего.

Л е й т е н а н т *(кивнув)*. Темников.

С е р ж а н т *(Илье)*. Не слыхал? Глухая ваша сторона, и гром до вас не доходит. *(С ударением.)* Герой Советского Союза, Дмитрий Темников.

Л е й т е н а н т *(дружественно Илье)*. Это просто так, звание такое. Мы все — солдаты.

Покусывая губы, Илья отходит. Из каморки появляется М а м а е в, уже одетый в поход. Сзади К а т е р и н а несет корзинку с провизией.

Л е н а *(со смущением, указывая на гостей)*. Вот... напиться зашли.

Стоя рядом, плечом к плечу, танкисты улыбаются, и это получается у них приветливей всякого поклона.

М а м а е в *(со стариковской тоской)*. Покидаете, сынки?

Лейтенант. Там все минировано. Раньше утра не взойдут... *(С улыбкой.)* Что смотришь? Понравился я тебе?

Мамаев. Хороший, видать. Что будет-то, скажи!

Сержант. А ты вглядись в него хорошенько. *(Постучав в грудь Темникова.)* Слышишь, сталью звенит. Этот человек и танк его из одного мартена отлиты. Ну, найдется сила в мире такого опрокинуть?

Темников *(сердясь)*. Брось, Ваня... не люблю, брось.

Мамаев *(сержанту)*. Не тебя, сынок, спрашиваю.

Сержант. Э, кого огнем в бою спаяло, в тех и мысль одна бежит. *(Задоря.)* Сказать им, Дмитрий Васильич, про что думка твоя сейчас?

Лена *(поспешно)*. Не надо! Зачем вам это, не надо...

Она оборвалась, поняв, что выдала себя с головой. Темников опустил глаза. Все заметили смущенье Лены.

Мамаев. Образа̀, мать.

В молчании Катерина поднимается на лавку оправить лампаду.

Илья. Да, глухая наша сторонка. *(Вымещая досаду, про бога.)* Он же бьет, его же маслицем потчуют.

Мамаев *(степенно)*. Не трожь его. Он в избе меньше твоего места занимает.

Илья. Покланялся бы, чтоб дочку твою от великой печали упас. *(Зловеще глядя на Темникова.)* Уж, может, под окошком судьбица-то стоит!

Мамаев *(не понимая значения его намека)*. Я доли людской не бегу. Но попрошу, как приступит, и он мне не откажет.

Илья *(дерзко)*. Аль еще не приспичило?

Стук в окно. Мамаев уходит в сени. Сержант, с усмешкой наблюдавший эту сцену, касается локтя Темникова.

Сержант. Поехали, Дмитрий Васильич. А то гражданин нервничают.

Темников *(Лене)*. Спасибо за воду. Никогда не пил такой.

И опять они смотрят друг на друга долгим взглядом. Темников надевает шлем. Свидание кончилось. Гости ушли, а Лена все смотрит им вслед.

И л ь я. Одевайся, танкистка. Мать с одёжей стоит.

Л е н а *(вздрогнув)*. Вот видишь, они и ушли. Не дуйся, Илья. Кончится война, вернусь учительницей, ты станешь агрономом... будем жить. И как ценить станем все! *(Оглянувшись на дверь.)* Давеча ехала — листья последние летят... и каждый как родного в дальнюю разлуку провожала. Прощайте до весны, милые! *(Тряхнув головой, весело.)* Мы даже и не вспомним о нем никогда. Ну, давай руку...

М а м а е в *(возвращаясь)*. За нами приходили. Прощайтеся.

Катерина обнимает дочь: долго смотрит в лицо ей, зажмурится и опять посмотрит. Мамаев пожал руку жены: не обниматься же на людях!

Всего не перескажешь. Присматривай... Присядем.

Все присаживаются на долю минуты. Илья закуривает при этом. Слышен гул проходящей за окном толпы.

Пошли.

К а т е р и н а *(низко кланяясь)*. Где ни придется лечь костям моим — навещайте.

М а м а е в *(сурово)*. Как бог даст.

Все ушли. Лена задержалась на пороге.

Л е н а. Мама!.. Пойдем с нами, мама. Что ты здесь одна останешься?

К а т е р и н а. Нет, Лёнушка. Я тут каждую половичку в лицо помню, по голоску признаю. Здесь я плясала, как замуж шла. Отца тут на войну провожала. Тебя вон там, под окошком, родила... *(И с суровой признательностью она обводит глазами эти места главных событий в ее жизни.)* Ступай своим путем, солнышко!

Лена ушла. Катерина поправляет сбившийся половичок, привертывает фитиль в лампе и, прямая, бесстрастная, садится у стола.

Уголечек останется, и того уголечка не спокину.

Песня за окнами стихает. Ярче горит лампада, освещая темное ночное лицо бога.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Пять крутых ступенек сводят из наружной траншейки сюда, в просторную землянку с низким накатным потолком. Налево вверху полуокно-полуамбразура, в которую смотрит ночь. Почти готовая дверь стоит у входа в груде свежих стружек; дверной проем временно завешен трофейным брезентом с косой надписью: «Reichpost». Черные готические буквы спорят в четкости с белым шрифтом боевого кумачового лозунга, свисающего драпировкой со стены. Круглая, из бензиновой бочки и с походным котелком наверху, печка топится на переднем плане; бок ее красновато светится в темноте. Справа нары в два яруса, слева — простой, ниже обычного, стол с чурбаками вокруг вместо табуреток и со скамьей по стене. На столе хлеб, и с краю, сделанная из масленки, пылает коптилка. Положив лицо в ладони, Лена не мигая смотрит на высокое желтое пламя. Слабо слышна гармонь, далекие паровозные гудки, и порывами сочится осенний холодок; пламя гнется, и колеблется полотенце на веревке, протянутой поперек землянки. Лене холодно; она встает подкинуть в печь поленце. Падает железная, приставленная сбоку, клюшка, и тогда приподнимается Устя, спавшая на соломе под пестрым лоскутным одеялом.

Устя. День уж аль ночь?

Лена. Вечер, спи. Илья зайдет, когда нужно. Ты спи.

Устя (*потягиваясь*). Что же это снилось-то мне? Хорошее такое...

Лена. Хорошее, а забыла.

Устя. Не-ет... (*Закрыв глаза, чтоб увидеть еще раз.*) Знаешь, будто иду я в крутую гору, высоко-высоко. И всё цветы кругом, краси-ивые, каких и на свете не бывает... только без запаха. И будто не рябая я нисколько... Ле-егкая, в подвенечном платье иду... (*Строго.*) Ты не смеешься? Сейчас надо мной нельзя смеяться.

Улыбаясь, Лена заплетает самый кончик длинной ее косы.

Устя. И вот уж все скрылося... и гора, и облачинки, а я все иду-у, и только бареточки на мне, черненькие, поскрипывают: скрип да скрип... К чему бы это, Лёнушка?

Лена. За счастье бьемся. Значит, к счастью, Устя.

Устя. Иду и радуюсь, а чему — не знаю. И спросить не у кого. Ни маменьки у меня, ни милого дружка... Ты не верь, что про меня плетут. *(Стыдясь и еле слышно.)* Я ведь девушка... никого еще не обнимала. Кому я нужна... такая! *(Выставив руки, точно видит их впервые.)* Эва, какие лапищи...

Лена. А как ты ими часового-то задушила: пригодились, значит. Я тебя и не признала тогда... словно рысь кинулась. Как ты его разглядела? Ведь тьма была.

Устя. Не знаю. *(Усмехнувшись.)* И не крикнул, как я его обняла. Только затрепетал весь. *(Помолчав.)* Утром пошла взглянуть — высокий, лежит, с усиками... подлец.

Она поднялась — сильная, размашистая, прежняя. Прижав каравай к кофте, под которой проступила могучая грудь, она отрезала ломоть и крупно посолила. Лена смотрит на нее, любуясь ею.

Может, и нынче женишка себе впотьмах нашарю. В клочья изорву!

Откинув занавес, Илья всматривается в сумерки землянки. Оробев, Устя опускает руку с хлебом.

Пора нам, Илюша?

Илья. Не пора, но скоро. За ужином, небось, не ходила?

Устя. Принесла, на печке греется. Уйти мне, Илюша?

Илья. Там Ефим ногу распорол. Спросишь у Похлебкина, кто с нами третий пойдет.

Устя ищет себе накинуть какую-нибудь одежку, все попадается не то.

Тебе и пробежать-то десять шагов.

Она ушла, как была, с непокрытой головой.

Лена. Зачем прогнал? Она тебе сердце свое под ноги стелет.

Илья. Все равно ей девать его некуда! *(Подойдя вплотную.)* Ну, награди меня за то, что будет.

Лена отступает, пугаясь его.

Сейчас пойду поезд немецкий в преисподнюю спускать.

Лена. А мы с Устей третьего дня ходили...

Он порывисто обнял ее, Лена отбивается как может.

Не надо, несчастье у людей... Не надо, нельзя.
Илья (*глухо*). Все можно. Ночь на земле.
Лена. Не хочу. Пусти. Укушу тебя.

Илья разжал руки. Лена отошла, содрогаясь.

Лучше дверь навесь, как вернешься. Мерзнем с утра.
Илья. Не вернусь я, Лена. Вот закрою глаза и вижу, как лежу один, в росе, под насыпью. И птица ночная мне на лоб садится. Лапочки у ей холо-одные. Скажи... любишь меня?
Лена (*шагнув к двери*). Выпусти. Боюсь тебя.
Илья. Не выйдешь, пока не скажешь. В глаза говори: любишь?
Лена. Я не могу так, вслух, Илья. Это говорят на ухо, нежно. Это один раз в жизни говорят. Ну, я еще не умею... это слово. (*Очень тихо, через силу.*) Разве без любви замуж выходят?

И, словно обожженный ее признаньем, Илья садится и опускает голову. Приподняв бровь, Лена наблюдает его.

Ты недоволен этим, Илья?
Илья. Предсказанье мне было. Убьют, кого ты полюбишь.
Лена. Кто... кто это тебе сказал?

Впервые она заглянула себе в сердце и удивилась, что не Илья отразился в зеркале ее испуга.

Глупости... кто нынче верит в это!
Илья. Уж сбылась половина. Гадали на тебя, а ты и приехала.
Лена (*с холодком*). Так ты... откажись от меня, Илья. (*Громко, в сторону входа.*) Простудишься, Устя!

И тотчас же, с мешком на плече, Устя, слушавшая у двери, виновато спускается в землянку.

Устя. Сами идут сюда. (*Ища глазами.*) Куда бы мне положить... Груз-то больно сердитый.
Лена. Клади к стеночке. Осторожней.

У с т я *(когда Лена наклонилась помочь ей)*. Шепни ему, чтобы не боялся. Гаданье в любви не сбывается. *(Горько.)* Уж чего только я себе не нагадала!

Л е н а *(громко и распрямясь)*. Мой жених, Устя, не боится ничего на свете.

Лекарство подействовало. Илья поднимается, расправляя сильные свои плечи. В ту же минуту сюда деловито и безмолвно спускаются начальники: П о х л е б к и н, Т р а в и н а, Д р а к и н и еще какие-то, видимо, из дальних, глухих деревень, м у ж и к и, из которых один время от времени произносит: «Вот это в аккурат будет», а другой — «Присоединяюся». Все они кажутся выше обычного, потому что тени их достигают самых бревен наката.

Т р а в и н а *(мельком, Илье и Усте)*. Закусили бы пока в дорогу. *(Похлебкину.)* Кого же мы им третьего дадим? У Ефима нога распухла. Садитесь, товарищ. Надо еще Мамаева дождаться.

П о х л е б к и н. Может, Потапыча пока примем? *(Копаясь в походной сумке, на которую сменил свой портфель.)* Хлебанул, старый телятник. Как на дрожжах прискакал.

Д р а к и н *(неподкупно)*. Делом его проверить надоть.

Т р а в и н а *(одному из мужиков)*. Давай его пока сюда, до заседанья.

Мужик уходит. Устя, Илья и Лена едят кашу в стороне. Расстелив на столе обрывки карты, Похлебкин знаком подзывает Илью: тот подходит с ложкой. Чертя ногтем по бумаге, Похлебкин объясняет ему смысл предстоящей операции.

П о х л е б к и н. За главного пойдешь. Видать, наступленье у них готовится. Все под укрытием ночи поезда гонят. Ну, мы тоже не шапкой подпоясаны, в Европе живем. Значит, надо и встретить их *(ударив на слове)* могучим фейверком. Смотри сюда. Итак, что мы видим перед собою? Азаровскую пойму — вот что мы видим на данном участке. Это линия. И вот оно, то тихое местечко, где ты заляжешь... понятно? Перед мостом влево бродом берите, минирован. Здесь гнездо у них было, не напорись.

Д р а к и н *(сбоку)*. До сабуровской мельницы лучше низом, по ручью, идти. Там поглуше.

Илья выражает свое согласие кивком. Подойдя, Лена из-за плеча Похлебкина засматривает в карту.

Кушай, красавушка. Каша простынет.

Лена. Я хотела себя предложить... вместо Ильи. (*С вызовом глядя на Илью.*) У него нога не поджила. Не уйти ему, если что...

Илья (*Лене, твердо и непонятно для других*). Я своего, что мне причитается, и самой смерти не отдам.

Похлебкин (*чрез плечо, без резкости*). В другой раз женишка пожалеешь, как вдвоем останетесь.

Лена возвращается к Усте. Придержав брезент, мужик пропускает Потапыча. С берестяной котомочкой, держа руки по швам, тот смиренно, без прежней удали останавливается у лестницы. Похлебкин бережно складывает карту.

Ну, знаменитый скотовод... как телка твоя родимая поживает?

Потапыч бормочет что-то.

Не слыши-им!

Потапыч (*приблизясь на шажок и не сразу*). Съели, окаянные. (*Разведя руками.*) Как увидели, загуготали враз — грос калюб, грос калюб... большая телка по-ихнему. Тут же голову, обыкновенно, отрубили, ливер в ведерко выпустили... Конешно, вору тоже питание нужно: точна-а!

Дракин. Косточку-то дали на память пососать?

Все дружно посмеялись над Потапычем.

Потапыч. Глухое сердце имеешь в себе, Степан Петрович. (*Стукнув себя в грудь.*) Во где горько-то! Заветная была...

Похлебкин (*сухо*). У тебя заветного-то отродясь не бывало. Ближе подойди. Что в Кутасове, сказывай.

Все сидят, кроме Потапыча.

Потапыч. Можна-а. Ну, в селе, обыкновенно, стоит рота связи. Начальник у их вроде Хирнер. Особого зверства, сказать, не проявляет. А только, как взошел к Мамаеву, наперво повелел кота сказнить. Штыком. Больно черен, говорит...

Лена, видимо, хотела спросить что-то о матери.

Травина (*предупредительно*). Потом расспросишь, девушка. (*Потапычу.*) Ты главное говори. Нам некогда.

Потапыч в затруднении.

Д р а к и н. Вот, говорят, старостой у них Бирюк состоит. Правильно?

И л ь я *(с места)*. Враки, поди. Он еще эва когда с немцами воевал!

П о х л е б к и н. Не мешай, Илья Степанович. Тут родни нет, тут воины. *(Потапычу.)* Обрисуй нам кратенько, какая его деятельность.

П о т а п ы ч. Это можна-а. Деятельность его, обыкновенно, такая. Ходит, посматривает, усмехается. Окроме того, шапкой страх наводит. Вчерась объявил картошку копать.

Т р а в и н а. Так, дело ясное. Вопросов больше нет?

Молчание. Дракин всем своим существом негодует.

Вот пришел ты к нам. Что делать-то здесь собираешься?.. Спать, что ли?

П о т а п ы ч. Зачем спать! Обыкновенно, что повелят, то и буду. К примеру, могу на часах стоять. У меня слух чу-уткой: скажи, вошка ползет, а я слышу, как она лапочки переставляет... тук-тук-тук. У меня, заметьте, вострый слух. Эх, ты меня только приласкай, хозяйка, я, как собачка, за тобой побегу...

И опять, посмеявшись, все подобрели к нему.

Т р а в и н а. Ладно, учтем. *(Со значением взглянув на Похлебкина.)* А на диверсии будешь ходить?

П о т а п ы ч. Чего, чего? *(И хотя не понял, своеобычно тряхнул головой.)* Можна-а. Что скажешь, то и можна.

Д р а к и н. У нас связь нечем проводить, а он лапти проводом примотал. *(Наклоняясь рассмотреть.)* Да еще гляди, серый, немецкий провод-то... Что ж, покормил тебя Хирнер-то твой?

П о т а п ы ч *(безгневно)*. Ничево, я на дорожку жареной водицы похлебал. Половину отхлебал, половину про запас в речку вылил!

И еще посмеялись они на его балагурство, и сразу точно ветром смыло их смех.

П о х л е б к и н *(придвинув хлеб на столе)*. Вот тебе паек, пожуешь в дороге. Котомочку оставишь нам на сбереженье. И пойдешь сейчас вместе с ними. *(Он указал на*

Устю и Илью, уже покончивших с ужином.) Дорогой объяснят. Как вернешься — получишь койку и паралелбаум, какой тебе по чину полагается. Все. *(Поднявшись и взглянув на дракинские часы.)* Отправляйтесь, товарищи. Поезд проходит в одиннадцать сорок, а вам ходу одного — два часа.

Илья. Выноси пока мешок, Потапыч. Да не стукни.

Потапыч. Можна-а!

Повеселев, нарочито кряхтя и охая, он тащит мешок к выходу и вдруг делает вид, что роняет его наземь. И, хотя опасности нет, раздается общий вздох испуга. Мешок, однако, повисает у Потапыча в руках.

Ничего, не пужайтеся, орлы. Уповайте на воробышка!

И, окинув всех озорным оком, легко вскинув мешок за плечо, он покидает землянку.

Травина *(Илье)*. Присматривай... что-то не нравится мне этот воробышек. Дрезинка пойдет — дрезинку пропустите сперва.

Илья кивает, затягивая поясной ремень с оружием.

Похлебкин. На худой конец под ключицу финкой бей, тише будет. Перец взял от собак?

Илья. В порядке. В полночь слушайте наш салют... проверку времени! *(Мужественно и сильно.)* Ну, сыграем в большую орлянку, Лена!

Она одобрительно кивает ему. Уходя, Устя кланяется остающимся. Невысказанная значительность сквозит в ее поклоне. Никто не отвечает ей, потому что заседание фактически уже началось. Дракин раскрывает клеенчатую тетрадочку — дневничок или книгу приказов.

Травина. Ложись спать, девушка. Начинай, Похлебкин.

Похлебкин *(когда Лена накрылась одеялом)*. Ну, товарищи полководцы, повесточка у нас небольшая, но довольно аккуратная. Расширяется наша картина, уже в полсотне ходим, товарищи! Поскольку народ понял, что врага в слезах не утопишь, а бога детской кровью не удивишь, прибывают к нам свободолюбивые граждане. Даже пришлось послать Мамаева на известный вам склад для

пополнения оружия... Словом, начинают немцы маненько от нас подрагивать. Вместе с тем за неделю, как мы здесь, убыло из наличного состава шестеро. Двоих Мамаев секретно, под видом дров, отвез в больницу. Доктор Иван Петрович уложил их на коечки, будто попали в молотильный привод, и велел еще привозить, когда нужно. *(Вскользь.)* Пристяжка у тебя хромает, Дракин. Посмотри.

Д р а к и н. Зайду утресь.

П о х л е б к и н. Остальных, в количестве — четыре, я совсем снял с довольствия. Предлагаю отметить ихнюю память стоянием.

Они стоят некоторое время. Дракин листает в это время странички. Взволнованный чем-то, в землянку спускается М а м а е в.

Садись, Мамаев. Сейчас дойдем и до тебя.

Все сели.

Теперь засуча рукава, товарищи, выметем маненько грязцу. Армия ушла, мы одни тут осталися, островочек в синем морюшке. Это накладает на нас особую строгость. Как насчет Бирюка решим?

Д р а к и н (*жарко*). Руку ему за это, руку мало рубить!

Мужики присоединяются. Мамаев тем временем шепчет что-то на ухо Похлебкину, который сразу меняется в лице.

Что в приказах писать?

Т р а в и н а. Пиши проще. Постановили казнить предателя.

П о х л е б к и н *(бледный, вставая)*. И одну строчечку пустую оставь. Кого-то из нас вписать туда придется. *(Обводя всех глазами.)* Нечисто между нас, товарищи.

Насторожась, все вопросительно посматривают на Мамаева, сидящего с опущенной головой.

Мамаев сейчас доложил... Ходил на склад с ребятами, и печальная перед ими раскинулась картина. Склада на месте не оказалось. А, окроме винтовок да шнура, там спирту одного находилось, извиняюсь (*с сожалением прищелкнув языком),* четыре бидона по десять кило да толу

пудов сорок... Накат раскидан, ямина пуста. И на донышке кучка нам на сердечную память оставлена. (*Постучав рукоятью ножа в стол.*) С чем и поздравляю, товарищи! (*Садясь.*) Одолжи табачку, Дракин.

Мамаев. Это еще не все: связь у нас порезана, гражданы. И самый проводок увели. Теперь кричи и плачь, никто не услышит. И провод-то серый, немецкий провод-то.

Молчание.

Похлебкин (*со злостью, скручивая папироску*). Духовитый табачок куришь, Степан Петрович. Немецкий, что ли?

Дракин. Потапыч даве преподнес. В лесу нашел пачечку.

Похлебкин (*недобро усмехаясь*). Хотел бы я того солдата посмотреть, что на фронте хоть табачинку потерял.

Мамаев. Стыдись, Василь Васильевич. (*Про Дракина.*) Этот человек все именье на божье дело отдал.

Похлебкин. Знавал я одного божьего человечка: помолился да и зарезал троих. У вашего брата всяко дело свято. Вопрос — отколе смотреть!

Травина (*с выговором*). Тебе что-нибудь известно, Похлебкин, про товарищей, которых ты порочишь?

Похлебкин (*наотмашь*). Да мы и тебя, Полина Акимовна, толком не знаем. Откуда ты к нам хозяйкой в темную ночь свалилася? Документы и с мертвого можно снять.

Мамаев (*гневно*). А коли не знаешь, так чего на людей, как пес, кидаешься?

Похлебкин. Кто... я пес? (*Вскочив и рванув рубаху у ворота, запальчиво.*) Пес я, да. Я власти моей пес верный! Я дом большой стерегу, где народ мой живет. Я днем и ночью по цепи моей хожу бессонно... урчу, чтоб махоньки детки там (*широкий жест куда-то за стены, в просторы страны*) безгрозно спать могли. Я грызть, я жевать того стану, кто на них злодейскую руку подымет. Я...

Он задохнулся, зубной стон его наполняет тишину. Разбуженная, Лена поднялась на локте.

Лена. Что это... тревога?

Т р а в и н а *(спокойно)*. Спи, спи, девушка. Это лес шумит. Спи.

Зевнув, Лена снова накрывается одеялом.

Сядь, Похлебкин. Сядь, сказала. Велю.

Похлебкин повинуется.

Он прав, товарищи. Страшно сказать: об этом складу знали только мы. Один завелся, и вот с ножом друг на друга кидаемся.

М а м а е в. Это как сверчок в фатере заведется: расстроишься искамши. *(Заметив котомочку Потапыча.)* Никак, Потапыч приходил?

Т р а в и н а. Стойте... *(Хватаясь за спасительную догадку.)* Как же это серый проводок на ноги-то Потапычу попал?

Все переглянулись, пронзенные одной и тою же разгадкой. Выскочив из-за стола, Дракин молча вываливает из котомки имущество Потапыча. Там пара новых лаптей, рубаха стираная, клубок лыка, кочеток и жестяная кружечка из консервной коробки. «Не большой залог оставил, собачья радость...» — бормочет Дракин. И, уже не садясь за стол, он с повинной обводит всех глазами.

Д р а к и н. Так и есть! *(Склонив голову.)* Не ссорьтеся, люди. Насчет склада это я, Дракин, виноват. К чему ни присудите, за все поклонюсь.

Все окаменели от внезапности его признания.

Это я Потапычу намедни насчет оружия расхвастался. Задорил он меня, распалил. С лучинкой, дескать, на всемирную державу выступаете... *(Колотя себя по башке.)* Стар стал, ума не стало!

П о х л е б к и н *(в бешенстве)*. Уйди лучше... Стрелять в тебя стану. Уйди, враг!

М а м а е в *(пока Травина усаживает Похлебкина)*. Где же у тебя разум-то был, Степан Петрович? Кому доверился!

Д р а к и н. У человека душа дремучая. Всю-то в кулачок сожмешь, а в ей заблудишься. *(Открыто, подняв голову.)* Вместе нас с Потапычем судите...

Т р а в и н а. Вот куда проводок-то нас привел. Ну, хватит нам на сегодня Потапыча. Завтра, как вернется, виду не показывайте: проследить.

П о х л е б к и н. А пока — охраненье двойное выставить. И никому в эту ночь не спать. Сам буду ходить... *(Поднявшись.)* Все! Отправляйтесь по делам, товарищи полководцы.

Подавленные происшедшим, мужики расходятся, — все, кроме Дракина, который, кривясь от внутренней боли, задержался на лестнице.

Д р а к и н. Побрани хоть ты меня, Акимовна. Языка, языка мне за это резать мелким ломтичком!

Откинувшись к стенке, Травина смотрит на разгоревшееся пламя светца.

Да есть хоть что-нибудь, окроме партбилета, в каменной груде́ твоей, хозяйка?

Она молчит, точно заснула с открытыми глазами, и Дракин на цыпочках удаляется. Ничто не двинулось в лице Травиной. Но вот вздрагивают губы и слеза катится по щеке. Лена с удивлением смотрит на командира, потом, испуганная и тронутая, босыми ногами приближается к ней.

Л е н а. Полина Акимовна, Полина Акимовна...

Т р а в и н а *(глядя в огонь)*. Чего тебе не спится, девушка? Ночь на дворе, спи.

Л е н а. Вас Похлебкин обидел, да? Он злой теперь. Вся Россия на плечи ему легла. И ночью-то — привалится к дереву и спит. Стоя.

Т р а в и н а. Он прав, девушка. Уж и адреса такого нет на свете, где я жила. Разве пепел спросишь: откуда ты летишь, пепел? Это я играю каменную, девушка. На певицу когда-то училась, потом заболела, испортилось мое сопрано... Ворон кружит над всем, что я любила. И все у меня там осталося.

Л е н а *(ласкаясь к ней)*. И карапузик маленький... да?

Т р а в и н а. Уж большой был... Все забыть его хочу. Все хочу уверить себя, девушка... может, плохой бы вырос. Может, прогнал бы меня взашей, как состарюсь... *(Шепотом.)* Не могу. Добрый был.

Л е н а. Они его убили?

Т р а в и н а *(не ответив на вопрос)*. Ты счастливая. Когда твои родятся, светло будет на земле. За большой

кровью всегда большое счастье идет. Береги его, девушка. Дерись за него!

Мелкая, как по воде, дрожь пробегает по брезентовому занавесу.

Л е н а. Войдите.

Т р а в и н а. Это ветер, девушка.

Л е н а. Нет... *(Нетерпеливо, в сторону лестницы.)* Войдите же, кто там?

Она легко взбегает по ступенькам и с силой отдергивает тяжелую намокшую ткань... Никого, и тишина. Могучая лапа старой ели простерлась над входной траншейкой, да еще молодой, точно росой омытый, с востренькими рожками, висит месяц. Потом возникают голоса, треск бурелома. Лес оживает.

Несут кого-то... *(Сама отвечая на свою тревогу.)* Неужели Илья? Выйти не успел, напоролся...

Крылом подстреленной птицы стелется понизу пламя светца. И опять где-то глухо фальшивит гармоника. Потом, весь в копоти, точно вырвался из ада, с прожженным у локтя рукавом комбинезона, без шлема, появляется с е р ж а н т Темникова. Держась за косяк, он мутным, неузнающим взором глядит на Лену.

Говорите же!

С е р ж а н т. А, гражданочка!.. *(Сплюнув черную слюну и тыльной частью ладони устало проводя по обгорелым усам.)* Вот, опять к тебе... за живой водою припожаловали. Принимай гостей...

Слизывая копоть с губ, он оседает на чурбак. Не сводя глаз с проема двери, Лена растерянно ждет. Его ладони сжимаются в кулаки, когда в просвете входа показывается множество ног. Сержант знаком подзывает Травину.

Повесь что-нибудь... загородиться. Нельзя ей глядеть на него теперь.

Травина успевает сдернуть полотнище с лозунгом со стены и накинуть на протянутую поперек землянки веревку. Тотчас показываются со своею ношей м у ж и к и; шествие замыкает П о х л е б к и н. Они спускаются медленно, чтоб не колыхнуть тяжело провисшее на большой мешковине тело человека, и проносят за самодельную занавеску, на скамью. Сержант уходит к ним.

Не кладите, ему только сидеть можно. Привалите к стеночке... так, ладно.

Травина *(Лене)*. Кто это... Кого это принесли?

Похлебкин. Танкист один знаменитый. Им вся округа гремит. *(Качнув головой.)* Эка власть над собой: стону не подаст!

Сержант вслед за мужиками выходит из-за занавески.

Сержант *(не поднимая голоса, вполоборота ко всем)*. Кто здесь главный? *(Похлебкину.)* Судя по усам — ты?

Похлебкин кивает на Травину.

Так вот, тут Дмитрий Темников сидит. Это лев русский, понятно? Срочно нужен хороший врач. Даю минуту, думай. *(Он посмотрел на часы под рукавом и махнул рукой.)* Э-э, и тут сгорело!

Похлебкин. Нести его больше нельзя. Не выдержит.

Травина. Постой, я сейчас... дай сообразить. *(Она заметила Доньку среди мужиков, который, размазывая слезы по лицу, смотрит с лестницы за занавеску.)* Иди сюда, Доня. Вот ты все подвига искал... Бегом отправишься в Кутасово, к доктору Ивану Петровичу. Тропками проведешь сюда. Скажешь: я сама прошу!

Сержант *(задержав внимание на мальчике)*. Что ревешь, бесстыдник?.. Ай знавал Темникова?

Донька *(всхлипывая)*. Как, бывал, едет мимо, все уговаривал: полно тебе курей гонять, Данил Захарыч. Пойдем, Данил Захарыч, врага громить...

Сержант. Так слушай же меня, Данил Захарыч. Теперь детей нет, все взрослые. Помни: славу русскую в руках несешь. Ранят — ползи. Землю кусай и ползи. Пошел!

И легонько толканул в плечико. Набрав воздуху в грудь, мальчишечка метнулся и исчез.

Первый мужик *(вслед.)* От луны кройся... подшибут.

Второй мужик. В ево и стрелять-то, изволите ли видеть, некуда: одни глаза да ноги!

Травина *(Мамаеву)*. Дракина сюда и лампу мою большую. И посторонние уйдите все. Пока — спать ребята будут там.

Мужики удаляются вслед за Мамаевым. Лена идет на середину.

Лена (*надтреснуто*). Он ранен... да?

Сержант (*неохотно и глядя в сторону*). Горели мы с ним, гражданочка. Они нас болванкой на развороте жахнули... Эх, хороша была машина, три четверточки!

Лена нетерпеливо ждет продолжения.

И ведь до чего ж дерзкий характер у человека. Я уж люк открыл, чтоб ходом пламя сбить. Огонь рычит, в ноги ему хлещет, а он... (*Утратив спокойствие.*) Слабый я человек, в голос ему кричу: «Бастуй, Митя, смерть!..» Уперся. Все: «Гони, — скрипит, — гони!», пока проводка не сгорела. (*Сквозь боль свою.*) Что ж, сыт ты теперь, Дмитрий Васильич?

Лена. Еще!..

Травина, Похлебкин и вернувшийся с лампой Мамаев с удивлением прислушиваются к ее необычной, чуть повелительной интонации.

Еще говорите про него.

Сержант. Три гнезда змеиных подавили, больше не осталося. Вытащил я его через люк из пламени — дымится весь, а в рост, в рост идет... «Сам, пусти, я сам!» До опушки шел, пока не рухнул.

Похлебкин. Я как раз дозоры проверял, видел... костер среди ночи мечется.

Мамаев зажигает лампу. Слабое шевеленье слышно за занавеской, и непонятно скрипит дерево. Похлебкин, глядевший на занавеску, отвернулся. Лена шагнула вперед.

Травина. Что тебе надо, куда?

Лена. Пустите меня к нему.

Травина обняла ее плечи.

Я плакать не стану. Пустите меня.

Травина. Не нужно это, девушка. Дождемся доктора, он скажет.

Она ведет Лену к скамье. В землянку входит Дракин.

Вот, кстати... Слушай, Степан. Тут большой человек... горит. Можешь хоть временно облегчить ему *это?*

Дракин молчит.

С е р ж а н т *(недоверчиво)*. Доктор, что ли?

П о х л е б к и н. Доктор, да не тот. Конский доктор-то. *(Просительно Дракину.)* Степан Петрович, этот человек всех нас вместе стоит.

Д р а к и н *(зло и тяжко)*. Выдай мне сперва казенную бумагу... людей лечить.

М а м а е в. Не серчай на обиды, Дракин. Люди мы.

П о х л е б к и н. Может, на коленки стать, знахарь?

С е р ж а н т *(тряхнув за плечо)*. Да ты русский аль не русский! Камень кричит... не слышишь?

Д р а к и н. Посмотреть надоть. *(Насмешливо.)* Комиссию давай... Ну-ка, посвети, власть.

Похлебкин вслед за ним уносит лампу за занавеску. Сержант идет туда же. Лена бессильно опускается к ногам отца, присевшего на чурбак.

М а м а е в *(касаясь ее волос)*. Эх ты, любимица, так разом весь секрет свой и раскрыла.

Лена прислушивается к происходящему за занавеской.

С е р ж а н т. Дмитрий Васильич!.. Дмитрий Васильич, это я, Ваня твой, близ тебя. Тело твое нам нужно посмотреть.

Молчание. По кумачовому полотнищу сквозит свет и двигаются силуэты.

Ты отбивайся от боли-то, Дмитрий Васильич. Сейчас доктор придет, примочку наложит, порошки даст. Теперь доктора хорошие, не в старину живем... *(Окриком.)* Тише, чорт, не дерево ворочаешь!

Молчание.

Л е н а. Тишина какая...

Т р а в и н а. Когда на войне тишина, это крадется кто-нибудь.

М а м а е в. Небось, Донька к больнице подпалзывает.

Л е н а *(с болью)*. Не подстрелят его, папаня?

М а м а е в. Бог милостив, достигнет. Мостик он уж давно миновал. Ишь ты, верхом на ветерке скачет. Вот к доктору перстиком стучится. Тук-тук-тук. Докторица поднялася, волосья со сна ровно тина висят... к окошку присунулась. *(Подражая женскому голосу.)* «Чего коло-

тишься, человек аль ветер?» — «Это я, Серафима Платоновна, Донька!..» Ну, тотчас его пускают. И тут зачинают они доктора тормошить...

Лена. Скорей, папаня. Это жизнь моя!

Мамаев *(рассудительно)*. Безо времени ничего не быват. Доктор не наш брат: топорище за пояс, и пошел. Ему пузыречки надо захватить, опять же часового обмикитить.

В полном составе из-за занавески появляется «врачебная комиссия». Все смотрят на конского доктора. Дракин проводит руками по лицу, как бы в потребности стереть с лица ощущение чужой му́ки.

Похлебкин. Пошарь, пошарь в черном своем мешке, Степан Петрович. Тряхни недозволенной наукой.

Дракин. Тут моя наука бессильная.

Мамаев. Может, водку нагреть да влить в него, чтоб оглушило... а?

Дракин *(с ученым видом)*. Водка-то, чай, она тоже горючая.

Травина. А если раздеть его?

Дракин. С кожей вместе, хозяйка? *(Угрюмо и торжественно.)* Перьво-наперьво облачите его в холод. Воды на него болотной, да котора со льдинкою...

Захватив ведро, Травина торопливо уходит. Блестящими глазами Лена смотрит в закопченные бревна наката.

(Понижая голос.) Окроме прочего, не давайте ему о смерти думать. Сказывайте ему... про сад цветущий, про вино, про невесту, про всякое несбытошное мечтание. Зудите его, чтоб жадней стал. Партейный он у вас?

Мамаев. А то как же!

Дракин. Ну, раз партейный, значит выживет. *(Надевает шапку.)* Так-то. Ну, занимайтеся с богом, а я ужинать пошел.

И уходит, провожаемый безмолвием. Памятуя наставления конского доктора, сержант тотчас переводит взгляд на Лену.

Сержант *(осторожно)*. О тебе глазами спрашивал, гражданочка: жива ли, мила ли... И чего, говорит, голоска ее звонкого не слыхать.

Лена решительно поднимается с полу.

Лена. Покажите мне его.

Из состраданья к ней сержант становится ей на дороге.

Хочу. Откройте его.

Уже не в силах противиться ее воле, сержант протягивает руку к занавеске.

Сержант. То ли ветер в него бил, то ли ты мысленно в лицо ему глядела... лицо-то целое у него.

Лена делает жест нетерпенья. Тогда рывком вниз сержант сдергивает занавеску... Легко узнать его и теперь, знаменитого лейтенанта, сидящего на подложенном сеннике. Он похож на изваяние из дерева, побывавшее в пожаре, и кажется больше обычного человеческого роста. Он осунулся, черное пятно на виске, глаза закрыты, руки сложены на коленях ладонями вниз. Горелые клочья комбинезона свисают с его широко расставленных ног.

Полевей стань, чтобы прямо на глаза ему попасть. Ему ворочаться-то нельзя.

Лена. Скажите ему... пусть он меня увидит.

Сержант *(склонясь к уху лейтенанта)*. Дмитрий Васильич!.. Взгляни, Дмитрий Васильич, кто стоит перед тобой.

Глаза Темникова раскрываются не сразу. И проходит некоторое время, прежде чем он различает Лену. С расстояния в четыре шага и точно через непереходимую реку они смотрят друг на друга. Потом ясная и безбольная улыбка осеняет лицо лейтенанта. Она проходит, подобно солнечному лучу, и исчезает в неподвижных губах, успев отразиться в лице Лены. Веки снова опускаются.

Легше ему стало... *(Благодарно и горячо.)* Хороша, сытна ему глаз твоих прохлада. Стой так! Отдохнет минуточку, опять на тебя посмотрит.

Тишина. С топором и инструментальным ящиком рослый плотник вваливается в землянку.

Плотник *(размашисто, со второй ступеньки)*. Тут што ли, велено дверь-то навешивать? Илья Степанович уходимши наказывал.

Все шикают на него, машут руками, чтоб уходил.

Мамаев *(шопотом)*. Потом, часа через два, придешь.

Лена *(медленно, не отводя глаз от Темникова).* Оставьте нас одних. Все уйдите.

Они подчиняются. Сержант произносит перед уходом: «Соскоблю копоть с себя... я тебя сменю потом». С молчаливого позволенья Лены Мамаев привертывает огонь в лампе. Слабое лунное сиянье вливается в землянку через верхнее окно-амбразуру... Лена переступает незримую границу, которая их, чужих, разделяла до сих пор. С сухими глазами она опускается в лунное пятно у ног Темникова. Она прикасается щекой к руке лейтенанта...

Темников *(глухо и ясно).* Кто... это?

Лена *(трепетно, подняв к нему лицо).* Это я с вами, Лена Мамаева. Слушайте меня. Я скажу вам слово, которое говорят раз в жизни... которое я берегла для вас. Всей душою слушайте меня. И вам станет легко...

Глаза Темникова раскрываются. Он смотрит в лунный свет поверх ее головы. Голос Лены спадает до шопота.

Слушайте меня...

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же землянка, и, на первый взгляд, ничто не изменилось, только дверь уже навешена, и минула первая ночь Лениной любви. Красноватым нагоревшим фитилем светит иссякающая коптилка, и синеватая белизна рассвета сочится сверху... Ночью выпал первый снег. В том же положении, с руками на коленях и закрыв глаза, сидит Темников: кажется, что он стал еще большего роста. Усталая и похудевшая, в стареньком пуховом платке, Лена несет у его ног свою скорбную вахту. Порою голос ее слабеет, и рвется непрочная нитка ее повествованья; тогда с бездумной пристальностью она следит за какой-то плывущей перед ней пылинкой, пока снова не вспомнит о своей обязанности. Горячая волна опять пробегает по ее телу, и время отступает перед волевым усилием Лены...

Лена *(борясь со сном)*. Это будет, правда!.. и когда все кончится, вы сойдете по нарядной лестнице, будто ничего и не было. И все красавицы будут глядеть на вас, но я не жадная, пускай!.. Вы поедете ко мне, прямо в школу, в Кутасово. *(Доверчиво.)* Моя наука — география. Еще девочкой любила забираться иногда по карте в такие дебри, куда никто не забредал. Брожу по гора-ам, пою разные песни... Я смешная, правда? *(Она замолкла, покачнулась с закрытыми глазами и опять...)* Нет, я не сплю. О чем я только? Да-а... Ты приедешь ко мне прямо на урок. Я увижу тебя в дверях. «Ребята, — скажу, — это Темников, командир всех наших танков». О, что будет!.. И я шепну тебе: «Не сердись, посиди на крылечке. Нам еще нужно в Бразилию заехать на минутку!» Ты сядешь

на ступеньках, там у нас вишенник кругом. Конечно, это будет ма-ай!..

И вот дремота одолела ее. Платок соскользнул с плеча. Глаза Темникова раскрываются: два немигающих блеска, отраженье потухающего огня, стоят в его зрачках. Его рука движется, преодолевая расстояние в несколько нескончаемых сантиметров. Пальцы потягивают на плечо девушки сбившийся платок... Голоса снаружи, — глаза лейтенанта закрылись. Травина и Мамаев спускаются в землянку.

Травина. Спят, обрученные. *(Она накидывает занавеску так, что остается видна только Лена.)* Сменить ее надо, Мамаев!

Мамаев. Три раза ночью заходил. Прогнала.

Он смотрит на дочь, приникшую щекой к черному и рваному колену лейтенанта, и, видимо, переполнилось его сердце.

Вот, дочку лелеял: пробивайся, цветик, к солнышку: взошло. А уж и стучится черной рученькой в окошко судьбица-то: выводи дочку, старик!.. И ведь все равно одолим, так почто же мука-то такая?

Травина. Об этом бога своего спроси, Мамаев.

Она наклонилась накрыть одеялом Ленины ноги. Очнувшись, та с надеждой уставилась на дверь.

Лена. Что... доктор пришел?

Травина. Теперь уж ско-оро. Сама жду.

Расправив занавеску во всю ширину лавки, Мамаев остается с Темниковым. И вдруг, прочтя скрытую тревогу в лице Травиной, Лена начинает торопливо одеваться. Травина молча наблюдает за этой бесполезной вспышкой.

Куда?

Лена. Я сама пойду. Я его в Москву, на санках, повезу... Пустите!

Травина *(по-хозяйски, удержав ее руку)*. Я тебе не давала приказания идти. Под Москвой сражение идет, девушка. *(Ласковее.)* Приляг, засни на часок. Хочется ведь?

Лена *(идя с нею к лавке, по-детски)*. Хо-очется...

Смирясь и поджав озябшие ноги, она положила голову на колени Травиной, но сон не приходит и не закрываются глаза.

Куда механик его ушел?

Травина. Танк пошел проведать. Там у них еще башенный стрелок остался.

Лена задвигалась в тоске.

Ленушка, ему больней твоего. Эх ты, Шахразада моя! Ночку провела, а уж обвяла, как цветок. А их еще тысяча впереди.

Лена *(монотонно)*. Да... Илья вернулся?

Травина. Нет еще. Спи.

Смирившись, Лена вслушивается в голос отца за занавеской.

Мамаев. Так-то!.. А как приедешь ко мне зятем, в сад я тебя, на пчельник поведу. Медов наломаем, брагу сварим... э-эх, Дмитрий Васильич! И вспомним, как сидели мы с тобою во глубине мерзлой земли, один на один... и посмеемся над болью нашей. А после пиру сам тебе дочку мою приведу. «Вот она, — скажу, — вся... как молочко в кувшине серебряном. Пей, зятек, исполни закон жизни!..»

Лена спит. Травина поглаживает ее плечо. Скрипит дверь, заглянул Похлебкин. Он не входит и тотчас опускает голову.

Травина *(тихо, чтоб не разбудить Лену)*. Я выйду. Подожди меня... там.

И тотчас, опередив ее, Лена распахивает дверь. Рядом с Похлебкиным, держась за полу его мехового пиджака, стоит Донька. Доктора позади них нет. И, хотя все ясно теперь, происходит этот, уже ненужный разговор.

Чего тебе, Василь Васильич?

Похлебкин. Да вот, Донька вернулся. Мокрый весь.

Травина. Это хорошо, что вернулся... Входи, мальчик.

Они входят. Донька виновато косится на занавеску. Его заметно знобит.

Садись у печурки, грейся. *(Она сама устраивает его у печки.)* Был в Кутасове?.. Что там?

Донька молчит.

Похлебкин. Речь в нем замкнулась с напугу. Сначала бойко так разговаривал... *(И точно махнув рукой и на присутствие Лены и на все на свете.)* Словом, не состоялось, Акимовна. Хирнер этот, которого Потапыч за тихий нрав похвалял... больницу навестил с автоматчиками. *(Пожевав усы.)* Так что нет их там больше, наших-то. И доктора нету. Увели нашего Ивана Петровича... в одной рубахе ночью увели. В Германию, землю копать, в рабы увели.

Покусывая ноготок, Лена безотрывно смотрит на маленького вестника больших несчастий.

Чужие в лазарете лежат, чужой доктор промеж чужих ходит.

Травина. Знал, верно, Потапыч-то... а смолчал. *(И что-то захрустело в ее голосе, как сминаемая бумага.)* Шагу не ступишь без Потапыча. Как вернутся, надо допросить его построже.

Мальчик смотрит на нее, шевеля белесыми губами.

(Склонилась к нему.) Ты что-то сказать нам хочешь, сынок?

Донька. Они не вернутся, тетенька.

Безмолвие крайнего удивления.

Они висят...

Общее движение и — тишина. И вдруг, что-то сообразив, привстав на колено, Похлебкин задает Доньке самый главный для этой минуты вопрос.

Похлебкин. Доня!.. Ты не торопись, не бойся нас. *(Необычно ласково для него.)* Сколько, сколько их там, Доня, висят-то... ты считал?

Донька *(плачевно)*. Двое висят. На ветерке качаются... *(И слабо обозначил это движение рукой.)* Их еще издаля, от больницы, видать.

Травина *(глядя на Похлебкина)*. Ночью, значит. При факелах, что ли?

Мамаев *(выходя от Темникова)*. Так ведь наших-то трое было.

Т р а в и н а. Эх, борода! *(Бессильно.)* Третий-то Потапыч был. Они нарочно третьего подослали... *(Похлебкину, гневно.)* Живьем достать. И сразу, как приведут, судить. Общее собрание назначить в большой... если успеют печь сложить. Заготовишь речь минут на пяток, не затягивай...

П о х л е б к и н *(насмешливо)*. Не увлекайся, хозяйка. Рыбку еще поймать надо... *(Мамаеву.)* Сходи, Дракина надо поддержать. Илья-то один у него был.

Мамаев уходит. Напряжение спадает. И вдруг розовый луч из окна могуче врывается сюда, по диагонали расчеркнув землянку. Взошло солнце. В эту минуту возвращается с е р ж а н т. Донька жмется и прячется от его взгляда за печку.

Ну... навестил свой танк?

С е р ж а н т *(раздеваясь)*. Стоит.

П о х л е б к и н. Сидит твой башенный стрелок?

С е р ж а н т. Сидит. Черными глазами из люка смотрит. *(Чуть повысив голос.)* Россию караулит... Доктор не пришел?

П о х л е б к и н *(по-мужски твердо́)*. И не придет.

Только теперь сержант заметил Доньку. Потирая руки, точно вдруг озяб очень, он скрывается за занавеской.

Да... великодушны мы. *(Зло и горько.)* Великое имеем сердце. Пройдет сто лет, и все забудем. И некому напомнить будет им!

Он шагает из угла в угол, лицо его дергается. Травина подкладывает поленца в печку, чтобы скрыть волненье.

А более всех Ильи мне жаль. Парень со всячинкой, но гордый... и наш. Устя с малых лет души в нем не чаяла. Вот и повенчались, значит, пеньковым венчиком...

Т р а в и н а. Ты ступай, мальчик, на кухню. Покушай, посушись. *(Лене.)* Отведи его, девушка!

Донька и Лена, взявшись за руки, послушно покидают землянку. И пока открыта дверь, видно еще издалека, как М а м а е в ведет под руку согбенного и постаревшего Д р а к и н а. Старики спускаются. Похлебкин заблаговременно устанавливает чурбак посреди землянки. Дракина сажают: он в чужом, криво надетом треухе и пестрых варежках.

Вот, Степан Петрович. В гору пошел Потапыч-то! Выше всех хочет забраться. И мы хороши...

П о х л е б к и н *(вторя ей)*. Да, доверили цыгану коня постеречь.

Стащив варежку с руки, Дракин вытирает ею нос и опять бессмысленно смотрит в солнечное пятно на полу.

М а м а е в. Крепись, Петрович, не надламывайся. Копи в себе: за каждую травиночку спросим. А на подвиг сына твоего весь мир сейчас дивуется!

Из-за спины Дракина он жестом подсказывает Похлебкину, чтобы дали подкрепиться старику. Похлебкин достает из шкафчика на стене бутылку, наливает — скупо, как лекарство, — в кружку и, отложив на стол варежки Дракина, протягивает ему водку. Не сразу постигнув, чего от него хотят, тот пьет в одно дыханье, морщится, и потом все смотрят, как пробуждается биенье жизни в этом оглушенном человеке.

Ну, как, легше стало?

Д р а к и н. Крепка-а...

М а м а е в. Крепка, да хороша. Ишь, и выпил-то пустяковинку, а фигулирует. Может, еще?

Д р а к и н *(вытирая усы)*. Хватит. Понемножку лучше. Чего зря-то лить!

П о х л е б к и н. И смех, и слезы! *(Отставив на стол бутылку и кружку.)* Ну, на данном этапе хватит и нам лить этот бесполезный матерьял. Слушай нас, Степан Дракин. Твое горе сейчас впятеро злей нашего... Значит, не один ты, а как бы пятеро тебя. Через час пойдешь в Кутасово... Навести старушку свою, утешь. *(Помедлив.)* Кстати, исполнишь приговор над старостой. Они сына твоего умертвили, как пса... помни!

Стук в дверь.

Войди!.. *(Дракину.)* Да не сбрехни кому по дороге, как тогда Потапычу. Беречься надо.

Повторный стук.

(Сердится.) Войди же, дьявол...

И сразу же, как от дьявола, пятится на шаг... Без шапки, один, живой, невредимый, без кровинки в лице, там стоит И л ь я. Сзади, стеснясь кольцом, хмуро смотрят на него люди отряда. Стараясь держаться независимо и твердо, Илья спускается. Махнув рукой мужикам, чтоб расходились, Травина сама, спиною, прикрывает дверь.

Илья. Вот... пришел. *(И что-то дрогнуло в его голосе.)* Устю-то, Потапыча-то... а?

Дикими, опустошенными глазами он обводит лица стоящих перед ним: знают ли? Да, знают.

И шапку потерял...

Растопырив пальцы, он смотрит на свои сильные и пустые руки, из которых выпало счастье. С отвисшей губой, подавшись вперед, Дракин уставился на сына; он больше всех потрясен его внезапным возвращеньем. Илья поворачивается повесить на гвоздь свою овчину. Тем временем Мамаев произносит, широко крестясь: «Прости, Потапыч, что помыслом погрешили мы на тебя». Вешалка рвется, и тогда с глухим воплем боли Илья взмахивает рукой, словно отбивается от кого-то незримо стоящего рядом.

Илья. Э-эх!..

Похлебкин *(негромко и почти спокойно)*. Ты потише, Илья. Мы сами нервные.

Травина. Больные у нас тут.

Шаркая сапогами, Илья движется к занавеске, которую только теперь приметил, и все видят, как отяжелели за ночь его ноги.

Илья *(видимо, узнав Темникова)*. А-а, заболел, что ли?

И, не нуждаясь в ответе, он тянется к бутылке и наливает себе много. Струя сперва не попадает в кружку. Подойдя, без единого слова, Дракин наотмашь сшибает кружку со стола. Илья следит, скосив глаза, как она, гремя, катится по полу.

Дракин *(сипло)*. Не торопись. Доложи сперва народу, где воинство твое, командир!

И слышно, как он дышит. Мамаев с силой отводит его за плечо. Весь дрожа и комкая бороду в кулаке, Дракин не сразу отступает от сына.

Пусти, тебе зять нужен, а мне... Я по нем ведро слез пролил, а он... он мне дегтем бороду вымазал! Дай мне его...

Мамаев. Полно, полно тебе, Степан Петрович. Бог слышит. Чем он тебя изобидел?.. Что в петле не висит?

И почему-то не столько увещания Мамаева, сколько пристальный, из-под приспущенных век, взгляд Похлебкина заставляет утихнуть Дракина.

П о х л е б к и н *(Илье)*. Не волнуйся. Сядь здесь. Никто тебя пока не обвиняет.

Илья садится, озираясь.

Теперь поделись впечатлением. Как такая картина получилась?

И л ь я. Спрашивайте.

Т р а в и н а. Сам скажешь.

Илья молчит, точно ему не под силу сдвинуть первое, чугунное слово своего рассказа.

Не молчи, Илья. Тебе теперь нельзя молчать. Ни минуточки.

Дракин сунулся было что-то сказать.

Не мешай, Степан Петрович.

Д р а к и н *(ударив себя в грудь)*. И прòклятый, а сын он мне, сын мой единый...

Он идет к Илье, и тот жадно ухватился за эту первую протянутую ему руку.

Ничего, сынок, тебя природа бережет. Разоришься, такими кусками кидаться!.. Потешь их, как из петли на волюшку-то маханул. Все им очерти!

И л ь я *(насторожась)*. Я в петле не был... Они в засаде, у ключа сидели. Выскочили враз, по пятеро на брата... и лозинка не хрустнула. Взорваться бы, да не успели!.. Я в обнимку покатился с одним, а как подняли меня, их уже уводили. Устю волоком во тьму волокли. Только и крикнула напоследок...

М а м а е в. Что крикнула-то?

И л ь я *(потупясь)*. «Прощай, Илюшенька...» — крикнула.

Д р а к и н. Вишь, как она тебя жалела. Вот бы тебе невестушку, не за кралями гоняться... Ничего, что рябая. Рябая крепше!

Т р а в и н а *(с досадой)*. Не мешай, Степан... сказано тебе.

И л ь я. Я тоже идти приготовился... *(Опять его треплет лихорадка воспоминания.)* А тут офицер ихний подошел, посветил мне в лицо фонарем. Посмеялись, поло-

потали... он еще в плечо меня ткнул, в снег уронил, и ушли...

Травина. Добрый, значит, офицер-то!

Похлебкин. Погоди, не там шаришь, хозяйка. *(Илье, с непонятным умыслом.)* А ты не удивился, значит, за что они тебя помиловали?

Дракин *(не давая сказать сыну)*. Экой, догнал бы да попросился с ними в петелку! Там места мно-ого!

Уже с нескрываемой неприязнью все посмотрели на Дракина.

Травина. Ты ступай пока в Кутасово, Дракин. Время теряешь...

Дракин. Эдак, эдак... переобуюсь и схожу. Долго ли до Кутасова!.. *(Протянув руку сыну.)* Обымемся на прощанье, Илюша. На бога я вышел. Брата убивать иду...

Он сосредоточенно смотрит на сына, с намерением вложить что-то свое ему в душу, и, точно испугавшись своего отражения в этих прищуренных болотных озерках, окаймленных рыжей осокой ресниц, Илья отпрянул от отца.

Мамаев *(даже и теперь не разгадав намеренья Дракина сорвать допрос Ильи)*. Ступай, Петрович. Бог простит. За деток бьемся.

Травина. Выполняй приказание, старик.

Дракин. Есть... выполнять приказание.

Он надевает шапку и уходит. Он нарочно затворяет дверь неплотно. Захватив со стола оставленные Дракиным варежки, Похлебкин в мгновенье ока оказывается у выхода.

Похлебкин *(намеренно громко)*. За что вы его так! Он последнюю рубаху миру отдал.

Мамаев *(не поняв его уловки)*. Под рубахой-то еще душа есть, Василь Васильич.

Похлебкин *(изготовясь тем временем и весело подмигнув всем)*. Рукавички забыл, Дракин. Бери!

И, рванув на себя дверь, наугад протянул варежки. Звук досады, точно душу вывихнул с размаху, вырывается у него. Дракина там нет.

Играет знахарь. Ну, поиграю и я с тобой, Степан Дракин!

Мамаев. Так, может, не пускать его в Кутасово?

Похлебкин. Ничего, здесь сын его любимый оста-

нется... Далеко не уходи, Илья: под водой сыщем. Прикинь пока, отдохни, подумай...

Он кончил как раз во-время. Снаружи ударом ноги открыли дверь. Слышны голоса: «Иди, волчина, не огрызайся». «Придерживай его за шею-то...» Заметно робея людей, Илья уходит вглубь землянки. Четверо мужиков торжественно вводят громадного человека, с головой покрытого мешком, из-под которого виден черный нагольный тулуп да рука с грязным и грузным кульком. «В могилу, что ль, ведете?» — громоздко сходя, спрашивает добыча из мешка. «Иди, дядя, иди. Ты себе полгроба уже заработал!» — отвечают конвойные. Установив добычу перед Похлебкиным, все четверо посмеиваются.

Ну и денек выпал. Видать, крупный улов. Что за зверь?

Задний мужик, безбородый и в рваном малахае, выскочив вперед и мыча, пытается жестами и мимикой объяснить обстоятельства поимки.

Травина. Это еще что за чудо природы?

Первый мужик *(видимо, любитель поговорить)*. Свояк даве из Путилина пришел, сиротка! Ценный человек, главный плясун на всю Росею. Немой только...

Травина взглянула на Похлебкина. Тот утвердительно кивнул в ответ.

Главное, ему и питания особенного не требуется... хочь в дупле проживет. *(Немому.)* Ну, чево, чево суешься, немота? Ну, объясни, объясни... не можешь?

Сдавшись, немой сокрушенно отступает.

То-то, горе!.. Пошли мы с Прокопом в Заберезник стог ломать. *(Про добычу.)* Поддели вилàми-то, а он и вылез. В крове весь, а потом встряхнулся, ничево.

Второй мужик. Медведь ранетый, видите ли что... он травой рану себе затыкает. Поплюет, заткнет дырку-то и отправляется куда ему надоть по делам!

Добыча *(из мешка)*. Запарился я тут, Василь Васильич.

Травина. А ну, покажите вашу добычу.

Сдергивают мешок. Похлебкин, привыкший к неожиданностям, только усы поглаживает. В знаменитой своей шапке с красным донышком и приставшими к ней сенинками перед ним стоит Бирюк. После долгого мрака он жмурится в прямом солнечном луче.

Обыскали его?

В т о р о й м у ж и к. Ножичек нашли, в цехауз сдали. *(Про кулек.)* А это, говорит, суприз Похлебкину, не дает.

П о х л е б к и н. Ступайте, ребятки... и молчок, кого привели. А то я плохой, когда сердитый.

Мужики уходят на цыпочках, косясь на занавеску.

Поговори с ним, Акимовна. Знобит меня будто, как посмотрю на него.

Он принимается свертывать цыгарку, но бумага неизменно рвется; он бросает ее и принимается за другую, третью...

Т р а в и н а *(Мамаеву)*. Задержи Дракина. Поход отменяется.

Мамаев уходит.

Отдыхал, что ли, от злодейства своего... в стогу-то?

Б и р ю к. Не... дожидал, пока наши выйдут. Боялся, один-то, на мину напороться. Да сном меня и замело...

Т р а в и н а. При тебе, значит... наших-то?

Б и р ю к. При мне. Караул построили, костер запалили... Ну, и я назади, по чину моему, стоял.

П о х л е б к и н *(остро и быстро, точно выстрелил)*. Потапыч-то ведь дружок тебе был!

Б и р ю к *(любовно)*. Как же, за утвой вместе хаживали! Сла-авный...

Присев и примостив кулек между ног, он пытается вытрясти на ладонь хоть крупицу табаку из пустого своего кисета. Со страстной ненавистью Травина дивится этой нечеловеческой выдержке.

Да, убили Потапыча. «Влезай, рус!» — Хирнер-то ему приказывает. А он понял, раз на табуретку показывают. «Можна», — отвечает, влез... В ём и весу-то не было, безгреховный. А потом как брыкнет его в нос лапотком, начальника-то. «Посторонись, — говорит, — свинья. Тут русский человек помирать будет!..» Да-а, вот какого содержания... *(Усмехнувшись, он концом сапога пошевелил зачем-то кулек.)* Так до самой кончины и слова не молвил. Все утирался...

Травина. Кто же это... до самой кончины утирался?

Бирюк. А начальник-то этот.

С достоинством равенства он берет с колен Похлебкина его жестянку и осторожно отсыпает табаку себе в кисет. Нахмурясь, Похлебкин ждет продолжения такой, еще небывалой в его практике, игры.

Травина. С чего же он помер-то вдруг?

Бирюк (*занятый своим делом*). Смерть причину отыщет.

Молчание.

Похлебкин. А не много ли отсыпаешь, Бирюк?

Бирюк. Много ли тут, до утра нехватит.

Похлебкин. А тебе и не надо до утра. Ты помирать, помирать к нам пришел... понятно? Сквозь вижу, с чем тебя подослали. Только, брат, мы нынче тоже чесаные. Хитер твой Хирнер, мозговитую имеет головку... в руках бы такую подержать!

Бирюк (*скручивая цыгарку*). А не ужахнешься?

Похлебкин. Ничего, выдержим.

Бирюк. А раз ничего, так нà... побалуйся, коли охота.

И сапогом пихнул в ноги Похлебкину принесенный кулек, который с деревянным стуком перекатился на другое место.

Травина (*пугаясь*). Что, что у тебя тут?

Бирюк не отвечает, он заклеивает цыгарку. Похлебкин сам заглянул в кулек и тотчас выпрямился, содрогнувшись.

Похлебкин. Куда, куда ты стерву в дом тащишь?.. (*Горячо.*) На нас Европа смотрит, а ты... ночной ты человек из дремучего леса — вот кто ты! С варварами боремся, а сам, сам...

Бирюк. Что сам? (*Он поднимается в рост, и чурбак катится в сторону.*) Чего ты меня Европой стращаешь! Как мы в обнимку с бандитом по земле каталися... где была Европа твоя? Туркина в колодец запхали, Устю, заголя подол, вешали... кофий пила твоя Европа? Я то буду делать, что мне мертвый Потапыч повелит...

Травина (*стараясь унять его*). Максим Петрович, больные у нас тут...

Бирюк *(широко и могуче)*. Погоди, я еще сам к ним припожалую. Сам желаю судить злодея моего. Чтоб и внучаткам ихним ночной Бирюк мерещился! *(Во весь мах души.)* Э-эх, все бы истребил... окроме птичек. *(И, бросив шапку на пол, наступил на нее ногою.)* Ты правило составь... как мне дрянь эту повежливей убивать.

Похлебкин *(поднимая шапку с полу)*. Уймись, сила лесная. Береги шапку-то, зима идет.

Бирюк. Куски братских телов в полях валяются. Куды не пойду, смрад меня с места гонит... и Потапыч мне в лицо глядит... «Что ж ты не мстишь за меня, Максимка?» *(И словно две раны, стали его глаза.)* Как он мне из петли-то подмигнул: и тогда мне верил. Милый, милый...

Закатив рукав, он взглянул на рану, поплевал, потер и опять спустил рукав.

А Степку ты поглубже засади... *(Развеселясь.)* Я у Хирнера с докладом был, а Степка к нему и заявился. Да шапку мою на лавке и увидел. Как зыркнет с порога-то: шлюхи, ведь они пужливые!

Вошел Мамаев, и, пока не закрылась дверь, врывается гул голосов.

Мамаев. Там народ пришел, просятся. Выйди к ним, Василь Васильич. *(И уже гораздо тише.)* Ушел Дракин-то. Уж я на дорогу бегал, перехватить...

Похлебкин. Вернется!.. Ты отдыхай, Максим Петрович. Зайду через часок, обсудим совместную картину нашей жизни. *(Травиной.)* Пошли!

Он подтягивает на себе ремень с кобурой, садит шапку чуть набекрень и, придав себе молодцеватый вид, выходит первым. Слышно его приветствие: «Здорово, русские жители!» — и ответное, как бы лесной шум, эхо. Со словами «собакам на студень захватить» Травина поднимает кулек и уходит за Мамаевым. Только теперь Бирюк различает в углу Илью, прижавшегося к нарам.

Бирюк. Чего ровно убитый стоишь?

Илья. Я и есть убитый. Это я по привычке мигаю. Давиться мне теперь надо, дядя Максим!.. Ну, плюнь в меня. Я сын Степкин.

Бирюк *(идя к нему)*. Не дури, парень. Все у тебя в руках легше легкого. Только теперь тебе такое надо сделать, чего никто не может. И все.

Илья. Скажи... Руку буду целовать тебе, дядя Максим!

Бирюк чешет затылок, не в состоянии разрешить такую задачу.

Хирнера бы!.. Да отнял ты его у меня. Где ты его настигнул?

Бирюк. Он после казни ко мне зашел, диких медов похлебать. Дикой-то духовитее. Ну, и нагнулся над плошкой-то, такой неосторожный господин. *(Усмехнувшись одними глазами.)* Как муха помер, безо всякого рычания...

Илья *(в тоске)*. Кто ж это меня наповал-то нынче уложил?

Бирюк. Папаня твой. Он тебя у Хирнера выпросил. Махонькому тебе копить зачал. Ладил всю вселенную в пазуху тебе сунуть, а, эва, кость мертвую сунул-то... *(Он присел на солому и снял сапоги.)* Эка, хламной я стал. На все расстраиваюсь.

Он прилег на солому, сунул шапку в изголовье, натянул тулуп и враз заснул. Илья стоит над ним; здесь и застает его Лена. Ее глаза становятся глубже и темней: и эта знает!

Илья. Лена... что случилось-то, Лена!

Он страшится подойти ближе. Кривая улыбка бежит в ее губах.

Лена. Тебя и смерть не берет, Илья. Брезгует.

Илья *(схватив ее руку)*. Лена... что ты говоришь, Лена!

Лена. Тише. Тут человек горит. Герой. *(И вдруг покачнулась ему в плечо.)* Это любовь моя... как змея жалит. Шепни, шепни мне, что не я, не я его убила!

Молча, как когда-то в детстве сквозь ночной лес, он ведет ее к лавке и, усадив рядом, подкатывает под ноги ей короткий чурбачок.

Их в танке зажгли. И врача нету. Угнали. Ничего у меня нету больше, Илья.

Илья. Ничего, поправится. Еще поженитесь, все будет хорошо. *(Обняв за плечи, он укачивает ее, как*

ребенка.) В гости буду ходить... я с маленькими умею... Белок им наловлю. Они меня любят, маленькие-то...

И оба смеются, как дети, выдумавшие сказку. Потом из молчания возникает полушопот сержанта за занавеской.

Сержант. ...враз, как прознают, санитарный за тобой пришлют. Может, в эту самую минуту докладает про тебя Сталину его перьвейший секретарь. Моментально карту всемирную он отодвигает, призывает старшего академика в толстых очках. «Поставить мне Темникова на́ ноги. Не затем мы с ним на свет рожалися, чтоб раньше сроку разлучаться!» И, как сказал, будто молния вдарила. И не успел ты очей раскрыть, уж несут твое тело под целебную машину, вяжут в ремни, пускают волшебные лучи. И вот, Митя, Митенька мой, трамваи не ходят, фонари в столице не горят... весь ток на тебя одного даден. Ну, поболит сперва: эку силищу да по живому-то мясу. Только алый пар от тебя подымается. Зато уж к вечеру начнет пробиваться свеженькая кожица, как пеночка на молочке. Дунешь — и сбежит, дунешь...

Лена. Спасибо ему, всем людям спасибо.

Илья. Не жмись ко мне, жалей меня...

С вязанкой хворосту спускается Мамаев и, присев у печки, начинает разводить огонь.

Иди туда. Ты ему, как лекарство, нужна. Пойдем!

И он сам ведет ее к Темникову. С полдороги, однако, Лена сворачивает к отцу. Илья осторожно выглядывает за дверь. Когда, во утоление последней надежды, Лена начнет разговор с Мамаевым, он неслышно возьмет кожан, чужую шапку и, взглядом попрощавшись с Леной, покинет землянку.

Лена *(опускаясь возле отца).* Папаня, я дочка твоя любимая... да?

Мамаев молчит, насторожась.

Ты сказал, давно... попросишь, когда нужно, и он тебе не откажет.

Мамаев. Кого попросишь, умница?

Лена. Бога твоего. Не для меня одной, для всех!

Мамаев. Разве можно, молчи!

Лена. Папаня!.. если он не черный старый камень, которому в такой же пещере поклонялись голые, несчастные люди, пусть он сердце мое увидит!

Мамаев оглянулся и уже не заметил отсутствия Ильи.

Не бойся, я сама у дверей стану. *(Страстно, сквозь полуслезы.)* Скажи *ему:* убить его — значит детей моих убить, которых я в мыслях уже на руках носила. Пусть он завтра придет... когда лицо мое скоробится, как древесная кора. Что ему век людской! Ему, небось, зевнуть тысячелетье нужно...

Мамаев *(глухо)*. Ладно, ладно... Не гляди на меня теперь.

Суетливой рукой он расстегнул ворот рубахи, чтоб освободить тельный, на темном гайтане, крест. Лена становится у двери. Он уходит в угол к полатям. Вскоре жаркий и рваный шопот его наполняет землянку.

...не надоедал тебе, обходился. Все в руке твоей, моря и горы, и звездные пути. И мы скачем в страшном вихре твоем, осподи!.. Услыши мои мужицкие слова... исцели воина Дмитрия. Он себя по кровиночке за родину милую отдавал...

Резкий стук прерывает его, и Лене не удается удержать дверь. Без шапки, с оружием в землянку врывается Похлебкин. Позади него стоят люди отряда.

Похлебкин. Чего заперлись... Колдуете? Илья!

Молчание.

Значит, это он по дороге бежал. Догнать!

Лена. Тише! *(Заглянув к Темникову.)* Ну, что он?

Сержант *(жмурясь и выходя на свет)*. Кажется, задремал.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Вечер того же дня, и землянка та же, только трофейный брезент теперь с помощью колец укреплен на проволоке перед лавкой, где сидит Темников; да пестрый домотканный половичок постелен на лестнице для тишины; да лампа уже повешена над столом. Фитиль ее привернут на малый огонь, чтоб не тревожить больного. Вокруг стола, с той же целью сдвинутого подальше от занавески, идет заседание. Под тулупом замысловато похрапывает Бирюк, после одного в особенности затейливого пассажа все — Травина, Похлебкин и Мамаев, оторвавшись от дневничка, с удивлением и почтительно взирают на спящего.

Похлебкин *(почти с научным любопытством)*. Царапина, что ль, в горле у него? Спираль какую выгибает...

Мамаев. Все забыл, дитя лесное.

Травина дважды кашлянула погромче, Бирюк заворочался и умолк.

Травина. Продолжай, Похлебкин.

Похлебкин. Итак, спрашиваю, товарищи: кто же именно, несмотря на все эти успехи, виноват, что темпы нашей подрывной деятельности все-таки занижены? Отвечаю на указанный вопрос. *(Твердо.)* Я!.. Доверился в этом отношении Дракину. И хотя сей главный сверчок, как ценно отметил нам товарищ Мамаев, еще не пойман, имеем надежду, что недолго покойный Хирнер поскучает без любимого дружка. *(Мамаеву.)* Не марай, дружок, тетрадочки, а найди на прежней страничке. Фамилия та же... только Степана впиши, а Максима вычеркни.

Т р а в и н а. Надо еще решить, кто с тобой ночью отправится, Василь Васильич! Удастся тебе в село ворваться — в одну ночь наверстаешь.

Она не досказала: из-за занавески вышел с е р ж а н т. Он посутулел, и что-то новое объявилось в его походке. Как человек, которому некуда спешить, он выпил воды из ведра, вытер укоротившиеся свои усы и стоит, бездельно глядя в лафетную ступеньку лестницы.

С е р ж а н т. Эх, хороша, сытна земли родной водица...

И сам вслушивается в невозвратимое эхо своих слов. Трое из-за стола смотрят ему в спину. Так идет время.

П о х л е б к и н. Что ж хозяина-то покинул?

С е р ж а н т. Там гражданочка сидит... *(Вполоборота ко всем и понизив голос.)* Потешить бы его, други, напоследок. Провожать так веселой песней, чтоб земля дрогнула. Шибко любил песню этот человек.

П о х л е б к и н *(Травиной)*. Добеги налегке до четвертой. Там у нас все песенные. Да немого прихвати на случай.

Т р а в и н а *(выйдя из-за стола)*. Не вреден ему шум-то?

С е р ж а н т. Теперь ничего ему не вредно, хозяйка.

Травина раскрывает дверь и задержалась на пороге; на ее лицо, едва уловимый, ложится отблеск далекого зарева.

Т р а в и н а. Товарищи, кажется, Кутасово горит.

Оповестив, она уходит. Все движутся к выходу взглянуть на багровое отражение в зимнем небе. На соломе ворочается от холода Бирюк.

П о х л е б к и н. Епархия моя догорает...

Его голос дрогнул. Все стоят молча, опустив руки.

М а м а е в. Жена у меня там... была.

П о х л е б к и н *(положив ему руку на плечо)*. Ты так воюй, Мамаев, ровно ничего у тебя не осталося... ни жены, ни яблоньки под окном. Ничего... кроме гнева да громадного отечества.

Б и р ю к *(приподнимаясь с соломы)*. Тепло-то наружу выпускаете, окаянные. Чай, не лето!

М а м а е в. Огонь в Кутасове, Максим Петрович.

Потирая заспанное лицо, Бирюк тоже отправляется поглядеть.

Б и р ю к. Огонь — хорошо. Всяка горюха бывалая погорает... *(Отходя.)* Что это мне во сну-то представилось? Лошадь какая-то некованая. Должно, к морозу.

Д в а м у ж и к а появляются у входа. Очень довольные, они поталкивают друг друга локтями, блестят ровными зубами и молчат.

П о х л е б к и н. Остальные-то где же, мигуны?

В т о р о й м у ж и к. Идут... *(И ему как будто жалко разлучаться с таким веселым известием.)* Слыхал?.. Дракин вернулся. Пьяненький, видите ли что, а глаз хи-итрый имеет.

П е р в ы й м у ж и к. Чего врешь? Тоскливый, выпитой глаз.

П о х л е б к и н. Разошлись, значит, с Ильей-то. Взя-ять!

Б и р ю к. Не торопись, спугнешь. А как залетит, мы его враз шапкой моей и накроем.

Он отводит Похлебкина в сторону, и пока доверительно сообщает ему обстоятельство встречи с братом у Хирнера, в землянку возвращается Т р а в и н а с обитателями четвертой. Между ними — п а р е н ь с г а р м о н ь ю, Д о н ь к а и н е м о й. Сержант размещает это множество по краям, оставляя середину свободной.

С е р ж а н т *(отрывисто и стоя посреди)*. Ну, баяны... погостил у нас степной орел, пора и улетать. Уж самолет за нами вышел. Спасибо за хлеб, за угол, за теплую русскую любовь. Повеселите напоследок молодых!

Злым небрежным махом он откидывает занавес. Рука Темникова лежит на плече Лены, сидящей у его ног. Строгая, похудевшая, с черным пятном на щеке, Лена медленно обводит взглядом собранье.

Дмитрий Васильич!.. Песней хотят угостить тебя напоследок. Любимой твоею. Давай, баяны...

Несмелые голоса: «Кому заводить-то?», «Доньке надоть. У ево голосочек резвый, как на крылосе...», «Давай, Доня, не торопись!» Следует взмах какого-то добровольного регента, но нет песни. Закусив губу, Донька смотрит на лейтенанта, и детская слезка катится по его щеке. И вдруг, глубоко заглотнув воздух, точно птица вскинула крылом, он пронзительно и высоко, без сопровождения гармони пока, запевает про коня, как гулял он

в последний свой разочек при знакомом табуне... С третьей строчки подхватывают другие, а гармонист с силой разводит мехи. Темников открывает глаза. И вдруг сержант, следивший за ним, движением руки и во всем разбеге останавливает песню.

Что, Дмитрий Васильич?.. Ты очами, очами скажи, я пойму. *(Всем.)* Времени у нас в обрез, баяны. Давай сразу на главный накал... А ну!

Длинноносый музыкант кивает в знак того, что принял команду. Лица делаются истовей и суровей, когда кожаной грудью набирает воздуху гармонь... Это начинается издалека, и сперва великая печаль звучит в протяжных и переливчатых аккордах. Тут предстает она вся, в злой и зимней своей красе, раздольная русская равнина, где ни птицы в небе, ни малой горочки на горизонте... лишь знойкий ветерок ударяется с разбегу в полысевшую рощицу; она струнно звенит. Нет, только нам гулять в этом обжигающем пространстве!.. И надо богатырски расширить плечи, чтоб не потеряться здесь, чтоб заполнить собою эту бескрайную ширь, чтоб не раствориться без остатка в этой чудовищной и прекрасной тишине. И вот убыстряется дыханье, и удалая, как от веселого вина, дрожь пробегает в коленях: звонким речитативом ударяет в землю каблук, и первый вздох, легкий, как стружечка, срывается с души. Так, верно, рождалась русская пляска, — так возникла она и на проводах лейтенанта. Похлебкин мигнул немому... Уже еле видны суматошливые пальцы гармониста, а тот лишь снимает елоховой дубки кожанок с наставными рукавами, складывает поверх сношенную жилетку и овчинный треушок, и тихо, как бы робея, в васильковой выцветшей рубахе, подается на середину. И сперва то ли балует он, плечиком подразнивая огневой мах пляски, то ли боится ступить ногою на это вертящееся колесо... Но кто-то понукает сзади: «Разговаривай теперь, немота...» Потом приглушенное «а-ах!» скользит с чьих-то прикушенных девичьих губ. И пошел, и заговорили ноги, и враз не стало на свете красноречивей немого мужика из горелой Путилинки. Порою все спадает до прерывистого шопота, и только по стуку западающих клавиш да по скрипу половиц можно угадать ритм происходящего неистовства... Недвижно, с полуулыбкой, Темников следит за этим русским вихрем, где пальцы гармониста состязаются с ногами плясуна. Кто знает, о чем его гаснущая мысль! О девушке ли, с которой, не дав наглядеться до конца, разлучили вороги, о родине ли, которая с материнской скорбью подносит ему этот последний дар?.. Воровато скрипит дверь, и в землянку заглядывает Д р а к и н. Он обводит глазами по кругу: нет, не видать Бирюка, что непостижимо пропал из Кутасова. «Эге, да тут полное кабаре у вас!» — произносит он для начала и пробы. По молчаливому сговору, никто не смотрит на него теперь; и хотя никто не смотрит на него, только одного его все и видят теперь. Он пьяновато спускается, обходит краем и, остановясь возле Похлебкина, со склоненной набок головой наблюдает за мастерством немого.

Д р а к и н. Выпил я с устатку, Василь-Васильич.

П о х л е б к и н. Не порть удовольствия, Дракин. Молчи.

Д р а к и н. Максим-то убежал. Резвый, учуял...

Т р а в и н а. Догоним.

Д р а к и н *(присев на корточки, чтоб в непосредственной близости изучить основные колена плясуна)*. Талант имеет в ногах, собачья радость!

Умное озорство и ликование, что нераскрытым остался грех его, овладевают Дракиным. Но ему нужно еще глубже и прочнее укрепиться в доверии этих простодушных и грозных мстителей.

Э, разве так у нас плясали в старину... А ну, сторонись, тараканушко!

И верно, пора передохнуть немому; облизывая пересохшие губы, он конфузливо отступает в сторону... Ухнув, Дракин идет первым кругом. Его шаг тяжелее, чем у немого, и тесно прижата к горлу круглая злодейская борода; и что-то — может сребреники предательства — металлически позвякивает в его широких голенищах. «Наши-то хреновья из земли огонь вырубают!» — слышен похвальный выкрик позади... Дракин усложняет ход. Он стар, но исправно выполняет дело, хотя, наверно, это самая опасная работа в его жизни. При этом левую, выкинутую с платком руку он, как правило, держит посреди, на уровне плеча, в магическом центре круга... И когда на короткую полминутку он оборачивается спиной к Похлебкину, дробно работая полупудовым сапогом, тот быстро ставит на пол позади него, алым донышком вверх, Бирюкову шапку и с невозмутимым лицом возвращается на место. Новая трель круто поворачивает Дракина... И тогда, подогнув голову, он видит улику под ногами: жарче кутасовского пламени пылает она теперь и гонит от себя своим сокрытым зноем. Следует чей-то возглас: «Берегись, Степка, укусит!» Дракин не прерывает пляски: теперь он живет, пока пляшет. Но вот сбились ноги с такта, отяжелели, подогнулись — смертным магнитом присасывает их земля.

П о х л е б к и н. Доплясывай, доплясывай, Дракин. Подождем...

Обрывается вихрь гармони. В тишине, не сводя глаз с алого лоскутка, Дракин вытирает испарину со лба. Он поднимает голову. Как и остальные, чуть подавшись вперед, Похлебкин смотрит в него острым, смеющимся глазком.

Ты у нас прямо артист, Дракин. За душу берешь. Си-ильная картина у тебя получается! *(Сержанту.)* Поясни хозяину своему: сейчас злодея судить будем, что

руку на него со спины занес. *(Ближним мужикам.)* Оборудуйте, ребятки, что полагается под это дело.

Передвигают стол и переставляют скамью. С клеенчатой тетрадочкой и вздев очки, Мамаев присаживается на уголке. Прокурором становится сбоку Похлебкин. Главное место за столом остается незанятым, но если продолжить через него линию от Дракина, она закончится в строгих глазах Темникова. Дракин присаживается на краешек чурбака и оказывается таким образом в середине людского полукруга.

Давай, Акимовна. Спрашивай для порядку.

Травина. Поднимись, Дракин. Народ твой перед тобой. *(Мамаеву.)* Вкратце записывай. Подробности потом проставишь.

Мамаев скрипит пером. Время от времени Похлебкин наклоняется к столу записать мысль на клочке бумаги.

Лет сколько, Дракин?

Дракин *(озираясь)*. Пятьдесят шесть пошло. С рожества богородицы. Эдак, эдак... а что?

Он еще не свыкся с мыслью, что это уже конец. Потом он видит Бирюка, на голову возвышающегося позади других, и отводит померкшие глаза.

Травина. Женат?

Дракин. Я являюсь бывший женатый. С женой не живу. Ослаб, по старости годов.

Смех. Мамаев укоризненно качает головой.

Сержант. Он что, чудак у вас или притворяется?

Дракин. А чево представление-то делать из меня? Дракина тут все знают.

Травина *(терпеливо)*. Нам для похоронного акта нужно, Дракин. И ты не мне, ты ему отвечай... *(И показала на Темникова.)* Он твой главный судья... Чем занимался до семнадцатого года?

Дракин *(переступив с ноги на ногу)*. В лихачах ездили. Имели обоз, двадцать семь лошадей. *(Почесав бороду и кашлянув в рукав.)* Бывший город Санк-Петербург.

Травина *(для присутствующих)*. Почему бывший?.. Весь простреленный, он еще стоит и дерется, Дракин. А вот ты, например... много ты против отечества потрудился? А в прежние годы воевал за него?

Д р а к и н. Как Бирюка забрали, я единственный сын у отца остался. *(Быстро, опережая следующий вопрос.)* Имею срочное заявление к суду.

Заминка и настороженное внимание. И даже Лена вопросительно подняла голову.

Золото закопано у меня. Браслеты, также цепи разные, на ценных камнях. Могу указать место. По соглашению.

Пока Похлебкин кратко совещается с Травиной, нарастает гул гневных голосов: «Насосал злата-те!», «Экой Минин наизнанку выискался...» Один даже выскочил на середину, яростно потрясая гранатой: «Ты почем, почем на рынке за морковку-то взымал? Женщинка одна в голос над мешком твоим ревит... при ей двое писклят за юбку держатся, а ты скребешь ее железною рукой!»

М а м а е в *(горячо)*. Не надо нам. Через сто годов найдут твой клад и скажут... подлец, скажут, в какую пору у отечества похитил. Не надо нам злата твоего!

Т р а в и н а. Тише, товарищи!

Следует еще запоздалый возглас из толпы: «Купить нас хочет, банкир какой!»

Товарищи, больные у нас тут.

Шум стихает.

Б и р ю к. Вынай, Степан, что на душе-то у тебя смердит. Вынай, облегчи себя.

Т р а в и н а. Слышал? Скажи людям, какие причины толкнули тебя на это черное дело?

Д р а к и н *(сперва обдумав ответ)*. Я давно обрек себя... на это. Двор вы мне разорили... молчал я. Коней моих увели. На гнедом-то, бывало, без дубчика на башню вкатишь! Ему бы в тот раз, как зазяб, сороковку споить да поездить погуще, он бы теперь... *(С вызовом.)* Где Гнедой? *(Подавив вспышку.)* И Гнедого смолчал. А нынче сына вы у меня отобрали.

Т р а в и н а. Не хитри. Сбежал твой сын.

Д р а к и н *(скорбно)*. Дурак, вернется. Не наш, не наш он, не дракинский...

М а м а е в. Твой-то отец богаче был, а эка, убивца вырастил. А у нас Илья — агроном, человек станет. Он в тайну рощенья всякого проник...

Д р а к и н *(грубо и властно перебив его)*. Он бы у меня король был. Король, понятно? И ты бы в яшках при столе его стоял, пока тебе не свистнут.

П о х л е б к и н. Врешь! *(Смаху кулаком по столу.)* Он бы на конюшне спал у тебя, твой король. Бирюк-то дитем от отца сбежал...

Голоса: «Заткни ему глотку-то!», «Особой ценности не представляет», «Дай ему девять грамм шесть десятых!»

П о х л е б к и н. Ничего, пускай, пускай все говорит. Теперь советская власть ничего не боится. Трепись дальше, Дракин.

Д р а к и н. Тот настоящий король и есть, кто из солдат выходит. Ты человек молодой, Василь Васильич. Дай тебе господь при полном коммунизме сон такой радостный увидеть, как бы сын мой жил...

Т р а в и н а *(покачав головой)*. Слышали? Запоминайте... в ком еще сомнение осталось! Есть у кого-нибудь вопросы?

Молчание. Травина повернулась к Похлебкину.

П о х л е б к и н *(сбирая листки со стола)*. Пять минут мне нужно.

Т р а в и н а *(так же вполголоса)*. В полторы укладывайся... некогда, Похлебкин. Давай!

И тогда, скомкав в кулаке, Похлебкин прячет в карман эту шумную, ненужную ему больше бумагу.

П о х л е б к и н *(торжественно, почти мудро и без крупицы прежней злости)*. Всенародно обличаю тебя, Дракин. Пойман ты на месте, народной жизни вор. Кто же ты есть, враг? Отвечаю на указанный вопрос. Ты есть явленье временное. Ты жил, пока ночь землей владала. Но поет петух, и пора тебе собираться в дорогу... Да, пора всемирному человечеству исходить из пустыни его зверства. Это я ему нонче совет даю, русский мужик из спаленного Кутасова... *(Коснувшись сердца под гимнастеркой.)* Что это со мной... сердце-то как щемит!

Голос в тишине: «Воды ему!» Зачерпнув из ведра, Бирюк отправляет к Похлебкину по рукам ковш. Тот отпивает глоток и ставит на стол, расплескивая часть воды при этом.

Какая же ныне картина расстилается перед нами, товарищи?.. Немирный век в могилу сходит. И это ты, Дракин,

под руки его ведешь, кровавого своего папашу. Слушай же, в последний раз, как лес шумит. Ой, славно шумит, слаще девичьей песни. Думаешь силу свою считает, либо мелку зимню елочку прибаюкивает? Нет, это он вас славит, русские рабочие и мужики. *(Повышая голос.)* Вся дикость земная из пещер своих на вас рванулась, и вы ее грудью окровавленной отшибли.

И опять, сам дивясь недугу своему, он замолкает с закушенными губами. Неожиданно он садится. В ту же минуту, подойдя к Травиной, сержант произносит одно какое-то слово, которое меняет все.

Травина. Ладно, кончили... *(Торопливо, про Дракина.)* Уведите его пока. И сами, и сами...

Тревожно поглядывая на лейтенанта, которого не видно сейчас из-за спины сержанта и Лены, народ покидает землянку, увлекая в своей волне и Дракина.

Василь Васильич... догорает наш гость. Отойдем в сторонку, пускай простятся!

Все они отходят в противоположный угол. Глаза Темникова закрываются.

Лена. Открой, открой. Я забыла, какого цвета твои глаза. Покажи мне их, покажи...

Обезумев, она трясет его колено. Веки Темникова поднимаются.

Темников *(тихо и внятно)*. Руку дай... Лена.

Как в самом начале, они смотрят в лицо друг другу. Улыбка родится и потухает на устах лейтенанта. Глаза закрываются и падает разжавшаяся рука.

Лена. Еще, еще гляди... *(Распахнув платье у ворота.)* Смотри... Это я, Лена твоя. Не оставляй меня, не уходи!

Она еще ждет чего-то, может быть — чуда. Надоумленный жестом Травиной, сержант задергивает брезентовый занавес. Визжат проволочные кольца. Мамаев крестится. Похлебкин намелко ломает какую-то щепочку... Шум и ругань слышны снаружи. Мамаев заранее открывает дверь и сторонится. С громадной ношей и в кожане с оторванным рукавом, растерзанный и в поту, появляется Илья. Он еще не понимает значения предостерегающе поднятых ему навстречу рук. Сложив на ступеньках рогожный узел, который скатывается вниз, в землянку, он шапкой вытирает лицо.

Похлебкин *(подозрительно)*. И ты падаль какую-нибудь притащил?

Илья (*хрипло*). Смерти ходил искать, не взяла. Доктора не было, так я фершала ихнего приволок. Развяжи... поосторожней. Я, кажется, руку ему сломал.

Развязывают рогожный узел, накрест опутанный веревкой. Смертно запуганный, там съежился человек в немецкой врачебной форме. Его подняли. Он в ужасе пятится к печке, когда к нему приближается Илья.

Чего, не тигры мы, люди. Только осерчали на подлость вашу!

Поочередно глядя на всех, пленный пожимает плечами. Рука его, как тряпичная, висит вдоль тела.

Мамаев. Потише с ним говори. Боится.

Илья. Слушай меня, фриц. Смерть твоя говорит с тобою. Хорошего человека вы убили, и девушка моя любит его. Лечи! Не вылечишь... (*и глаза Ильи темнеют*) выпью рыжие твои очи, сердце в тебе задушу!.. (*Тихо и кивнув на занавеску.*) Иди.

Пленный (*поняв смысл приказания, воодушевясь и скороговоркой*). Больной? Можна, можна. Ich soll mir den Kranken ansehen [1].

Приосанясь, он отправляется за занавеску и тотчас выбегает оттуда. Челюсть его отвисла, неразборчивое мычанье срывается с перекошенных губ.

Aber einen Toten kann ich nicht heilen. Ich bin kein Herrgott. Ich bin nur ein Sanitätsfeldwebel! [2]

Илья (*замахнувшись*). Лечи!..

Похлебкин ловит в воздухе руку Ильи. Появляется Лена, и это дает пленному время забиться в угол землянки. Платье Лены раскрыто на груди; она стоит, ничего не видя перед собой... и как не похожа она на себя в начале этого повествованья! Мамаев спешит укрыть ее плечи платком.

Мамаев. Закройся, дочка... люди тут.

Лена. Что ж он молчит, твой старый черный камень, папаня?

Мамаев опускает голову перед этой великой и гневной печалью. Сержант распахнул дверь и, привалясь к косяку, смотрит в небо. Зарево погасло, светят звезды, шумит ночной лес.

---

[1] Я должен посмотреть больного.

[2] Но я не могу лечить мертвого. Я не господь бог. Я всего только санитарный фельдфебель.

Т р а в и н а. Вот и тихо стало у нас. *(Деловым тоном.)* Сколько на часах у тебя, Похлебкин?

П о х л е б к и н *(взглянув на часы)*. Пора собираться... Нет, шумно будет в эту ночь, хозяйка. Эй, не хочешь на большой тризне погулять, сержант? Облачайся тогда. Там, в углу, выбери ему что пострашней, Мамаев.

Мамаев идет в угол, где под нарами сложено оружие.

Скажи ребятам, чтоб наготове были.

Травина уходит. Сержант одевается. Лена тоже движется к стене, где висит одежда. Пугаясь ее решимости, Илья с раскинутыми руками, становится на ее пути.

И л ь я. Не ходи, Лена... *(Ища поддержки во всех.)* Не пускайте ее, она не вернется. Не ходи!

С е р ж а н т. Пусти ее. Она имеет право. Она забыться хочет... Таких и смерть трепещет!.. *(Сдернув с гвоздя полушубок Лены.)* Пойдем с нами, бездомная. Заплатим им горем за горе, ударом за удар.

Лена стоит посреди. Великая печаль уходит из ее глаз, и как бы стальное забрало опускается на ее похудевшее лицо.

Л е н а *(затягивая ремень на себе)*. Остановись, земля! Содрогнитесь, фашистские невесты! Плачь, всемирное Злодейство!

1942—1943



СТАТЬИ

НАША МОСКВА

Русская зима вступает в свои права. Ровный чистый снег ложится на поля... но чужим поганым следом затоптаны нынче дороги к милой столице. Враг упорно рвется к Москве. Один на один бьемся мы с бедой, грозящей всему свету. Все умное и живое, затаив дыханье, следит за эпизодами беспримерной схватки, потому что здесь решается судьба человечества: оставаться ему свободным или, утратив все, с арканом на шее пойти в арьергарде свирепых фашистских орд.

Москва! На картах мира нет для нас подобного, наполненного таким содержанием слова. Возможно, со временем возникнут города на земле во сто крат многолюдней и обширней, но наша Москва не повторится никогда. Москва — громадная летопись, в которой уместилась вся история народа русского. Здесь созревало наше национальное самосознанье. Здесь каждая улица хранит воспоминанья о замечательных людях, прославивших землю русскую. Здесь были встречены и развеяны во прах многие бедствия, которыми история испытывала монолитную прочность Русского государства. Отсюда народ русский в сопровождении большой и многоплеменной семьи народов двинулся в светлое свое будущее. Здесь, тотчас после Ленинграда, прогремели залпы Октября, чтобы победным эхом разнестись дальше по стране. Здесь закладывал фундамент новой социальной системы Ленин.

Слишком много воспоминаний у нас о Москве, и потому родина полна решимости защищать этот древний

мировой город. Сюда шлет она свои полки и оружие. На недавнем ноябрьском параде это она аплодировала Сталину, поднимающемуся на трибуну; это она шагала в ногу со своими героями под звуки оркестров; по утрам, слушая фронтовую сводку, это она очами сердца видит утренние московские улицы... Еще дымятся кое-где мирные дома, разбитые прошлой ночью, еще вдалеке ухают зенитки, провожая убегающих ночных убийц, а уже героические московские люди спешат в цехи и учрежденья: все подчинено фронту. Всею индустриальной громадой порабощенной Европы напирает на нас враг, но никогда Гитлер не увидит коленопреклоненной нашу Москву.

С каждым днем крепнет ярость нашего народа. Сомнительные по своему значению успехи германского фашизма не привели пока ни к чему. Как и четыре месяца назад — конца войне не видно. Больше того, владеть сегодня Европой — это все равно, что владеть пороховым погребом, где под ногами бегут и тлеют искры. Напрасно враг пытается трупами своих солдат завалить пропасть, отделяющую гитлеровскую Германию от победы: бездонна эта расщелина смерти!

Когда слушаешь разговоры советских людей, то не хвастливая угроза звучит в них, не смутное упование на какую-то счастливую случайность, а прежде всего — вера в свою историческую судьбу. Нам много еще предстоит поработать в мире, чтоб стал он краше, справедливей и желанней, и первая среди неотложных всечеловеческих наших задач — в содружестве с сильнейшими народами мира избавить землю от фашизма.

Народ сравнивает гитлеровское чудовище с лесным зверем, которого рогатиной встречали бывалые русские богатыри. Известно, что даже когда лезвие уже глубоко уходило в волосатое изнемогающее тело, зверь все еще продолжал свое движение. Он напирал, не чуя боли и сознавая чутьем, что остановиться даже не надолго — значит рухнуть замертво мордой в снег. И вот уже только отчаянье становится движущей силой его нападенья. В эту решительную минуту — выдержит ли, выдюжит ли русская рука?

— Выдержит, выдюжит, товарищи!

Пройдут годы. Как мрачный сон планеты схлынет в небытие гитлеровский эпизод. Новые весны обольют своим

цветом пожженные, подавленные танками наши сады. Будущий археолог, копаясь в подмосковных суглинках, отыщет — наравне с полусгнившими от древнейших времен — и множество свежих вражеских костей и черепов, вперемежку со ржавыми остатками железных машин: останки преступников и орудий их преступлений. Черным словом вспомнят люди этих дикарей, возомнивших себя владыками мира, и с благодарностью произнесут имена славных защитников Москвы, которая жила, боролась, трудилась — и не была сдана.

Бывают минуты, которые стоят вечности. В такое время живешь ты, наша Москва!

25 ноября 1941 г.

ТВОЙ БРАТ ВОЛОДЯ КУРИЛЕНКО

Набатный колокол бьет на Руси. Свирепое лихо ползет по родной стране. Безмолвная пустыня остается позади него. Там кружит ворон, да скулит ветер, пропахший горечью пожарищ, да шарит по развалинам многорукий иноземный вор...

Второй год от моря до моря, не смолкая ни на минуту, гремит стократное Бородино Отечественной войны. Утром шелестит газета в твоей руке, мой безвестный читатель. И вместе с тобою вся страна узнает о событиях дня, с грохотом отошедшего в историю. Еще один день, еще одна ночь беспримерной схватки с врагом миновала. С благоговейной нежностью ты читаешь про людей, которые вчера сложили свои жизни к приножью великой матери. Кажется, самые тени великих предков наших обнажают головы и склоняют свои святые знамена пред ними. Какой могучий призыв к подвигу, мужеству и мщенью заключен в громовом шелесте газетного листа!

И еще громче орудийных раскатов звучит в нем тихое и строгое, как молитва, слово героя:

— За свободу, честь и достояние твое... в любое мгновение возьми меня, родина. Все мое — последний жар дыхания, и пламя мысли, и биение сердца — тебе одной!

Многие из них уже отошли навеки к немеркнущим вершинам славы, — воины, девушки и дети, женщины и старцы, принявшие на себя благородное звание воина. Нет, не устыдятся своих внуков, суровые и непреклонные пращуры наши, оборонявшие родную землю в годы былых

лихолетий. Никогда не поредеет это племя богатырей, потому что самый слух о герое родит героев. Там, в аду несмолкающего боя, стоят они плотным строем, один к одному, как звенья на стальной кольчуге Невского Александра. Весь свет дивится нынче закалке и прочности этой брони, о которую разбиваются свирепые валы вражеского нашествия. Нет такой человеческой стали нигде на Западе. И в мире нет такой. Она изготовляется только у нас.

Слава вам, сыны великой матери!

Нам знакомы тысячи знаменитых имен современников наших во всех областях мирной человеческой деятельности. Мы гордимся ими и каждого знаем в лицо. Славные машинисты и шахтеры, хирурги и сталевары, строители материальных очагов нашего счастья, изобретатели умнейших машин, мастера неслыханных рекордов, музыканты, художники, певцы... Ими, как ковром пестрых и благоуханных цветов, усеяны наши необъятные пространства. И вот мы услышали новые имена людей, которые в огне сражений или в бессонной партизанской ночи отдали себя родине. Они стоят перед нами во весь свой исполинский рост, светлее солнца, без которого никогда — ни в прошлом, ни в будущем нашем — не цвели бы такие цветы на благодатной русской земле. Воистину непобедим народ, который родил их!

Сверкающей вереницей они проходят перед лицом отечества. Опаляют разум картины их нечеловеческой отваги. Вот юноша-красноармеец заслоняет собою амбразуру пулеметного гнезда, чтоб преградить дорогу смерти и обезопасить идущих в бой товарищей. Вот сапер, когда разбило осколком его миноискатель, голыми руками, на ощупь, и в сыпучих сугробах по пояс расчищает перед штурмом минированное поле. Вот, приколов, как реликвию, поверх бушлатов клочки нахимовского мундира, идет в последнюю атаку севастопольская морская пехота...

Кто вырастил тебя, гордое и мужественное племя? Где ты нашло такую силу гнева и ярость такую?

Родина скорбит о павших, но забвенье никогда не поглотит памяти об этих лучших из ее детей. Грозен и прекрасен летчик Гастелло, который крылатым телом своим, как кинжалом, ударил в гущу вражеской колонны.

Легендой прозвучал подвиг двадцати восьми братьев, которых сроднила смерть на подмосковном шоссе. Бессмертен образ комсомолки Зои, которую мы впервые увидели на белом снегу газетной страницы в траурной рамке. Вся страна пытливо вглядывалась в это красивое лицо русской девушки. Ни смертная мука, ни ледяная могила не смогли стереть с него выражение бесконечной решимости и прощальной улыбки милой родине... Созвездия надо бы называть именами этих людей, смертью поправших смерть!

Память народа — громадная книга, где записано все. Народ наш хорошо помнит причиненное ему горе. Не забудем ничего, ни даже сломленного в поле колоска. Есть у нас кому мстить, завоеватели!

Когда стихнет военная непогода, и громадная победа озарит дымные развалины мира, и восстановится биение жизни в его перебитых артериях, лучшие площади наших городов будут украшены памятниками бессмертным. И дети будут играть среди цветов у их гранитных подножий и грамоте учиться по великой заповеди, начертанной на камне:

— Любите родину свою, как мы ее любили!..

Но еще прежде, чем историки, скульпторы и поэты найдут достойные формы для воплощения беззаветных свершений героев, а отечество оденет в бронзу их образы, следует любыми средствами сохранить в памяти хотя бы самые незначительные их живые черты. Запомни их лица, друг! Запомни навсегда эту гордую, по-орлиному склоненную к земле голову Гастелло, и хмурые, опаленные пламенем неравного боя лица двадцати восьми, и строгий профиль Зои, и честный, простой, как небо родины, взор партизана Володи Куриленко.

Мы не знали его в лицо, хотя он жил среди нас, скромно выполняя повседневную свою работу. Это обыкновенный человек наших героических будней. Трудно начертить спокойный его портрет нашими обиходными словами. Могучие воины, его овеянные славой соратники, не много рассказали о нем. Еще гремят поля войны, дорого каждое мгновенье, и скупо цедятся нежные слова.

Знакомься же с ним, современник!

Вот он стоит перед тобой, Владимир Тимофеевич Ку-

риленко, голубоглазый, русоволосый русский парень, совсем юный. Он родился 25 декабря 1924 года. Семнадцать лет ему исполнилось в партизанском отряде, когда он умел уже не только стрелять, но и попадать в самое сердце немца. Природа одарила всем этого юношу. Он был, как тот, павший за родину в битве на Калке, великолепный Даниил, о котором с предельной и сердечной ясностью сообщил летописец: «...был он молод, и не было на нем порока с головы до пят». И если любой, наугад взятый молодой гитлеровец — законченный пример средневековой низости, Владимир Куриленко — отличный образец честного, деятельного юноши нашей эпохи.

Итак, он сын учителя на Смоленщине. Восемь лет провел он в школе. В нем рано проснулся дар организатора: он руководил ученическим комитетом, пионерским отрядом, потом комсомольской ячейкой. С малых лет его влекло к себе широкое океанское раздолье, где человек меряется со стихией волей и выдержкой своими. Но природа не поместила на Смоленщине седого и грозного океана, который грезился Володе. Все же Володя создал отряд «юных моряков», и уж, наверно, армады детских корабликов ходили по тамошней речке, и уж, конечно, адмиралом среди товарищей своих был этот статный и крепкий паренек...

Позже его в особенности влекла романтика военного дела. Хотелось ему также строить и изобретать. Он даже сердился на свою молодость, мешавшую ему поступить в Ленинградскую военно-инженерную школу. Он был принят туда 6 июня 1941 года, — все, даже самые мелкие даты важны в этой краткой и такой емкой биографии. Уже сбывалась мечта... и не сбылась, разрушенная, как и миллионы других молодых мечтаний вторжением фашистских громил. Ленинград был отрезан фронтом. Гитлеровская орда потекла на Русь. Юношеская склонность Володи к военным занятиям пригодилась; больше того — она стала потребностью дня. Такова первая страница в анкете героя.

Как быстро в военное время растут и мужают наши дети!.. Когда первые немцы появились в Володиных местах, где каждый кустик, каждую полянку он любил с неосознанной еще детской привязанностью, он сразу

занял свое место рядом со взрослыми. Видимо, и отец Володи принадлежал к той замечательной категории народных учителей, которые собственным примером своим учат молодых граждан поведению в жизни. Тимофей Куриленко встретил гитлеровских посланцев пулеметным огнем, и два сына его, Владимир и пятнадцатилетний Геннадий, помогали ему при этом.

— Учитесь, учитесь, детки, этой азбуке войны, без которой пока нельзя быть спокойным за свое счастье на земле...

Это был новый вариант старинной и любимой песни — о Трансваале, о родине, горящей в огне, и об отце, который повел своих юных сыновей бороться за свободу. Засада Тимофея Куриленко изменила направление неприятельского удара. Свернув с намеченного пути, немцы наткнулись на регулярные части Красной Армии и были искрошены. Полтораста вражеских трупов и десятки разбитых машин — вот первое наглядное пособие, которое народный учитель показал своим сыновьям.

Несколько позже, в августе 1941 года, Володя самостоятельно организует партизанский отряд из ребят своего селения. Он сам становится педагогом в этой боевой школе. И вот наступает первый скромный урок — первая встреча с завоевателями, покорившими пол-Европы. Мальчики мужественно ложатся в засаду у дороги. Грузовая машина, громыхая железной посудой, проходит совсем близко. И вровень с нею стволы винтовок движутся в высокой траве. Ребятки хорошо знают незваных гостей; это «доильцы», сборщики молока для германской армии. Кроме молока, они отбирают яйца, хлеб, мясо, вилки и ножи, сарафаны и ведра: доброму вору все впору!.. В особенности вон тот, что сидит поверх бидонов, знаком и ненавистен Володе. Этот выдающийся мастер гитлеровского разбоя, отлично изучивший русский язык в пределах своей грабительской деятельности, давно заслужил добрую порцию партизанского свинца.

— Огонь! — сурово произносит мальчик.

Гремит нестройный залп.

Хрипят тормоза, машина останавливается. Володя сердито кусает губы: ох, столько промахов враз, да еще по такой мишени! Выскочив, немцы залегли под откосом, — все, кроме того, белесого, который медленно, оскалив

зубы, сползает с бидонов. Какое розовое молоко хлещет сквозь щели автомобильного кузова!.. Жаркая перепалка. Необстрелянные Володины юнцы разбегаются с поля боя. Значит, это дается не сразу... Хорошо! Оставшись один, Володя припадает к пулемету: «Вот я их!» Одиночный выстрел, очереди не последовало. Второпях растерялся и сам командир: что это, поломка пулемета? Он же сам чистил и разбирал его накануне... Полудетское замешательство: в мгновенье ока надо припомнить все, что проходили на специальных занятиях в школе.

— Так почему же, почему же он не стреляет? Забыл, забыл... — шепчут губы.

Это похоже на экзамен, на грозный экзамен, где экзаминаторами — жизнь и смерть... В минуту затишья немцы вскакивают на машину. Володя снова хватается за винтовку: это проще. Ага, еще один свалился, точно нырнул в зеленую некошеную траву! А вот и вражеский офицер, согнувшись, хватается за живот.

— Смотри, не обожги себе утробы горячим русским молочком, майор!

Немецкий шофер успевает завести мотор. И только теперь Володя понял свою ошибку: он просто забыл нажать предохранитель. Машина пускается наутек. Гитлеровцев гонит животный страх перед русскими партизанами. Закусив безусую губу, Володя посылает вдогонку длинную не очень меткую очередь.

А вечером в укромном месте, где-нибудь в уцелевшем овине, состоялись, наверно, занятия в отряде. Никто не глядел в лицо друг другу, и с недетской серьезностью звучал басок Володи:

— Ничего, товарищи! Учимся. Однако рассмотрим все-таки причины этой неудачной операции...

Конечно, он не бранил их; он всматривался в смущенные добрые лица крестьянских детей, искал слова поддержки, чтоб разбудить в них сноровку, стойкость и великую силу к сопротивлению. В конце концов немудрено, что случилась неудача. То была пора, когда вся страна лишь училась давать отпор внезапному врагу. Прославленная германская организованность, помноженная на массовый опыт всеевропейских убийств, примененная в гнусном деле разбоя и террора на нашей земле, казалась тогда черной и грозной силой. И Володя Куриленко

знал, что этот первый урок еще пригодится им впоследствии.

Рано закончилась юность у поколенья русской молодежи времен Отечественной войны. Родина поставила их в самое горячее место боя и приказала стоять насмерть. Кто бы узнал теперь в молодом и строгом командире с незастегнутой кобурой и гранатой у пояса мальчика Володю Куриленко, мечтателя и адмирала несуществующих морей? Хозяйская ответственность за судьбу страны легла на его плечи и как бы придавила их слегка. Суровая морщинка прочертилась меж бровей, тоньше и жестче стали возмужавшие губы и еще тверже сердце, познавшее радость мщенья и горечь разлуки с павшими друзьями.

В сентябре враг высылает уже крупные карательные отряды против партизанских сил, к которым присоединилась и группка Володи Куриленко. Началась лютая охота нацистов на непокорное и непокоренное население. Отряд Куриленко был окружен в деревне. Уже каратели идут по избам, но командиру удалось проскользнуть сквозь самые пальцы ночной облавы. Несколько человек из отряда попадают в плен к фашистам. Приговор им вынесен заранее. Подобно прославленным восьми волоколамским комсомольцам-мученикам, они погибают на виселице.

Прощайте, юные мореплаватели, познавшие море жизни в самую грозную штормовую ночь! Может быть, вы стали бы капитанами дальних плаваний и прокладывали новые трассы в ледяных пространствах севера... Веревка иноземных палачей оборвала вашу мечту. Запомним: они заплатят вдесятеро. И на стальных бортах новехоньких кораблей ваши имена много раз еще обойдут все моря родины!

Каратели трудятся. Питекантропы в гестаповских мундирах убивают и жгут. Пепел и слезы, слезы и пепел — вот удел занятых врагом областей. Ничего, они — как споры ненависти, эти серые пепелинки: из каждой родится по герою. Дню всегда предшествует ночь... Партизанское движение в этом крае, кажется, совсем подавлено. Наступила черная осень 1941 года. Отступление Красных Армий. Первый снег кружится над поруганной землей. Знойко и тихо в этой искусственно созданной пустыне,

отгороженной от мира огневой завесой разрывов. Куриленко возвращается к отцу, и снова на некоторое время становится прежним Володей. Он отбивается от усталости и разочарования, что невольно крадутся в сердце: «Ничего, выстоим, выдюжим! Не для того мы рождались на свет... и еще не допеты наши песни!»

Тайком он устанавливает радиоприемник, — пригодилась детская любознательность. Вместе с родными в темные ночи он слушает передачи из такой близкой и такой далекой теперь осажденной Москвы. Громче, громче бейте, часы на Спасской башне: миллионы преданных сердец слушают вас в эту ночь! А чуть забрезжит утро, Володя отправляется в путь, с ломтем хлеба за пазухой. Он разносит слова правды, которые узнал ночью, по всем отдаленным местностям района. В селах знают, любят и ждут его. Куриленко становится живой газетой. Трудное и почетное дело в условиях глубокого немецкого тыла и зверских законов оккупации.

Идут месяцы. Декабрь. Могучие удары сибирских дивизий под Москвою. Эхо их разносится по всему миру, добивая глупый миф о непобедимости германских армий. Фронт снова приближается к родным Володиным местам. Скоро, совсем скоро взметнется под ногами поработителей эта измученная, расковырянная земля. А пока таись и жди своего часа, гордый мститель Смоленщины! И часто, отправляясь с добрыми вестями по тайным тропкам в самые глухие углы, к друзьям, он останавливался где-нибудь на опушке леса, этот коробейник новостей, и, прищурясь, глядел на железнодорожное полотно.

Дни прибывали. Слепил глаза крепнущий снежный наст.

Шел очередной поезд с гитлеровскими убийцами. Усердно пыхтели паровозные поршни, и то ли зимний ветерок подвывал в ветвях, то ли постылая вражеская песня сочилась сквозь железную обшивку вагонов. Вражеские рожи прильнули к окнам изнутри. Любопытно было поглядеть, среди каких таких восточных просторов и немерянных русских лесов придется им сгнивать в недалеком будущем...

И, наверно, улыбался Володя, думая про себя:

«Вот новая партия немецких покойников своим ходом,

в живом виде, направляется к своим предназначенным могилам. Не вернется ни один, ни один! Что же, спешите, бравые подлецы!..»

И кстати считал вагоны с живым и платформы с мертвым инвентарем, чтобы рассказать потом, кому следует, об этой встрече. Всякое знание полезно партизану.

...В январе не выдержало сердце. Володя уводит отца и брата в лес, в жгучую морозную неизвестность. Оказалось, там кочевал тогда отряд славного партизана товарища Ш.

Часть февраля уходит на разведку, на установление правильной связи с Красной Армией. Приходится много раз пересекать огневую линию фронта. У Владимира Куриленко накапливается богатый опыт диверсий, шлифуется мастерство партизанского действия. Ненависть к врагу — вот всенародная академия, где он получил свое военное образование. Теперь уже никакая внезапность не застанет его врасплох. Зрелость входит в его трудную и чреватую опасностями юность. Партизан *всегда* бьется с численно превосходящими силами противника. «Четверо против шестидесяти восьми? Ничего. Великая мать смотрит на нас. Вперед!» И отступали, только израсходовав весь огневой запас.

Какое пламя гнева нужно было хранить в себе, чтобы не закоченеть в такие бездомные, метельные партизанские ночи!

Молодой Куриленко поспевает везде. Ему хватает времени на все, точно он сторукий. Все партизанские специальности знакомы ему. Вот дополз слух о том, что в одной деревне организован полицейский отряд для борьбы с партизанами. Володе дается поручение превратить в падаль изменников родины, и он с друзьями выполняет приказ. Это он за каких-нибудь полтора месяца, сообща с товарищами, спускает под откос пять вражеских поездов с боеприпасами и живым солдатским грузом. Это он взрывает мосты на магистралях и сообщает нашему командованию о заторах, образовавшихся на путях. И стаи наших краснокрылых птиц расклевывают дочиста скопления вражеских эшелонов...

Порою, кажется, юноша дразнит судьбу, как будто не одну, а сотню жизней подарила ему родина. И тут начинается широкая, как река, песенная слава партизана.

Умей расшифровать, увидеть в недосказанных подробностях сухую газетную сводку, современник! Это стенограмма народной войны. Сердцем патриота почувствуй, глазами брата прочти эти скудные записи в партизанском дневнике. Вот некоторые из них, скромная повесть о буднях партизана:

«2.3.1942. Владимир Куриленко с товарищем А. при возвращении в лагерь наткнулся на немецкую батарею. Пулеметным огнем скошено 2 артиллерийских расчета. Товарищ А. убит.

5.3.1942. Четверо, среди которых Владимир Куриленко, вступили в бой с 68 фашистами. Убито три оккупанта, один ранен.

30.3.1942. Партизаны нашего отряда, Владимир Куриленко и бойцы отряда особого назначения, скинули под откос поезд между станциями Л. и К. Убито 250 фашистов.

10.4.1942. Крушение товарного состава на дороге С.—Л. Одновременно подорвано соседнее железнодорожное полотно. Владимир К.

13.4.1942. Подбита машина. Уничтожено 4 немца. Куриленко с товарищами.

14.4.1942. На комсомольском собрании ответственным секретарем президиума ВЛКСМ избран Владимир Куриленко.

26.4.1942. Еще один эшелон на перегоне К. — Л. спущен под откос Владимиром К. Погибло 270 немцев. Взорван паровоз и железнодорожное полотно на О. направлении».

В этих скупо обозначенных эпизодах ничего нет о стремительной дерзости, о высоком искусстве преодоления, казалось бы, непреодолимых препятствий, об особенностях партизанской жизни. Каждую минуту бодрствования или тревожного, урывками, сна находиться в окружении! И в самом кратком, почти бесцветном эпизоде от 13 апреля ничего не сказано про обстоятельства очередной схватки с противником. Приблизь к глазам эту скромную запись, современник!

Ранняя шла в том краю весна. Талая кашица стояла под снегом, почернелым и источенным, хрупким, как стеклянное кружево. Уже на возвышенностях, где днем пригревало солнышко, глубоко увязали ноги. Трое, во главе

с Володей Куриленко, шли на выполнение боевой задачи. О, столько раз описанное в литературе предприятие и ни разу не описанное до конца: *мост*. Река встала на их пути. Слабо мерцал в сумерках синий, истончавший ледок, кое-где уже залитый водою. На задней кулисе туманного леска тревожно чернел силуэт самой цели. По зыбкому, гибельному льду, чуть схваченному вечерним морозцем, подрывники перешли реку. Оставался еще ручей; он клокотал и шумел всеми голосами весны. Пришлось перебраться вброд. К мосту подошли уже мокрые по пояс... Спокойно и деловито закладывали кегли, когда Миша, товарищ Куриленко, сигнализировал о приближении вражеской автомашины. Жалко было упускать и эту, маленькую, цель. Здесь было достаточно удобное место для засады, в глубоком затоне ручья. Трое залегли в воду, только глаза, злые и зоркие глаза их остались над поверхностью.

Мы не знаем, как тянулись эти минуты ожидания. Те, которые еще бьются с врагом на Смоленщине, расскажут потом подробнее про этот вечер. Наверно, пронзительная тишина стояла в воздухе. И, может быть, Володя спросил шопотом, чтобы шуткой поддержать товарища:

— Что, не промок, хлопец?

— Кажется, коленку замочил ненароком, — шуткой же отвечал тот. — А что?

— Ничего... Смотри не остудись. Этак и насморк можно заработать.

Ближе стеклянный хруст ледка в подмерзших колеях. Вот и свет фар показался на дороге. Кто-то шевельнулся в засаде. Желтые латунные блески пробежали зыбью по воде.

— Начнем с гранаты, хлопцы!

Трудно кидать эту чугунную игрушку закоченевшей рукой. Но не промахнись, партизан: их больше. Взрыв — и мгновение спустя басовитое одобрительное эхо вернулось от леска к засаде Куриленко. Машину почти сошвырнуло с дороги, но она еще двигалась. «Теперь стрелять...» Четырех убили, пятерых ранили; безотказно действовал ППД. Из строений ближней МТС, где расположились немцы, уже бежали, галдя и стреляя наугад, полуодетые фигуры солдат. Обшарили, прострочили всякий кустик, черневший на берегу, но все было неподвижно: и вода,

и мертвые солдаты на завоеванной ими земле, и дальний лесок, охваченный чутким безмолвием весны...

Она вступила в свои права, весна. Повеселели лужки на припеках; тонким, почти бесплотным туманцем окутались рощи. И птицы, каких еще не разогнал орудийный грохот, шумели иногда в лесных вершинках. Подступала пора великих работ на земле, и не было их — мешали фашисты. Злее становились удары исподтишка, в затылок врага. И ровно месяц спустя после памятной операции наступил отличный вечер, уже проникнутый тончайшим ароматом целомудренной русской флоры. Снова отправлялись в путь партизаны, и опять их было трое, с Куриленко Володей во главе. Теперь они свою взрывчатку заложили под железнодорожное полотно и терпеливо ждали, как ждет рыболов своей добычи на громадной и безветренной реке.

Сбивчивые стуки пошли по рельсам; земля подсказала на ухо партизану:

— Пора!

Володя выждал положенное время и крутнул рукоятку заветной машинки. И тихий русский вечер по-медвежьи, раскоряко, встал на дыбы и черную когтистую лапу взрыва обрушил на вражеский эшелон. Гаркнула тишина; вагоны с их живой начинкой посыпались под откос, вдвигаясь один в другой, как спичечные коробки... И где-то невдалеке трое юношей, исполнители казни, сурово наблюдали эту страшную окрошку из трехсот фрицев.

— Люблю большую и чистую работу, — сквозь зубы процедил Владимир Куриленко и повернулся уходить.

Он был веселый в тот вечер. Легко и вольно дышалось в майском воздухе. И хорошо было чувствовать, что родина опирается о твое надежное комсомольское плечо... Они шли молча, и необъятная жизнь лежала перед ними в дымке юношеских мечтаний. На ночь они расположились в деревне С., и никто не знал, что это была последняя ночь Володи.

В полночь деревня была охвачена кольцом карательного отряда. Началось избиение людей, не пожелавших выдать спрятанных партизан. В перестрелке был насмерть сражен друг и соратник Володи комсомолец К. Сам Куриленко, раненный в голову и живот, продолжал отстре-

ливаться. Каратели подожгли дом. Пламя хлестнуло в окна, зазвенело стекло, черная бензиновая копоть заструилась в нежнейшем дыхании ночи. Тогда товарищ Володи, владевший языком врага, крикнул по-немецки в окно:

— В своих стреляете, негодяи! Кто, кто стреляет?

Пальба прекратилась, и в этот краткий миг передышки Куриленко и его товарищ выскочили из избы на огород, не забывая при этом унести и оружие убитого товарища.

Кое-как они дотащились до соседней деревни. Незнакомая Володе смертная слабость овладела его телом. Так вот как *это* бывает!.. «Ничего, крепись, партизан! Чапаю было еще труднее, когда он боролся один на один со смертью и воды Урала тянули его вниз...»

Крови становилось меньше, он уже не мог стоять, когда добрались до деревни. Неизвестный друг запряг лошадь и положил, сколько влезет, соломы на дно телеги. Двинулись в путь медленно, чтоб не увеличивать муки раненого. Лошадь шла шагом.

— Крепись, крепись... Еще немного, Володя, — шептал А.

Откинув голову, ослабев от потери крови, Куриленко лежал в телеге. Тысячи самых красивых, самых здоровых девушек в стране без раздумья отдали бы кровь этому герою и всю жизнь потом гордились бы этой честью. Но не было никого кругом, кроме друга, бессильного помочь ему, да еще великого утреннего безмолвия. Затылок с непокорными юношескими вихрами, смоченными кровью, бился о задок телеги, и голубой взор был устремлен в бесконечно доброе небо родины, едва начинавшее голубеть в рассвете.

Он слышал все в этот час: всякий шорох утра, каждый запах, веявший с поля, треск сучка, шелест земли, разминаемой колесом, просвист птичьего крыла над самым ухом... И уже бессильный повернуть голову, он узнавал по этим бесценным мелочам облик того, что так беззаветно и страстно любил... Боль уже прошла, но это означало приближение смерти. Только легкая и острая тоска по родине, покидаемой навсегда, теплилась в этом молодом и холодеющем теле. Вот оборвалась и она...

Такова последняя строка в анкете героя.

«Не долго жил, да славно умер», — говорит русская древняя пословица. Он умер за семь месяцев до своего совершеннолетия. Для того ли родина любовно растила тебя, Володя Куриленко, чтоб сразила тебя пуля гитлеровского подлеца? Прощай! Отряд твоего имени мстит сейчас за тебя на Смоленщине.

Не плачь о нем, современник. Копи в себе святую злобу. Но вспомни Володю Куриленко, когда ты будешь идти в атаку или почувствуешь усталость, стоя долгую военную смену у станка. Это придаст тебе ярости и силы... На великой и страшной тризне по нашим павшим братьям мы еще вспомним, вспомним, вспомним тебя, Володя Куриленко!

1942

НЕИЗВЕСТНОМУ АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Мой добрый друг!

Я не знаю твоего имени. Наверно, мы не встретимся с тобою никогда. Пустыни, более непроходимые, чем во времена Цезаря и Колумба, разделяют нас. Завеса сплошного огня и стального ливня стоит сегодня на главных магистралях земли. Завтра, когда схлынет эта большая ночь, нам долго придется восстанавливать разбитые очаги цивилизации. Мы начнем стареть. Необъятные пространства, которыми мы владели в мечтах юности, будут постепенно мельчать, ограничиваться пределами родного города, потом дома и сада, где резвятся наши внуки, и, наконец, могилы.

Но мы не чужие. Капли воды в Волге, Темзе и Миссисипи сродни друг другу. Они соприкасаются в небе. Кто бы ты ни был — врач, инженер, ученый, литератор, как я, — мы вместе крутим могучее колесо прогресса. Сам Геракл не сдвинет его в одиночку. Я слышу твое дыхание рядом с собою, я вижу умную работу твоих рук и мысли. Одни и те же звезды смотрят на нас. В громадном океане вечности нас разделяют лишь секунды. Мы — современники.

Грозное несчастье вломилось в наши стены. Оглянись, милый друг. Искусственно созданные пустыни лежат на месте знаменитых садов земли. Черная птица кружит в небе, как тысячи лет назад, и садится на лоб поверженного человека. Она клюет глаз, читавший Данте и

Шекспира. Бездомные дети бродят на этих гиблых просторах и жуют лебеду, выросшую на крови их матерей. Все гуще горелой человечиной пахнет в мире. Пожар в разгаре. Небо, в которое ты смотришь, пища, которую ты ешь, цветы, которых ты касаешься — все покрыто ядовитой копотью. Основательны опасенья, что человеческая культура будет погребена, как Геркуланум, под этим черным пеплом. Война.

Бывают даты, которых не празднуют. Вдовы надевают траур в такие дни, и листья на деревьях выглядят жестяными, как на кладбищенском венке. Прошло три года этой войны. Облика ее не могли представить себе даже самые мрачные фантасты, — им материалом для воображенья служила наивная потасовка 1914 года. С тех пор была изобретена тотальная война, и дело истребления поставлено на прочную материальную основу. Немыслимо перечислить черные достижения этих лет. Обесчещено все, чего веками страдания и труда добился род людской. Затоптаны все заповеди земли, охранявшие моральную гигиену мира. Война еще не кончена.

В такую пору надо говорить прямо и грубо, — это умнее и честнее перед нашими детьми. Речь идет о главном. Мы позволили возникнуть Гитлеру на земле... Будущий историк с суровостью следователя назовет вслух виновников происходящих злодеяний. Ты думаешь, там будут только имена Гитлера и его помощников, замысливших порабощенье мира? Петитом там будут обозначены тысячи имен его вольных и невольных пособников — красноречивых молчальников, изысканных скептиков, государственных эгоистов и пилатов всех оттенков. Там будут приведены и некоторые географические названия — Испания и Женева, Абиссиния и Мюнхен. Там будут фонетически расшифрованы грязные имена Петэна и Лаваля, омывших руки в крови своей страны. Может быть, даже целый фильм будет приложен к этому обвинительному акту, — фильм о последовательном возвышении Гитлера: как возникал убийца, и как неторопливо точил он топор на глазах у почтенной публики, и как он взмахнул топором над Европой в первый раз, и как непонятные капли красного вещества полетели во все стороны от удара, и как мир вытер эти брызги с лица и постарался не догадаться, что это была за жидкость.

Люди, когда они идут в одну сторону, — попутчики и друзья. Когда они отдают силы, жизнь и достояние за великое дело, — становятся братьями. И если громадное преступление безнаказанно совершается перед ними, — они сообщники. Протестовать против этого неминуемого приговора можно только сегодня, пока судья не сел за стол, — протестовать только делом и только сообща.

Милый друг, со школьной скамьи мы со страхом поглядывали на седую древность, где, кажется, самые чернила летописцев были разведены кровью. Наш детский разум подавляли образы хотя бы Тимура, Александра, Каракаллы... Позже детский страх смягчился почтенностью расстояния и романтическим великодушием поэтов. Наш юношеский гнев и взрослую осторожность парализовала мнимая безопасность нынешнего существования. Ужас запечатленного факта окутывался легкой дымкой мифа. Ведь это было так давно, еще до Галилея и Дарвина, до Менделеева и Эдисона. Мы даже немножко презирали их, этих провинциальных вояк, ближайших правнуков неандертальца и кроманьонца!..

Так вот, все эти бородатые мужчины с зазубренным мечом в руке, эти миропотрясатели, джихангиры, — как их называли на Востоке, — все они были только кустари, самоучки истребления. Что Тимур, растоптавший конницей семь тысяч детей, выставленных в открытом поле; или Александр, распявший две тысячи человек при взятии Нового Тира; или Василий Болгароктон, ослепивший в поученье побежденным пятнадцать тысяч болгар; или Каракалла, осудивший на смерть всю Александрию? Сколько жителей было в этой большой старинной деревне?

Мир услышал имя Гитлера. Рекорды Диоклетиана, Альбы, Чингиса биты. На смену неумелым простакам, вымазанным в крови, пришли новые варвары, с университетским дипломом, докторанты военного разбоя, академики массовых убийств. В стране, где однажды на горькое благо человечества был изобретен порох (во Фрейбурге, верно, еще стоит монумент черному Бартольду!), теперь родилась идея, которую трудно определить вполне корректными словами. Отныне им принадлежат,— вопят они,— земля и небо, наши города и машины, наши дома и семьи, наши дети, наше будущее, наше — все. Поработить людей, забыть все, долой homo sapiens'a,

да здравствует покорное человеческое существо, которое отныне будет разводить рыжий арийский пастух. Этот новый вид двуногого домашнего животного будет работать, взирая на бич хозяина, драться за его интересы — с теми, кто еще не лег добровольно под ярмо, уныло жрать свой травяной корм и спать в обширном хлеву, в который должна обратиться Европа. И пусть ему нехватит времени на любовь, на познание, на мышленье — эти неиссякаемые источники его радости, его горя, его божественных трагедий. В этом и будет заключаться «счастье» преобразованной нордической Европы.

Была пора — русский поэт Александр Блок в 1918-м кричал о времени —

...когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить! —

и мы принимали этот пророческий образ за поэтическую метафору. «Этого не бывает...» Нет, бывает! Мертвые Шекспир и Дант не смогут нас защитить от живого Гитлера. И время это пришло.

Хоругви предков — какие бы величественные слова ни были начертаны на их ветхих полотнищах — не защитят тебя от пикирующего бомбардировщика. Смотри, красномордые гитлеровские апостолы, с руками по локоть в сукровице, уже взялись за переустройство Европы. И не такими уж неприступными оказались наши прославленные цитадели гуманизма. Политые лигроином, книги горят отлично, а толуол неплохо действует под фундаментами наших храмов. Гитлер идет на штурм мира. Вена и Прага, Варшава и Белград, Афины и Париж... вот уже преодоленные ступени штурмовой лестницы, по которой варвар лезет на наши стены. Он уже приблизился на расстояние руки: смотри ему в глаза, в них нет пощады. Топор с пропеллерной скоростью свистит и вьется в его руке... Холодок этого вращенья ложится на твое лицо. И если бы не Россия, он был бы уже на самом верху цитадели.

Прости мне эти мрачные картины не знакомой тебе действительности. Мне приятнее было бы рассказать тебе, как еще несколько лет назад мы без устали строили у себя материальные базы человеческого благосостояния.

Наши юноши и девушки хотели прокладывать дороги, воздвигать заводы и театры, проникать в тайны мирозданья, побеждать неизлечимые болезни, изобретать механизмы и создавать ценности, из которых образуются стройные коралловые острова цивилизаций. Они стремились обогатить и расширить великое культурное наследство, подаренное нам предками. Они мечтали о золотом веке мира... Их мечта разбилась под дубиной дикаря. Военная непогода заволокла безоблачное небо нашей родины. В самое пекло войны была поставлена наша молодежь, и даже там не утратила своей гордой и прекрасной веры в Человека.

Они-то крепко знают, что в этой схватке победят правда и добро. Орлиная русская слава парит над молодежью моей страны. Какими великанами оказались наши, вчера еще незаметные люди! Они возмужали за эти годы, — страдания умножают мудрость. Они постигли необъятное значение этой воистину Народной войны. Они дерутся за родину так, как никто, нигде и никогда не дрался: вспомните черную осень 1941 года!.. Они ненавидят врага ненавистью, которой можно плавить сталь, — ненавистью, когда уже не чувствуются ни боль, ни лишенья. Пламя гнева их растет ежеминутно, — все новое горючее доставляют для него гитлеровские прохвосты, ибо безмерны злодеяния этих громил. Все меркнет перед ними, — утонченная жестокость европейского средневековья и свирепая изобретательность заплечных мастеров Азии. Нет такого мученья, какое не было бы причинено нашим людям этими не-людьми.

Может быть, тебе не видно всего этого издалека? Чужое горе всегда маленькое. Может быть, ты все-таки думаешь, что воды́ в Темзе и Миссисипи протекает больше за единицу времени, чем крови и слез в Европе? Может быть, ты не слышал про Лидице? Может быть, тебе кажутся преувеличенными газетные описания всех этих палаческих ухищрений?.. Я помогу тебе поверить. Сообщи мне адрес, и я пошлю тебе фотографии расстрелянных, замученных, сожженных. Ты увидишь ребятишек с расколотыми черепами, женщин с разорванной утробой, девственниц с вырезанной после надругательства грудью, обугленных стариков, никому не причинивших зла, спины раненых, где упражнялись на досуге резчики по человеческому мясу... Ты увидишь испепеленные деревни и раскрошенные

города, маленькие братские могилы, где под каждым крестиком лежат сотни, пирамиды исковерканных безумием трупов... Керченский ров, наконец, если выдержат твои очи, увидишь ты! Ты увидишь самое милое на свете, самое человеческое лицо Зои Космодемьянской после того как она, вынутая из петли, целый месяц пролежала в своей ледяной могиле. Ты увидишь, как вешают гирляндой молодых и славных русских парней, которые дрались и за тебя, мой добрый друг, — как порют русских крестьян, не пожелавших склонить своей гордой славянской головы перед завоевателями, — как выглядит девушка, которую осквернила гитлеровская рота... Оставь у себя эти документы. Сложи их вместе с теми выцветшими за четверь века снимками героев Ютландского боя и Марнской битвы. Сохрани их как наглядное пособие для твоих детей, когда станешь учить их любви к родине, вере в Человека и готовности погибнуть за них любой гибелью.

Не жалости и не сочувствия мы ждем от тебя. Только справедливости. И еще: чтоб ты хорошо подумал над всем этим в наступившую крайнюю минуту.

После разрушения Тира Навуходоносором (573 г. до н. э.) было высечено там на камне, что «осталась только голая скала, где рыбаки сушили свои сети». Иероним горько сказал о своей родине, Паннонии, что после войны «не осталось там ничего, кроме земли да неба». Теперь эти описания пригодны для областей, стократно бо̀льших. Гостем или туристом приезжая к нам, ты посетил, конечно, и Ясную Поляну с могилой великого старика, и киевские соборы; ты щелкал своим кодаком, наверно, и новоиерусалимский храм на Истре и прозрачные рощи петергофских фонтанов. Их больше нет. Все, что не влезло в объемистый карман этих фашистских туристов, было уничтожено на месте яростью нового Аттилы.

Нерадиво берегли нашу цивилизацию: не сумели даже обезопасить ее от падающих бомб. Слишком верили в ее святость и прочность. Когда наши радио передавали легкую, порою — легчайшую музыку, с нацистских станций откровенно гремела медь грубых солдатских маршей. Бог войны примерял свои доспехи, которые мы слишком рано сочли за утиль. Сталин говорил об этом не раз, — мир не умел или не хотел слышать. Не ссылайтесь же впоследствии, что никто не предупредил вас о грядущих несчастьях!

Есть такие граждане мира, которые полагают, что если они местожительствуют далеко от вулкана, то до них не доползет беда. В стремленье изолироваться от всеобщего горя они подвергают риску не только жизнь свою, но и репутацию. Самые хитроумные пройдохи юриспруденции не придумали пока оправдания джентльмену, равнодушно созерцающему, как топчут ребенка или насилуют женщину... Условно, из вежливости, назовем это пока выжидательной осторожностью. Однако не сомнительная ли это мудрость, — ждать, пока утомится убийца, или притупится его топор, или иссякнут его жертвы? Больше того, — пока на протяжении двух с половиной тысяч километров длится жесточайший Верден, уснащенный новейшими орудиями истребления, эти почтенные умы подсчитывают количества танков, какими они будут располагать летом 45 года и осенью 56-го. Прогнозы вселяют в них животворящий оптимизм, как будто врага могут устрашить или остановить подобные математические декларации. Наши эксперты не сомневаются, кстати, что к зиме 1997 года количество этих железных ящеров достигнет гомерических чисел. Армады старых железных птиц, поржавевших от безделья и не снесших ни одного яйца на вражеские арсеналы, закроют своими крыльями целые материки. Но не случится ли что-нибудь неожиданное и чрезвычайное до наступления той обманчиво-благоразумной даты?

Пьяному море по колено, а безумцу не страшен и океан. Никто не превосходил в хитрости безумца. Береги своих детей, милый друг. Послушай, как они плачут в Европе. Все дети мира плачут на одном языке. Великие беды легко перешагивают через любые проливы. Французы тоже надеялись, что их спасет знаменитая железобетонная канава на северо-восточной границе, оборудованная всеми военными удобствами!

Я люблю моих современников, тружеников земли! Я благодарен им уже за то, что не один я перед лицом врага, который и им не может быть другом. Я уважаю их деятельную, искательную мысль, их творческое беспокойство, их прошлое, полное героев и мудрецов. Мне дороги их отличные театры, их обсерватории, где пальцами лучей они считают светила, их университеты, где по граммам выплавляется бесценное знание человека, их стадионы, парки, лаборатории, самые города их. Они умеют все —

делать чудовищные машины, послушные легчайшему прикосновению руки, создавать великолепные произведения искусства, которые — как цветы, что роняет, шествуя по вечности, Человек! Все это под ударом сейчас.

Скажи тем, которые думают пересидеть в своих убежищах, что они не уцелеют. Война взойдет к ним и возьмет их за горло, как и тебя. Она превратит в щебень все, чем ты гордился в твоих городах, развеет пеплом создания твоих искусств, в каменную муку обратит твои святыни. Едкая гарь Европы еще не ест тебе глаза?.. Гитлер вступит в твою страну, как в громадный универмаг, где можно не платить и даже получать воздаяние за произведенную им работку! Если он на Смоленщине отбирал скудный ширпотреб у русского мужика, почему бы ему не поживиться сокровищами американских музеев? Его первейшая мечта — победителем побывать на британских островах. Новый Иов, ты сядешь посреди смрадных развалин, в гноище раскаяния, с единой душой да с телом!

Скажи тому, который не верит, что война ворвется к нему, выволочет за волосы жену его и детей его передушит у него на глазах. Оглянись на Белоруссию, Югославию, Украину. Если там девушек, не достигших совершеннолетия, гонят кнутом в солдатские бордели, почему же они думают, что Гитлер пощадит их мать, сестру или дочь? Если русских и еврейских детей он кидает в печь или пробует на них остроту штыка и проверяет меткость своего автомата, какая сила сможет защитить твоего ребенка от зверей? Война — безглазое и сторукое чудовище, и каждая рука шарит свою добычу. Прежде чем они заплачут слезами Иеремии, посоветуй им купить «Мейн кампф»: там начертана их участь.

В этой войне, в которую рано или поздно ты вольешь свою гневную мощь, нужно победить любым усилием. Безумец не страшен, если во-время взяться за него. Непобедимых нет.

Русские солдаты под Москвой видели этих каналий в декабре прошлого года: они бежали с нормальной для застигнутого вора резвостью... Победу нужно начинать немедля и с главного: убивать убийц, поднявших руку на священные права Человека. Потом нужно истребить и самый микроб войны, который еще гнездится кое-где в древних фанабериях европейских народов. С некоторого

времени перерывы между войнами существуют только для того, чтобы народы поострей отточили сабли. Развитие промышленности все более укорачивает эти антракты между великими вселенскими бойнями. Их размеры возрастают в геометрических прогрессиях, обусловленных расширением технических возможностей. Александр Македонский, идя на завоевание мира, перевел через Геллеспонт 35 000 воинов в трусиках и с короткими мечами. Нынешняя война начинается с вторжения десятков миллионов людей, многих тысяч боевых машин, с бомбежек и истребления самого неприкосновенного фонда, наших матерей и малюток. Нужно заглянуть в самый корень этого основного недуга Земли. Нужно клинически проследить кровавую родословную последних войн и найти их первую праматерь, имя которой Несправедливость, и убить ее в ее гнездовье.

Мой добрый друг, подумай о происходящем вокруг тебя. Сыновья героев 1914—1918 годов ложатся на кости своих отцов, не успевшие истлеть на полях сражений. Какие гарантии у тебя, что и твой голубоглазый мальчик, соскользнув с злодейского штыка, не упадет на кости деда?..

Цивилизации гибнут, как и люди. Бездне нет предела. Падать можно бесконечно. Помни, потухают и звезды.

Учитель мой, Горький, назвал тебя мастером культуры. Думай же, мастер культуры!

Мы, Россия, произнесли свое слово: Освобождение. Мы отдаем все, что имеем, делу победы. Наш красноармеец, который принял на свою грудь тягчайший удар громилы, — великий мудрец, который смотрит вперед и видит отдаленное будущее своих потомков. Еще не родилось искусство, чтобы соразмерно рассказать об отваге наших армий. Они отдают жизнь за самое главное, чему и ты себя считаешь другом.

Но... amicus cognoscitur, amore, more, ore, re[1].

Я опускаю это письмо в почтовый ящик мира.

Дойдет ли оно?

2 августа 1942 г.

---

[1] Друг познается по любви, по нраву, по лицу, по делам *(лат.)*.

НЕИЗВЕСТНОМУ АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Мой добрый друг!

Здесь заключено публичное признание моего бессилия. Я никогда не создам этого рассказа. Скорбную мою повесть надо писать на меди: бумагу прожигали бы слова об этих двух безвестных женщинах. Я не знаю ни национальности их, ни имен. Вернее, я теряюсь, какие из семи тысяч я должен выбрать, чтобы не оскорбить памяти остальных членов этого страшного братства.

Ты без труда представишь себе этих двух героинь ненаписанной повести, мой неизвестный американский друг: пятилетнюю девочку и ее мать. Маленькая была, совсем как твоя дочка, которую ты ласкал еще сегодня утром, отправляясь на работу. Ее мать также очень похожа на твою милую и красивую жену, только одета беднее и у нее очень усталое лицо, потому что жить в городе, занятом немецкой армией, несколько труднее, чем под безоблачным небом Америки. Они помещались в крохотном, с бальзаминами на окнах, домике, у которого отстрелили снарядом угол в недавнем городском бою. Починить его было некому, так как отец, рядовой русский солдат, ушел со своим полком, чтобы где-то, на далеком рубеже, без сна и устали бить в костистую морду смерти, поднявшейся ныне над всем цивилизованным человечеством.

Фронт был отодвинут вглубь страны, и грохот русских пушек, этот гневный голос родины, перестал быть слышен в тихом городке. Наступила великая тоска, и в

ней один предзимний, еще бесснежный денек. Мороз скрепил землю, и лужицы подернулись стрельчатым ледком. Всем нам в детстве одинаково нравилось ступать по этому хрусткому стеклышку и вслушиваться в веселую музыку зимы. Когда в одно бессолнечное утро девочка попросилась на улицу, мать одела ее потеплее, в рваненькое и уцелевшее, и выпустила с наказом не отходить далеко от дома; сама она собиралась тем временем заделать пробоину в стене.

Ставши у ворот, маленькая боязливо улыбалась всему, что видела. Она бессознательно хотела задобрить громадную недобрую тишину, обступившую городок. Никто не замечал присмиревшего ребенка: все были заняты своим делом. Порхали воробьи, и шумел за облаками самолет. Сменные немецкие караулы чеканно направлялись к своим постам. Изредка робкая снежинка падала из пасмурного неба, и, подставив ей ладонь, девочка следила, как та превращалась сперва в прозрачную капельку, потом — в ничто. У маленькой не было ее пестрых, любовно связанных бабушкой перчаток. Ночью случился обыск, а у немецкого солдата, приходившего за трофеями, видимо, имелась девочка такого же возраста в Германии.

Шум в конце улицы привлек внимание ребенка. Объемистый автобус, с фальшивыми нарисованными окнами, остановился невдалеке. Сняв рукавицы и подняв капот, шофер мирно копался в моторе. Шеренга немецких пехотинцев, как бы скучая и с примкнутыми штыками, двигалась сюда, и в центре полукольца плелись безоружные местные жители, человек сорок, с узелками, старые и малые. Некоторые застегивались на ходу, потому что их внезапно выгнали из дому. Годных к войне между ними не было, грудных несли на руках. Это походило на невод, который по мелкой воде тянут рыбаки. Шествие приблизилось, впереди шли дети.

Все выглядело вполне обыденно. И хотя все понемножку о чем-то догадывались, никто не плакал из страха вызвать добавочную злобу у этих равнодушных солдат. Видимо, всем этим людям предстояло ехать куда-то во имя *жизненных* германских интересов — и нашей маленькой — в том числе! Ей очень нравилось ездить в автомобилях, хотя только раз в жизни она испытала это наслаждение. Установился обычай в нынешней России катать

детей по первомайским улицам в грузовиках, разукрашенных цветами и флагами; обычно при этом дети пели тоненькими голосками... Кстати, девочка поискала глазами в кучке ребят свою старинную подружку. Маленькая еще не знала, что ее, контуженную при занятии городка, закопали прошлым вечером в вишеннике, за соседским амбаром.

Скоро мертвая петля облавы захлестнула и домик с бальзаминами, возле которого стояла моя пятилетняя героиня. Комплект был набран и раздалась команда. Козырнув, шофер обошел сзади и открыл высоко над колесами толстую, двустворчатую дверь. Людей стали поочередно сажать внутрь фургона: слабым или неловким охотно помогали немецкие солдаты. Одна древняя русская старушка, не шибко доверяя машинам и прочим изобретениям антихриста, украдкой покрестилась при этом. Девочка удивилась не тому, что внутренность машины была обшита гладким металлом; ее огорчило отсутствие окон, без которых ребенку немыслимо удовольствие прогулки. Она ничего не поняла и потом, когда худой и ужасно длинный солдат — под руки, как русские носят самовар, понес ее к остальным, уже погруженным детям, она только улыбнулась ему на всякий случай, чтобы не уронил. В ту же минуту на крыльцо выскочила, с руками по локоть в глине, ее простоволосая мать.

Она вырвала ребенка и закричала, потому что видела накануне этот знаменитый автобус в работе. Она кричала, неистово распахнув рот, во всю силу материнской боли, и я очень удивлюсь, если не был слышен в Америке этот несказанный вопль. Она так кричала, что ни один из патрульных даже не посмел ударить ее прикладом, когда она рванулась и побежала с дочкой наугад, и запнулась, и упала, и лежала в чудовищной надежде, что ее почтут за мертвую или не заметят в суматохе. Но маленькая не знала; она силилась поднять мать за руку и все твердила: «Мамочка, ты не бойся... я поеду с тобой, мамочка». Она повторяла это и тогда, когда ее вторично понесли в цинковую коробку фургона. Но тогда вдруг заплакали и закричали все от жалости к маленькой, а громче всех — дети. Это был беспорядок, противный нацистскому духу, и, чтоб прекратить скандал в зародыше, в автобус поднялся хорошо выбритый ефрейтор с большим фабричным

тюбиком, что хранился в его походной сумке. Одновременно в его правой руке появилась узкая, на тонком стержне, кисть, вроде тех, что употребляют для гуммиарабика. Из тюбика выползла черная змейка пасты, несколько густой, но, видимо, более удобной в перевозке. Солидно, протискиваясь в тесноте среди детей, военный смазывал этим лекарством против крика губы затихавших ребят. Порой, для верности, он без промаха вводил свой помазок в ноздри ребенка, этот косец смерти и, как скошенная трава, дети клонились и опускались на ноги обезумевших взрослых. Наверно, у него имелось специальное образование, так ловко он совершал свою черную процедуру. Крики затихли, и солдатам уже не составило труда отнести и вдвинуть на пол камеры, в этот людской штабель, потерявшую сознание мать.

Дверь закрыли на автоматический запор; шофер поднялся на сиденье и завел мотор, но машина не сразу отправилась на место назначенья. Офицер стал закуривать, солдаты стояли вольно. Все опять выглядело крайне мирно: ничто не нарушало тишины, ни шумливые краснодарские воробьи, ни — почему бы это? — даже треск выхлопной трубы. И хотя машина попрежнему стояла на месте, время от времени как-то странно кренился кузов, точно самый металл содрогался от роли, предназначенной ему дьяволом. Когда папироска докурилась и прекратились эти судорожные колыханья, офицер дал знак, и машина поплыла по подмерзшим грязям за город. Там имелся глубокий противотанковый ров, куда германские городские власти ежедневно сваливали свою продукцию... — Теперь, после возвращения Красной Армии на временно покинутые места, эти длинные могилы раскопаны, и любители сильных ощущений могут осмотреть фотографии завоевательских успехов Гитлера.

Это краткое либретто темы, способной целые материки поднять в атаку, я безвозмездно дарю Голливуду. Несомненно, он получится сильнее обычных гангстерских фильмов, этот впечатляющий кинодокумент. Жаль, что его не успели поместить в той вместительной железной коробке — посылке в века, что закопана под нью-йоркской Всемирной выставкой. Любовную интригу, если понадобится, можно присочинить по ходу действия. Хорошо было бы также показать этот боевик многочисленным свободо-

любивым армиям, которые терпеливо — и который уж год! — ждут приказа о генеральном наступлении против главного изверга всех веков и поколений.

Конечно, встретятся неминуемые трудности при постановке. Вашей актрисе, Америка, трудно будет воспроизвести смертный крик матери, да и вряд ли пленка выдержит его. Режиссеру и зрителю покажутся экзотически невероятными как самый инвентарь происшествия, так и перечисленные мною вкратце детали. И хотя я вовсе не собирался писать корреспонденцию из ада, я полагаю необходимым, однако, перевести на англо-саксонские наречия название этого невиданного транспортного средства, изобретенного в Германии для отправки в вечность: душегубка... Это дизельный восьмитонный грузовик, с камерой, обложенной внутри листами надежного металла, который невозможно ни прокусить, ни процарапать ногтями. Отработанные газы мотора нагнетаются в это герметически закупоренное пространство непосредственно через трубку с защитной от засорения решеткой. Горячая сгущенная окись углерода, CO, немедленно наполняет кабину и быстро поглощается гемоглобином крови заключенных там жертв. Отравление начинается с удушья и головокружения; не стоит приводить остальных симптомов при смертельных случаях, а это приспособление создано специально для смерти. Это вряд ли и потребуется в проектируемом нами фильме. Впрочем, в классических немецких исследованиях по токсикологии Винца, Шмидеберга и Кункеля подробно разработана симптоматика этого дела.

Как видно, достижения германской науки пригодились сегодня негодяям, которым Германия вверила свою национальную судьбу и жизни. И когда Геббельс вопит со своих радиостанций о немецкой культуре, он, видимо, требует от своих будущих жертв, чтобы они до последнего дыхания сохраняли почтительное изумление перед сверкающей аппаратурой палача. Рационализация человекоистребления и дешевизна его доведены до баснословного предела. Знаменитые яды истории: демонский напиток Борджиа, или «лийстеровский насморк» елизаветинского министра, или изящная, как музыка Моцарта, отрава маркизы Бренвилье, и сама бледная аква тоффана, что продавалась в средние века в пузырьках с изображением св. Николая, —

все это дорогостоящие забавы для мелкого, индивидуального пользования. Сама Локуста, которую тоже с запозданием догадались казнить только при Гальбе, чернеет от профессиональной зависти к Гитлеру, который отбросы дизельмотора включил на вооружение германской армии. Не добывать же окись углерода, например, разложением щавелевой с помощью крепкой серной, слегка подогретой кислоты!

Эта механическая колымага гибели, что путешествует по просторам оккупированных областей России, обслуживается специальным отрядом, зондеркомандой, из двухсот человек. Должность они свою исполняют не в патологическом исступлении боя, а с трезво обдуманной полнотой большого, государственного мероприятия. У них ведется учетный журнал с точными графами, куда заносится как дата и способ уничтожения, так и пол, национальность, возраст и количество уничтоженных за сутки жертв. Не верится, что у этих черных бухгалтеров смерти тоже были мамы, которые ласкали их в детстве и, пряча свои лица, достойные Гойи, просили у неба счастьишка для своих рычащих ублюдков... Обширный штат зондеркоманды вполне окупается размерами ее деятельности. И верно, при максимальной емкости кузова в восемьдесят живых единиц, при дозировке смертной порции в десять минут, дольше которой не выдерживает самый прочный молотобоец, плюс двадцать минут на обратный рейс, включая разгрузку, — а машина действует и на ходу! — пропускную способность одного такого автобуса можно довести до полутора тысяч покойников в сутки. Таким образом, дивизион подобных агрегатов даже при умеренной, но бесперебойной работе может в месяц опустошить цветущую площадь с двухмиллионным населением.

Представь себе этих людей хозяевами земли, мой добрый друг, и содрогнись за своих любимых!

Народ мой словом и делом проклял этот подлейший замысел дьявола. Народу моему ясно, что если бы не было пушек мира, следовало бы голыми руками расшвырять это бронированное гнездо убийц. И я люблю мать мою Россию за то, что ум и сердце ее не разъединены с ее волей и силой; за то, что гордая своей правотой, она идет впереди всех народов на штурм пристанища зла. Видишь ли ты ее, когда она без устали сокрушает

обвившего ее ноги дракона? Святая кровь всемирного подвига катится по ее лицу, и кто в мире назовет мне лицо красивей? Вот почему сегодня родина моя становится духовной родиной всех, кто верит в торжество правды на земле!

К вечным звездам люди всегда приходили через суровые испытания, но в такую бездну еще никогда не заглядывал человек. Уже мы не замечаем ни весны, ни полдня. Реки расплавленной стали текут навстречу рекам крови. Никто не удивится, если хлеб, смолотый из завтрашнего урожая, окажется красным и горьким, как порох, на вкус. Самая сталь корчится от боли на полях России, но не русский человек. При равных условиях, в библейские времена, Иезекиили с огненным обличеньем на устах нарождались в народе. Во все времена появлялись они и благовестили людям, эти колокола подлинного гуманизма. Ты помнишь исполина Льва Толстого, который крикнул миру: «Не могу молчать», или Золя с его пламенным «J'accuse!» [1], или Барбюса, Горького. Миллионноголосое эхо подхватывало их призыв, и подлая коммерция себялюбия уступала дорогу совести, и надолго становился чище воздух мира... Ты помнишь и чтишь русского человека, Федора Достоевского, чьи книги в раззолоченных ризах стоят на твоих книжных полках! Этот человек нетерпеливо замахивался на самое Провидение, однажды заприметив слезинку обиженного ребенка. Что же сказали бы они теперь, эти непреклонные правдоносцы, зайдя в детские лазареты, где лежат наши маленькие, тельцем своим познавшие неустройство земли, пряча культяпки под одеялом, стыдясь за взрослых, не сумевших оберечь их от ярости громилы? Они подивились бы человеческой породе, в которой и горячечное пламя тысяч детских глаз не выплавило гневной набатной меди!

Каждый отец есть отец всех детей земли, и наоборот. Ты отвечаешь за ребенка, живущего на чужом материке... Вот правда, без усвоения которой никогда не выздороветь нашей планете. Остановить в размахе быструю и решительную руку убийцы — вот неотложный долг отцов на земле. Иначе к чему наши академии и могучие заводы, седины праведников и глубокомыслие государственных

---

[1] Я обвиняю.

мудрецов? Или мы затем храним все это, чтоб пощекотать больное и осторожное тщеславье наше? Фашизм, эта страшная язва Европы, так же гнусно зияет среди обманчивых утех нашей цивилизации, как если бы длинный витой хвост пращура просунулся между фалдами профессорского сюртука. Можно ли смотреть на звезды из обсерваторий, пол которых затоплен кровью? Тогда признаемся в великой лжи всего, что с такой двуличной и надменной важностью человечество творило до сегодня. Может быть, и сами мы только размалеванные обрубки в сравнении с теми красивыми и совершенными людьми, что завтра осудят моих современников за допущение на землю страшнейшей из болезней.

Нет, неправда это! — Прекрасна жизнь, вопреки сквернящим ее злодеям. Прекрасны дети и женщины наши, сады и книги, чистой мудростью налитые до краев. Человек еще подымется во весь рост, и это будет содержанием поэм, более значительных, чем сказания о Давиде и Геракле. Народ мой верит в это, ценит локоть и близость друзей, — и тех, что пойдут вместе с ним наказать дикаря в его логове, и тех, кто с опасностью для жизни подносит патроны к месту боя. И никакой клевете не разъединить этих соратников, благородных в своих исторических устремлениях и спаянных кровью совместного подвига. Их породнили пламена Варшавы и Белграда, руины Сталинграда и Ковентри... Термитным составом выжжены на пространствах Европы имена изобретателей тотальной войны. Когда один из них, перечислив преимущество ночных рейдов на мирные города, предупреждал народы, если бы они посмели ответить тем же оружием: «Горе тому, кто проиграет тотальную войну!» — в тот день подсудимый сам произнес себе приговор.

И вот он начинает приводиться в исполнение. Мы проникнуты нетерпеливым ожиданием победы. Самый колос старается расти быстрее, чтоб сократить сроки ужасного кровопролития. Цвет наций одевается в хаки. Железные ящеры, урча, сползают с конвейеров: уже им нехватает стойл на родных материках. Владыки океанов неторопливо сходят со стапелей во мглу ночи. Стаи железных птиц, более грозных, чем птицы Апокалипсиса, крылом к крылу покрывают равнины. И когда мысленно созерцаешь сумму стали, людей и резервов у стран-свободолюбцев, глубоко

веришь, что и горы не устоят перед натиском этого материализированного гнева.

Я не умею разгадать логику зреющего в недрах ваших генеральных штабов великого плана разрушения фашизма. Я простой человек, который пишет черным по белому для миллионов своего народа. Может быть, я не прав, но только мне всегда казалось, что совершеннолетний мужчина, который в цинковой коробке травит пятилетнюю девочку, заслуживает немедленного удара не в пятку, а в грудь или по крайней мере в лицо. Они совсем не Ахиллесы, эти берлинские господа. Конечно, все дороги ведут в Рим, но все же кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая...

Итак, теперь дело за вами, американские друзья! Честная дружба, которою отныне будет жить планета, создается сегодня — на полях совместного боя. Именно здесь познается величие характера и историческая поступь передовых наций.

Из затемненной Москвы я отчетливо вижу твое жилище и стол, за которым ты сидишь. Тебе подает ужин милая твоя жена, и пятилетняя девчоночка на твоих коленях торопится рассказать отцу сложные дневные происшествия своей и куклиной жизни. Ночь движет стрелки на циферблате, и красивый, ярко освещенный город шумит за твоим окном... Покойной ночи, мой неизвестный американский друг! Поцелуй свою милую дочку и расскажи ей про русского солдата, который в эту самую ночь, сквозь смерть и грохот, в одиночку и по эвклидовой прямой, движется на запад — за всех маленьких в мире!

15 июля 1943 г.

СЛАВА РОССИИ

Вот опять матерый враг России пробует силу и крепость твою, русский человек. Он пристально ищет твое сердце поверх мушки своей винтовки, или в прицельной трубке орудия, или из смотровой танковой щели. Неутолимую бессонную ненависть читаешь ты в его прищуренном глазу. Это и есть тот, убить которого повелела тебе родина. Не горячись, бей с холодком: холодная ярость метче. Закрой навеки тусклое, похабное око зверя!

Ты не один в этой огневой буре, русский человек. С вершин истории смотрят на тебя песенный наш Ермак, и мудрый Минин, и русский лев Александр Суворов, и славный, Пушкиным воспетый мастеровой Петр Первый, и Пересвет с Ослябей, что первыми пали в Куликовском бою. В трудную минутку спроси у них, этих строгих русских людей, что по крохам собирали нашу родину, и они подскажут тебе, как поступить, даже оставшись в одиночку среди вражьего множества. С каким мужеством они служили ей!.. И куда бы ни отправлялись за далекие рубежи, кланялись в пояс родимой, и был им слаще меду горький, полынный прах ее дорог. И пригоршню родной землицы, зашитую в ладонку, уносили на чужбину, как благословенье матери, на груди. И где бы ни оказался веленьем истории русский человек, сердце его, как стрелка компаса, неуклонно бывало устремлено в одном заветном направлении, в сторону России. И чистые рубахи надевали перед смертным подвигом, идя на воинскую страду, как на светлый праздник. Тем и была крепка, тем и стояла столетья русская земля.

Перед новым боем за честное дело наше присядем, товарищ, и поговорим по душам, за что же так ненавидит тебя убийца народов, почему мы, русские люди, будем биться, пока, стеная, не покинет земли нашей германец и не заплатит сторицей за пожженные земли наши и за сиротские слезы.

Взгляни на карту мира, русский человек, и порадуйся всемирной славе России. Необозрима твоя страна. Самое солнце долго, как странник, бредет от ее края до края, и любою из рек ее можно опоясать иную кичливую европейскую державу. Гляди: спелые нивы шумят и лоснятся под ветром, серебро драгоценной рыбы плещется в реках, несчитанное золото и уголь томятся в ее недрах, подземные моря нефти нетерпеливо ждут, когда ты вольешь их в свои машины, изготовляющие материальную основу счастья. О, даже миллионной доли наших богатств не успели мы раскопать за минувшую четверть века!

Не пустовала и людьми русская земля. Помнишь, товарищ, громовой список великанов мысли и сердца, что огласил отец наш Сталин на параде в 1941 году и что, как знамя, прошумел над головами нашими. От века изобильна была героями и гениями Россия. Воистину хам и враг людей — тот, кто не обнажит благоговейно головы, заслышав эти имена.

Нет ни одной области в знании, или в искусстве, или в науке строительства социальной справедливости, куда бы не принес народ русский своих, литого золота, даров. А сколько еще суждено создать нам впереди, когда, не угрожаемый ниоткуда, во весь рост подымется народ наш!.. Гордись сородичами своими и будь достоин их, товарищ!

Со времен Невского Александра зарились жадные соседи на наши угодья. Сотни лет им во снах снилась страна твоя, русский человек, — пустыней снилась она им, без дома твоего, без тебя и твоих потомков, — голой девственной землей снилась она им, куда они сунут железный желудь Нибелунгов. Не вышло с желудем у «старого фрица», не выйдет и у нынешнего. Ой, много памятных зарубок от нашего топора осталось на загребущих волчьих лапах. А в передышках точили они меч, собираясь когда-нибудь прижать славян к стенке, и всегда хаяли русских, что-де без немецкого порядка живут. А мы жили

и боролись своим разумом и обычаем и, когда настали исторические сроки, преобразовали нашу жизнь по-ленински. И в том державная наша русская воля, хозяйская. И никаким указчикам либо искателям чужого куска на земле нашей несдобровать.

Когда у завистника нет сил на честное соревнование, он жалит, он убивает. Зависть и свиная жадность на чужой каравай — вот то горючее, на котором, воняя и гремя, двинулась на нас машина германского фашизма. И правда, мы еще только зачинаем наши песни, а они уже заканчивают. Они и детей-то наших убивают из подлого страха: боятся, что из них вырастут исполины, грозные мстители за безмерные их злодейства. Но мы, русские, прочно знаем, что мщенье придет гораздо раньше.

Предок твой, русский человек, идя в подвиг ратный, крепко понимал, что одному из двух, ему или недругу, лежать мертвым в чистом поле. И тогда, чтоб волю на победе сосредоточить, он ни жены, ни родимого дома не хотел видеть раньше, чем улягутся в яму поплотней поганые вражеские кости. Много их, всяких подлецов, уже успокоил и ты, советский воин, на полях России, памятуя, что чем больше их ляжет в землю, тем сильнее острастка на века. Комплектами, вместе с командирами, лежат они на достигнутых рубежах — всякие «Райхи», «Адольфы» и «Тотенкопфы», тухлые ватаги фашистских мертвяков, что закопаны под Сталинградом и Воронежем... Что же, просторна ли им русская равнина? Сытна ли рыбка в реках русских? Жирна ли нефть во глубинах советской земли?

Орел и Белгород, Орел и Курск, милые места, где родится самородный жемчуг русской речи, который так бережно, зерно к зерну, нанизывал Тургенев. Соловьям бы свистать в тамошних рощах да девушкам покосные песни петь в эту пору! Чадом и скрежетом застланы дорогие нашему сердцу места. Сжав зубы, вся страна слушает, как со злым урчанием выползают из своих нор вражеские железные гады на исконные наши земли. Но она слышит и грохот пушек наших, что дырявят германскую броню, и нет нынче музыки слаще уху русского человека... Ночь на исходе. Еще будут длиться предрассветные сумерки, но уж не очень отдаленно то желанное утро, когда уцелевшее завоевательское отребье, все эти отравители,

растлители, коноеды и другие упыри двинутся во-свояси среди нескончаемых, дымящихся улик.

А пока — оглянись, русский человек, на древние гордые кремли твоих городов, на деток наших, взирающих на тебя с надеждой, на молчаливые тени предков твоих, на каждый полевой цветок, еще не оскверненный мертвым дыханием вражеских машин. И пусть львиный гнев родится в твоем богатырском сердце.

Бей его, проклятого зверя, вставшего над Европой и замахнувшегося на твое будущее, — бей, пока не перестанет шевелиться.

Подымись во весь свой рост, гордый русский человек, и пусть содрогнутся в мире все, кому ненавистна русская речь и нетленная слава России!

«Известия», 10 июля 1943 г.

ВЕЛИЧАВАЯ СЛАВА

Когда Европа, растоптанная и поруганная фашизмом, думает о своей судьбе, — кнут поработителя или торжество правды предстоят ее потомкам, — она вспоминает о нас. Тогда в слезах отчаяния она обращает глаза к востоку, к Красной Армии. Вдовы и сироты трепетно вслушиваются в громовой голос ее артиллерии и танков; по географическим обозначениям ее побед они высчитывают сроки своего освобождения. Для многих это завтра наступит слишком поздно, а сегодня только она одна, Красная Армия наша, в полную силу бьется с мрачным и подлым злодейством.

Море крови, в котором мир стоит сейчас по горло, обязывает его к справедливым оценкам людей и явлений. На своем страшном опыте он узнал, что фашизм есть смерть наций, гибель жизни и крушение культур; пропись перестает быть банальностью, когда она написана кровью по живому мясу. И потому все нынче в могучей руке твоей, советский воин: смех детей и мудрые дары наук, цветенье садов и блистательные свершения искусств. Слава твоя величавей славы знаменитейших людей прошлых веков. Ибо величие состоит не только в том, чтоб создать сокровище, но и в том, чтоб грудью отстоять его в беде, не выдать его на потеху дикарю.

Множество великих имен мы подарили миру. Там были мечтатели и подвижники, люди глубочайшего социального прозренья, планировщики вселенной, разгадчики материи, строители и поэты. И слишком много полновесного зерна мы всыпали сами в закрома культуры, чтоб

ставить урожай будущих веков под угрозу нового Аттилы и его вооруженных хулиганов. Мы всегда ясно понимали, в какую эпоху человеческого развития мы призваны творить и строить, и оттого с самого начала не было у нас ничего дороже Красной Армии нашей. Единство советского народа, о котором мы так часто и с гордостью говорим, отразилось прежде всего в единой любви к этому стройному созданию двух великих отцов нашего народа. Все лучшие качества наши заключены там. Армия наша — воин с обнаженным мечом у источника жизни.

Она выросла на глазах нашего поколения, и мы по справедливости гордимся, что сами прошли ее суровую школу в годы гражданской войны. Но какой громадный путь — от легендарной, рассекающей пространства, лихой конницы Ворошилова и Буденного до гвардейских танковых соединений Ротмистрова и Рыбалко. Как расширилась эта тесная вначале семья героев, полководцев и рядовых ее солдат. Зигзагами, точно ходом молнии, пройдена взад и вперед вся страна, и везде, в каждом безвестном полюшке было пролито по бесценной рабоче-крестьянской кровинке, и поэтому трижды дорога она нам, родная земля... Как выросли ее подвиги, ее техника, ее знания! От Перекопа до Сталинграда, от тачанок до самоходных пушек и гвардейских минометов, от разгрома интервенции до побед над внуками Шлиффена и Клаузевица, этими профессорами научного империалистического грабежа! Честь такого неслыханного пути делят отвага и труд советских людей, их самоотверженность и преданность ленинско-сталинской идее.

И когда вчера шесть знаменитых наших городов салютовали в честь Красной Армии, они салютовали тем самым народу, вверившему ей свои лучшие чаяния, свое достояние и самых сильных своих сыновей.

У всякого народа есть дорогие имена прозорливых вождей и песенных героев. В них он вкладывает простое и мудрое содержание, не требующее толкований, наделяет их страстной и суровой нежностью и всеми совершенствами, накопленными в веках. Когда беда ломится в ворота нации, ее дети объединяются вокруг этих имен, орлята во множестве нарождаются в народной гуще, и стаи их обрушиваются на врага. И тогда горе врагу, его матерям и обманутым его воинам, горе его убогим вожакам, обнажившим меч неразумной и неправедной войны.

И светлая слава отцу наших молодых орлят, создателю мощи нашей, который смотрит за горизонты и видит то, чего не дано видеть всем!

И вот армия наша с молчаливым гневом идет на запад. Бывалые солдаты ее говорят: ты хотел нас взять напугом, Гитлер, но не вышел твой блиц-испуг. Зато вот мы тебя теперь попугаем!.. И еще говорят ветераны, сжав зубы, что все бывшее ранее — только присказка, а самая сказка еще впереди, когда начнет крошиться и лететь кусками хваленая и перехваленая немецкая сталь. Эти люди сдержат свое солдатское слово. И когда они ступят на почву Германии, рухнет фашистский притон, и под обломками его погибнет пруссачество. И чем чернее будет траур в фашистском Берлине, тем светлее солнце над Европой.

Близится час окончательной расплаты с гитлеровцами за все их злодеяния.

Будет день, когда Гитлер ступит на эшафот, если только не свалит его раньше, не придушит где-нибудь в бомбоубежище благоразумие германского народа. Он увидит вокруг себя ужасную, обугленную Европу и, оглядевшись, содрогнется, как задрожала тень его — Ланхельд в Харькове, увидав из окошка петли мерзкие дела своих рук. И пусть он висит долго, на деревянном глаголе, этот прилично одетый господин, мастер кнута и душегубок, пока не насытятся взоры его жертв. Потом его сожгут и зароют в землю гадкий серый порошок и постараются забыть, как скверный сон в ночи, длившийся почти полтора десятилетия. Человек опять поднимется из праха, куда его повергла фашистская тирания, и миллионы совращенных немцев, вынужденные оставить ремесло разбоя, пусть честным трудом постараются вернуть себе место среди народов.

Мир процветет еще прекрасней, чем раньше; новые ветви брызнут от корней жизни, которую оберегла от фашистского топора бережная рука Красной Армии. Но, уходя все вперед и вперед, к звездам, и оглядываясь назад, человечество долго еще будет видеть в немеркнущем солнце вас, красноармейцы и маршалы, чьи головы гордо возвышаются над нашим грозным, безжалостным и прекрасным веком!

«Правда», 24 февраля 1944 г.

РЕЧЬ О ЧЕХОВЕ

Мое литературное поколение обладало счастьем видеть, слушать и непосредственно учиться у зачинателя нашей — вот, уже не очень молодой! — советской литературы, Максима Горького. Почтительно и робко мы жали его руку, еще сохранившую тепло толстовского и чеховского рукопожатия. Люди до конца дней несут на себе отпечаток своих ближайших и старших современников. В голосе Горького слышалась нам суровая интонация толстовской речи, а в его взоре являлся порой проникновенный, неподкупный и достигающий мельчайшей клеточки души чеховский юмор.

В могучей русской тройке, пересекшей рубеж нашего столетия, Толстой был как бы коренником. Нам, нынешним, он представляется вовсе недоступным для, скажем условно, творческого прикосновения. Он даже и не снился никогда нам, молодым литераторам, хотя бы как Горький, который и сейчас зачастую приходит к нам, в беспокойную ночь художника, поддержать строгим отеческим наставлением. Мне думается, равным образом, что еще не начало остывать и вещественное, телесное тепло Антона Чехова. В сущности, никто из нас не удивился бы, если бы они вошли сейчас сюда, друзья, и сели за столом президума, перешучиваясь по поводу торжественного блеска этих огней и многолюдности такого собрания в честь одного из них. Да будет мне позволено признаться, я почти слышу, как сказал бы Алексей Максимович спутнику своему, замолкшему от смущения, — мельком и своеобычным жестом касаясь усов:

— Ишь, что затеяли, черти драповые! Теперь ваша очередь, Антон Павлович. Терпите, сами виноваты... Все мы проходим через *это* дело.

Да, это он виноват в том, что, отбросив большие очередные дела, вы собрались здесь, гордые могуществом и всемирной славой нашего русского слова, вы — объединенные принадлежностью к такой красивой и грозной семье советских наций, вы — предсказанные ими в темнейшую ночь царской реакции: и те, которые пришли сюда из университетов, лабораторий и кузниц победы, и те, которые, незримо присутствуя здесь, громово стучатся сейчас в железобетонную берлогу зверя.

Приподнятость моего слова происходит от моего волнения — говорить о своих учителях в час кровопролитной битвы, самой священной битвы в истории России и человеческого прогресса.

Тогдашняя Россия не уберегла для нас Чехова. Он умер рано, мы даже не умели оплакать эту утрату соразмерно ее значению. Мы в лошадки играли в тот день, когда перестало биться сердце Антона Чехова. На радость нам живут и творят с неслабнущей силой его друзья и близкие, к кому мы обращаем сегодня свою благодарную сыновнюю нежность. Но сами мы не испытали равного счастия непосредственного, духовного и физического прикосновенья к Антону Павловичу. Мой беглый очерк может не совпасть с действительным обликом Чехова, какой сохранился в памяти его современников. Я не исследователь литературы, а лишь старательный читатель, создающий собственное представление о великой личности в пределах доступного ему материала.

Волна, которую в мировой литературе поднял Чехов, не улеглась доныне. Было бы излишне приводить здесь цитаты из Чехова и цитаты о Чехове. Его и о нем, жившем — кажется — столько веков назад, по справедливости знают лучше и больше в нашей стране, чем о любом из нынешних живых литераторов. Любовь к писателю и есть совершенное знание его искусства. Конечно, она возрастет еще в большей степени, по мере того как познание самих себя и своего недавнего прошлого будет становиться потребностью все более широких народных масс. Сколько нераскопанных кладов таится еще в нашей земле и действительности!.. Для нынешнего читателя Чехов

давно перестал быть только пессимистом или певцом сумерек и хмурых людей, как именовала его когда-то часть тогдашней критики. Она упрекала его в бесстрастии, требовала от автора точной общественной формулы, почти тезиса или, во всяком случае, социального пароля... и, нам понятно, иначе и быть не могло в ту пору накопленья боевых сил!.. но не заместимо никакими иными категориями целомудрие художника, и я затрудняюсь предсказать судьбу прекрасной прозрачной чеховской прозы, если бы этот взыскательный автор попытался в своей писательской практике внять предъявленным ему требованиям.

С Чеховым в литературе и на театре народилось понятие подтекста, как новая, спрятанная координата, как орудие дополнительного углубления и самого емкого измерения героя. Громаден подтекст чеховской жизни. Мы имеем дело с на редкость скупым и строгим к себе мастером — лермонтовской словесной сжатости, серовской точности рисунка. Он больше прилагает усилий не для того, чтоб родить слово, а чтоб убрать, смыть его совсем, если оно лишнее: остается лишь вырезанное навечно по бронзовой доске. Как в больших старых звездах, весит тонны каждая строка такого плотного словесного вещества. Мне представляется, — операционная лампа особого высокогорного света сияет над операционным полем у этого тончайшего душевного хирурга: все видно, и ни одной, отвлекающей, рассеивающей детали!.. Но и писательские подтексты Чехова, скрытые под этими девственной чистоты пеленами, огромны.

Сущность разногласий в оценках тогдашней критики, по моему разумению, заключалась в том, что все так называемые больные вопросы Чехов решал не в тесной прокуренной каморке, а под спокойным синим куполом родной природы. И хотя такая сдержанная манера изложения у Антона Чехова никак не походила на разящий сарказм Щедрина или горечь Успенского, нам виднее из этого места и нашего времени, что все творчество Чехова было собранием острейших улик, представленных на вывод русскому общественному мнению, — пространным обвинительным заключением о строе прежней жизни, слегка прикрытым кое-где маской безразличной концовки — «ничего не разберешь на этом свете!»

Но кому было нужно, те разобрались! Они поняли, почему в глухую ночь сердился почтальон и не отвечал студенту в *«Почте»* и куда вели в конце концов *огни* в одноименном рассказе и отчего так упорно не спалось, несмотря на вполне сытую, хорошо отоваренную жизнь, профессору Николаю Степановичу в *«Скучной истории»*. Вот почему люди на Руси всегда становились лучше и честнее после прочтения книг Чехова. Он внушал отцам нашим презренье к мелкой обывательской суетне, он потряс основы зоологического буржуазного благополучия и понятие благородства человека, как и Горький, делал производным от его полезности обществу. Только оптимист, цельной и неколебимой нравственности человек, был способен на такое искусство, и не автор виновен, что в просторном зеркале его, чеховского, творчества так часто отражались печенеги и жабы, рожи пришибеевых и аксиний, каплуны, задыхающиеся в собственном жиру, и просто футляры от человеков. Именно такими существами, как всякий рассвет, кишели тогда предутренние сумерки России.

Это был огромной и скрытной страстности человек, почти мужицкого душевного здоровья и владевший неугасимой верой в великанскую судьбу России. Он бесконечно любил свою родину, хотя и не очень часто распространялся об этом. Истинная любовь скупа на признанья. Матросов и Гастелло также вряд ли много рассуждали на эту тему. И, может быть, сильнее всего выражена такая любовь в величавом молчании тех, которые бесстрашно и безжалобно полегли в нынешних боях за независимость родной земли!.. Та Россия существенно отличалась от нынешней, но Чехову дорога была и та, полная народного горя и надежды на чудесную правду, которая постучится однажды в окошко России и мира. Он обожал Москву тех лет, крикливую и пыльную, со щербатыми мостовыми, и даже континентальная погодка московская представлялась вполне замечательной ему, обреченному погибнуть от туберкулеза... Но, любя родину, он никогда не льстил ей, как делают это чужие и лукавые, чтоб пригасить ее настороженную бдительность. Писатель Чехов был крепко болен Россией, а такие имеют право на грустное, а порой и сердитое слово. Иногда этот врач ставил ей жестокий диагноз, но то не была лишь злая констатация факта, и в

самом диагнозе заключалась, хотя и туманная порой, система леченья. Родники возрождения уже буравили снизу нашу землю, и пока уже народившиеся искатели народного счастья не отыскали эти источники живой воды для воскрешения своего народа, он жил работой и такой же действенной мечтой.

Ею, как животворящею росой, обрызганы страницы его книг. Он звал на землю красивую жизнь, где справедливость и нет нужды и где труд положен в основу существованья. Знал он также безмерно трудную цену такой красоте и никогда не усомнился, хватит ли у его народа духовных средств на ее оплату. Достоевскому в дневнике писателя за 1877 год казалось, что Россия уже стоит накануне событий. Гораздо позже Антон Павлович определял расстоянье до них в двести лет. Эти равно пророческие сроки не совпадают потому лишь, что медленней всего время течет на рассвете, и последний самый холодный и тяжкий час перед восходом солнца тянется почти тысячелетье.

Смотрите же, как медленно наступало утро в России, в какое дальнее плаванье отправлялся тогда русский рабочий класс, на какой подвиг решался он и его ядро, впоследствии — детонатор революции, большевики! Чехов уже сознавал, что интеллигенция бессильна в одиночку, без масс, бороться с животным, жестоким укладом российской жизни. Вспомните, как бьется в истерике Катя и целует руку старому, мудрому Николаю Степановичу и молит: «Не могу я дольше, говорите же, что мне делать... Помогите мне!» И этот крайне просвещенный деятель, в полной мере разделяя ее отчаянье, сам не знает выхода из тогдашней удушливой житейской мглы. Дело происходит в 1888 году. Ровно за год перед тем петербургская ночь была еще темнее, и виселица стояла посреди, и к ней, ежась от утреннего холодка, шел с откинутой головой и в последний раз глядел на майские гаснущие звезды Александр Ульянов. Прикоснитесь же сердцем к этому медлительному континентальному времени, как если бы вы сами жили в эти годы!.. Только через пять лет младший брат его, имя которого со временем с надеждой и верой произнесут народы земли, поедет из Самары в Петербург, на передовую линию борьбы за освобождение. А другому великому человеку, который уж в наши дни во главе

победоносных армий ступит на голову пещерного зверя, фашизма, пока только девять лет. И должно пройти десять лет, когда соберется I съезд РСДРП, еще без Ленина, находившегося в ссылке, съезд из девяти человек. Четырнадцать лет спустя, молодой Сталин поведет наших отцов и дедов на батумскую демонстрацию... Какая рань России и русской революции!

В зловещих сумерках, едва окрашенных полоской зари на горизонте, черный голод пройдет по недородным губерниям; большой по размерам царь сменится царем помельче; в раздирающей уши тишине пробренчат стихи Надсона о разбитых жертвенниках, пока не закопает его в могилу вместе с рыдающими аккордами мракобес Буренин. В эти годы сопьется Николай Успенский и сойдет с ума брат его Глеб, а Гаршин, не в состоянии дышать этой тьмой, кинется в пролет, чтобы распороть себе грудь об острое литье чугунной печки... Как много поучительных уроков и материала для раздумий в одном этом сопоставлении дат!

Так вот почему не спится чеховским профессорам: в ночи раздается зов народа, и грозная, мучительная совесть пробуждается в русском человеке. Все более широкие пласты родной земли приходят в движение, и под окном возникает мелодия набатной песни: «На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед...»

Вот откуда шла жгучая тоска нашего любимого писателя. Близился рассвет в России, и было страшно не дожить до этого желанного часа. Признаемся, умереть сегодня, не дождавшись окончательного торжества правды и нашего оружия, было бы неизмеримо легче, чем в ту безутешную ночь. Мы видели индустриальное преображение наших равнин и гор, каждый из нас хотя бы по разу жал руку воистину *новому* человеку на земле, мы были свидетелями или участниками Сталинграда и Днепра, Орла и Витебска, мы слушали десятки раз московские салюты, мы знаем точно, наконец, как будет выглядеть завтрашний день победы... А Чехов не дожил даже до первого боевого крещения России революцией.

Сорок лет нет Чехова между нами, а чеховское имя все выше поднимается к звездам. И даже грохот этой страшной и прекрасной по своим целям войны не может заглушить ровного, явственно слышимого всеми нами

сегодня, милого чеховского голоса. Верный сын и спутник России, Чехов идет и нынче в ногу с нею. Он свой везде, желанный всюду: он запросто входит в дом стахановца, присаживается к столу академика, перед атакой беседует в землянке с офицером и бойцом, которым мы обязаны сегодня чудесной возможностью собраться здесь, под уверенным безгрозным небом Москвы. Народ отразился в Чехове, и Чехов отразился в духовном облике своего народа. Героиня Зоя сделала тезисом своего житейского поведения слова его героя Астрова. Какая честь для литератора, даже для гения!.. По существу, не день смерти, а день его нового рождения для широчайшей народной массы мы собрались отметить здесь. Да, Чехов жив, он работает вместе с нами и порою больше иных живых литераторов нашего времени. Чехов дожил до торжества и расцвета правды.

Счастлива литература, имеющая таких предков. И тем большие ответственность и обязанность ложатся на нас, нынешних литераторов, наследников чеховской и горьковской славы. Они заключаются прежде всего в том, чтобы передать тем, которые еще моложе нас, — неистраченное, неостылое, полученное нами от Горького человечное тепло чеховского рукопожатия.

Произнесено на торжественном заседании
в Большом театре, в Москве, 16 июля 1944 г.

СУДЬБА ПОЭТА

Есть свойство в человеческой природе: мы привыкаем ко всему, что ежеминутно гордой радостью должно наполнять наше сердце. Великие исторические благодеяния, самые источники жизни нашей мы от рождения принимаем за естественные дары судьбы. Мы привыкли и к солнцу... Но в мыслях отмените его на минуту, и какой холод ринется на ваши души!

Это происходит от преизбытка духовных сокровищ, которых, на протяжении тысячелетья, вдоволь внес в мировую культуру наш честный, трудолюбивый народ. Мы не хвастаемся, мы только напоминаем, что культура есть процесс живой, таинственный и хрупкий, она нуждается не только в поэтах и ученых, но и в солдатах, героях и мучениках. Она, как атолловый остров, где верхнее кольцо прочно покоится на неподвижных нижних. Останови эту жизнь, и вмиг его поглотят ночь и волны... Мы собрались как раз в минуту, когда небывалая буря терзает человеческое море. Вся нечисть преисподней поднялась из бездны, чтобы захлестнуть солнце. Слава народу моему, который ныне, чуждый национального эгоизма, свой новый вклад в дело культуры вносит самой дорогой валютой, кровью лучших своих сынов!

Человеческая культура потому и требует беспрерывного обновленья, что не ослабляют напора стихии; ветвится и множится насущная людская потребность, недостает ей опыта предков, и ветшают знаменитые книги. Все старится, как все течет. От бестелесной символики

дантовских терцин до нас дошел как бы барельефный, нуждающийся в обильных примечаниях, портрет эпохи. Не осталось губительных стрел в памфлете Дефо; каждая своевременно впилась в грудь врага, и вот пустым колчаном играют дети. Но нам дороги эти, порою пропыленные страницы, воспоминанья о юношеских днях человечества. И как бы далеко ни ушло оно по пути к своей неистребимой мечте о справедливости, на его горизонте позади вечно будет сиять, как снеговой хребет, гигантский мрамор «Илиады». Такова же судьба и блистательного творенья, автора которого мы собрались почтить сегодня.

Есть книги, которые читаются; есть книги, которые изучаются терпеливыми людьми; есть книги, что хранятся в сердце нации. Мой освобожденный народ высоко оценил благородный гнев «Горя от ума» и, отправляясь в дальний и трудный путь, взял эту книгу с собою... Но великие не нуждаются в лести, и для писателя было бы нечестным в отношении учителя утверждать значение его комедии в том, что образы ее в прежней молодости живут до сегодня. На расстоянии века, полного в нашей стране событий всемирного значения, неминуемо должен был измениться и облик грибоедовского произведения, как изменилось все с тех пор. Не та стала Россия, перешагнувшая историческую пропасть, не та Москва, не те стали мы с вами. Наш нынешний враг коварней и подлей, но скоротечнее его судьба, судьба микроба, замыслившего на прахе богатырей основать свое микробье царство. Есть и теперь свой отпечаток у Москвы, но уже не фамусовской Москвы, музейного собранья французских модниц и вояк, бальных шаркунов и подхалимов, специалистов по дамской части и пламенных, но редких печальников об участи народной, — но Москвы новой, еще неслыханной, первой в мире социалистической столицы и крупнейшего культурного центра. Новый герой, который еще ждет своих Пушкиных и Грибоедовых, народился на Москве, и, сказать правду, далеко до него Чацкому.

По горькому признанью Грибоедова, в одном из вариантов «Горя», предки наши привыкли верить с ранних лет, что «ничего нет выше немца». С тех пор мы узнали подлинную направленность «ницшеанской» германской

культуры, которая не сумела укротить срамное первобытное зверство своих воспитанников. И что, в сравненье с ними, наш заслуженно осмеянный, столетней давности толстый барин Фамусов со своим кустарным «забрать бы книги все да сжечь!» Даже десять Гельмгольцев или Вирховых не смогут искупить один Майданек! Как видите, за этот век мы шли вперед, а они катились назад, и — будем справедливы — движенье их было быстрее нашего!

В стремлении помочь истории мы железом соскребли с ученой нацистской хари дешевую краску ширпотребной цивилизации и вдруг с гадливым презреньем увидели под этим тухлым мифом гестаповца Вепке из Львова, что упражняется на досуге в разрубании десятилетних отроков секирой, двурогой секирой — от темени до паха. Да и самый мир с тех пор стал умнеть, «как посравнить да посмотреть век нынешний и век минувший». Миллионами крестов история отметила ошибки на широких полях, на полях тетради этого плохого ученика. Он неизмеримо ближе теперь к заветному времени, когда, освободясь от последних рабских пут, он сможет без помехи, по слову Чацкого, «вперить в науку ум, жаждущий познаний».

«Горе от ума» предстает перед нами не в том виде, в каком оно явилось перед изумленными современниками. Мы отмечаем классические линии совершенной драматургии, словесные богатства, предельное мастерство шахматных ходов, — они видели в ней первую, пока поэтическую программу национального развития. У нас она вызывает смех, — в них она будила ярость или совесть. Это отличное драматическое произведение, ставшее для нас наравне с «Ревизором» образцом реалистической комедии нравов, живет сегодня уже второю молодостью... но пусть и первая молодость наших нынешних книг станет такой же яркой и сильной!

«Горе от ума» родилось на переломе двух непримиримых эпох, когда Россия и ее нынешняя правда еще не пробудились от оцепенения, но уже истончилась пленка забытья, и обрывки действительности все чаще проникали в сознанье, мешаясь порой с узорами романтических сновидений. Силой исторических обстоятельств, после своих великих дел перед Западной Европой, Россия вынуждена

была проходить школу европейских знаний, накопленных там за века монгольского — у нас — владычества. Забывчивый учитель немало и натурой получал за учебу и временами деспотически вмешивался в русскую жизнь. Преувеличенные дозы чисто внешнего европеизма калечили нашу жизнь и парализовали гормоны собственного роста.

Вспомните, всего лет за тридцать до рождения Грибоедова русская академия посылала Вольтеру вместе с уникальными архивными документами шубы из отборных голубых лисиц и, для наглядности, золотые медали русских царей, чтоб написал он для нас историю нашего Петра. Подумать только, что отсылку этих кладов поручили Ломоносову, нашему северному Леонардо, чей сторукий гений во всех областях искусства и знания оставил по себе следы! Вот пример неуверенности общества в своих национальных силах. Если сопоставить это с судьбой Радищева, также размышлявшего о Петре, наши в таких фаворах не бывали... К слову, труд этот, хоть и на иностранном языке, получился отменно плохой.

Старинный должок из Европы прибывал к нам, естественно, в иноземной духовной упаковке, к тому же дул оттуда благодетельный освободительный ветерок, — все это накладывало властную, иногда сковывающую печать на весь строй жизни нашей дворянской верхушки, безмерно удаляя ее от подавленной, черной крестьянской массы. Все помнят, что один из искреннейших друзей Грибоедова ставил ему в заслугу, что он *хорошо* говорит по-русски; знать изъяснялась на иностранных диалектах, чтоб народ не мог прочесть ее мысли... Русским людям необходимо было, отвергнув дух «пустого, рабского, слепого подражанья», критически отнестись к импорту цивилизации, — им следовало своим умом и самостоятельно выработать характер своих законов и учреждений, применительно к самым основным, непоколебимым особенностям народа и его истории. Нужно было очистить нашу жизнь от золоченой шелухи иностранных влияний и благородным металлом искусства пробурить ее до творческих недр народа, откуда сами собою забьют ключи сказочной живой воды.

Стихийно это понимал и сам народ. Как раз в эту пору, осознав опасность иноземного вторжения, народ русский

лавиной, по-львиному ринулся через всю Европу. Но могучие руки, придавившие Наполеона в его берлоге, не смогли порвать николаевские цепи. Не было ни плана, ни вожаков; были только порох без пушек, да песня без слов. Российская словесность, в меру сил и пока без широкого охвата отражала действительность верхнего слоя: не было в этой словесности громового, после Радищева, голоса, способного пробудить страну и язык русский от затянувшейся национальной немоты. Страна томительно ждала Пушкина и, может быть, — в особенности, — Грибоедова.

Он пришел из той самой среды дворянства, которое ему предстояло осудить и на которое опирался первый верховный помещик империи. Грибоедов хорошо знал это сословие, только его и знал он; даже из окна фамусовского дома не видна подъяремная, нищая Россия. У автора «Горя» не было своей Арины Родионовны. Грибоедовская комедия оказалась миной могучей взрывной силы и многократного действия, заложенной в фундамент крепостнического общества, — в наши военные дни это солдатское сравненье есть высшая хвала поэту. Естественно, что значение и место ее в русской жизни сразу угадали николаевские миноискатели. Перед читателем народным она появилась лишь годы спустя, когда Грибоедова уже закопали на горе Давида, над городом, который он так любил. Первый полный текст ее появился лишь почти сорок лет спустя — вот как *они* боялись Грибоедова!

Первый тираж «Горя» был размножен не на типографских станках, но руками патриотов, и можно представить, как обжигали сердце эти рукописные листки, как взрывалось впоследствии на сцене это глубоко поэтическое и, словесно, даже сдержанное произведение. Злое пламя грибоедовского сарказма ворвалось в сотни помещичьих гостиных в тот момент, когда, опочив от недавних военных трудов, Фамусовы благодушествовали со своим Сергеем Сергеичем. Страшный зверообразный лик глянул на них со страниц комедии, и вот одни плевались в это правдивое зеркало, другие виновато опускали глаза, потому что узнали себя и присных своих.

Одновременно с ликованием друзей, как черные клубы дыма, поднялись ябеда, брань, клевета, доносы и сама всемогущая зависть, это подпольное восхищение неудач-

ников. По разноречивым взволнованным отзывам современников можно судить о силе удара. И сам Белинский дрогнул: умея даже ошибаться страстно, этот человек вначале *страстно* не понял Чацкого.

То была суматоха крупнейшего общественного скандала. Комедию тем яростней терзали цензоры, чем громче рукоплескала ей прогрессивная часть обеих столиц, — ее взвешивали на весах трех классических единств, и все стремились определить, кто же он таков, господин Чацкий, осмелившийся поджечь уютный и гостеприимный фамусовский дом, и кто надоумил его на этот неблаговидный поступок? На протяжении десятилетий дотошные литературные следователи искали в мировой литературе его родню и сообщников, придирались к похожим ситуациям и строчкам и выяснили под конец, что он пошел от мольеровского Альцеста и Демокрита из виландовских «Абдеритян», от вольтеровского Танкреда и грессетовского Клеона, от шекспировских — двух сразу — Тимона Афинского и Гамлета, от шиллеровского маркиза Позы и данкуровского — чорт знает кого!.. Плохая критика всегда предпочитает подбирать старые готовые ярлыки, нежели искать новые обозначения явлений, на что приходится тратить, конечно, бесценные соки спинно-головного мозга. Более серьезных критиков занимало, чего больше в Чацком — и, следовательно, в духовном отце его, Грибоедове, — славянофила или декабриста, либерала или патриота.

Для нас, нынешних, Чацкий был прежде всего русским человеком, осознавшим не только свою национальную самостоятельность, но и ее высокие нравственные задачи. Это был молодой русский человек, как мы являемся сегодня, вне зависимости от возраста, молодыми советскими людьми: человеческий прогресс всегда был двигателем, горючим которому служит молодость. «Горе» не было для России ни набатом, ни сигналом боевой трубы, по которому на богатырскую схватку с народной бедою встают исполины родной земли... Но кто решится потребовать большего от этих зачинателей и одиночек? Герцену было двенадцать, когда появилось «Горе». Чернышевский родится пять лет спустя, и почти астрономическое, в полвека расстояние отделяет эту эпоху от Ленина. «Горе от ума» было криком среди полной ночи, — криком, что гадко

и подло жить в обществе, где людей меняют на собак и где стыдятся назвать себя русскими из опасения смешаться с народом.

Успех этой книги широчайшего общественного анализа был бы немыслим, если бы высоким идейным качествам не соответствовали такие же литературные достоинства. Ее архитектура совершенна. Она исполнена отличным, крыловского басенного склада и пушкинской выразительности стихом. Такой краткости, когда портрет рисуется с полуреплики, у нас не достигал почти никто. Мы с детства прибегаем к формулировкам комедии для определения житейских положений. Сам Ленин неоднократно пользовался разящим грибоедовским словом в знаменитых битвах со своими политическими противниками.

Значение гениального произведения проступает по мере того, как проверяется годами его обширная, в родной почве, корневая система. И если ни ленивое забвенье потомков, ни бури века не могут заглушить его, и свежие отпрыски бегут от ствола, и молодость сбирается, как сегодня, под его старые ветви, — такое произведение само повышает уровень родного искусства, оно способно старым своим испытанным хмелем будоражить новые, еще не созревшие идеи, с его вершин открываются более широкие горизонты национального бытия. Пусть множится в наших мальчишках задиристый и увлекающий вперед патриотизм Чацкого! О, если бы не было своевременно Чацких у нас, где коротали бы мы этот вечер? Может быть, на краю света в дымных чумах, и огарок стеариновой свечи казался б нам чудом цивилизации!

За минувшие сто лет эта книга впитывалась в кровь и разум воспитанных ею поколений. За малым исключением на ней пробовали зрелость мысли все русские писатели. Сотни прославленных наших актеров и критиков, художников и режиссеров прикладывали к ней, как к святыне, свои толкования и мастерство, и те становились тоньше и глубже, превращаясь во всесветно знаменитое волшебство нашего искусства. Оно учило вражде к национальному застою, презрению к социальным порокам, гадливости к любой душевной грязи. Со школьной скамьи нас обжигала эта честная, без униженности и лести, преданность России: русское Грибоедов любил беззаветной беспамятной любовью, и даже наивная его привя-

занность к старой русской одежде имеет особое место в его духовной биографии. Вот он возвращается осенью 1819 года из Тавриза, и пыльный отряд его шагает рядом и поет песню: «Солдатская душечка, задушевный друг...», и слезы навертываются на глаза Грибоедова: родина!

Но старый ворон, любитель мертвой кости, Аракчеев тоже был русский и, может быть, тоже любил ее по-своему,— как вкусное питательное блюдо. Иезуитская штучка Растопчин также родился в России. Шишков, президент николаевской академии, провозгласивший школы очагами разврата, был тоже русский, сам архимандрит Фотий, обязанный Пушкину своей посмертной славой, не принял бы его за «инородца». Но в то время как эти реакционные современники и даже поэты содрогались перед словом «народ», или пользовались им ради легкой рифмы, стремились заковать его в живописный и ржавый панцырь прошлого, Грибоедов, подобно декабристам, в русской старине и в наследии предков искал прежде всего величия и доблести духа как примеров для подвигов в настоящем.

Так, значит, разная бывает любовь к родине: иная заключается в том, чтобы не допустить ее до творческих мук возрождения, которые ей исторически необходимо пережить. Значит, та любовь прогрессивна, что ведет нацию вперед, а не цепляется плачевно за ноги, волоча назад в девственную древность, где ее одолеет любой трехнедельный удалец, искатель легкой добычи. И как Грибоедов воевал против тех, кто хотел, «чтобы отечество наше оставалось в вечном «младенчестве»!

Представляет особый интерес бегло пробежать по рабочим тетрадям Грибоедова, порою — распаханным творческим полям, куда оставалось лишь бросить семена сюжета. Как пример целеустремленности автора стоит напомнить первую же заметку из петровской эпохи об одном, по-тогдашнему говоря, «инородце», который по возвращении из чужих краев был пожалован Петром в офицеры, а его господин — в матросы; тот же крепостной раб дослужился потом до контр-адмиральского чина. Или — замысел драмы «1812-й год», где ополченец крепостной, совершив в войне все надлежащее герою, возвращается под палку господина и накладывает на себя руки.

Его «дезидерата» и путевые заметки дают право заключить о глубине грибоедовских познаний. Помимо литературных произведений, он оставил нам и критические статьи, и музыкальные сочинения, и государственные проекты. Он говорил, что совестно читать Шекспира в переводе. Но, кроме английского и персидского, необходимого ему по его дипломатической работе, он свободно владел другими главнейшими европейскими языками, читал по-латыни, изучал арабский и санскритский, а по-турецки занимался с Муравьевым-Карским, самым недобрым из всех, оставивших воспоминания о Грибоедове. Образованнейший человек века, он собственным примером подтверждал свою приписку к письму к Шаховскому — «чем просвещеннее человек, тем полезнее он отечеству». Он как бы говорит нам, своим литературным наследникам,— «вы, нынешние, ну-тка!»

Попробуем нарисовать, как он представляется нам сквозь дымку почти полутора столетий. В год его смерти наш великолепный гравер Уткин сделал по рисунку Ривароля портрет Грибоедова. Мне кажется, что этот простой, тонированный серым гравюрный лист более соответствует облику писателя, чем раскрашенный впоследствии Крамским борелевский рисунок. Александр Сергеевич Грибоедов освещен здесь слабым, как бы темничным светом тогдашней России. В очках, с пристальным взором исследователя — не на литератора похож он, а скорее на врача, стоящего у изголовья России. К этой поре относится его признанье Бегичеву: «Комедии я больше не напишу, веселость моя исчезла». По отзывам современников, обворожительный собеседник, он был опасный противник в споре. Холодное и меткое остроумие уживалось с отзывчивым, даже чувствительным сердцем,— и вот мы приближаемся к главному, что предстоит выяснить нам. В 1823 году он жалуется Кюхельбекеру на душу свою: «Для нее ничего нет чужого,— страдает болезнию близкого, кипит при слухе о чьем-нибудь бедствии». Кроме близких, об этом не подозревал никто. Внешне он был всегда замкнут, как раковина. И, может быть, поэтому в ней вызрела лишь одна жемчужина.

За пятнадцать лет он написал около тридцати произведений, некоторые — в сообществе с талантливыми друзьями. В ту пору этот вид деятельности вряд ли сам он

считал для себя главнейшим. На стихах его часто лежит печать пресловутого шишковского корнесловия. В драме «1812-й год» наравне с живыми должны были действовать некоторые «усопшие исполины», а в «Грузинской ночи», последнем даре грибоедовской музы, также тайные духи производят всякие сомнительные поступки. Петербургские друзья, захлебываясь, твердили автору, что «Горе» только разбег к этому гениальному творению, но сам Грибоедов молчал, понимая, что они аплодировали не литературе, а Анне 2-й степени с алмазами, что украшала к тому времени грудь поэта. Так случается иногда с друзьями.

«Горе от ума», как гора, возвышается над остальным наследием Грибоедова. Не будь его, в примечании к истории литературы было бы кратко сказано, что это был выдающийся русский дипломат, который в молодости не чуждался поэзии. То был писатель одной темы, однолюб, человек, горевший в одно пламя, как родятся люди об одной ране в душе, вне зависимости — ранена она мечтой, любовью или другим смертельным недугом... Пушкин со своей плеядой, как веселое созвездие, ворвался в темное небо николаевской зимы,— Грибоедов вошел как бы в сумерках, сквозь них не различить какие-то самые существенные черты его биографии, и оттого каждый волен посвоему заполнять эти пробелы.

Думается, какая-то ужасная подробность, какими изобиловали будни крепостнической семьи, в раннем детстве хлестнула по чуткому сердцу мальчика Александра. И ничто впоследствии — ни гусарские развлеченья, ни целительная тишина гор кавказских — не могло заживить эту мимолетную царапину. Может быть, это случилось по выходе из армии, в один из приездов в Москву. Как нам известно, близ этого времени мать его, костромская помещица, очень нехорошо поступила со своими крепостными рабами. Неспроста лучшее, что исходило из-под грибоедовского пера, включая гордое, почти пушкинское:

> Покорный времени и вкусу,
> Я презираю слово *раб,* —
> Меня и взяли... в главный штаб —
> И потянули к Иисусу —

относится к этой теме. Значит, лишь одна мелодия его души, как таинственный нектар, привлекала его музу,—

не потому, что была капризна или жалостлива, а потому, что была умна. Может быть, глубже своих современников Грибоедов видел, насколько крепостные цепи мешают России осуществить ее исторические предначертанья. Все, включая Пушкина и помянутого Муравьева-Карского, отмечали выдающийся ум Грибоедова.

О всяком авторе одной знаменитой книги можно написать книгу столь же знаменитую. Создатель единственного и вполне зрелого произведения сам по себе является литературной проблемой. Не по поводу ли отсутствия такой книги и сказал Пушкин, встретив мертвого Грибоедова на перевале: «Мы ленивы и нелюбопытны». Личная трагедия Грибоедова заключалась в силе его прогрессивного ума, вынужденного прятаться в «уединенья уголок». Если Пушкин писал жене: «Чорт догадал меня родиться в России с душой и талантом», Грибоедов сказал бы — «с талантом и умом». Мне кажется, Пушкину было легче: он целиком растворялся в поэтической стихии, он был, как Мидас — все обращалось в золото, к чему ни прикасалось его перо. Не кастальских источников, не легкого хмеля поэзии, но черного хлеба насущной жизни искала грибоедовская муза. Взрывчатый ум одного стоил пленительной души другого. В этом заключалась их разница — при гениальности обеих этих стихий. Оба Александры Сергеичи, они стояли во главе века, оба имели лучших друзей среди декабристов, оба были нужны им, как порох и песня.

Ленин привел блистательную герценовскую характеристику декабристов. Это «богатыри, кованые из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение». История их известна, но не дошли до нас документы, рисующие степень участия Грибоедова в заговоре. Бумага любит гореть, и, верно, черный снег шел над русскими столицами после того, как царь с коня крикнул России: «На колени!»

Уже у Рылеева слышатся нотки обреченности, но лишь Грибоедов понимал, что «радикальные потребны тут лекарства» и не словесным горчичником Чацкого можно растопить вековой лед России. Романтика оторвала этих благородных и смелых русских людей, декабристов, от земли и отлилась от них Антеева сила. Даже языка

общего не было у них с народом. Обращения к войскам они подписывали словами — «единоземец», «любитель отечества», «сострадатель несчастным», до обидности переводные, не народные слова. Стоит только представить Чацкого в роли агитатора в чадной вологодской избе, у лучинушки, где бабки наши ткали километры холста на местную Салтычиху!

Отсюда рождаются молчание и задумчивость Грибоедова после написания «Горя». В самом деле, не смерть же Шереметева на дуэли так повлияла на него, как говорят современники,— того самого Шереметева, что жил, как трутень, лез в драку, как комар, и помер безболезненно, как муха. В эту пору Грибоедов тревожно чувствует движенье времени. Фигуры уже расставлены для неравной игры, и скоро умрет император Александр в Таганроге, и уже свита та веревка, которую палач разрежет на пять братских кусков. Вот фразы из его писем того периода: «Мне невесело, скучно, отвратительно, несносно!.. ожидают от меня, чего я, может быть, не в силах исполнить... Пора умереть! Не знаю, отчего это так долго тянется... Подай совет, чем мне избавить себя от сумасшествия или пистолета...» И правда, зачем ему нужно впоследствии гулять под пулями, о чем Паскевич сообщал его матери, или выдержать на себе сотню выстрелов вражеских батарей?.. Его сомненья оправдались; народ, который, держа топор в одной руке, пятьюдесятью миллионами других рук мог бы по песчинке разнести Зимний дворец,— этот народ безмолвствовал на рассвете 13 июля 1826 года. Он не знал.

И тогда родились у Грибоедова эти горькие, разочарованные строки: «Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими! Иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие... конечно бы заключил из резкой противуположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами».

Всю последующую жизнь Грибоедов помнил глаза товарищей, уходивших в атаку. Молчал и помнил, как помнил и молчал Николай. Царю неинтересно было, стояло ли имя Грибоедова в декабристских списках, ему важнее было знать, где находился бы поэт, если бы дворцовый

переворот осуществился. Убить Грибоедова, как и Пушкина, сразу он не посмел: негоже русскому царю на глазах у россиян отнимать русских гениев у России. Но он заковал его в чины и ордена и сослал его в таком виде. Только эта вторая поездка в Персию, в которой писатель трагически предвидел свой конец, была особой ссылкой, когда ссыльный является начальником собственного конвоя. К прежней грибоедовской маске сдержанности присоединилась сановная солидность, даже грозность в дипломатических переговорах... но как униженно и напрасно молит он Паскевича об опальных друзьях, припадая к генеральской руке. Последняя вспышка, дружба века!.. Муза его молчит, он нем, как гроб, по его признанью. «Потружусь за царя, чтобы было чем детей кормить»,— вот последняя, не разгаданная Булгариным, самая злая фраза его жизни. Здесь начинается другой Грибоедов, мудрый дипломат и государственный деятель, каких, на наше счастье, немало было у России.

Он уже «не похож на себя на прежнего, на прошлогоднего, на вчерашнего даже». Живи он еще сотню лет, он написал бы лишь улучшенную редакцию «Горя»,— улучшенную в отношении Софьи, в которую было несправедливо брошено столько камней, включая пушкинский,— Софью, ровесницу Татьяны Лариной, Наташи Ростовой и «русских женщин» Некрасова!.. Пламя еще не ушло из сердца, но теперь оно будет теплиться долго, терпеливо, экономно. Когда звезда гаснет, на ней рождаются цветы и дети. Хлопоча за свойственника перед Паскевичем, он прячется в свою же фразу — «как станешь представлять к крестишку ли, к местечку, ну как не порадеть родному человечку». Что ж, пора бы «дальше речь завести о генеральше!» И вот он стоит под венцом с Ниной, дочерью знаменитого грузинского писателя Чавчавадзе. Ее детская любовь была самым дорогим венком в его прижизненной неполной славе. Спасибо Грузии, спасибо Нине за нашего Грибоедова. Отсюда пошла старинная кровная связь литератур грузинской и русской! Потом отъезд. На границе его встречает чума... Четыре месяца спустя история рукой убийц опускает занавес над этим сверкающим явлением русской мысли.

Затем Грибоедов возвращается на родину. Вот как возвращается на родину Грибоедов: «Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу.— Откуда вы? — спросил я их.— Из Тегерана.— Что вы везете? — Грибоеда. Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис». Во всей мировой литературе нет для нас строк печальней этих. Без слез нельзя себе представить обстоятельства последнего свиданья поэта с Ниной,— как шумело пламя факелов, царапая обступившую ночь, как билась при этом на длинном черном ящике грузинская девочка-вдова, русская женщина Нина Грибоедова.

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской»,— начертала она на могильном камне мужа.

Все ищут своего счастья в мире. Грибоедов пренебрег им. В эпохи, когда открываются новые горизонты, ум и маленькое обывательское счастье несовместимы. Гений живет дальше пределов, до которых может дотянуться его рука. Его единственное удовлетворение — в сознании выполненного долга... Но если, по его примеру, долг этот выполняется одновременно всем народом, и нет в его организме ни одной не напряженной мышцы, как в разуме — праздной мысли, тогда иное, великанское, коллективное счастье нисходит в эту благословенную страну. Вот вражеское железо коснулось нашего сердца, и пламя рванулось из раны, и горе тому, кто встал на его пути! Оглянитесь на себя: победная гордость, которая ныне живет в вас, не есть ли оболочка истинного счастья?

Привычные ко всему, мы забываем, что деяния великих, как паруса, ведут наш корабль вперед. И только на грозовом ветру испытаний мы постигаем, что означала бы для нас их утрата. Так было с нами в черную осень 1941-го года, когда с предельной остротой, родившей наши зрелость и могущество, мы поняли, что значит для нас Москва и революция, культура и Сталин, чье имя стало нынче всемирным паролем победы над фашизмом. Мы привыкли к мысли, что есть у нас Грибоедов, и мир привык, что щедра была от века на великих наша земля.

Но близок день, когда человечество по-новому взглянет на историю русской мысли. Оно захочет узнать, откуда же взялась освободительная сила людей, которые избавили его от смертельнейшего из недугов. Благодарное и изумленное, закинув голову, оно еще раз вглядится в лица Ленина и Пушкина, Грибоедова и Толстого, освещенные зарей нового утра. И тогда все, что есть честного в мире, земно поклонится вам, духовные предки советского солдата, который нынче собственной кровью намечает дорогу честнейшему сталинскому гуманизму!

Доклад, прочитанный на торжественном заседании в Большом театре по случаю 150-летия со дня рождения А. С. Грибоедова, 15 января 1945 г.

ПОЛДЕНЬ ПОБЕДЫ

Воины возвращаются в отчий дом.

Столица, когда-то молча проводившая своих детей на тяжкий бранный подвиг, теперь с песнями встречает их в своих предместьях. Со всех концов Европы они пришли на Красную площадь рапортовать вождю. Сюда глядит история с кремлевских башен и сюда устремлены взоры братских республик. Сегодня эта площадь — как ладонь родины с горстью отборного зерна сталинского урожая. И если в этот день каждый мысленно подводит итоги своему четырехлетнему труду, эти люди могут гордиться больше остальных сограждан. В их руках — ключи от счастья, собственноручно отбитые ими у смерти.

Они не все тут, прославленные командармы и воины Советского Союза. Значительная их часть находится по ту сторону наших государственных рубежей. В этот самый праздничный час они несут свою будничную караульную службу. Победа есть сокровище, производное от всех других народных сокровищ. Ее следует беречь бдительней, чем зеницу ока: у ней цена крови невозвратимых жертв!.. Из отдаленных чужих городов они не видят своими глазами, как на трибуну мавзолея, совместно с маршалами политики и экономики, поднялся Главный маршал нашей жизни и как проволокли перед ним плененные вражеские знамена. Лишь издали, сердцем или радиоухом прильнув к эфиру, они услышат могучее ликование Москвы и поклонятся на восток, в пояс — по-русски, своей старой матери-орлице.

На этом параде бессмертных также лишь духом и делом присутствуют павшие в бою. Они отдали своей стране не только труд или даже самое дыханье; всем ведомо, какие высокие творческие замыслы содержались в каждом из них. О, эти непостроенные дворцы и неоткрытые тайны природы, ненаписанные книги и нерасцветшие сады!..

Они молчат, за них говорит победа. Родина, как печать, положит на сердце свое память об их щедрейшем даре. Мы еще не раз скинем шапки перед ними, одетыми в мрамор и бронзу на площадях наших возрожденных городов. Пусть благодарный гул завершающего московского салюта достигнет их могил и всколыхнет землю, приютившую их кости на чужбине...

Вечная слава им, смертью поправшим смерть. Поклон и любовь и вам, удалые, милые, далекие сторожа победы!.. Добро пожаловать, посланцы славы!

Хорошо возвращаться на родину с сознаньем исполненного долга... Вы идете по улицам Москвы или среди необозримых колхозных раздолий, и ветер гонит вам в лицо благоуханье зацветающих полей. Птицы щебечут вам голосисто, как девушки перед покосом, и девушки, краше райских птиц, зовут вас в свои калитки. Ах, как хорошо нынче на этом самом земном шарике, товарищи!.. Женщины и малые ребятки целуют ваши знамена и оружье, и вы сами рукоплещете им за хлеб и боевую сталь, которые так безотказно, в зной и стужу, добывали они фронтовикам. Этот день — наш великий семейный праздник, где равноправно пируют за братским столом и доблестные труженики войны, и солдаты оборонных цехов, и саперы колхозных нив. Это их дружное рукопожатие раскрошило навеки чортов орешек фашизма.

Отечество не успело воздвигнуть триумфальных арок для встречи победителей или выбить на мраморных досках летопись выигранных сражений. Ничего, успеем, все впереди. Победа не есть событие одного мгновенья, такое вино не выпивают залпом... Кроме того, какие арки величественней, чем радуги стольких салютов в небе отчизны? Какие поэмы полнее расскажут о делах ваших, чем эти мирные, тучные поля, как чаши с молоком, налитые созревающим урожаем и отвоеванные вами у гибели? Зато в минувшие четыре года родина тоже приумножила ваше

сообщее богатство на десятки новых или восстановленных заводов и домен, электростанций и шахт, да еще хватило сил и кирпича и на жилища для солдатских матерей и женок... Много послевоенных развалин, поросших бурьяном, вы увидите по сторонам дороги, но восстановленье их не испугает наших рук, справившихся и не с такой работой!

Глядите же и радуйтесь, хозяева Советского Союза. Теперь вы повидали мир, и мир видел вас в полной воинской ярости... А впрочем, в полной ли ярости повидал вас мир? От Волги до Берлина вы прошли неизмеримые пространства, потому что каждая пядь их мерится особой мерой... но вы прошли бы и вчетверо длиннейший путь. Ваши танки и кони, ваши солдатские сапоги прошли по всем дорогам срединной Европы; ваши пушки пол-Германии подняли бы на воздух; злые сумерки стлались под крыльями ваших самолетов, но они могли бы расстелить и вечную ночь во вражеских пределах. Русские никогда не тратили всего пороха из своих пороховниц, там всегда оставалась заветная — и самая страшная — горстка на донышке, про запас. Умному внятно нынче, что это не бахвальство, а дурака словом не проймешь. Все помнят, чем была в канун своего нападенья на нас чванливая и озверевшая от легких успехов гитлеровская Германия, на погибель свою забывшая — что такое мы... Вдобавок к лаврам небывалого военного успеха мы приобрели в этой войне опыт для многих будущих побед на всех поприщах человеческой деятельности. И мы познали, прежде всего, что нет ничего неодолимого для народа, отведавшего сладость своего самодержавства, как не оказалось ничего неодолимого на пути его разгневанных армий. Мы и раньше знали, что дело наше правое, но лишь теперь увидели — на что способны мы под таким водительством и при таком монолитном единстве. Для народа, поднимающегося к своему историческому перевалу, с каждым шагом ввысь раскрывается все более величественная панорама: все дальше отступают горизонты. Вот где у России на мир и на себя открылись орлиные очи!

Победа не упала к нашим ногам подобно плоду с дерева. Мы взяли ее сами как нечто законно причитавшееся нам от истории за наши — честность, мудрость и труд. И вот мы держим ее в руке, как кубок, и мы пьем его во

славу Сталина... но мы будем пить его долго, оставив кое-что и детям нашим. Крепкий хмель этого напитка не расслабит нашей воли, не отуманит зоркости. Мы не балованые. У нас позади тысячелетний трудный путь России; наше поколение основало в Октябре первый плацдарм и первую жилую точку в географии новой эры; мы с гордой улыбкой вспоминаем также три суровые пятилетки, когда, во исполненье ленинских заветов, Сталин повел отсталую страну на повышенных скоростях, в обгон недобрых соседей. Ветер столетий кричал нам в уши, чтоб мы остановились, он сбивал с ног слабейших, но сильные пришли к назначенному финишу в срок. Тут-то и впиталось навечно в сознанье советских народов, что лишь тот живет с достоинством, кто всегда готов умереть за это.

Воистину глупы те, кто полагает, что мы уже свершили все, для чего рожала нас матушка на белый свет. Мы еще на своем веку хотим увидеть абсолютное материальное благополучие, которое есть почва для абсолютного земного счастья,— и мы увидим, хотя бы на советском куске суши, этот преображенный мир. Можно предсказать поэтому блестящее развитие во всех областях нашей жизни, планомерность которого недоступна другим и которое одно определяет здоровье социального организма. Если мы давали бой стихиям, даже отбиваясь от дикарей,— что же будет дальше, за победой! Там будет для всех и все необходимое, чтоб разгрузить разум человека от повседневной бытовой заботы. И чем дальше мы станем продвигаться в глубину времени, тем большее количество новых потребностей будет рождаться в нас параллельно с возможностями их насыщения. Наши сегодняшние цели и желанья в науке и быту покажутся крохотными в сравнении с теми, которые поставит в повестку дня возросшее ныне могущество. Пусть скептики назовут это наивной сказкой: чем более высокие цели ставит себе человек, тем большего он достигает. А не наивным ли казалось пророчество Белинского о русских сороковых годах нашего века, о нас? А не наивно ли звучали для маловеров клятвы большевиков, не так давно, при свете лучины, в снегах сибирских захолустий? Такой же глубокой верой было проникнуто наше спокойное и человечное — «наше дело правое,— победа будет за нами», когда Гитлер замахнулся на нас кулаком

всеевропейской тяжелой индустрии. А как он кривлялся и галдел, грозился русское небо забить в колодки, советское солнце загнать в хомут тем самым кнутом, который уже свистел над коленопреклоненной Европой... И что же осталось на поверку от нордической «расы господ»? Фашизм, который оглушительно вмаршировал в Германию через Бранденбургские ворота, скромно вышел из них же под конвоем советских автоматчиков, как нечистый дух изо рта кликуши. Она сидит теперь на манер сказочной бабы-дуры у разбитого корыта, и ее знамена с черными пауками валяются у мавзолея, где лежит Ленин.

И тут, в этот триумфальный полдень, когда слеза набегает на очи, вспомянем с обнаженной головой нашего великого и прозорливого Ленина, который есть зачинатель победы и всего, что, подобно океану, разольется после нас на тысячелетья. Бесконечно скорбно, что нет его нынче с нами. Ветераны, которые ребятками грелись со своими плачущими отцами у незабываемых январских костров, теперь на руках принесли бы его на эту знаменитейшую из площадей земли, чтоб видел он сам овеществленный блеск несуесловного ленинского гуманизма. И если садовод радуется каждому сантиметру роста своих питомцев, какой гордостью озарились бы прищуренные ленинские очи при виде такого сада, выращенного его первым другом и мастером человеческих садов! И Сталин молча обнял бы его на глазах потрясенных народов, и верится, сами горные вершины преклонились бы перед святостью такой минуты!..

...Обширно и ветвисто генеалогическое древо нынешних героев; не вчера начались — творенье нового мира и бессмертный подвиг нашей отчизны. Правдоискателем слывет среди народов русский народ. Эту славу доставили ему наши предки... Поэтому давайте поклонимся земно и всей нашей дальней и ближней родне, которая на протяжении столетья вкладывала свои кровь и жизнь или хотя бы мысль и труд в дело победы. Поделимся с ними нашей славой. Мы родились на восходе солнца, они умирали в глухую ночь России. Мы ворочаем горами, они начинали с движения каких-то первичных волокон в человеческих душах. Но им было труднее нашего, у них не было Ленина и Сталина, хотя именно они подготовили наши народы к восприятию ленинско-сталинской идеи.

Мир во-время оторвал от своего горла фашистскую тварь,— правда, руками нашими. Промедление означало бы конец всему, что нам дорого. Сколько и каких людей сложили свои головы, прежде чем ее достали из бронированной норы! И вот свершилось: уже у ног европейского правосудия ластится и ползает эта тварь, укус которой мог оказаться смертельным для человечества. Время идет, но петля почему-то медлит. Эксперты глубокомысленно протирают очки, инвентаризируют склады с уликами, изучают диаметры огнестрельных дырок в затылках освенцимских младенцев. Мертвые устали ждать в свидетельской, которая им оскорбительнее, чем застенок гестапо. Громадная толпа Европы зачарованно наблюдает этих невозмутимых шемяк, и что-то не видать в ней, к стыду века, ни Жан-Батиста Мольера, ни Джонатана Свифта с его длинной палкой!..

Есть такие жуки, что живут в старых книгах. Проникновенная святость светится у них во взоре, потому что они едят библии. У них не было родственников в Бухенвальде, их сыновья не плыли к кораблям в багровом кипятке Дюнкерка!

...Зато в советской стране живые постоянно слышат голоса мертвых. Мы помним о вас, простреленные и отравленные, большие и маленькие граждане Европы, военнопленные и просто безвестные пахари, приглянувшиеся убийцам как мишень. Расплачиваясь за своих, мы чохом отомстим и за вас, невинно умерщвленные поляки, англосаксы и французы. Мы победили не только потому, что сильны; в пору нападенья у Германии было больше танков и пушек. Зло мы одолели, между прочим, и потому, что никогда не баловались именем справедливости.

По этой самой причине нынешнее наше торжество есть прежде всего торжество Человека, с боем отстоявшего свое человеческое звание. И пока гремят оркестры, пусть каждый шепотком скажет в розовое ушко своему ребенку:

— Дорогие отроки и девочки, и вы — совсем маленькие! Запоминайте этих грозных и очень добрых людей, избавивших вас от кнута и виселицы, от газа циклона и печки со страшным красным глазком, от изуверских фашистских вивисекций и от горьких, всегда таких неслышных детских слез. Пусть в вашей невинной памяти навеки запишется этот день, полный всяческих благодеяний.

Таких подарков детям не дарил еще никто. И если когда-нибудь усталость надломит ваше вдохновенье или грянут черные минуты, от которых мы, немножко постаревшие и смертные, не можем оборонить вас на расстоянии веков,— вспомните этот день, и вам смешна станет временная невзгода. Вам будет так, как если бы вы раскрыли бесконечно святую книгу творческой муки, беззаветного героизма и бессонного труда. Эта книга называется — Великая Отечественная война. В ней все мы были и авторами, и буквами, строчными и заглавными, которыми верховный вождь наш Сталин написал самую золотую страницу в истории человеческого рода.

«Правда», 25 июня 1945 г.

ГОРЬКИЙ СЕГОДНЯ

Мы проходим через девятую годовщину смерти Алексея Максимовича Горького. Это большой срок, достаточный, чтобы зажила любая рана. За такой срок много успевает поработать забвение. И все же до сегодня с прежней отчетливостью, лишь как бы сквозь вечернюю дымку, видим мы его милое простонародное лицо, его богатырскую фигуру, его усы, как бы смятые встречным ветром, и слышим своеобычную горьковскую речь. Мы еще не привыкли к отсутствию этого человека в нашей среде, и вряд ли мы, имевшие счастье быть его современниками, когда-нибудь привыкнем. Место его не занято никем, ни у кого нехватает голоса говорить с его высокой трибуны. Неповторима судьба этого писателя, который больше четверти века, может быть, как никто из его великих предшественников, бессменно стоял на самом гребне большой литературы русской, а следовательно, и русской общественной мысли, притом в наиболее бурную пору ее развития, подготовительную к великому перелому. Больше того, человек этот, возглавляя лучшие литературные чаяния и свершения своего века, имел право, как никто, говорить от имени совести народной.

В последующие годы его суждением дорожили не только люди искусства, но и наши изобретатели, ученые и врачи... Да и вся молодежь, из которой в годы Отечественной войны выросла стая непобедимых героев, вспомянет эту невосполнимую утрату. В равной степени слово Горького обладало магической силой влияния и на зарубежных читателей; много друзей из-за границы пришло к

нам именно через гуманизм Горького... Однако ни в какой иной области нашей жизни не чувствуется эта потеря так, как в литературе и театре.

Замечательно, что нашу тяжкую утрату ощущают и далекие от дела советского искусства мастера советской науки и хозяйства. Горького хватало на все, он владел бессчетным временем гения, его наследство громадно. Этот учитель до конца гордился своим званием ученика. Свою природную жажду к познанию он утолял из всех источников человеческой деятельности, и — следует прибавить — всякое его прикосновение всегда обогащало и самый этот источник. Тот, кто посидел с ним хоть раз за дружеской беседой, уходил от него богаче и смелее, чем был раньше, потому что уносил с собой частицу горьковской одержимости, его умной и проникновенной веры в труд, добро и знание; в русской литературе не было до него деятеля, который в такой степени возвысил бы значение этих трех основных колонн, поддерживающих могучие своды завтрашнего человеческого общества.

Алексей Максимович имел редкий дар, доступный лишь воистину великим,— умножать сортовые качества зерна, которое он хоть недолго подержал в ладони. И это свойство его наиболее благодетельно сказалось на молодой советской литературе. Без преувеличения можно сказать, что все мы, нынешняя литераторская генерация, выпорхнули на свет из широкого горьковского рукава. Это не означает, что все принадлежат к школе горьковского стиля. Он сам говорил мне, что мы не монахи — петь в унисон молитвенные гимны... Все инструменты, все голоса нужны в большом едином оркестре, призванном прославлять и симфонически рассказать потомкам об очистительной русской грозе, в которой сам Горький был буревестником.

Мы, драматурги и литераторы, как он любил называть свою профессию, благодарны Горькому за то, что он сызмальства внушил нам понятие высочайшей ответственности перед эпохой, народом и своим ремеслом. В его глазах, в памятном нам его лице капитана дальних плаваний, который глядит за горизонты века, до конца дней отражались снеговые хребты и счастливые долины человеческой мечты, которые он исходил во всех направлениях. И мы

с благодарностью вспоминаем, что тогда и в нас зародилось стремление побывать там же.

Мы благодарны ему также и за отеческое слово одобрения, которое он умел во-время подшепнуть каждому из нас и которое вливало добавочную силу в наш молодой творческий напор. Какая радость была нам постоянно чувствовать на себе его заботливый и строгий взгляд, каким легким и плодовитым становилось тогда перо в руке писателя! Все вы помните, сколько в те годы появлялось новых произведений во всех жанрах нашей литературы. Во исполнение своего знаменитого поучения — «говори ему почаще, что он хороший, он и будет хороший» — Максим Горький брал на себя опасный для большой репутации риск похвалы, которая порою действеннее и, так сказать, воспитательнее в искусстве, чем самая заслуженная и справедливая брань. Будучи хозяином в саду советской литературы, он каждую былинку знал во всех ее качествах и каждой помог своим огромным авторитетом.

В нашей критике никто, как он, не любил так все молодое, передовое и русское.

Прекрасное человеческое тепло излучалось из этого светлейшего представителя новой человеческой породы. Когда говорят о Горьком, думают о его страстной преданности людям. Но это не была тихая, поровну на всех, христианская любовь ко всем людям без изъятия, это была воинствующая любовь прежде всего к добру, без которого невозможна жизнь на земле,— ленинская любовь, которой назначено преобразовать планету, которая имеет свое жилище в сердцах тружеников, которая неузнаваемо облагораживает наши поля и книги и которою в конце концов были начинены снаряды в победоносной минувшей войне. Это и есть то самое вещество, из чего по крупинке выплавляется новая правда, самое дорогое из национальных сокровищ, а она в свою очередь служила только сырьем для достигнутой нами победы. Всю свою жизнь Горький был на службе у правды и, надо сказать, в отпуск ни разу не просился и не демобилизовался до последней минуты. Эту правду он защищал так, точно она была его собственным телом. Он требовал от всех современников быть участником грандиозной, начавшейся и уже неостановимой битвы за планету. Он не терпел равнодушных, и равнодушные

не любили его. У человечества было к нему вполне четкое отношение, как ко всякому гению его размаха; либо боялись, то есть почтительно ненавидели, либо любили глубокой любовью, сказавшейся хотя бы в высоком доверии к нему нашего народа. Словом, этот маршал литературы был настоящим воином, поскольку звание маршала также является воинским званьем.

Каждая книга его или пьеса была сражением за какой-нибудь догмат нашего гуманизма, и почти каждое он выигрывал. Как всякая победа, это показывает не только доблесть солдата, но и качество его оружия. В современной духовной войне от этого оружия требуются непревзойденные технологические качества. Умирая, старый мир подымает против нас все свои хоругви; он готов зарядить свои пушки древним камнем своих святынь, базилик и музеев, лишь бы они умерщвляли. Незабываемые имена мастеров культуры, которых этот старый мир сам же изгонял или отлучал от церкви, убивал голодом или жег на кострах, теперь он насильно мобилизует против побеждающей новизны, — и не Горький ли начал понемногу возвращать их в наш лагерь, где им надлежит быть. Потому что гений есть неувядающая молодость, никогда не устающая сражаться за людское благо...

Здесь и следует подчеркнуть, хоть и не нуждается Горький в наших оценках, могучий и безупречный его художественный дар. Диалог его пьес, написанных почти столетие назад — так много протекло событий с тех пор! — предельно выразителен и жив до сегодня и если порой перенасыщен мыслью, то оттого лишь, что именно этих качеств требовала от него его боевая эпоха: его описание всегда и точно и глубоко, словно стальным штихелем вырезанное на меди; композиция его пьес, вызывавшая различные толкования, мне кажется, носит в себе зародыши новой блестящей драматургии, прорастить которые на театре не решился или по ряду внешних обстоятельств не смог пока никто. Но всякий, кому будет принадлежать честь дальнейшего развития русского репертуара, неминуемо должен будет пройти под творческой аркой Горького, после того как минует он улицы и площади — Гоголя, Островского и Чехова.

Жизнь Алексея Максимовича можно было бы назвать шествием к звездам,— этими словами в старые времена

обозначался большой человеческий подвиг. Много эпитетов можно поставить перед этим именем,— самый точный и заслуженный из них — это данный ему посмертно товарищем Сталиным — «титанический человек». Действительно было во всем горьковском облике что-то от древнего Прометея — вплоть до злых птиц, погубивших его за благодеяния людям. Такие не умирают: звезда не угасает. Горький лишь поднялся на небосклон русской литературы, где ему надлежит сиять века. Вот почему до сегодня творцы и воины советской земли чувствуют рядом с собой локоть Горького...

А ведь почти десять лет прошло со дня его кончины, и какие десять лет! В них уложились невообразимые, во главе с Отечественной войной, исторические события, величественные, как сейсмические потрясенья. Слово Горького в этой войне тоже было нашим оружием, которым и при жизни он немало ран нанес фашизму. Отличие гениев от смертных в том, что и после смерти они трудятся наравне с живыми. Это дает нам право сказать, что Горький вместе с нами, нынешними, вместе с войсками нашими вступал в Берлин, как и дальше он будет сопровождать нас в нашем бесконечном движении к умному и гордому, богов достойному счастью.

Слава Горькому!

Вступительное слово на горьковской сессии Всероссийского театрального общества 11 июля 1945 г.

СЛОВО О ПЕРВОМ ДЕПУТАТЕ

Без остановки мчится время, даже когда мы спим или любим. Возница-время гонит своих коней, и, как глянешь порой под их стремительные копыта,— до боли зарябит в глазах и дух захватит от щемящего встречного ветра. И как это ухитряется удержать в себе все это наша память!.. Только что, скинув с себя бушлаты, кидались в контратаку, на колючую вражескую оборону севастопольские моряки... но вот уже шелестят в небе цветные шелковые звезды московского салюта, а через минутку все позади: и плывучие зарева Смоленщины, и осатанелый дребезг боя, и даже слезы сироток, обладающие жестоким свойством высыхать под солнцем победы... Было или не было?

И снова ни копотинки в девственном небе января. И чуть растерянная послевоенная тишина, как громадный демобилизованный солдат, не знающий, за что ему приняться сначала. И пахнет свежей сосновой щепой морозный воздух. И уже нарядные, краше прежних, избицы пестрят на зловеще обугленных пустырях. И скоро позовут на пироги бесчисленных свадеб и октябрин. Скоро молоденькое советское племя, как веселая озимь, подымется в пространствах наших, и еще раз, из края в край, пройдется круговая всенародная чарка за удаль отцов, за нашу нетускнеющую мечту, за нынешнего ее хранителя и отца. То-то будет плясу и здравиц, песня всхлынет под самые облака, и барабанно взгудит земля, и леса зашатаются, как хмельные. А уж мы поднажмем, товарищ, чтоб было чем отгулять на том главном пиру и чем одарить молодых

на разживу, пока не запустят в почву собственных корешков. Полны карманы и закрома насыплем мы им и уголька, и нефти, и спелого пшеничного зерна, и доброй стали *назубок,* — без чего не растут нынче великаны. Исправному родителю нет ничего отрадней счастливого смеха его ребяток.

— Торжествуй, юность, отвоеванная у всесветного злодейства!..

Все это будет лишь завтра, когда начнет выкладывать свои дары победа, а пока — останови своих коней, возница! Хотим сойти и постоять в молчании минутку на самом важном перегоне нашей жизни. Хотим оглянуться на дорогу, которую на чортовых скоростях мы проскакали в четверть века. Хотим проститься с павшими героями, что, как факелы, пылают позади в невыразимом огнедышащем мраке минувшей войны; отныне при свете их школьники мира станут читать учебник новейшей истории. Хотим, наконец, поклониться минувшему старому году, славно потрудившемуся на победу. Станем в круг, притихшие и строгие, окинем друг друга ревнивым братским глазком, много ли юности выпили из нас четыре страшных военных зимы.

Оттого ли, что равномерно и поровну стареет поколенье, мнится мне, что все те же вы, мои современники, как и семнадцать лет назад, когда лишь начиналось сталинское преображение страны. Только сильней засеребрились головы стариков да возмужалость политической зрелости проступила в облике советской молодежи. Что ж, воинская деятельность была в эти годы вершиной государственной деятельности, как ее понимаем мы. Правда, солдаты еще не смыли порохового нагара со своих рано огрубелых и прекрасных лиц, не сошли пока кровавые мозоли с милых, хлопотливых рук наших сестер и матерей. Но я объездил много чужих городов и не нашел лиц юнее и красивей ваших. Значит, подвиг умножает стократ человеческую пригожесть, а юность измеряется не количеством отжитых дней, а величием дел, которые надлежит ей совершить впереди. Будем же завтрашние наши дела равнять по вчерашним!

Для этого давай оглянемся, товарищ, на наши прежние свершенья. Давно ли гремела сталинградская канонада и танки с двух сторон смертно сшибались на Курской дуге?

Давно ли волчьи стаи безнаказанно промышляли на дорогах двух смежных материков, а вот уже и клока не осталось от главного фашистского поганца,— хоть бы зубок его найти, что за штука такая, которую он сбирался вонзить с наскоку в наше горло. Глядишь, уж и солнышко по-февральски крепнет в весенеющем небе, ибо по слову древней Кормчей книги именно солнце старается пожрать этот символический волк. И слизнул бы, кабы не мы! И вот волчьи атаманы надежно сидят в нюрнбергских казематах, зализывая плешины да подпалины на боках. И снова в сборе наша семья, и отец наш с нами, и наши клинки пуще прежнего сверкают на зорьках, шлифованные о шершавые загривки фашистских скотов. И есть у нас нынче время снова созвать со всего отечества знатных людей, достойных по разуму, дарованью или мастерству слиться в единый мозг государства. Здесь народ мой и совесть велят мне сказать слово о товарище Сталине, первом депутате нашей земли.

Не море я, даже не ласковое северное озерко, чтоб отразить хоть в малой доле величие светила, видимого ныне со всех краев вселенной. В большой реке народной жизни я только капля, которой коснулся живительный и острый луч звезды. Люди моего возраста засвидетельствуют правду моих слов; они еще застали старое, помнят жестокую, такую напрасную русскую тоску о праведной земле. Мы все были зачаты еще в потемках мира, и нам дано поэтому сравнить недавнюю полночь и нынешний полдень России. У меня также нет возможности перечислить одну за другой все даты сталинской деятельности, потому что каждою из них обозначена целая полоса нашей общественной мысли. Мое дело сегодня — вычертить на полном взлете поэтическую орбиту звезды, проходящую перед нами... Конечно, моя здравица Сталину пропитана звучаньем лишь великого русского слова, но пусть на всесемейном торжестве и остальные советские народы устами своих поэтов вырастят во славу его цветы человеческой речи. И чего не доскажет наше перо, про то с избытком восполнит песня.

Не вчера мой народ поселился на своей великой равнине. Мы обращаем взор назад, в первозданную петровскую метель. Свирепое пламя этого чернорабочего царя, на целый век разодравшее древний мрак России, потом

отодвинулось в дремучую вечность и перестало согревать корни национального прогресса. Новая ночь нависла на чудовищных просторах наших. Ползучие крепостные гады поселились на теплой народной груди. Бились и в ту пору горячие набатные сердца, одно на миллионы забитых и несчастных человеческих особей, — нельзя считать за признак процветанья сытое брюхо удачливого хищника или даже нарядную духовную нищету устоявшегося рабства. Время наших прадедов стало тяжким, как будни кандальника, и удивления достойно, что даже среди такой, на столетье затянувшейся зимы не угасали родники совести народной, бившие то живой водой, а порою и чистым пламенем. И каждый раз на смену одному возникал другой, а иногда и в сотню голосов отзывалась им душа России. Нет, никогда не прекращалась эта подземная перекличка великих народных сил, погребенных под ледником крепостничества. Такие разные — Ломоносов и Радищев, Пушкин и Чернышевский, они шли к одной цели, умному народному благу,— как кровь отовсюду стремится к сердцу. Вот почему даже в самую глухую полночь на весь мир светились так таинственно и прекрасно арктические снега России...

...Все медленнее, точно увязая в сугробах, двигался прогресс у нас, на Руси. Уж нас опережали, над нами посмеивались, нас заранее примеряли к своему карману в качестве будущего военного трофея; уж пробовали померить и силу нашу, и, может быть, все войны предыдущих веков были одной сплошной *разведкой боем.* Скажем прямо, если мы и учивали в ту пору чужие рати, то не соломенным царским могуществом, а лишь исконной русской доблестью, готовой с голыми руками выйти на лесного космача. Да и в невоенные былые годы не прерывалась эта мирная война за *освоение* России — вспомним, какая недвусмысленная акционерная паутина тянулась от хилой нашей промышленности к зарубежным банкам. Чужеземная алчность, лязгая стальными челюстями, волчьей рысцой бежала обок с Россией, высматривая поживу в ее старомодных бедных пошевнях... Тут уж мало стало подстегнуть лошадок, чтоб с молитвой да оглядкой миновать опасную историческую трущобу. И уже лезло и с запада и востока что-то нестерпимо резвое и мелконькое, от чего мельтешило в очах России. Эх, и махнуть-то было

хоть разок железным шкворнем, со всего плеча, да пусты были руки русского богатыря.

Именно у нас неминуемо должна была зародиться народная мечта о праведной стране, где не шумные молочные реки текут в кисельных берегах, где обитают жители особой строгой стати и светлой совести, где ни пиявицы в пруду, ни барина на горбу,— трудись и пой! «Хороша держава,— прадеды наши печалились,— да ни адреска туда не дадено, ни словца заветного, чтобы тропку туда отыскать». И уж до такой степени изождались, изверились, что только старые бабки, хранительницы наших святых преданий, внучаткам про то на печи сказывали: народится однажды у родины безмерной силушки сынок, который подымет матушку в объятиях и в облаках перенесет ее в ту дивную сказку. А начнется это с одной заветной зорьки, когда все проснется разом, люди и скованная зимой природа, и грянет на злую людскую бедуху тот долгожданный гром, о котором от века пелось в русской сказке и сказывалось в «Дубинушке». Так выглядела крестьянская мечта о социализме даже в ту пору, когда я сам, шестилетним мальцом, катался на ледянке у себя, в деревушке Полухино, бывшей Калужской губернии.

Кто-то должен был открыть для человечества этот шестой, праведный материк социализма. Но сперва следовало определить его географические координаты — за горными хребтами, за немолчными морскими валами... о, Одиссею было бы ближе плыть между его Сцилл и Харибд! Мало того, требовалось заранее исчислить тамошние законы движения людских масс и исторических судеб, труда и товаров, идей и всего того, из чего в гармонической пропорции сплавляется человеческое *благополучие*. Нельзя было принять на веру тот старинный, сомнительный мещанский сплав, из которого старое общество чеканило монету для расплаты с рабами. Полагалось разъять это понятие на составные части, тронуть их кислотами сложных социальных реактивов, измерить их абсолютный атомный вес и лишь тогда заполнить в этической таблице пустующую клетку, над которой стояла наивная надпись— *счастье!* Словом, русские люди и те, кто объединил с ними свой исторический жребий, ждали универсальную и героическую личность, творца новой науки. Он пришел наконец,— это был Ленин. Он оснастил по-новому старый

фрегат Российской империи и, сшив ему новые паруса, стал его первым капитаном. Его смерть застигла нас, когда мы только что отошли от причала в открытый океан. Тогда Ленина сменил Сталин.

Имени Сталина во всех его делах предшествует имя Ленина, равно как имени Ленина, подобно горному эхо, отзывается в веках имя Сталина. Здесь мы раскрываем далеко еще не полную книгу этой большой жизни: пусть до конца дней, пока движется солнце в поднебесье, полнятся ее увлекательные страницы. Как и книга ленинской жизни, она начата в ту отдаленную эпоху, когда самый помысел о трудовом единстве людей представлялся созданием если не смешной, то во всяком случае отвлеченной мысли. Так ученые создают знание о космическом светиле, изучают его объем и скорость, но какому исполину удавалось дотянуться до него рукой, чтоб сделать достоянием людского племени?.. Это есть прежде всего книга титанического труда, и только наш народ, сам умеющий самоотверженно поработать во имя идеи, даже не доставляющей немедленной политической выгоды, может оценить подвиг Сталина. Мы опускаем детство и юность гения, известные всякому школяру; вспомним только, как чист воздух в Гори, как глубоки снега в Новой Уде. Мы были маленькими тогда, мы еле помним, как, подобно лесному пожару, освободительное пламя охватывало империю; гасители в жандармских галунах притопчут его, бывало, на опушке, — оно с дерзкой яростью подымется в глубине... и вот уже нехватало полицейских сапог покрыть полностью всю площадь Российского государства!.. Начнем прямо с того памятного года, когда из опустелой гавани старой истории Россия вышла в свой справедливый и бескрайний путь.

Не испытав законной гордости за наше историческое прошлое, мы ни на шаг не продвинемся вперед. Это теперь имеются точные маршруты и лоции, по которым рано или поздно целой армадой поплывет человечество (слишком уж изменился за полвека климат мира, прохладно и зазорно нынче гулять в нем попрежнему, в дикарских трусиках!). В ту пору вели нас, товарищ, верный ленинско-сталинский компас, проверенный в бурях 1905 года, да молодая отвага рабочего класса, да еще вера народная в орлиную зоркость глаза, в непреклонную твердость капи-

танской руки... Помнишь, нас сразу обняли океанские бури, смешались часы суток, дни и ночи, когда волна гражданской войны хлестнула через палубу, смывая обломки старого,— трещали деревянные бока российского корабля. И хотя сменился потом безветрием этот первый шторм, оба капитана угадывали чортов смысл того коварного затишья. Куда в такую дальнюю дорожку, да на парусах!.. Дана была команда — не убавляя ходу, одеть корабль в броню, чтоб не раздавила враждебная стихия. Оказалось мало: ветер срывал обветшалую снасть, в преисподнюю то и дело швыряло вас из-под облаков. Вы поставили в корабельное сердце все механизмы, какие нашлись под рукой у рабочего класса, но нехватало в них силы провернуть винты в сгустившейся бездне. Тогда почти из ничего, из воздуха родины, из песен да из скудного пайка вы сотворили новые машины, и, верно, помнят ваши домохозяйки, сколько насущного хлеба нужно было уплотнить, чтоб получилась сталь требуемой маркировки. Три пятилетки вы не спали, и вряд ли за всю дорогу вздремнули толком хоть разок ваши рабочие подруги... Ни на минуту за весь рейс не покинул мостика бессонный и немногословный капитан. Жуть и стужа неизвестности леденили ваше сердце,— но улыбка и песня не сходили с ваших уст, чтоб не утратил он веры в свой народ, из которого черпал свою волю. Он вел напрямки отяжелевшее от сокровищ корабельное тело, даже когда океан выгибал перед ним свою крутую левиафанью спину; он вел и не спускал взора с путеводной звезды, которая была — Ленин... Мало было бы сто очей иметь, чтоб видеть сразу — и на столетие вперед и на вершок вблизи.

Малодушных и ослабевших немедля смывало волной. Иные сговаривались в трюме предаться на милость волны, чтоб занесла на тихий островок, к укромному шалашику с подачей пива и ширпотреба. Они хватались за руль, подымали воровской нож во мраке такой непогоды,— народ нещадно спихивал их за борт; совсем вблизи вас поджидали самые коварные рифы истории. На всем бегу через пучину вы перестроили свое экономическое оснащение для повышения устойчивости корабля... О, помнится, даже пыль не прежняя, а новая летала в ваших тесных пока, неблагоустроенных каютах! При этом следовало подружить — казалось бы, более полярные, чем вода и огонь,

стихии, способные разнести в клочья иную социальную тару — вопросы личной и общественной пользы, многоязычного государства и национального процветанья, многовекового прошлого отдельных народов и стремительной братской новизны, и, наконец, добиться безопасного социалистического бытия в разноименном окруженье. Еще тесней крестьянство сплотилось с рабочим классом: нынче всякому понятно, что было бы без коллективизации, без сосредоточения двухсот миллионов воль в одном лезвее, которым рассекалась пучина. Так сколько же времени прошло с тех пор, как Россия легла на этот курс — тысячелетие или минута?.. Но к месту величайшего исторического испытанья подходила уже не прежняя, шитая на гвоздях, парусная посудина, а пловучая, вполне современная крепость, в которой каждая заклепка была умна, как человек, и каждый человек выглядел крепче стальной заклепки... Потом, все сразу, вы увидели пресловутые рифы фашизма. Они стояли наготове, в шахматном порядке, как танковые надолбы,— как шеренги отборных солдат встали они перед вами. Они и родились лишь для того, чтоб не пустить нас к праведной земле... И вдруг они сами, как в бредовом сне, сорвались, зашумели и, буровя воды, пошли в атаку. Хоть всем было известно, что большие клады, подобные нашей мечте, не даются даром, во многих из наших зарубежных друзей дрогнуло сердце — они ли, рифы, распорют наше стальное чрево, мы ли с ходу раскрошим их тяжестью накопленного могущества. Так началось *это*.

За четверть века кем только ни прикидывалась подлая бессмертная смерть, пытаясь потоптать самую честную и живучую поросль человеческого рода. Она рядилась в белых генералов на пышных конях или без оных, в трусов и капитулянтов, в сладкоголосную птицу-чаровницу, соблазнительно напевавшую о санаторном отдыхе для страны, уже разгоряченной созидательным трудом, в ползучую диверсантскую тать... и всякий раз, железною скребницей содрав ее непрочный грим, мы видели одно и то же, давно знакомое нам, костистое и с зубатым оскалом личико, которого, казалось, хоть кулак искровени, ничем не проймешь. Теперь она оделась в голубой мундирчик со свастикой на рукаве, черную прядку клинышком наклеила поперек лба и клоунские усики над губою; она сменила

прежнее, сенокосного типа, вооружение на иное, похитрей и посовременней, она раздвоилась, расчетверилась, размиллионилась... ни один самый ядовитый микроб не плодится так, как размножилась эта — даже не в черные кулиги саранчи, а в несметные рати смертяшек! И у каждой из них имелся походный котелок на твоего куренка, вострый зубок на твое, пусть даже зеленое яблочко, ножичек на твое дитя, хомут и печка на тебя самого. Впрочем, куда там: они видели в нас даже не послушные рабские машины, но сырье для своих мыловарен, медицинских застенков и компостных куч. Им нужна была твоя шкура для обивки мебели, кровь твоих малюток для врачеванья недостреленных сквернавцев, локоны твоей невесты для их похабных семейных тюфяков.

Хорош ты был в полной срамной своей наготе, распоясавшийся старый мир!

Когда на Нюрнбергском процессе переводчик шептал мне в микрофон о подробностях зверского фашистского изуверства, казалось мне — это совесть шепчет мне в ухо:

— Что, понял теперь, миленький, почему уголь, нефть и сталь полтора десятка лет не сходили с наших газетных столбцов? Потому, что из этих первородных грубых стихий, с прибавкой человеческого творчества, создается таинственный сплав свободы и счастья. Ими заряжаются пушки, они текут в крови державы... Теперь полностью дошло до твоего сердца вещее капитанское слово, сказанное в начале нашего похода к праведной земле: «Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»? И если ты металлург — не из твоей ли плавки родился снаряд, которым была окончательно расширена брешь в бетоне германской обороны. И если ты текстильщик — не твое ли прочное волоконце вплетено в петлю, в которой со временем повиснут нюрнбергские лиходеи. И если ты крестьянин, то, может быть, именно твоей щедрой горстью колхозной ржи были засыпаны глаза главной смертяшки... Бережно храни на груди этот университетский диплом сталинской науки!.. И если завтра снова повелит капитан удвоить засыпку хлеба в пазуху государства, утроить скорость станков, учетверить приплод твоих домен и мартенов — станешь ли ты теперь желать времени на перекурку да пряничка к светлому дню? Гляди внимательней на этих призраков фашистской

ночи, пока не развеял их в прах приговор Трибунала. Тебя даже не засекли бы, из тебя выцедили бы твою жизнь, как из тюбика, по мере надобности для германского хозяйства... если бы не капитанская прозорливость и всенародное трудовое единство рабочих и служащих, солдат, крестьян и нашей отличной советской интеллигенции. Вот что бывает, когда пять разновеликих пальцев сжимаются в кулак!

И опять не станем перечислять всех этапов того беспримерного поединка со смертью. Мы все — как бирки, на которых каждый денек войны надежно зарублен для памяти. Кроме того, у солдат крепче, чем у поэтов, память на события последних лет... Были горестные дни вначале; помнится, черный иней свисал с деревьев в эту самую пору, и хлебушко был черствей камня, и самая водка отзывала пригарью. Не меньше, чем добытую радость, береги эту светлую скорбь по родимой земле, попираемой ногами завоевателя!.. Со сжатыми зубами дралась родина, и все дралось в ней — воины и старухи, даже пылающие леса, даже самый воздух, раскаленный русским морозом досиня. Все двигалось и сшибалось, и, может быть, только он один, Сталин, мыслитель и полководец, стоял так прямо и безмолвно, со своим бессонным штабом, посреди этого губительного вихря воющего железа, огня и разъятых тел. Он был видней всех врагу, как голова партии и армии, и потому это был самый передовой солдат в самой передовой цепи. Как на сторожевую твердыню рушились на него первее всех заботы, тревоги и прямая вражеская ненависть, и всякий из нас, как бы железен ни был он, сломился бы при этом, как тростинка. Вспомни, как качался маятник победы меж двух враждебных лагерей, и тогда стало необходимо в каждого вложить частицу капитанской воли, чтоб укрепить решимость к преодолению гибели: так от щепотки благородного вольфрама крепчает и становится несокрушимой сталь. И вот он роздал нам себя... Так сколько же нужно было иметь внутри, чтоб не иссякнуть, чтоб хватило на всех, чтоб по стольку осталось в каждом про запас. Не говоря уже о молодежи, иным стало душевное вещество и старшего поколения. Это хорошо сознают и наши всемирно знаменитые полководцы, и хозяева заводов, откуда, подобно вулканической лаве, круглосуточно извергались танки и пушки,— блистательные советские

артисты и рекордсмены социалистического труда, преобразователи природы, и тот безвестный письмоносец, который понесет мое слово по всем капиллярам родины, — искатели горных богатств, конструкторы сторуких машин и строители вместительных палат для них, творцы слова и пахари колхозных нив, мастера атомной инженерии и сами высокие соратники его, на которых лежит его свет, как на его собственном челе почил навечно отблеск ленинского гения. И это есть правда наша, потому что имя Сталина сделалось нынче паролем победы, содержанием эпохи и биографии страны.

Не потому ли с его именем в сердце советские танкисты с таким упорством вгрызались в почти неприступные немецкие фронты, а наши летчики, пускай — один на шестерых, длинным огнем рубили вражеские эскадрилии? Не потому ли уже сомкнутые смертью не имена жены и детей, самого дорогого на свете, шептали холодеющие губы героя, а имя Сталина шептали они, ибо в этом слове заключено будущее родины и оставляемой семьи? Вот почему выше всяких наград было нам его тихое поощрительное *хорошо*, способное даже по радио, через десяток тысяч таежных километров, вздыбить морскую волну, двинуть сухопутное железо и воспламенить людские души... Вот мы открываем народам земли самую сокровенную тайну нашего могущества и механизм многократного чуда, происходившего на восточно-европейских полях сражений. Сегодня у нас день «открытых дверей», подобно тому, как это делают наши техникумы и университеты перед началом учебного сезона.

В миллиарды проницательных глаз глядите к нам, во глубину моей отчизны! Поднимитесь выше, еще выше, пока не замрет дыханье, чтоб охватить взглядом, всю сразу, вечереющую снежную ширь, где мелькнет изредка десяток белорусских хат с розовой колоколенкой посреди, да зеленая шерстка нерубленого, нехоженого леска, да путаная черная тропка, по которой бежит, доискиваясь моря, малая безыменная речка. Вы увидите на горизонтах горы — уральские и кавказские, кольские и памирские,— из апатитов и базальтов, извести и магнитного железняка, припорошенные снежком и слишком ничтожные по высоте для такой необъятной равнины. Натренированный глаз соглядатая различит также сотню — другую, может быть, даже

сотню сотен новехоньких заводов, которые с надптичьего полета напомнят вам всего лишь брызги туши на большом бумажном листе. Тогда закройте этот невероятный учебник мудрости и постарайтесь мысленно повторить, что именно довелось вам прочесть в этой сияющей и такой емкой странице. И если не сумели вы постигнуть, откуда же родится у нас *такая* песня, *такая* титаническая идея об истинном призвании человека, и, наконец, *такая* сила, готовая поднять с колен весь мир, поверженный перед алчностью, — так, значит, плохо еще, пинками да увечьями, учила вас грамоте история за последние полвека,— значит, еще не сполна оплатили вы страданьем этот высший курс науки о людском благе... Однако, глубоко веруя в человеческий разум, знаем мы, что как отдельная особь через познание личной выгоды приходит к социализму, так и социальные мыслители планеты через познание национальных преимуществ доберутся когда-нибудь до мысли о всечеловеческом трудовом единстве. Бог в помощь вам, лысые и бородатые дети мира!

Сердясь и покачивая головой, история задает вопрос неспособному ученику.

— Ну, раскинь мозгами, сынок. Что же случилось бы, если бы Красная Армия не выстояла, если бы судьба не послала советским народам *такого* вождя на тяжелом рубеже новой эры, если бы, наконец, неизмеримые площади России с ее запасами сырья и глубиной стратегического пространства стали тылами фашистского райха и головорезно-хунхузной империи японской?

В силу вышесказанных соображений, прямой логики, сопоставления событий и документов, оглашенных в Нюрнберге, мы утверждаем, что история планеты выглядела бы *весьма иначе,* если бы Сталин не возглавил величавого освободительного порыва народов России: нам было бы любопытно понаблюдать смелые цирковые кульбиты и флик-фляки инакомыслящих мудрецов в их попытках хотя бы частично доказать обратное. Перед человечеством стоял мрак небытия, чернее копотного зева бельзенского крематория, который в свое время превратил бы и оных мудрецов (если только сами они не фашисты!) в легковесный аспириноподобный порошок для удобрения немецкой капусты. Этою простейшею из аксиом мог бы овладеть при усилии даже не очень дряхлый колхозный конь... Дело

не столько в поголовном порабощенье, которым фашистская доктрина грозила миру; всякое реальное зло весьма недолговечно в сравненье с вечным понятием добра и потому вынуждено постоянно менять форму атаки. Мы совсем не думаем также, что история человечества могла бы закончиться зрелищем нечесаной нордической твари, обгладывающей в некомфортабельной пещере сырую детскую кость. Внуки побежденных все равно голыми руками передушили бы одичавших, забывших про огонь добра победителей... Дело в основном замысле фашизма — превратить хотя бы на время все человечество в стаю борзых собак и следовательно — в сумме тех усилий, которые впоследствии пришлось бы затратить человечеству для восстановления утраченного. Кто знает, не потребовались ли бы новые Шекспиры и Ньютоны, Чайковские и Толстые, Аристотели и Галилеи, чтоб втащить на прежнюю вершину тяжелую колымагу человеческой культуры? А такие люди приходят в мир поодиночке и далеко не каждый век!.. Поэтому, совсем не навязывая своих суждений другим народам,— нисколько не нуждаясь в самой элементарной признательности со стороны упомянутых инакомыслящих мудрецов, советские народы полагают, что это Сталин подарил людям вторично их семьи и свободу, этот жгучий и свежий январский воздух, и все общенациональное достоянье наше, и все то, из чего составляется великолепное ощущение жизни.

Это и есть причина, по которой мои, русские, велели мне, своему поэту, поднять здравицу за Сталина в дни выборов в Верховный законодательный штаб страны. В благоговейном молчании и с непокрытой головой народ расступается, давая проход первому депутату родины.

Стеснясь в братский круг, все мы смотрим теперь на человека, стоящего посреди своей семьи. Нам хорошо с ним. Он научил нас не щадить мелкого для достижения большого, и таким путем узнали мы нечто дороже жизни. Мы честно прожили эти годы творчества и борьбы, в которые тащили лемеха новой цивилизации по застарелой целине. Мы впрягли в тот плуг все, что имели — свою раскованную силу и природные дарования, и этот Человек шел первым, шел там, где не виднелось ни следа, ни борозды. Вместе с ним мы воздвигали нашу стройку, по пылинке складывая одну на другую. Уже и сегодня про-

сторно и умно в этом доме,— мы ощутим его тепло, когда такая же красивая и надежная крыша возляжет на эти циклопические стены... И опять глядим мы в его лицо,— не коснулись ли тяжелые заботы его душевной молодости. И хотя мы помним, когда прочертилась там каждая морщинка и при каких условиях побелела каждая прядь его волос, мы спокойны за будущее своей страны и своего вождя. Орлы не стареют, нет таких песен на свете про старость горного орла! С годами лишь уверенней опирается о ветер его широкое крыло. И чем сильней задувает встречная буря, тем стремительней ввысь подымается орлиная стая вслед за своим вожаком. Пусть любовь народная охранит его от человеческих бед!

Что ж, посмотрелись, и в дорогу. Хороша, ясна, заманиста снежная даль юности. Много у ней славного пути впереди. Пусть веселит кровь, жжет нам щеки докрасна морозный ветерок: это и есть жизнь. А ну, хлестни своих коней, возница!

«Правда», 23 января 1945 г.

МОЛОДЫМ ДРУЗЬЯМ

Мы с особым острым чувством вспоминаем начало войны и оглядываемся на прошлое с улыбкой, происходящей от сознания своей силы: так смотрят капитаны дальних плаваний на пройденный по осеннему океану путь, охотники — на поверженное чудовище и все прочие — на исполинскую, казавшуюся невыполнимой и теперь уже законченную работу. Мы вспомним иное утро, когда вот так же в разгаре стояло лето, и еще не успела поблекнуть неизношенная зелень лесов, и соловьиные концерты раздавались в рощах, и рука нашего труженика лежала на скобке двери, за которой находилась желанная и почти достигнутая мечта,— тогда все мы были моложе, может быть, на сотню лет... Потом настал денек, которого мы не забудем до гроба: едва солнце поднялось в зенит и часовые стрелки сблизились на вертикали, голос большого человека, которого чтит и любит страна, оповестил наши сердца о событиях минувшей ночи. Топор, поднятый фашизмом и расчетвертовавший смиренную Европу, смаху опустился и на советские города. Все мы, большие и маленькие, стояли в тот час у репродукторов, повторяя про себя — наше дело правое, мерзость будет разбита, победа будет за нами! Это была одновременно и клятва, и боевая программа. Так началась Отечественная война.

В такой день представляется уместным нам, старшему поколению, обратиться со стариковским, как говорится, словом к нашей смене, готовой встать у пульта духовной, хозяйственной и государственной жизни Советского Союза. Мы хотим говорить, однако, не о событиях, изве-

стных у нас каждому ребенку, а о том главном знании, которое приобретено нами в результате упорного героического военного труда. Современнику почти не под силу осознать в полном объеме события минувших лет. Можно сказать пока, что вот еще одна, небывалая варварская волна разбилась о древние стены московского Кремля, вставшего в новом историческом значении. Все то же, родное и знакомое с детства, окружает нас, но как непохоже оно на вчерашнее!

Несокрушимое всенародное единство — оно было первым испытано в боях. Слушайте: сердца победителей бьются сегодня в унисон с мерностью солдатского шага!.. Окрепла и закалилась в бою советская держава, всяко испытанная на прочность,— единственное из воевавших государств, так блистательно выдержавшее проверку. А ведь и пушки на востоке стреляли громче, и палачи на восток посылались наиболее мастеровитые в своем заплечном деле. Именно в России, выяснилось, пролегает становой хребет человечества, разрубив который фашизм мог стать хозяином планеты... Мудрее стало и поколение отцов, которые еще недавно по крохам создавали вещественную основу нашего могущества; с заслуженной гордостью могут они утверждать, что не зря были прожиты их лучшие годы. Это радостное сознание, недоступное молодым, является вместе с тем и показателем их возраста. Все в природе подчинено животворящему закону смены, оттого и не угасает ни на миг блеск жизни в ее творениях. И, наконец, такие же глубокие перемены коснулись и тебя, советская молодежь!

Известно всем, что только в Советском Союзе не существует так называемая проблема «отцов и детей». У нас молодым не приходится силой вырывать у старших свое право на усовершенствование форм бытия. Мы сами помогаем им в этом, равняя настоящее по будущему. Наши старики связаны кровной порукой с теми, которые лишь вступают в жизнь. Все наши жизни расположены на одной вольной пораболе стрелы, пущенной с тетивы умною ленинской рукою. Ты, нынешний,— это я вчерашний, ты только немножко счастливей меня, потому что ближе к заветной цели... Молодежь наша в своем большинстве отлично понимает, какую ответственность возлагает на потомков суровая, как молитва, мечта их предков. Да, это

для вас жил и действовал Ленин. Для вас революция матросским плечом распахивала октябрьские ворота в будущее. Во имя ваше очень светлые, безвестные люди умирали с улыбкой и безжалобно,— задолго до того, как огласил эту землю ваш первый детский плач. Они видели вас сквозь дымку столетья,— видите ли и вы их?..

Мы живем в таком веке, когда великие идеи признаются и уважаются не столько по размаху их прекрасных крыл, способных вознести человечество к поднебесью, сколько по стальной мощности их когтей и клюва. В силу этого новому гуманизму пришлось создать танки и пушки, и выяснилось, что плохо бывает тому, кто пытается обращаться с ним по старинке, как с отвлеченным, бесконечно отдаленным «несбыточным мечтанием» о социальной справедливости.

Итак, ты правильно начала свое сознательное бытие, советская молодежь,— с утверждения мечом и на поле битвы своих исконных человеческих прав. Это хорошо, что вы родились в грозе и буре, молодые люди Советской страны. Еще безусыми вы уходили в решительную контратаку против всесильного зла, и вы вернулись домой возмужавшими ветеранами, красивые пленительной солдатскою красой, отмеченные золотом высших воинских отличий... Но, может быть, краше всех их — преждевременные сединки на ваших головах!.. И вы, милые девушки России, также совсем юными шли в пекло войны, с еще непробудившимися душами, видевшие врага лишь на картинках времен гражданской войны — ожиревшего от тунеядства, в непременном цилиндре и с брюхом, громадным, как мишень в тире. Потом вы сразу столкнулись лицом к лицу с ним — деятельным и изворотливым, во всей его подлой тигровой стати, в элегантном железном котелке, вооруженным всеми, обращенными на истребление, достижениями современной цивилизации. Его оказалось, может быть, стократ больше, этого врага, чем во всех, взятых вместе, прежних нашествиях на Русь; многие битвы прошлого представятся будущему историку сражениями оловянных солдатиков в сравнении с масштабами этой исполинской схватки, и сам летописный наш, полусказочный богатырь Рогдай годился бы всего лишь командовать полуэскадроном в Отечественной войне... Наверно, стихотворцы

завтрашнего дня скажут, что вашу юность вы провели в вулкане!

С молчаливой и пламенной любовью родина глядела на вас, как в полный рост, точно обладая тайной неуязвимости, прорывали вы завесу целеустремленной дикарской злобы. Много невысказанных тревог погребено на дне просторного материнского сердца. И правда, откуда было вам, воспитанникам самой гуманистической идеи, какая когда-либо зарождалась в человеческом существе, владеть хитрым и беспощадным искусством победы? У вас не было позади опыта отцов, помнящих царские плети и каторгу; о рабстве вы знали лишь понаслышке от бывалых стариков. Кроме того, не ненависти, а братству и творчеству обучала родина своих юношей и девушек, а кратковременные военные эпизоды тридцатых — сороковых годов вряд ли могли служить достаточной тренировкой для несмолкающей четырехлетней битвы, подобной Отечественной войне... С ласковой нежностью растила вас родина, и, вспомните, на самых голодных этапах первых пятилеток всегда бывало найдется для вас хорошая книжка, либо горстка сластей в ее заскорузлой, мозолистой руке! О, как она любила вас... Поэтому и бывали минутки в войне, когда она опускала смятенные очи, чтоб не видеть подробностей свирепого поединка юности со смертью,— этой трагической темы старинных русских повестей, увеличенной до бредовых размеров новейшей техникой: выдержит ли, выдюжит ли? Любые лишения готова была она принять и перенести, лишь бы не дрогнула в бою сыновняя рука перед бесстрастным судом истории, которая в уплату за честь и независимость нации принимает лишь червонное золото подвига.

Выдюжила!.. Так значит, советская молодежь своевременно поняла, что честное, истинное счастье не достается по наследству, как сундук с родительским скарбом,— что ежеминутно приходится брать его умом или силой, и всегда по дорогой цене! — что даже дивизии Добрынь и Муромцев не смогут оберечь от несчастий своего слабосильного правнука. И тогда вы вторично отвоевали себе свою землю и достояние на ней, уже отвоеванные в Октябре и приумноженные деяниями отцов. Незваных гостей, польстившихся на ваше добро, вы встретили по всем обычаям русского воинского гостеприимства, и каждого

угостили русской землей досыта, и ни одного не обнесли смертной чаркой; как море в гневе, вы хлынули затем из отечественных берегов, разметая вражеские твердыни... С тех пор вы вдоволь посмотрели на мир, и мир посмотрел на вас, и, следует признать, мир более восхитился вами, чем вы восхитились этим зарубежным миром. Теперь вы повидали, как выглядит чужая земля, живущая по микробному закону взаимопоедания, полная всяких житейских ухищрений; вы имели случай удостовериться, что бывает с культурой, когда так безнадежно снашиваются ее социальные трансмиссии и шестерни и нехватает у ее хозяев решимости отдать мастеру в починку ее скрипучий и уже опасный для жизни механизм. Это тысячелетнее утомление культуры начинается с помрачения руководящей государственной морали, и если цивилизация уже не освящается мечтой о всеобщем, равном счастье, тогда проклятьем становятся ее благодеяния, тогда одуревшая страна, подобно бешеной твари, кидается на соседей, грызет детей и святыни, пока не проучит ее рослый молодец в красноармейской форме и палкой не загонит обратно в нарядную, голубым кафелем обложенную подворотню... Вот вкратце поучительная судьба Германии!

Ты по заслугам презираешь, молодой друг, такой социальный порядок, при котором властвует животная алчность, при котором ради неправедной наживы не щадят ни женской чести, ни детских жизней, при котором на возделанных трудовых нивах пышно цветет такая, вроде Круппа фон Болена, едучая плесень, по всей стране распустившая свою пакостную грибницу. Скучно нам в Европе, юноши и девушки моей страны!.. Война есть обширный университет, где преподаются самые насущные и жестокие истины, и если, к несчастью для планеты, не везде и не очень равномерно поумнело человечество даже после столь многолетнего обучения, то мы с вами рассматриваем достигнутую победу как диплом об успешном окончании курса универсальной сталинской науки. История скупа на подарки,— значит правильно мы жили до сих пор и заслужена нами эта награда. С тем большей бдительностью будем мы хранить ее за пазухой, у самого сердца.

Война задержала наш разбег; теперь мы снова включаемся на большие скорости, которые единственно могут

обезопасить нашу страну от новой военной непогоды. Теперь будущее в твоих руках, советская молодежь. Все может случиться в этом мире. Пусть утро!.. Но клочья минувшей ночи еще притаились кое-где в низинках подлых душ и неразумных государств. Помни,— сколько в тебе окажется света, столько его и прольется в мир, — больше ему излучаться неоткуда. У тебя широкая дорога к счастью. Мы сделали много, ты совершишь всемеро. Твои пятилетки покажутся великанскими шагами по сравнению с теми, какими мы шагали до сих пор. Атомные силы будут служить тебе, и, кто знает, может быть, тебе суждено раскрыть секрет бессмертия. Жданная и любимая молодежь, гляди на мир так, точно до тебя длилась всего лишь предистория, начало новой гуманистической космогонии, когда лишь появляется твердь из хаоса и обозначается геологический профиль новой эры. Тебе предстоит совершить на ней подвиг жизни. Мечтай о большем, бережно храни в себе святое недовольство уже содеянным. Владей своим достоянием так, чтобы дети твои не упрекнули тебя ни в чем, равно как и сам ты не сможешь упрекнуть своих отцов в бездействии.

И пусть стрела достигнет цели!

«Комсомольская правда», 22 июня 1946 г.

РАЗГОВОР О СПРАВЕДЛИВОСТИ

Когда пушки умолкают, приходят дипломаты. Они садятся у круглого стола и ведут строгий разговор. В нем суммируется опыт человеческого страданья, бережно взвешиваются кровь и пот соратников, совершенствуются меры охраны прогресса от варварства. Так справедливость воплощается в статьи, которые потом вырезают на медных досках монументов неизвестному солдату... И пока они сидят, старуха История почтительно стоит в сторонке, как она стояла еще вчера, внимая грохоту Сталинградской битвы.

Так и теперь. Старуха со вниманьем смотрит на самый большой круглый стол, какой ей доводилось видеть в веках. Действительно, это особый стол, он поставлен на особом грунте. В этой земле под ним закопаны семь миллионов исполинов, оборонивших мир от всесветного злодейства. Старуха стоит не одна — бесчисленное множество живых свидетелей теснится вкруг нее. Там много женщин с заплаканными глазами, бедно одетых детей, ветеранов в шинелях без погон и изорванных войною. Они хотят знать, как осуществляется акт величайшей судейской деятельности, не меньший, чем благодетельный подвиг гения или героя. Они имеют право на это.

Это все простые, очень чистые люди. Они не очень разбираются в тонкостях юридических процедур. Их специальность иная — растить урожаи, воспитывать смену тружеников и творцов, строить умные машины да еще беззаветно сражаться за человеческое достоинство; благодаря

этому им и удалось совершить такое, чего не выразить ни в песнях, ни в параграфах, ни даже в долларах... Зато так уж они устроены, что не спят тех ночей, которые — хотя бы за тысячу миль — огласит плач ребенка; оставаясь в живых на поле боя, они продолжают сражаться в одиночку; кроме того, они глубоко чтут понятие *джентльмен* [1], неплохое слово, подаренное миру англо-саксонским языком для обозначения носителя человеческого благородства и высоких нравственных устоев. Кажется, что их, повидавших Гитлера у себя в дому, уже не удивишь ничем, но... странное дело, вот хоть и не закончилось еще московское сиденье, старуха иронически улыбается.

И уж если она теперь улыбается, значит, имеются причины для ее невеселого веселья. Необыкновенные явления происходят за круглым столом. Сущность их такова. Дикарь предпринял завоевание мира, и вначале это получилось у него довольно удачно, пока не вступили мы. Именно советский народ внес жертв больше всех в дело усмирения фашистского дикаря. Четыре года огнем и толом производилось научно организованное оголение так называемого «восточного пространства» под базу для всемирного германского господства. Дикарю удалось превратить в первобытную пустыню почти идеальной голизны счастливые и культурные, оборудованные новехонькой индустрией советские города и села.

На протяжении этих памятных лет произошли свидания государственных деятелей великих держав в Ялте и Потсдаме. Были приняты соглашения о возмещении Советскому Союзу чудовищных опустошений, которые там мягко названы «ущербом». Когда на дикаря надели, наконец, смирительный нюрнбергский капюшон и очередь дошла до выполнения обязательств, джентльменское слово Ялты и Потсдама, закрепленное в документах, магически превратилось в изысканное «сочувствие», которым прикрывается отказ от выполнения этого самого джентльменского слова. Сие напоминает тот самый фокус-покус с исчезновением шарика, который так обожают дети дошкольного возраста.

---

[1] Джентльмен — «человек, отличающийся благородством, порядочностью и великодушием». Толковый словарь русского языка, ОГИЗ, 1935, т. I, стр. 703.

Возможно, это было бы смешно, если бы шарик в данном случае не представлял собою нашего священного достояния, созданного титаническим трудом советского народа. Отрадно узнать, кроме того, что в жестокие военные времена не поредела категория сердобольных людей, сочувствующих чужому горю. Только нам это ни к чему. Речь идет совсем о другом. Положим шарик обратно на круглый стол и рассмотрим дело по пунктам.

В самом деле, человеку свойственна благодарность к погибшим за него, которые как бы отдали ему взаймы свои жизни; оттого прежние живые всегда полагали своей священной обязанностью вознаградить морально и материально их жертвы, добить остатки зла, исполнить завещание мертвых, выпить братский кубок за здоровье мира!.. В этом большом всечеловеческом предприятии вопрос о так называемых репарациях хоть и существенный, но для джентльмена даже не самый главный. Бывают вещи, о которых не принято подолгу толковать над свежей могилой: *им* тоже слышно там, в земле. Но случается и так, что судьи собираются и размышляют по многу раз без особых блистательных результатов, потому что одна сторона стремится не к исправлению ущерба, а к исполнению своих эгоистических планов. Тогда женщины на улице начинают расценивать конференцию, как томительную дискуссию, некоторым участникам которой не хочется возвращать сироткам хлеб и кров, отнятые по воле громилы. Послушать их, получается, что вовсе не было у нас ничего позади: ни Зои, ни комсомольцев Волоколамска, ни Сталинграда, ни благоденствия сорокового года, когда мы пригубили первое вино наших пятилеток, ни даже вас, семь миллионов отборных советских воинов, которым при жизни их усердно кланялись правители многих народов. Видно, шея не имеет памяти.

В такие минуты, по выражению одного стороннего наблюдателя, хочется почесать мозги. Полно, так ли все это, не мираж ли перед нами, не редкостная ли слуховая и зрительная аберрация, еще не известная науке?

Следовало бы призвать мертвых в свидетели, но они молчат. Они устали. Их не разбудишь. Они не встают, даже когда у них отнимают принадлежащее им... Тогда надо обратиться к свидетельствам их победы. Города постепенно снимают с себя лохмотья. Слышен неуверенный

пока детский смех. По радио сочатся новейшие, вызывающие зуд в ногах фокстроты. Фемиду с завязанными глазами возят с материка на материк, без риска подорваться на магнитной мине. Все едут куда-нибудь; едут делегации, туристы тоже едут, иногда с ножом за пазухой. Живучий дух наживы возвращается из дальней эвакуации. На черной бирже бесстрашно шумят о России черные люди... Словом, когда кончается затемнение городов, наступает затемнение совести. Ветер и дождь и подлая незримая рука смывают с развалин грозные прыгающие буквы *смерть фашизму,* начертанные кровью несдававшегося бойца. Им на смену выползают совсем другие слова, плоские, обитающие в кодексах международного права, слова без плоти и души, равнодушные и ползучие слова, но каждое с жальцем: *преамбула, резервация, координация, баланс...* Они валятся с лапками в кубок мира, и вот уже не видно дна: пить нельзя. «Слова, слова, слова», — как сказал один нерусский классик, изучавший человеческую природу у себя на родине. Конечно, чего не скажешь в беде, когда дубина убийцы взнесена над головой, но, надо признать, в Ялте и Тегеране дипломатическая мысль звучала несколько проще, короче и выразительней.

Крупный английский деятель раскрыл мне в недавней беседе истинное значение слова *джентльмен*; оказалось, что мы ошибались. Это слово означает вовсе не «блюстителя» и не «носителя» каких-то донкихотских качеств, а лишь обеспеченного господина, имеющего прочные доходы, — словом, рантье, живущего «стрижкой купонов». Я не благодарил моего просветителя: я стал беднее. Но сразу прояснилось, почему так бесследно проходит все на свете, даже солдатские братанья и рукопожатья, обеты и объятья, Ялта и Тегеран. Люди, занятые большими бизнесами, всегда крайне рассеянны: они забывают уважать бесприютное горе наших вдов и сирот. Для них, чем восточней меридиан, на котором пролита кровь, тем она дешевле... И вот опять бушует вокруг России эпидемия забвенья, которая со времен Тамерлановой опасности всегда доставляла немалый профит Европе. Микроб множится, его рассылают в радиопробирках, его холят и нежат, его питают выдержанным ядком, и, наконец, выращивается новое, тоже с лапками, словцо — *пересмотр!..* Неодно-

кратно простреленные ветераны битв за свободу народов прислушиваются к происходящему, смотрят на свои раны и соображают в тишине, во что хотят обратить их звонкую творческую молодость и пятилетнюю безответную муку.

Естественно, они не могут пропустить мимо ушей удивительной по легкости, сатанински-наивной словесной музыки, переданной 22 марта английским бюро информации. Мелодия звучит буквально так:

«Русские не любят самого слова «пересмотр». Они безусловно склонны отклонять любое предложение о пересмотре, как нечто почти преступное. Об исторических решениях Берлинской и Крымской конференций (они) говорят так, будто эти решения являются непреложным законом. Трудно понять, почему это так».

Мы знавали английский юмор в гораздо лучших образцах!

Вряд ли стоит создавать подкомиссию для изучения, что именно содержится в понятии *честное слово*. Тот же сторонний наблюдатель, стремясь внести свою лепту в дело мира, так разъяснил это мало изученное свойство славянской души. Как слово *джентльмен* звучит не одинаково на разных меридианах, так и понятие долга имеет у нас несколько степеней. Так, например, глаголы *обнадежить* [1] и *посулить* [2] имеют совсем разные оттенки, и последний вдвое сильнее первого. Слово *обещание* [3] во много раз обязательнее простого посула. И, наконец, этот ряд в итоге завершается словом *клятва* [4], которое содержит значение присяги и даже прямого обета перед богом. Таким образом, для каждого из нас, потерявшего семь миллионов братьев на войне, Ялгинский документ не есть только клочок гербовой бумаги. Никто не должен и не смеет рассматривать встречу в Ялте, как мимоходное causerie [5] на теплом курорте. Мы тоже занятые, у нас на это времени нет. Для моей страны Ялта есть по крайней

---

[1] Например, у Даля: «Обнадежил, да и ножки съежил».

[2] Там же: «Посулился, да отступился», «Посуленное на воде вилами писано», «Посуленный мерин не везет».

[3] Там же: «Обещал пан шубу, да не дал, ин слово его (тепло) греет». «Обещать-то легко, да думай исполнить».

[4] Даль, т. II, изд. 1905 г., стр. 311.

[5] Causerie — непринужденный разговор, беседа *(франц.)*.

мере расписка кровью, или слово джентльмена в славянской трактовке этого понятия. Такие обязательства с древнейших времен выполнялись без оговорок. Время и место действия конференции обязывают к этому.

Ибо, когда бушует разлив «спасительного» забвенья в мире, пожалуй, оно только делает вид, что бушует. Оно не бушует на самом деле. Оно хотело бы, но не может, оно не смеет. Наших жертв и утрат забыть нельзя. Если мы не валим на круглый стол километровые груды костей и пирамиды мокрой щебенки, то лишь потому, что там нехватит места для этого. Гарь «бабьих яров» и смоленских пожарищ еще витает в воздухе, носится в пассатах и муссонах — требуются полчища торнадо, пользуясь американской терминологией, чтобы проветрить в мире эту кромешную духоту. Нет, добрые господа, наши потери не ограничиваются суммой в 357 миллиардов долларов расходов и утерянных доходов плюс 128 — от прямых попаданий в сердце, в завод, в святыню, в детскую колыбель. Не считая самой крови, тяжесть которой общеизвестна, весят же хоть что-нибудь материнские слезы, считая из расчета семи миллионов хоть по десять граммов на мать. Почем ценится у вас эта страшная жидкость? Спросите свои народы, согласились бы они купить русское горе за эту сумму?

Нет, мы не торгуем ни кровью, ни трудоднями героев. Сие не продается у нас в универмагах. Не о цене крови идет речь. Мы хотим, чтоб исполнилась справедливость, законное право всех простых людей земли. И если есть еще нужда в доказательствах и уликах, везите эту даму с завязанными глазами по обширной пустыне наших пограничных республик. Еще не поздно. Пусть провожатые заблаговременно снимут эту неуместную теперь повязку с ее глаз. Она увидит сама лежащие в развалинах наши скромные трудовые дворцы, тысячи километров рельсов и провода, раскиданного по земле, и очень хороших людей, которые еще мечтают сменять свою землянку на самую простую избу...

Милая моя страна, еще жарче продолжай святой труд послевоенной пятилетки. То, что когда-то мы сбирали по крохам, завтра мы соберем пригоршнями и скоро будем носить охапками в наши закрома. Расти своих детей и полновесный урожай, воздвигай разбитые углы твоего

жилища, и пусть тебя не огорчат забияки из зарубежных газет, призывающие охранить бедную Германию от России. Кошелек и волк из диснеевских киносказок всегда разговаривают таким проникновенным жалостливым басом. Пусть сушеная преамбула, которой хотят накормить твоих сироток, не отравит в тебе веры в дружбу, честь и правду. Ты не одна, с тобой крылатая, всевидящая совесть истории. Но я разделяю твой молчаливый вопрос:

— Если Мюнхен прозвучит в веках символом страха перед убийцей, а Сталинград — нашего героизма, а Ялта — солдатской клятвы, а Нюрнберг — возмездия, то какое содержание вложат потомки в бесконечно емкое слово — Москва тысяча девятьсот сорок седьмого года?

Пусть это прозвучит как — *Справедливость!*

«Правда», 31 марта 1947 г.

РАССУЖДЕНИЕ О ВЕЛИКАНАХ

Существует мнение, что великаны добродушны и даже любят, чтоб к ним ходили в гости. Наряду с этим опыт Гитлера, побывавшего в гостях у России, показал, что молва об их гостеприимстве сильно преувеличена. Два суждения вступают в противоречие... и тут, предположим, Дижонская академия наук[1] поручила бы нам отвергнуть одно, как заблуждение, другому же вручить пальму первенства и правоты.

Мы призадумались бы, что именно скрывается за этим академическим вопросом. Как и все на свете, великаны состоят из достоинств и недостатков. Если под этим словом разуметь великий народ, то вывод будет зависеть от того, какой общественный слой подвергнуть рассмотрению; в каждом из них бывает подчеркнута или даже искажена какая-нибудь черта национального характера... Ясно, что это на наш счет заволновались хитрые дижонцы.

Искони умели мы для милого гостя все на стол выставлять, что в дому найдется; да это и неплохо — тряхнуть достатком для верного дружка, с которым вместе кровь проливали или еще прольем впереди. Однако простой народ в таких случаях проявлял больше государственного такта и чутья, чем более просвещенные наши слои, у которых радушие нередко выливалось в излишнюю общительность с гостем дижонского происхождения.

---

[1] Университетская академия наук и искусств основана в Дижоне (главном городе Бургундии) в 1740 году. Академия систематически объявляла конкурсы на различные сочинения о морали, нравах и т. д.

Замечено, что кое-кто из наших не прочь был и душу ему на сиденье подстелить: «Располагайся, мил-сердешный друг, а я тебе сказывать стану — как с женой живу, чем у нас чахотку лечат и какой самолётишко брат соседкин в поле видал!» Причем все это не ради подлого барыша, а просто так, чтоб ублажить гостя щедротами, запечатлеться навечно в его благодарности, хотя и небезызвестно, что благодарность проходит вместе с хмелем. Может, и шибко сказано, но пусть шапка на том дотла сгорит, о ком речь.

Гость тем временем усмехается, мотает на ус по правилам шпионской мнемоники, а потом пишет всю ночь, подобно Генриху Штадену, донесение своему Максимильяну о кратчайших путях к одолению гостеприимного хозяина. Сколько мы их повидали от Штадена до Кюстина, от Струйса до Петра-Петрей-Эрлезунда, который так обстоятельно оболгал Грозного царя. Нередко лишь по исчезновении дорогого гостя приходило в голову спросить — отколе он, чем занимается и как имечко ему, чтобы чорта пустить вдогонку... Да и позже, сколько у нас было пито-едено панаит-истратями, доспассосами, андрежидами и другими мэтрами газетного клеветона. Где-то они теперь и что поделывают в пользу всемирного гуманизма? Много добра уплыло из нашей страны в беззаботной ладье российской деликатности.

Трудно уследить начало болезни, но представляется мне, что началось это вскоре после падения Сумбекиной башни. Не нова эта повесть, однако повторим вслух ради разбега и укрепления рассеянной человеческой памяти... Нам повелено было судьбой стать великим восточным валом от монгольского вторжения, как семь веков спустя — могучим горным хребтом от нашествия тевтонского. Целых три века мы выстояли в одиночестве на смерть, не шелохнувшись, пока юная Европа закладывала фундаменты своих университетов. Скудно жили тогда наши дети, без ласки, без книжки, без пряника. Нет, не любовная лютня звучит в песне о походе Игоревом. У Пересвета и Осляби были дела поважнее на залитой кровью русской земле. Впрочем мы на участь свою не ропщем, — после каждого испытания что-то прибавлялось в нашем теле и душе: вот откуда мускулы титана и неустрашимая проницательность мудреца.

Никто из народов не познал с такой силой святости знания. Высвободясь из ярма, Русь устремилась к сокровищам, без которых в этом мире сожрут с костями. Царь Иван ковал последний железный ларец русского государства, и когда тот приобрел надежную прочность, Петр ссыпал в него первую горсть «зерен бурмицких» поверх уже накопленного там жемчуга — славянского, византийского и, скажем, венецейского. Как все приходившее к нам извне, эти последние неузнаваемо облагородились от одного пребывания в сердце русском, — в той степени, в какой наш Рублев выше византийских образцов и итальянских примитивов... Однако нетерпение заглушило в Петре голос мудрого предвидения — как это аукнется в веках. Совершив великие дела, он приучил русскую знать копировать иностранное и презирать свое.

Ему было безразлично во что налита живая вода просвещения, лишь бы поскорей утолить трехсотлетнюю жажду. Иноземцы ехали к нам с семьями и челядью, так что иная капля меду прибывала сюда в многопудовых жбанах да баклагах. То была, скорее, лишь руда, подлежащая дальнейшей обработке в плавильнях народного духа, чем готовый фабрикат культуры, пригодный к немедленному применению. О, далеко не Леонардо, не Парацельзы, не Палладио соблазнялись суровым московитским климатом, а лишь безвестные Европе Лефорты, Брюсы да Гордоны; это под крылом Петровым стяжали они себе песенную славу. Смешно было бы считать их воспитателями обновленной культуры русской. Они никогда не годились стать клетками государственного разума России, у которой была своя, суровая, непостижимая Западу судьба, но лишь инструментом в руках неистового царя. Если доныне существуют в советской столице районы их имени, это лишь показатель того, как умеет наш народ ценить даже крупицу оказанной ему в нужде услуги.

И смотрите, едва осиротела Петрова дубинка, как быстро выродились «сии птенцы гнезда Петрова» в бездарную голштинскую моль, в Бирона и Бенкендорфа, Дуббельта и Штюрмера, который был просто царицына блоха в бархатном камзоле. Лишь немногие из них плодотворно прижились в русской науке и растворились в своей новой родине. Большинство жило островком, ста-

новилось верхами общества, друзьями и даже родней царям. Но, процветая и множась, наливаясь спесью и жирком, они побаивались так называемой «славянской души», которая иностранцу всегда представлялась некоей подозрительной штучкой со взрывателем, и стремились обезопасить своих потомков от превратностей будущего. Примечательно, как быстро подыскали они себе деятелей, которые приподнятую поэтическую деликатность Пушкина — «и за учителей своих заздравный кубок поднимает» — вывернули в формулу извечного примата Запада в нашей духовной жизни. Кажется, в те годы русскому народу весьма своевременно напомнили обветшалую «легенду» о приглашении безработного скандинавского ландскнехта Рюрика со братьями на великокняжеское кресло, — предание столь же бесталанное, как брехня об основании Москвы сыном библейского праотца Иафета, Мосохом, и его благочестивой супругой Ква, откуда будто бы и наше с вами прозванье, товарищи москвичи!

На протяжении века этот привозной микроб изрядно подточил веру русской знати в свои национальные силы. Столичная знать постаралась окончательно, языком и обычаем, отмежеваться от своей черной родни, ютившейся в нищих избах. Она щеголяла в импортных перьях да лоскутах, транжиря накопления Петра. Не имея опоры в своем отечестве, она искала ее за границей.

И сколько раз — в доме патриарха московских недорослей две княжны-сестрицы хаяли свою родину перед очередным мужчинкой из Бордо, который, кстати, всегда на поверку оказывался либо журнальным Хлестаковым средней руки, либо просто шпионской щукой в окружении раболепных карасей:

— У вас там священные камешки Европы, Колизеи да Парфеноны, Атенеумы да Фолибержеры... роскошь какая! А у нас только и есть, что всадник медный, который вот уже целый век все скачет сквозь свою гиперборейскую метель.

Да тут еще Фамусов сбоку поддаст про неопрятность мужика: «Просто неприятно за загривок держаться, едучи у него на спине». Да еще Скалозуб рванет басом: «А дороги-то, сударь,— грыжу наживешь!»... А следовало бы тогда же поспрошать у них со строгостью (как и было спрошено веком позже, в Октябре!): а что, дескать,

сделали вы сами, хорошие вы господа, на иностранном диалекте срамящие свое отечество, что вы сделали для приведения в надлежащее совершенство дорог российских и загривка упомянутого мужика?

Такая мораль и для нашего времени пригодна. Слов нет, критика полезна, поскольку она способствует совершенствованию, но не всякая критика совершенствованию способствует. Критика настоящего творца социалистической жизни раньше всего состоит в том, что он своим собственным трудом старается преодолеть недостатки своего быта и общества. И если, скажем, тело его терзает низкая зимняя температура, а душу — нехватка комфортабельных автомобилей, он тем яростнее вгрызается в Донбасс и Магнитку, потому что там в неисчерпаемом количестве заключено все для утоления самых утонченных потребностей. Ему не потребуется для этого в шахту лезть или у домны становиться: его собственная специальность является могучим рычагом воздействия на уровень жизни. Делай свое дело хорошо и своим примером устыди нерадивого соседа! Такая критика ускоряет наше поступательное движение, и если бы все так критиковали, глядишь, мы бы пятилетку в год осилили!.. Что касается других видов критики, то зачастую это — воркотня потребителя, стороннего человека в своей стране, воркотня недобрая, потому что, может быть, для комфортабельной машины как раз тех винтиков и нехватает, которые изготовляет он сам. И примечательно тоже, что всегда при этом является поблизости очередная щучка или лиса, которая терпеливо ждет, когда кусочек сыру выпадет из клюва разговорчивой птички...

Я не хулю прошлое моей страны. Правнук крепостного, я смотрю на старую русскую культуру, как на свое кровное наследье. Она блистательна в том, что было почерпнуто ею из народа... Не быть бы ей, однако, если бы деды мои не доставляли хлеб ее творцам, не ходили в дальние походы с ермаковской вольницей, не слепли в рудниках, не изводились без сна в людской, пока Гавриил Романович Державин беседовал со своей музой, и, наконец, соленым солдатским потом не поили орла русской военной славы. Но, кто знает, случись наоборот, может быть, на месте своих хозяев мои деды наковыряли бы всемеро. (Равным образом, глазами наследников вправе

мы глядеть и на западноевропейскую культуру, которую мы оборонили в двух величайших сраженьях и от которой, кстати, пошли ее другие отрасли, в том числе — и заокеанская.)

Патриотизм состоит не в огульном восхваленье или умолчанье отечественных недостатков. В полном объеме я понимаю значение этого слова. Не на моем языке родилась поговорка ubi bene ibi patria — где хорошо, там и отечество — мудрость симментальской коровы, которой безразлично, кто присосется к ее вымени, было бы теплым стойло да сладким пойло. Для мыслящего человека нет дороже слова *отчизна,* обозначающего *отчий дом,* где он явился в свет, где услышал первое слово материнской ласки и по которому впервые пошел еще босыми ногами. С малых лет мы без запинки читаем эту книгу жизни, написанную лепетом *наших* весенних ручьев, грохотом *нашего* Днепра, свистом *нашей* вьюги. Мы любим отчизну, мы сами физически сотканы из частиц ее неба, полей и рек. Не оттого ли последней мечтой политических скитальцев и даже просто бродяг было — вернуть в родную землю хоть кости.

Сильна эта стихийная Антеева тяга, но она ниже гордого чувства национальной принадлежности. Патриот потому и готов погибнуть за свою землю, чтобы у его народа сохранилось навеки это историческое благо. Всем строем мысли и душевных богатств ты обязан родине. Она дала тебе жизнь и талант. И это не есть лотерейный билет, по которому счастливцу выдают без очереди хромовые штиблеты или мотоцикл с прицепом. Нет, талант есть сокровище, окупленное историческим опытом и мукой предыдущих поколений; он выдается под моральную расписку, как скрипка Страдивария — молодому дарованию, и родина вправе требовать возврата с законным процентом, чтоб не скудела национальная казна. На любой общечеловеческой ценности лежит неистребимая печать нации, где она родилась. И если удалось тебе спеть что-нибудь путное в жизни, привлекшее сердца простого народа, то лишь потому, что слабый голос твой звучал согласно с вековым хором твоей большой родины. Вот потому все знаменитые люди нашего прошлого так благодарно и нежно любили ее всякую — и в сумерки, когда беспросветный осенний дождик, и в нищете, когда

у ребенка нехватало сил протянуть руку за милостыней,— но прежде всего — в бедствии, когда предстояло либо прорваться к победе, либо сгибнуть вместе.

И есть высочайшая степень патриотизма, который существует пока в одной нашей стране, но светит далеко за ее пределы. Это патриотизм не только для себя, но и для других... и, в конечном итоге, для других больше, чем для себя. Это патриотизм мудрости и старшинства: мы живем здесь, но наша родня раскидана всюду — по горизонталям пространства и по вертикалям времени. «Мы — человечество». Это не вселенский космополитизм некоторых наших изысканных современников, которые в понятие родины готовы включить любую точку Галактики, где имеются конфекционы и кафе, универмаги и гостиницы с сервисом. Подчеркнутые урбанисты, «французистые пижоны и бульвардье», по научному определению Маяковского, они допускают явления природы лишь в предметах потребления, а русскую культуру — в черной икре с белой булкой. В большинстве это люди способные... в первую очередь способные скорее преувеличить сомнительные достоинства чужих, чем примириться с временными недостатками своих, лишь бы их не упрекнули в неделикатной необъективности. Как и прежних недорослей, их можно признать по одежке, составленной из предметов, недоступных простому смертному. Они здравствуют и процветают, но всегда держат в мыслях, что есть на свете такая праведная страна, Эльдорадо, где пребывает надмирная глянцевитая культура и никелированные гвозди продают в шкатулках, пригодных для хранения запонок... Это над ними посмеивался дедушка Крылов в басне о дворянине, который «из дальних странствий возвратясь». Им невдомек, что в Эльдорадо все зависит от тигров, а не от милостивцев, и никто их там не ждет с шампанским на аэродромах, а если и примут, то лишь в гарсоны при тигровом столе, в *яшки,* по-нашему; что симментальским коровам, после того как выдоят, пенсий там не дают, а обращают на мясо и потребляют с горчицей их собственного разочарованья... Нельзя забыть, как один большой беглый артист певал бурлацкие песни у одного такого саблезубого тигра чуть ли не в передней, чтоб не мешать болтовне тигровых гостей, которые так и не поняли, из-за чего так шумно распинается этот приезжий господин в

крахмале. А потом, ближе к ночи, на длинном черном кодилляке ехал он украдкой в порт, где стоял тогда советский пароход, и все ходил, все слушал вечернюю песню русского матроса, вольный ветер с родины. Какая босяцкая тоска грызла тогда его душу! Эх, волгарь-волгарь, далеко ли ты уехал на своем кодилляке?.. Нет, эльдорадцы скупы стали, деньгу любят, деньгу копят, мало яшкам дают, что и обнаружилось на одной недавней конференции. А уж если и выдадут, то сперва сплясать под свою дуду потребуют.

Речь идет о чувстве высокой принадлежности к авангарду тружеников, которым так гордились Горький и Маяковский, Чкалов и Зоя. Это есть патриотизм советского человека, провозгласившего свое отечество моральным пристанищем всего прогрессивного человечества. Да, мы любим свое, *наше,* потому что на нем лежат отпечатки мечты и золотых рук наших гениев; да, нам дорог этот, *наш* дом, содеянный подвигом предков и всесторонне оборудованный достиженьями пятилеток, но не потому только, что там находятся дедовские могилы, бесценная утварь цивилизации и непочатые сундуки с добром. Наше отечество лучше других потому, что оно есть спасительный прообраз людского общества.

Нам нельзя иначе, мы зорче, мы старшие в человеческом роду. В самом деле, тот, кто не полагает своего благополучия в нищете слабейших, еще не может считаться их братом; пока еще он только не вор. И если он защищает их от потока и разоренья, не ставя себе призом кошель со златом, он — их брат. И если он рассекает череп злодейству, пока другие пришивают пуговицы к мундирам, он есть сильнейший брат. (Я не против портных, но известно, что непосредственное пролитие крови на фронте сопряжено с большим риском для здоровья.) И, наконец, если он идет впереди века, как вожак, прокладывая трассу в страну, куда еще нет лоций и куковских маршрутов, приемля на себя все тягости и случайности неизвестности, он есть старший брат. Таким всегда принадлежало и старшинство в семье. Такие отвечают перед историей за сохранность всего духовного людского достоянья.

Любя свое, мы никогда не испытывали вражды к чужому, пока оно за рубежом, не одето в цвет хаки и не смотрит в нашу сторону задумчиво-бычьим взором. Блок

повторял слова Белинского о том, что нам внятны все передовые качества других культур. Это хорошо известно простому люду всех пяти материков, и не нам жаловаться на отсутствие друзей в мире. Больше того, нас понимают и иные враги, ненависть которых бывает порой окрашена и невольным уважением к величию нашего народного духа. И это проявлялось не только в пору Сталинграда или первой Отечественной войны, когда не хлеб и соль на золоченой тарелке, а черный неостылый пепел подносили мы завоевателям на конце нашего меча. Им-то хорошо известно, какие сокровища таятся в недрах советской державы и что мы еще сверх содеянного смогли бы выдать на-гора̀ человеческой культуре, если хотя бы полвека не отвлекать нас барабанным боем военной тревоги. С особой силой это уважение сказывается в том, как старательно они мешали нам показать преимущества нашей социальной системы рядовым труженикам земли. Прежде всего это проявилось в ходе Отечественной войны, когда нас нарочно оставили наедине с фашизмом, рассчитывая, что мы взаимно сгложем один другого,—проявилось в факте величайшей победы, невозможной для прежней России.

Пожалуй даже, они не только уважали бы, но и любили бы нас... но только смирных и кротких, как любят Сиам, — как потенциальное сырье, чудовищной емкости рынок и неисчислимые кадры для биржевых и военных спекуляций. Естественно, они частенько сожалеют, что лишены возможности проявить эту людоедскую любовь в полной мере. Уплыли те невозвратимые, но довольно длительные времена, когда можно было давить на русское правительство понижением рубля на бирже и гаркнуть по-хозяйски, как в первую мировую войну: «Россия должна воевать, а не разговаривать!» («Daily Express», осень 1917 года). Ушла пора нашей печальной зависимости от Запада — не культурной, которой и не было, а экономической. В яростной атаке фашизма должно видеть отчаянную попытку восстановить утраченное.

Молодежь не помнит, а в те времена они были здесь, совсем рядом. Какая разница — кнут баскака или заграничного банкира свистел над головой России: второй был умнее и, методически срезая шерсть, старался не слишком ранить кожу. Происходило неторопливое, но верное

«освоение» России Европой — и через династические путы и через прямое хозяйственное порабощенье. Наверху красовался православно-образный немец с бородкой и в порфире, внизу — тот же немец в цивильном сюртуке и с пакетом промышленных акций, то есть талонов на прибавочную стоимость туземного труда; в этой прочной, хотя порою и незримой оболочке резвились наши, пока еще косолапые, рябушинские тигрята. Не помню, какого иностранца сидело больше на хребте дооктябрьской России, — все кормились без ссор и поровну, запуская по нескольку хоботков в ту же ранку. Одни, вроде Мекков и Гужонов, питались инкогнито в анонимных акционерных предприятиях, декорированных русскими флагами, кто — хлебом и лесом, кто — угольком и марганцем. Другие жевали нас в открытую, без маски, без всяких декоративных флагов — вроде черного — не потому только, что питался нефтью! — Нобеля. Широко известны его попытки сокрыть у России волжские газовые месторожденья и последующая роль наводчика в интервенции девятнадцатого года.

Именно этим людям выгодна была теория нашей «неполноценности», нашей всегдашней духовной подчиненности какому-нибудь очередному чужому дяде. Да, им удалось укрепить в сознанье нашей дворянско-буржуазной интеллигенции эту идею «исторической преемственности» русской научной, технической и художественной мысли у Запада, на манер того, как дух божий перманентно исходит от бога-отца. По этой теории, прервать сию млекоточивую пуповину означало бы ввергнуть отечество в неизбывные беды, хотя не только млеко, а порою и нечто совсем наоборот притекало к нам оттуда. Известно, что в 1906 году, когда революция еще развивалась в России, Запад помог царской реакции оправиться, ссудив ей 2 миллиарда рублей, причем царизм действительно окреп тогда ценой нового финансового закабаления России Западом. Необходимо было своевременно раздеть догола, духовно разоружить нашу страну и затем под местной анестезией национального сомнения изготовить из нее питательное и безопасное блюдо на грядущие века. Интересно, как быстро и паразитически этот миф о тысячелетнем ученичестве России у Европы привился к нашей постоянной скромности, даже застенчивости, когда

дело касалось оценки наших общечеловеческих заслуг... Взяв у нас кровь, или идею, нашего брата — будь то солдат или ученый! — всегда оттирали от пирога на заключительном пиршестве.

И вдруг оказалось на поверку, что неоспоримые заслуги пионеров в деле электрического освещения Яблочкова и Ладыгина занесены в формуляр Эдиссона, а паровая водоподъемная машина, изобретенная на Урале в начале XVII века, даже в учебниках подарена Денису Папину, а химические предвиденья Ломоносова присвоены Лавуазье. И отнюдь не потому, что гений Лавуазье нуждался хоть в крупице чужой славы,— будь он жив, он немедля отверг бы эту неприличную спекуляцию со своим собратом! — а потому, что и этот пустячок содействовал умалению нашей роли в общекультурном процессе. С помощью тех же магических манипуляций русское радио спешно закрепили за Маркони; к слову, сей доблестный муж науки не мог не знать о существовании Попова и тоже мог своевременно *отвергнуть,* однако в высшей степени не отверг. Через полгода он имел миллион на сберкнижке, а наш собирал гроши у сослуживцев на постройку опытной радиостанции. Сказать правду, мы раньше плохо знали свои природные и людские богатства, и приятно сознавать, что в какой-то степени мы уже излечились от знаменитого «нелюбопытства русских», благодаря которому столько раз неотвратимое признанье отечественного гения приходило к нам через заграницу. Поздно разбираться, кто тут виноват; ограбляемому народу безразлично, совершался ли грабеж по замыслу чужих плановиков или по почину наших доморощенных простаков, с таким рвением выискивавших черты зависимости нашего творца от зарубежного, точно тот немедленно поделится с ним полтинником на радостях внезапного приобретения. Хороши просветители, которые стремятся доказать своему народу его духовную несамостоятельность. Какая неосторожность вести себя так за большим столом, за которым сами же принимают свою высококалорийную пищу.

И ведь до того, помнится, дошло, что в 1912-м, в юбилей первой Отечественной войны, на всех московских перекрестках можно было купить бюсты Н. Бонапарта на любые вес и цену, хотя даже бумажные портретики

П. Багратиона или Д. Давыдова, не говоря уже о М. Кутузове, не запомнились мне в продаже. Конечно, в ту пору бал *альянс,* то есть дружба с французами, во всякое время весьма полезная вещь, но зачем же в приятность другу возводить в национальные герои заграничного мужчину, который фугасы подкладывал под башни московского Кремля. Действовала наша историческая деликатность: загладить перед приятелем старую вину, выразившуюся лишь в том, что неудачного завоевателя в бледном виде выкинули за порог.

Словом, медленность поглощения объяснялась скорее неспокойным поведением ограбляемого, нежели апатичностью грабителя. Первая мировая война не была ли попыткой ускорить процесс «освоенья», чтоб разом, сцедив кровь из России, распластать ее затем, как колониального кита? Безоружных, без винтовок и пороха, богатырей бросили под кинжальные германские огни; мое поколенье помнит, как металась самсоновская армия в Мазурских болотах, подлостью обращенная в беззащитное гигантское стадо. «И пала грозная в боях, не обнажив мечей, дружина»... О, пусть они никогда не любили нас, но как, через головы героев, в сто тысяч русел предавали они нас тогда и вместе с нами — ваших старших братьев и отцов, народы Советского Союза! Нас сроднили навечно не только радости всех недавних свершений, но и давняя общность исторической судьбы.

Октябрьская революция, разрубая капиталистические цепи, порвала и десятки цепочек помельче, которыми тянули наземь слишком радушного и гостеприимного великана. Кончился старый, отработанный миф о первородстве Запада в нашей духовной жизни. Мы откланялись ему за вековую и порой весьма жестокую учебу. Все повидали, какая живность ютится порой между почтенными университетскими «камешками Европы». Не тот стал Запад, да поизменились и русские с 1917 года, а вместе с ними и другие братские народы наши. Только теперь в полный мах развернулась их созидательная мощь. Их нынешний патриотизм питается сознанием своих неиссякаемых, раскрепощенных творческих сил. В то время как английской промышленной революции потребовалось почти двести лет, чтоб достигнуть нынешнего уровня жизни, мы за неполные тридцать отшагали не меньший путь, причем все

это, в сущности, сделано было одной рукой, в другой — мы обязаны были держать наготове винтовку. Именно это обстоятельство дает нам право сказать миру:

— Освободите труженика от пут, от все убыстряющейся мертвой зыби войн и передышек, — пусть он без ненужных передаточных шестерен, поглощающих его творческую энергию, станет истинным хозяином планеты, и вы увидите, что все, накопленное человечеством доныне, есть только детская проба пера в ученической тетрадке!

Собственно говоря, и все.

Но поскольку результаты этого торопливого исследования весьма зависят от роли, которую сам гость играет в доме великана, необходимо коснуться и посетительских разновидностей. Гости бывают разные. Одни хотят нам добра и сами не прочь поучиться у нас опыту разумного существования. Другие заходят по делам; они не порадуются нашим радостям, мы не огорчимся их огорчениям. Третьи, как правило, лукавы и ловки, — у них очень мягкие руки и большое ухо профессионального слухача. Их сердит, когда мы разговариваем с ними так, словно весь наш народ прислушивается к беседе, стоя за нашей спиной. Выйдя на ловлю, они в качестве наживки применяют восхищенье, лесть, даже искусную откровенность. Они любят иронически отзываться о своих деятелях, рассчитывая на встречную деликатность... «Тех, что постарше, по-иному завлекает нечистая сила», — как выразился Мельников-Печерский в рассказе о болотах. Почуяв в собеседнике скрытого резидента европейской культуры, они выражают отвлеченное сочувствие по поводу угнетающего континентального климата в гиперборейской стране. Не будучи уполномочены на посул академической мантии или золотого памятника, они могут помочь в приобретении автоматической ручки. Если, несмотря на лихую фронтальную атаку или осторожный массаж тщеславия, сыр все-таки не падает из клюва, они становятся вялы и стремятся наверстать упущенное на икре и цинандали.

Словом, мы воздержались бы от прямого ответа на дижонский вопрос. Свой отказ мы объяснили бы невозможностью делать заключение о целом по единичной частности. Из взятого примера вытекает, впрочем, что великаны выглядят в зависимости от обстановки. Они по-прежнему хлебосольны для друзей, и нет у них такого,

чем они не поделились бы с кунаком. Они вежливы с друзьями второго сорта, только без той высшей степени ротозейства, когда через рот можно рассмотреть меню, скажем, утреннего завтрака; опыт показал, что это не гигиенично. И, наконец, если долго мельтешить перед великаном и застилать ему поле зрения ненужными телодвижениями, он быстро утрачивает юмор и поступает с убывающим благодушием, что иногда бесповоротно повреждает здоровье неосторожного гостя.

Затем, бережно упаковав пальму, мы с добрыми пожеланиями вернули бы ее назад, в Дижон, неизрасходованной.

«Литературная газета», 27 сентября 1947 г.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

По слухам, на далеком Западе первую минуту новогодней встречи принято уделять молчанию. В полной тишине, еще до выпивки, любое респектабельное семейство устремляет глаза на люстру и благоговейно размышляет о вечности. Сие представляется им подобием кошеля, куда время ссыпает пепел надежд и отработанную человечью кость. Холодок бежит по спинам... Безмолвие осветительного прибора понимается там, как прощение мелких (или не очень мелких) гадостей, содеянных в минувшем году, и как благословение на будущее... Затем звон хрусталя заглушает шаги маятника над бездной.

Наше новогодье приходится в сущности на ноябрь. Моим современникам тоже не спится в эту ночь. Им хочется глядеть на звезды и даже потолковать с ними о пройденном тридцатилетии и человеческой судьбе. Звезды любят говорить с людьми, хотя обычно в круг их собеседников входят лишь астрономы, мореходы да начинающие мудрецы. Старожилы неба, звезды давно наблюдают за развитием жизни на земле и могли бы поделиться впечатлениями о фазах ее деятельности — от мерцательных движений первоклетки до антисоветских речей некоторых, скажем, высших и просвещенных организмов на Генеральной Ассамблее.

— Н-да, — приблизительно так сказали бы звезды, если бы удалось осуществить такое интервью, — наблюдение за землей составляет наше любимое занятие. Нам нравятся люди, мы помним их начальные шаги к совершенству, мы приветствовали наступление их могущества...

но нас крайне смущает кое-что в поведении людского племени.

Время от времени непонятное зарево затопляет землю, и горелый трупный смрад шлейфом несется за нею по вселенной. Некоторые предположили, что происходит крупная заготовка говядины, но никто не сумел объяснить, почему люди так сосредоточенно занимаются самоистреблением; это уже не диктуется проблемами ширпотреба и продснабжения, как во времена Монтесумы, когда враг рассматривался, как источник обмундирования и вкусное питательное блюдо. При этом гибнут не только железнодорожные постройки или музеи, полные красивых вещиц, но и наиболее выдающиеся по силе и отваге экземпляры людской породы, а это когда-нибудь скажется на вашем биологическом уровне. Нам кажется поэтому, что люди при таких условиях живут в постоянном страхе перед своим *завтра*, — и в этом смысле беспамятное существование амебы имеет свои привлекательные преимущества.

Следует предположить, что какая-то лихорадка перемежающегося безумия гложет человечество, ибо немыслимо в здравой памяти стрелять по счастью из пушек. Печальнее всего, что потенциал разрушения на наших глазах грозит перерасти ваш созидательный потенциал. Взгляните, к примеру, на этого пожилого господина по ту сторону большой воды, который воодушевленно размахивает каким-то исключительно опасным предметом, грозя превратить вашу планету в звездочку одиннадцатой величины. О, мы готовы потесниться на небосклоне ради новой сестрицы, но это лишило бы нас любимого зрелища... Тогда нам пришлось бы погаснуть со скуки.

— Ясно, здесь потребовался бы краткий и упрощенный (применительно к сиятельной, но необразованной аудитории) семинар по истории свирепого недуга, пароксизмами которого и являются как раз войны. Его микроб живет в подлой страсти к накоплению за счет ближнего. Раньше, когда все было попроще, это называлось кражей, объегориванием, эскамотажем, то есть присвоением чужого добра с помощью ловких манипуляций. Со временем искусство ограбления бедняков попутно с успехами науки и техники доведено было до совершенства, тогда это стало называться капитализмом... Рассказ охватил бы длительный период — от рабства, когда жертву за шею

прикрепляли к жернову в подземелье и путем регулярных ударов по голове выколачивали из нее живительный сок, до нынешних картелей и монополий, где прибавочная стоимость отжимается в хорошо проветриваемых заведениях с помощью современных аппаратов экономической дойки. Война, если только это не святая освободительная война, есть лишь ускорение помянутого процесса, в котором человеческая кровь своим ходом перегоняется в желтый неокисляющийся металл с удельным весом 19,32, известный под именем *злата,* а отходы производства, известные под названием *трупы,* тут же, на месте, зарываются в землю...

— Значит, этот микроб принадлежит к породе неуловимых вирусов, если люди не могут изобрести фильтр для него? — спросили бы звезды, недоверчиво перемигиваясь.

— Нет, — ответили бы мы, — он виден невооруженным глазом. Некоторые из этих вирусов даже благообразны и почти не отличаются от обычного человека.

— Значит, их — миллионы?

— Нет, их ничтожно мало. Они известны все наперечет. Кроме того, их меньшинство имеет заметную тенденцию к уменьшению, тогда как большинство неуклонно возрастает.

— Значит, из стали их неуязвимые тела?

— Нет, они сделаны из обычного материала. При прямом попадании они пахнут так же, как и их жертвы.

— Но по крайней мере они дрожат перед Грядущим?

— Да.

Мы поведали бы эту грустную земную повесть без риска потерять уважение слушателей, потому что один, довольно внушительный, кусок земли людям удалось стерилизовать от постыдного микроба. Сверху мы указали бы звездам на обширную страну, где творческое большинство решилось не только добиться справедливого распределения житейских благ, но и установить в собственной державе порядок, за который не было бы стыдно перед звездами. Для этого ему потребовалось перестроить все, от соотношения движущих страстей в человеческом характере до своей экономической географии. Ему пришлось заменить диктатурой тружеников те социальные системы, в которых предоставляется решению изменника — предавать или не предавать, и красть или не красть — выбору

вора. Нужно было сконцентрировать невещественные мечтания людей о правде в плотный и узкий луч, в котором замертво падала нечисть и досрочно распускалась яблоня. Этому творческому большинству предстояло идти по неизведанной тропе, без права ошибаться в маршруте; священная задача — охранить от натиска варваров хрупкую и беззащитную красоту мира — легла на их плечи и волю, они выполнили ее, потому что это были единая воля и одно плечо... Эти люди — мы. Слушайте про нас, звезды!

Итак, мы родились в непогодную ноябрьскую ночь. Не в благостных рождественских яслях и не из пены морской, — из рабочего, из солдатского, из народного гнева родились мы. Нам предшествовали бури и умные книги, где научно была предсказана эта всенародная ярость против нерадивых и бесчестных хозяев земли. Растерзанная родина лежала перед нами, как улика. Черный снег валился на незасеянные поля, бедняки копошились в развалинах. Кроме нас, никто не поднял голоса в осуждение бесцельной скверности происшедшего. Версальские посланцы держав, из которых каждая имела по пуле в животе, условились считать, что дешево отделались от кровопролитного припадка... Потом все занялись неотложными делами: отборные представители людского племени тлели в земле, отборные подонки наций считали сверхприбыли от удачного побоища. Во утешение от скорбей человечеству был выдан фокстрот, этот общедоступный моцион для ожиревших и простреленных. Мир предавался забвенью,— виду психологической анестезии, под которой людскую молодость веками водят от эшафота к эшафоту.

Но народы России не забыли ничего. Причина лежала не в прочности памяти, а в устройстве их совести. Предать забвению сиротские слезы, бессмысленно растраченную силу, попусту загубленных богатырей — означало бы вообще предать их. Еще большим преступлением было бы, зная периодичность безумия, не подумать о том, как отвратить от неминуемого зла идущие на смену поколения. Стыдно взрослым выпускать детишек в заминированный мир, раздавать им яблочки, приправленные ядком... Вот почему эти люди не страшатся приговора потомков, — они поймут суровый и безжалобный подвиг отцов! Но это теперь мы движемся вперед, оснащенные всем для великих свершений, пугая врагов стройностью наших колонн; это

теперь, велением вождя, миллионы моторов влекут вперед наши мирные и боевые машины, а тогда лишь добрый крестьянский конек да песенная дерзость вынесли наши тачанки в раздолья отвоеванной родины. Свой поиск счастья мы начинали с предельной скудости... Вот почему первая мысль в нашем новогоднем молчании посвящена тем сотоварищам нашим, которые еще неумелыми, порой обмороженными руками возжигали кремлевские звезды. Мы не хоронили их в могилах неизвестных солдат, не громоздили на них горы железобетона, как это делают на просвещенном Западе, чтобы не вылезли на свет тряхануть за рожища золотого тельца, чтоб не пришлось расстреливать их вторично. Наши герои живут вечно среди своей советской родни: они помогают передовикам «Запорожстали» скорее завершить вторую очередь и ставропольскому хлеборобу — собрать рекордный урожай...

Все, совершенное этими людьми за короткую и фантастически обильную содержанием жизнь, имело целью в первую очередь преображение людского уклада в их собственной стране. Никто не вправе воспретить нам сочувствие к простодушным жертвам капитализма или, скажем, к тому нерасторопному негру, которого среди бела дня лупят сапогами в пах на людной уличке Иоганнесбурга... но их освобождение есть дело их собственных рук. Привычки к боли не бывает, и жизнь сама найдет способы охранить себя от гибели... Правда, Октябрьская революция прочертила границу двух разноименных миров, и на этой меже уже не поставишь жандарма с семизарядным пистолетом. Она прошла прямо по человеческим сердцам, потому что всюду найдутся (как они нашлись уже в Европе) и труженики, не желающие быть нолями, которые делец приставит справа к своим дивидендам, и матери, которым жалко отдавать своих крошек, когда у крошек подрастут усы, на засыпку артиллерийских воронок. Пусть наиболее «благополучные» из них по-детски забывают нас в периоды кратковременных просперити; капиталистическая экономика в любую минуту напоминает крупнокалиберную обойму, заряженную впрок десятком обстоятельных кризисов и войн. И всякий раз, брошенные в волчью яму очередной катастрофы, истинные кормильцы планеты с возрастающей надеждой будут обращать в нашу сторону свои заплаканные лица...

Ни одна честная душа не сможет возразить против идей, которые защищает наша держава. Да, нам действительно не нравятся неправедные богатства и постыдным кажется всяческий эскамотаж, независимо от того, производится он с откусыванием головы или без оного. Да, нам не совсем понятно, почему одно и то же гангстерство приводит в одном случае — к электрическому стулу и к сенаторскому креслу — в другом. Да, нам было бы радостно видеть на земле единую трудовую семью, без чего немыслимо укрощение могущественных стихий. Да, мы стремимся к созданию прижизненного совершенного человеческого общества, о чем лишь мечтали утописты и всякие моральные реформаторы... Однако мы не замышляем крестовых походов во утверждение своего догмата, не высаживаем десантов на чужих берегах, не строим воздушных баз под носом у инакомыслящих.

Вот наши дела и вера, — все остальное определяется враждебностью среды, в которой мы оказались с первой же минуты нашего возникновения, — обратимся к назидательным воспоминаниям младости. Вначале над нами смеялись, когда голодные и рваные рабочие и мужики России задумали жить по-новому. Через год, ради установления личного знакомства, к нам прибыли уполномоченные старого мира. Они пришли в Россию, в дни ее светлейшего утра, не с букетами, скажем, заграничных цветов, а имея в руках нечто даже в высшей степени наоборот. Это были те самые адские псы с человеческими головами, которые еще в античных сказках стерегли доступ к сокровищу (находившемуся, кстати, на нашей территории). С понятной неприязнью мы встретили таких гостей и выставили им железное угощение. Все годы, пока мы строились и крепли, они неотступно следовали по нашим пятам, становились на дыбки, выражались нехорошими словами, пускались в открытые атаки, так что приходилось урезонивать их сокрушительными доводами. Вначале их было четырнадцать, этих активистов, но редело их число и к концу тридцатилетнего знакомства в любителях открытых атак остались лишь маститые ветераны ненависти к новой России.

Когда рассеялся дым войны, стало ясно, что фашистское нашествие на Восток было их самой решительной атакой; даже школьники разгадали кунктаторские

махинации со вторым фронтом, как намеренное продление сроков, чтоб побольше вытекло советской крови. Не о народах речь. Наши солдаты с теплой улыбкой вспомнят отважных зарубежных летчиков, танкистов, пехотинцев, помогавших нам привести гитлеризм в щепообразное состояние.

О тех речь, кому для равновесия сил хотелось бы сохранить истребительный германский механизм (которые и Гитлера-то презирали тем особым презрением, каким награждают палача, потерпевшего фиаско при наличии столь отточенного инструмента). Но слишком уж распалился аппетит чудовища в той большой еде, слишком потрясена была совесть народов, — и вот к ногам человечества выкинут труп нюрнбергской собаки!.. Вторично на нашем веку была обращена в руины всечеловеческая мечта о покое, и снова скорбные преждевременные старухи раздувают искры жизни в растоптанных очагах. Но теперь это уже не судейская улика на человеческом пергаменте, а историческое доказательство правоты наших неоднократных предупреждений человечеству.

Фашизм не убит, он уполз в другую нору, — и пусть свободолюбивые народы пошарят у себя за пазухой! Опять и опять рыжая ведьма крутит свою шарманку. Еще не растворились в земле недавние мертвецы, — они еще лежат в разорванных мундирах и сквозь могильный потолок, пустыми глазницами, вопросительно и строго смотрят на вас, звезды, а уже пошла подготовка к новой схватке. Эфир не разрубишь палкой, так плотно он загружен обвинительными иеремиадами против Советского Союза. Слова сливаются в свист, в черную метель науськивания и шантажа. Можно различить голоса дикторов, без энтузиазма выполняющих свой тоскливый радиоджоб (они тоже станут самоходными солдатскими мишенями капитализма), слышны также голоса атаманов, они говорят о попранных правах меньшинства (с солидной чековой книжкой), они еще хвастаются своим сомнительным *просперити,* хотя какова же ему цена, если периодически такую пиявку, как Гитлер, надо ставить к затылку мира, чтоб отсосал пятьдесят миллионов жизней — и уцелевшие получили бы на два года причитающийся рацион... В этом недобром враждебном хоре не слыхать голосов твоих простых людей, Запад. Мы спокойны за них. Они не обвинят

белорусского колхозника и уральского доменщика в намерении оккупировать Манхеттен, перевезти Лабрадор в сибирскую тайгу и предписать баптистам из Канзаса в трехдневный срок обучиться игре на балалайке...

Понимая истинный смысл этой незамысловатой игры, указанные белорусский колхозник и доменщик с Урала говорят своим старым знакомцам:

— Не трогайте нас, это сопряжено с ненужными и обоюдными последствиями. У нас много своих, насущных забот, но, сердясь, мы забываем все, включая жизнь. Горе подъявшему меч, два горя замыслившему потушить огонь жизни. В минувшей войне старый мир бросил против нас самое сильное и злое, что нашлось в его распоряжении. То была не только проба армейской прочности, но, прежде всего, — жизненной устойчивости двух политических систем, война потенциалов. И оказалось, что сила наша — гибче, мужчины — храбрей, женщины — трудолюбивей, воля — железней и острей наш государственный разум. Социалистическая индустрия предназначена для преображения принадлежащего нам куска земного шара, но она поражает насмерть при неосторожном прикосновении чужой руки...

Без всякого сомнения в правоте своих тридцатилетних усилий мы смотрим на звезды в эту ночь. Советская страна честно прожила эти годы: не промышляла кровью слабейших, не торговала совестью, не обогащалась за счет людской темноты. Не черным мешком рисуется нам будущее, а вереницей прекрасных зал, из которых каждая чудесней предыдущих. Там, в конце их,— осуществленная мечта. Не бойтесь, небесные старожилы, вам не придется чахнуть от тоски в обезлюдевшей вселенной, — кремлевские звезды сродни вам... Пусть небо наполнится огнями радости и подобающим напитком наша круговая чарка!

«Литературная газета», 5 ноября 1947 г.

В ЗАЩИТУ ДРУГА

1

Когда мы думаем о родине, взволнованный строй мыслей встает перед нами. Никто не перечислит их даже с приблизительной полнотой. Пришлось бы вспомнить всю, битва за битвой, историю страны и наши собственные, удар за ударом, усилия, создавшие ее нынешнее могущество. Однако не одни лишь курганы поля Куликова или индустриальные накопления пятилеток возникают в памяти при упоминании о родине. В воображении предстают и спелые нивы в синих перелесках, заветная рощица детства, где безгонорарно концертирует какая-то милая пичуга, — хоромы дремучих лесов, наконец, в тишине которых созревают благодетельные дожди, поильцы урожаев... И кто знает, что было предсмертным видением советского солдата, сраженного при взятии рейхстага, — заплаканная мать, или дымный призрак Днепрогэса, или одинокая русская березка на колхозной меже?

Отрадно сознавать, что возвращается улыбка на материнское лицо, что снова начинают шуметь днепровские турбины. И хотя много у нас иных, первоочередных задач, поговорим о березке!.. Ни один начинающий поэт не миновал описания ее прелести, ни один ребенок не обходится без новогодней елочки, да и мы сами, пожилые хозяева советской земли, страсть любим спеть на пирушке про то, как одна рябинка клонилась на грудь старого дуба. Таким образом разговор распространяется и на всех березкиных родичей. Обсудим сообща, как живется им на Руси, и чем, помимо ласкательных именований, платим мы им за

беспорочную службу, и, в частности, почему помянутая рябинка так тянулась поближе к дубу, хотя ей выгоднее было бы иметь собственную жилплощадь под солнцем.

Много им досталось в наших стремительных буднях. Поредело зеленое племя... Вчерашние саперы с болью вспомнят километры противотанковых лесных завалов. Грандиозная стройка с каждым годом умножает расход деловой древесины. Но не в том дело, что звенит топор на Руси и круглосуточно поют электропилы; неисчерпаемы наши лесные запасы и — доброе утро вам, советские лесорубы, которые по ледяным дорогам гонят родине стены новых изб и опалубку рабочих дворцов, лес, корабельный и крепежный, шахтный лес, сырье на шелка и бумагу!.. А в том суть, что, как выяснилось на одной сессии Верховного Совета, у нас действуют семьдесят фондодержателей леса, то есть лесозаготовительных организаций, но что-то редко попадаются отчеты о ходе восстановления нашей лесной казны. При мне однажды вырубалась на дровишки древняя, чуть не гостомысловых времен, дубовая роща, хотя приспело время подумать об освоении для этой цели, если не более отдаленных лесосек (транспорт!), то по крайней мере местных топливных залежей. Сломить башку немецкому фашизму — предприятие более громоздкое, чем наладить производство механизмов для брикетирования торфа: справимся! Вкус щей от этой замены не испортится, зато сбережется зеленое национальное богатство, имеющее в нашей полосе первостепенное климатическое значение.

На протяжении прошлых веков мы черпали из этой зеленой чаши без опаски, что когда-нибудь обнажится дно. Мы не церемонились с лесным соседом, сказалась наследственная неприязнь к нему предков-древлян, которым приходилось отвоевывать посевные площади у леса. Но пусть теперь профессора лесных наук расскажут в цифрах о нашей лесхозной культуре, о среднем обороте дерева, заметно сниженном за последние полстолетия, и, прежде всего — правда ли, будто обезлесенные при царе заволжские пространства пагубно повлияли на годичное количество осадков в европейской части России, а подмосковные суховеи — лишь авангард наступающих Кара-Кумов. Эти скучные ведомственные заключения должны стать достоянием народа, — глядишь, может быть, возник-

нет со временем разговор о восстановительной зеленой пятилетке, которая подремонтирует побитые войной леса, оденет высыхающие водоемы, накроет прохладной и беспыльной тенью наши шляхи и шоссе, как проделали это деды на старинных трактах — Калужском, Смоленском, Черниговском. Чем скорее прозвучит такой сигнал, тем больше процентов еще на своем веку мы получим от этого неминуемого капиталовложения...

2

А пока подумаем о той героической березке, которая из привольных питомников и заповедников пришла украсить города обширной российской периферии. За малыми, хотя и блистательными исключениями (такими, как Ленинград и Новосибирск, Воронеж и Магнитогорск, Балхаш и северный Кировск, где, по рассказам, зеленые чудеса разведены на камне!), неважно ей живется на наших площадях и перекрестках. Отчего бы это? Правительство не щадит средств на озеленение, в горсоветских бюджетах это всегда солидная статья, ежегодно вагоны первоклассного посадочного материала отгружаются в адреса горкомхозов, благоустроительные чиновники чуть не в стихах расписывают свои озеленительные подвиги, а питомец хиреет в младенческом возрасте...

Хорошо бы построже и почаще брать таких деятелей за пуговицу и водить пешком на прогулку по их воображаемым рощам. Пускай сами полюбуются на культяпки да пеньки, жалкие останки их мужественного кабинетного руководства. Какие же стихии превратили кудрявое, стройное деревце в мертвый, изглоданный хлыст, ботаническую разновидность которого не опознал бы и сам Тимирязев? Бедные пасынки коммунхозов!.. На них вяжут качели и бельевые веревки, на них повсеместно скидывают снег с высоких крыш, на них валят ледяной скол с мостовых и, наконец, их безудержу громадными ножницами стригут мрачные древесные парикмахеры, хотя, казалось бы, к чему нам королевские версали с их прилизанной, изуродованной, карликовой природой?.. Нечего греха таить, много потрудились в этом деле и ребятишки, устраивающие вокруг деревца подобие живой карусели, и добрые

мамы, оделяющие своих деток зеленой веточкой, и нагловатые озорники, в сравнении с которыми колорадский жучок представляется мирным деятелем земледелия, и, наконец, знаменитая бабушка с козликом. Не раз приходилось наблюдать, как кроткая старушка пригибает вершинку саженца своему рогатому любимцу, и тот без затраты сил творит из него безлиственную кочерыжку, которую ближе к осени бабушкин же внучек собьет косарем на растопку. Так хваленое древонасаждение наше становится дровонасаждением. Как же тут не тянуться рябинке под защиту дуба, хотя и его дни в полной мере сочтены, если сам народ не вмешается в это, скажем, ненормальное явление.

Искусство истребления дерева в дачных местностях достигло своих пределов; тут действуют и солью, и бензином, и обстукиваньем весенней коры, и многими другими ухищрениями, которые мы не перечисляем по понятным соображениям. А во что обходится стране вырезание обязательных тросточек на пикниках, глушенье рыбы взрывчаткой и другие виды хамского браконьерства, мальчишеские забавы с рогатками и истребленьем гнезд? Все это — пережитки барского, потребительского отношения к природе, которая чахнет и пятится от нас, не имея иных способов защищаться. Трудно угадать, к чему приведет такое безнаказанное пренебрежение к извечным сокровищам родины! Хуже всего, что это творится у нас на глазах, а мы кряхтим да молчим за неотложными делами, хотя каждый в состоянии прочесть популярную лекцию о том, что родная природа — тоже святыня, неприкосновенная социалистическая собственность и каждая пичуга в ней — честный, работящий друг, который, будучи обижен, порою и не возвращается.

Доказано, что общение с природой по меньшей мере полезно человеку; лиц, желающих погрузиться в рассмотрение этого вопроса, мы отсылаем если не к букварю (где преступно мало говорится об этом!), то хотя бы к директорам заводов, уже превратившим свои территории в сады и цветники. Они охотно подтвердят, что зеленая ветка в окне цеха — не роскошь и прихоть, что через длинную цепочку причин она тоже содействовала увеличению производства... На всю жизнь запомнился мне день открытия Днепрогэса: еще первая тысяча киловатт бежала по про-

водам, а рядом уже сиял в осенней красе молодой парк; в нем играли дети и гуляли юные парочки, родители завтрашних поколений. Меня поразила тогда целесообразность планировки и поливочного, необходимого в степи, устройства. К слову, ни одна газета не отметила этой заблаговременной братской заботы строителей о будущих постоянных тружениках станций. А ведь буквально все проекты наших жилых и промышленных новостроек, которыми на праздниках мы так восхищаемся в витринах, бывают обрамлены в целые дубравы... Где они? Что-то не слыхать их благостного, запроектированного в социалистический быт и оплаченного народом зеленого шума! Проект есть тот же вексель народу и его правительству: надо выполнять до точки. Кое-где, впрочем, саженцы были своевременно опущены в тесные ямки и засыпаны строительным мусором пополам с обрезками железа и рваными калошами, удобрительная ценность которых отрицается современной наукой, — после чего намертво притоптаны каблуком. Хорошо бы на должность озеленителей приглашать людей, хоть в школьном масштабе знакомых с технологией посадки, а не просто первовстречную личность, непригодную в более ответственных областях социалистического строительства... Глубоко верю, настанет время, когда в актах государственных приемочных комиссий будут отмечаться количество и состояние произведенных посадок; когда будут производиться озеленительские соревнования городов, поселков и колхозов; когда будут писаться рецензии о художниках растительных ансамблей; когда будут рассылаться приглашения на вернисажи садов и парков, как это было с нашей великолепной сельскохозяйственной выставкой...

3

Великий поход в защиту Зеленого Друга нужно начать с Москвы. Собственно он уже и начат, должное хозяйское внимание обращено на зеленый наряд Москвы. Уже в обиход вошло монументальное слово реконструкция, уже сверкающие троллейбусы плывут по расширенным магистралям, уже обзавелись мы лучшим в мире метро, по которому скоро подравняется и вся надземная Москва, но попрежнему негусто обстоит дело с зеленью

в нашей столице. Если подсчитать сотни тысяч хвойных и лиственных особей, расселенных по Москве, — то дремучий бор, как при Долгоруком, должен был бы образоваться на ее месте: ни пешему, ни конному не пробраться сквозь лесную дебрь... А на поверку оказывается, — залитые асфальтом под самый корень, погибли липы в Дорогомилове, во взрослом состоянии высаженные полтора десятка лет назад. Незаметно уходят куда-то ясеньки с дороги в Тимирязевку, наполовину оголилась еще недавно такая красивая улица Воровского. Да и в Нескучном что-то слишком быстро тают молодые подсадки, разведенные на свалочном (лесоводы шутят — сволочном!) месте без предварительной мелиорации и отвода больничных вод. Не успели еще прижиться юные липки на Кузнецком, а уже начала их обламывать чья-то подлая рука. Плохо мы бережем наше достоянье, обожаемые москвичи, а ведь это та самая Москва, восьмисотлетие которой совсем недавно отплясали мы с вами. Дело, конечно, поправимое, но срочное!

Грустновато становится и при посещении старшей смены растительных ветеранов. Старые деревья — в дуплах, шрамах, морозобоинах, а полагалось бы брать их на учет и особо присматривать за ними по достижении полувекового возраста, подобно тому, как дают персональные пенсии заслуженным старикам. Почтенность города нередко определяется наличием живых свидетелей его исторической славы... Исчезает знаменитая аллея лиственниц в Узком, желтеют зеленые ряды на Ленинградском шоссе, зараженные липовым клещом и наглухо утрамбованные сапогами прохожих... Еще больше опасений внушает судьба наших основных массивов, Сокольников и Измайлова, которые давно уже полагалось бы возвести в сан заповедников. Первые — на моей памяти поредели вдвое; сведущие люди утверждают, что и Измайлова хватит лишь на двадцать лет. Хорошо бы проверить — правда ли, будто измайловские предприятия успешно, в тысячу кубометров, ежегодно производят дровозаготовки из вырубаемого сухостоя... Древесная смерть ходит по нашим садам и паркам в облике то козы, то шустрого дачника с топориком, то расплодившегося за последние годы короеда. А ведь ежели умело провести искусственное гнездованье в расчете на всех этих, нами

же испуганных дятлов, поползней да синиц,— да подсадить кизыльник, снежно-ягодник, иргу, жимолость попутно с зимней подкормкой, словом — заключить длительный военный союз с лесной птичурой, то наверно и поизвелось бы короедное племя. Наверно, это вам и без меня известно, товарищи хранители зеленого клада... Но почему же, в таком случае, так вызывающе нахально смеется над вами помянутый короед?

С чувством глубокой радости мы прочли недавний моссоветовский план озеленения. В добрый час, — несомненно, москвичи откликнутся на него снизу встречным планом помощи. Тяга к зелени теплится в каждом горожанине; иногда она переходит в неодолимую потребность озеленительской самодеятельности... Я не шибко верю урбанистам, которым якобы созерцание брандмауера в окне доставляет больше наслаждения, чем омытая грозой верхушка полнолиственного дерева. Хвастают... либо просто ждут, когда за них потрудится дядя Федор с чужого двора. Напрасное ожидание: дядя Федор не придет, дядя Федор занят. Украшение родины есть дело наших с вами рук, товарищи!.. Общеизвестно, что большой патриотизм начинается с малого, — с любви к тому месту, где живешь. Из таких местных патриотов в свое время выходили отличные краеведы, посвящавшие себя изучению производительных сил области, — неутомимые селекционеры и оригинаторы отечественной флоры, чьи труды и сегодня бесследно растворяются в нашем нелюбопытстве, — и даже такие преобразователи растений, как Мичурин. Немало их таится и теперь среди нас. Стоит только клич погромче кликнуть, и народ выдвинет армию добровольцев всех профессий и возрастов, энтузиастов родной природы, готовых потрудиться ради приумножения ее красы; это тоже входит в большевистский замысел преображенья мира.

Начало такому движению положено постановлением правительства Российской Федерации об учреждении Общества друзей озеленения. Их пока немного, — как говорится, «всего мужиков-то отец мой да я». Ничего, практика больших всенародных начинаний, вроде ленинского субботника, показала, что могут свершить миллионы упорных советских рук, даже не отвлекаясь от самых насущных дел. Для этого потребуются всего лишь — простецкая огородная снасть да чувство будущего, да не-

множко благодарности к честному, молчаливому другу. Успех предприятия зависит от того, в какой степени поддержит их общественное мнение и насколько родственные организации поймут возможности, заключенные в этом почине. А чтобы не провалить хорошее дело в самом начале, необходимо обдумать его с государственной точки зрения, то есть со всесторонним и принципиальным учетом всех смежных обстоятельств; обдумать все, от производства секаторов-ножниц и опрыскивателей до учреждения ремесленных училищ будущих садоводов, которых завтра потребуется десятки тысяч нашей стране. И надо начинать с детства...

4

Пора всю систему воспитания, от букваря до вузовской скамейки, пропитать действенной, хозяйской привязанностью к родине и ее природе. Авось, сумеем мы направить в единое русло крайности в устремлениях ребят, из которых одни ежегодно совершают опустошительные набеги на сады (причем не плодов жалко, а бессмысленно покалеченных яблонь!) или по-индийски караулят с рогаткой зазевавшегося дятла, а другие растроганно хоронят его же в серебряной бумажке или с прилежанием выращивают тощую фасоль на школьном подоконнике. Все зависит от людей, которым вверена неиссякаемая, часто такая разрушительная энергия ребенка... За примерами не ходить. Есть в Москве, на Красной Пресне, 89-я школа, где биолог-руководитель сумел привить своим школьницам благородное внимание к родной природе. И вот девочки-пятиклассницы ломами расковыривают известковый пустырь, собирают килограммы коллекционных цветочных семян в подарок своей Москве, выращивают мичуринский виноград, цицинскую пырейную пшеницу, даже дыню (которую, за отсутствием заграждений, так тщательно приходится маскировать от вора...). Спасибо вам, Г. Н. Пожитнева, за патриотическое дело! И есть в том же городе, скажем, центральная музыкальная школа. В годы войны там стояла армейская часть; пожилые ополченцы в перерывах между воздушными тревогами посадили перед новостройкой шеренгу рослых топольков, развели цветник вдоль цоколя, но вернулись юные скри-

пачи, любимцы муз... Я не знаю фамилии возглавляющего деятеля, который дал им загубить эту трогательную солдатскую памятку.

Прямой долг педагогов, юношеских организаций и прессы найти острое, доходчивое слово к сердцу и разуму подростка. Надо внушить ему понятие ответственности за клочок родной земли вокруг его дома, школы или хаты. Надо ввести это в кодекс обязательных доблестей нашего молодого человека... Наверно, все замечали, что чувство родины — в каждом гражданине соразмерно его личному творческому вкладу в общенародное дело; отсюда легко объясняются как патриотизм истинного гения и труженика, так и политическое безразличие бродяги и дармоеда. Пусть же юные граждане с малых лет привыкают вносить свою посильную долю в большую советскую семью, пусть понемножку пробуют себя на чудесном поле настоящей государственной деятельности, — воспитательные последствия этого неисчислимы.

В одной Москве советская власть подарила детям полтысячи новехоньких школьных зданий, а кое-где украсила аллейками школьные входы. Эти саженцы были любовно выращены замечательными мастерами земли; их сажали очень занятые люди, руки которых так нужны восстановительной пятилетке. Оглянитесь на них, московские дети, и пусть из горячего стыда родится не менее горячее стремление исправить свою непростительную небрежность...

— Дорогие юные друзья! Думы о зелени — думы о будущем. Вам бесконечно долго жить в этой прекрасной стране. Она богата и обширна, но не всегда она была такой. Все, чему радуется ваш глаз, есть громадная копилка предков. Преемственность — основа прогресса; создание простого железного гвоздя потребовало кропотливой работы сменявшихся поколений... Все знаменитые люди эпохи, чьими портретами украшены ваши классы, с малых лет прошли через нужду, скудную подвальную жизнь и суровый окрик капиталистического хозяина. Они трудились наравне с отцами и на опыте познали цену хлебного ломтя, густо посоленного безутешной детской слезой. У них не было ни пионерских домов, ни стадионов и артеков... Советская власть избавила вас от нищеты, майданеков и невыносимых социальных унижений. Ни одно

постановление правительства не обходится без учета, как оно отразится на детях и будущих детях ваших собственных детей. Детская улыбка ставится высочайшей целью нашего государства. От вас требуется лишь прилежная учеба да любовное внимание к общественным ценностям, лежащим в поле вашего зрения.

Есть поговорка на Востоке, которая годится и в заповеди: каждый обязан в жизни вырастить дерево, выстроить дом, воспитать человека. Начало этой мудрой программы человеческой деятельности доступно вам уже теперь... И пусть первые два деревца на школьном дворе будут посажены в честь Ленина и Сталина, как знак признательности за их проникновенную заботу о вашем детском благе. Сделайте это в ближайшую весну, без спешки, навечно. Берегите и хольте эти деревца, чтобы в полную силу развились они под вашим школьным окном. Такие памятники стоят в веках не хуже обычных гранитов и бронзы; кроме того, они растут с каждым годом и воздействуют на все человеческие ощущенья разом... Наверно, со временем вам захочется также отметить подвиги Зои и Матросова, Пушкина и Горького, и всех тех, чьи имена, как напутствие к победе, были произнесены в одно незабываемое пасмурное утро. Для всех хватит места и на советской земле, и в благодарной юношеской памяти. Пусть рощи таких живых памятников в честь героев или исторических событий раскинутся по Советской державе... Может быть, по прошествии вереницы лет, ставши знаменитыми врачами, зодчими или, кто знает, астро-навигаторами межпланетных глубин, вы зайдете вечерком да мимоходом на тесный дворик посидеть под тяжелой зеленой кровлей своих любимцев. Другие, еще более счастливые дети будут играть и шуметь под сенью этих растительных великанов, и в перспективе времен вам откроется весь гигантский разбег родной страны к ее коммунистической вершине...

5

...Было бы вполне разумно и своевременно отвести одно из первовесенних воскресений под всенародный праздник Зеленого Друга, — и сделать так, чтобы всякому совестно было в этот день показаться на улице

без лопаты. Слишком велика нехватка рабочих рук и нелепо дожидаться, когда же, наконец, прибудет дядя Федор с Магнитки или Запорожья вскопать приствольные круги в черте твоего собственного домовладенья. Такой всенародный праздник уже состоялся в Ленинграде летним утром 1945 года, когда миллион ленинградцев, включая школьников, дружно вышел на эту веселую и умную демонстрацию любви к родному городу. Так произведена была зеленая подсадка до самого Крестовского острова; так основался Парк Победы, памятник Единства и Ликованья, где каждое дерево несет дощечку с именем патриота, принявшего на себя труд его посадки и дальнейшего бережного воспитанья. Добрый пример всем прочим... У нас в Москве тоже много заброшенных пустырей и еще захламленных после войны углов, которые при дружном напоре за один день можно преобразить хотя бы в черновики будущих внутриквартальных скверов; да еще времени останется вечерком в кино сходить! Часть таких бросовых пространств придется уделить под спортивные детские площадки, потому что, к примеру, на территории одного Александровского сада регулярно в летнее время подвизаются десятки ребячьих футбольных команд; воздействие их на молодые посадки можно приравнять лишь к небольшому минометному обстрелу. Хорошо бы также внедрить в городское хозяйство нарядные плодоягодные породы, как это сделано в Иванове, и при этом сразу определить, кто именно отвечает за их сохранность; замечательные ели вокруг Ленинского мавзолея подтверждают, что недостаток условий вполне возмещается добросовестным человеческим уходом. Разумеется, встанет вопрос и об охране — нужна ли здесь общественная инспекция, учреждение домовых ячеек озеленения, индивидуальное шефство любителей над каждым деревом, специальный штатный надзор, как это было и раньше, разъяснительная работа или повышение мер наказания за поломку и гадкое, постыдное губительство. Милицейского «ай-ай-ай» тут явно недостаточно.

Надо сказать во всеуслышанье и по возможности басом, что дерево в городе — не полено с листьями и не силомер для разгулявшегося стервеца. При нынешней скученности населения и задымленности промышленных центров весь живой зеленый инвентарь города есть

громадный озонатор, гигиенический фильтр-уловитель из воздуха — газов, копоти и прочих примесей, вредных для общественного здоровья; следовательно, это есть дополнительный источник творческих сил и задора на одоленье пятилетки. Следует помнить также, что не все дети уезжают летом на дачи... Круговой клятвой обязались мы в семнадцатом году сделать наше отечество краше всех флорид и других капиталистических эдемов. Немало и сделано с тех пор, — нет таких земель на свете, где так вольно дышит человек. Давайте же обеспечим ему в буквальном смысле стерильно чистый материал для дыханья!

Все это лишь мысли и факты, выхваченные наудачу. Мы ставим этот вопрос на всенародное вече. Пора приняться за создание достойной зеленой рамы нашему социалистическому труду. Присоединяйтесь к походу в защиту друга. Я написал эту статью потому, что надо же кому-нибудь взять на себя почин в таком хорошем деле. Пусть сведущие или заинтересованные лица поправят и дополнят меня...

Кто просит слова, товарищи?

«Известия», 28 декабря 1947 г.

БЕСЕДА С ДЕМОНОМ

Как известно, американские бизнесмены знакомятся с художественной литературой по особым сокращенным изданиям, где содержание произведения излагается в системе образов, доступных самой тупой башке. Так знаменитая лермонтовская поэма приобрела бы в Америке такие очертания. Некто, именующий себя сыном эфира, каждую ночь уговаривает одну пригожую девицу на всякие такие дела и, между прочим, — отдать ему душу. Взамен он предлагает ей всякие несбыточные, даже опасные предприятия, вроде экскурсии в надзвездные края, спуска на морское дно и, наконец, стать царицей мира. Впрочем, прижатый к стенке, он и сам признает все это лишь приманками ада. Происшествие кончается ликованием светлых сил и конфузом соблазнителя... Но не в этом суть.

С недавних пор, в поисках доверчивых девиц, в наш эфир также стал залетать ночной деятель, видимо, дальний родственник того самого, чьи приметы идеологически правильно описал Михаил Юрьевич. Этот также пытается губить надежду, едва надежда расцветет; этого также не очень любят и клянут все живущие честным трудом своих собственных рук. Из опасения, что его заподозрят в подкупности, этот эфиров сын чаще, чем это требуется для дела, называет себя не обыкновенным, а *вольным* сыном эфира... Дело в том, что за неотложными коммерческими заботами у микрофона действует не сам он, а нанятые говоруны из бывших русских, и, судя по их старательным, ласково-ползучим голосам, люди эти очень опасаются, что их немедленно уличат во лжи в рассуждении их пресловутой «вольности».

Жанр этот надо определить, как нашептыванье или навеванье сладких снов; пишутся они довольно суконным языком, хотя и трудно требовать тургеневских красот от организма, который сам, без принуждения, придумал себе псевдоним Георгия Георгиевича Ответова. Собеседования эти состоят из перечисления житейских благ, коими пользуются граждане по ту сторону океана не в пример жителям послевоенной Европы. Сюжет всегда незамысловат, но разнообразен. В этом радиомагазине найдется и описание государственного устройства, при котором каждый, в зависимости от склонности, может стать чем угодно, — от сенатора до мертвеца. Здесь же восхваляется полицейская атлетическая лига, наблюдающая за тем, чтобы беспризорные детишки не попадали под трамвай или в объятия порока; у незакаленных лиц проступают слезы благодарности при созерцании этих заокеанских яслей, где рослые дяди с метровой резиновой дубиной нянчат на коленях улыбающихся крошек. В заключение можно также полюбоваться на поучительную картинку, как некая типическая миссис Браун, обычная агитационная болванка эфировых сынов, покупает себе еду.

Нет, она не просто говорит, как в обнищалых городах Европы: «Отпустите мне сто граммов сливочного масла, скажем, для больного ребенка». Нет, процедура покупки, в которой наравне с обходительностью работников прилавка иллюстрируется и сытность заокеанского бытия, происходит приблизительно так:

«— Прекрасная погода, миссис Браун. Вы как будто похудели со вчерашнего дня. Что вы хотели бы получить сегодня?

— Сегодня я желала бы приобрести у вас пять кило масла, четырех тетерок, три головки сыра, два окорока и, чуть не забыла, один двухэтажный ореховый торт для моей дочки. Впрочем, чтобы не тратить времени, дайте мне все, что имеется в вашем прейскуранте... только в двойном количестве. Погода хорошая, но барометр клонится к дождю.

— Я надеюсь, что ветер снова разгонит к вечеру духоту. Вы захватили с собой тележку, чтобы погрузить все эти продукты, миссис Браун? Часом позже я смог бы отправить их вам в грузовике с прицепом.

— Вы очень добры, мистер Блек, но не беспокойтесь.

Я приехала к вам в автомобиле новой марки, с особой эластичной подвеской кузова. Встряхивание сливок и связанная с этим порча их совершенно исключены в этой машине. Ее подарил моему мужу, углекопу, ко дню рождения его хозяин. О, это такой гуманист, такой гуманист, прямо сил нет. Он собирался подарить целых три — для раутов, загородных прогулок и поездок на биржу труда, но Тэдди отказался, чтобы не разорять добряка... До скорого свиданья, мистер Блек!

— До завтра, миссис Браун!»

Затем следуют убедительные урчащие эффекты, документирующие не то звук отъезжающей пятитонки, не то дружное пищеварение в семействе миссис Браун. На дессерт выдается дежурная порция джазового мунлайта.

Весь прием рассчитан на податливых девиц блудливой категории, — за дальностью расстояния в аду плохо осведомлены о нравах людей в Советской стране. Это и заставило эфировых сынов обратиться за подробной информацией к некоему русскому мальчику Алеше, внимание — в косоворотке! Будучи приглашен на рождественский праздник в заокеанской столице, он детским голоском поведал ужасающие вещи о немецком нашествии, от которых кровь надолго застыла в жилах у заокеанских дам-патронесс. Рассказ был о том, как однажды фашисты хотели купить у Алеши его елочку и, когда он отказал, они отняли ее силой. Разумеется, такой поступок германского фашизма достоин всяческого порицания, но, думается нам, что Алешина информация явно недостаточна. Умней было бы поручить толковому корреспонденту добиться интервью с грудами детского пепла у больших печей Майданека и Бабьего Яра. Правда, такой собеседник суров и неразговорчив, зато «cum tacent, clamant» [1], а сопроводительные фотографии сыграли бы свою познавательную роль в освещении нынешних советских настроений.

Я не склонен оберегать невинность девиц, готовых за пару найлоновых чулок приласкать хоть мысленно, хоть в подворотне пожилого и зажиточного господина. Бог с ними, с такими девицами! Но демонские речи об ореховом торте обращены к храбрым и простреленным людям,

---

[1] «Самым молчанием своим они кричат» *(лат.)*.

которым, в сущности, кое-чем обязаны сыны эфира, меньше всех хлебнувшие горя в минувшей кровавой суматохе. Гитлер был хоть и выдающийся стервец, но крупный мастак в перекусывании жирных горлышек; не очень-то просто было и нам сорвать с груди этого хорька и превратить в падаль. И если бы война произошла без участия России, чей портрет — достопочтенного президента либо берлинского гаулейтера висел бы в зале конгресса или где ему положено висеть?.. Равным образом, искусительной шопот адресован к нашим женщинам и детям, а это особенные слушатели. Они поровну с солдатами делили черный труд войны: их тоже убивали за сопротивление временному победителю; их жгли в походных крематориях оккупационных армий, и, когда держишь в руке горстку пепла, трудно различить, какая пеплинка принадлежала взрослому советскому богатырю, какая — ребенку. Так что заокеанское благополучие до известной степени оплачено и нашей детской кровцой.

Мы вырвались из кольца послевоенных бед. Но обнищалая Европа еще не скоро накормит досыта своих ребятишек. У нее нет иной разменной монеты, кроме души, на покупку заокеанского пайка, и вот она платит, платит, платит за сигареты и свиную тушонку кровоточащими кусками своих так называемых свобод. Во весь рост стоит над Европой многозвездный демон, и европейские дети пугливо смотрят то на его руки с миской чечевичной похлебки, то в его холодные равнодушные глаза. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные послевоенным горем, я покупаю чохом ваши души!»... Мне представляется мало привлекательным такое зрелище, когда упитанный килограммов на девяносто, кровь с молоком, иностранный коммерсант выменивает на кусок торта у итальянских и французских мальчонок, — сироток, может быть! — их последнюю надежду на счастье. «Негоже, братцы!» — сказали бы с презреньем русские мужички про этот адский бизнес! Как говорится, пусть господь в смертный час облегчит вашу грешную душу, неизвестный заокеанский господин.

Многому научился мир за последний десяток лет. Кого не тронула самая страшная фраза нашего века, жалоба девочки перед расстрелом у харьковского рва: «Дяденька, я боюсь», — тех озарила светом социального прозрения

трехгодичная бомбежка. И все же... Мне вспоминается один мимоходный диалог в Нюрнберге на процессе военных преступников. Бар был переполнен; трое в форме заокеанских армейских юристов попросились к моему столику. Я сказал — да. Они меня знали по книгам. Заглушаемый переливами джазового мунлайта, произошел такой разговор:

— Что вы думаете о процессе?

Я ответил:

— Тут не Гуго Гроций нужен, а дерзкий и доказательный крик большого сердца о том, что нельзя, нельзя *так* дольше жить в мире.

— Простите, я не понял, — сказал один, который показался мне умней и циничнее своих спутников; имя его часто упоминалось в судебных отчетах.

— Я объясню. Вы заметили, что изнасилование, например, вовсе не упоминается в этом процессе, как слишком мелкая купюра людского страданья. Здесь она не принимается в расчет. И вот вся минувшая людская боль бесследно растворилась в юридических параграфах и фолиантах. Задача наша вовсе не в том, чтобы прилично повесить два десятка стервецов... это слишком дешевая плата за несчитанные миллионы их жертв.

— Вы хотите полной ценой... ударом за удар?

— Я хочу предотвращения таких эпизодов в будущем.

— Это благородно. Как это сделать?.

Я решил не пугать его прямым ответом:

— Вы думали когда-нибудь о комарах? Они размножаются в стоячих водах, сосут кровь, мешают спать, разносят периодическую лихорадку, часто — со смертельным исходом... и вообще необходимость их в мироздании крайне сомнительна. Борьба с ними замедляется из-за отсутствия технологически единого приема... Конечно, можно ловить каждого из них и, зажав накрепко в кулаке, отстригать ему голову перочинным ножиком. Способ действительный, потому что комар без головы — это уже совсем другое дело... но мало продуктивный способ. Усекновению подвергнутся лишь наименее увертливые, и, кроме того, потребуется громадный истребительный персонал. Можно по-другому!

— А именно... если не секрет?

— Раз навсегда пронефтевать все болота на земле.

Он засмеялся, взглянул мне в самые глаза, покачал пальцем — и вот его буквальный ответ:

— О, нефтевать болота мы не будем.

О, мой собеседник отлично понимал, куда ведут корешки фашизма, который он судил, правда, по всей строгости законов, но — как чисто местное германское явление. Поэтому Нюрнбергский процесс и не сделался в истории человечества поворотной вехой, какой, по всем причинам, ему надлежало бы стать. Отсюда я должен признать, что ночные речи искусителя нельзя приписывать демонскому недомыслию или удаленности от очага исторических событий: он отлично сознает, зачем он высверливает крохотные дырочки сомнения в простых человеческих душах, чтоб заложить туда патрон с толом.

Демон есть тот же чорт, но только со средним образованием, а профессия чертей всегда состояла в уловлении простодушных... Но как на протяжении веков помельчала и выродилась нечистая сила! Теперь это уже не тот большой и гордый Сатана, который две тысячи лет назад предлагал пророку прыгнуть с горы и ценой отказа от человеческой природы приобрести поддержку ангелов. Это не байроновский Люцифер, через змеиное сострадание вливавший в Каина философическое сомнение. Это не гетевский Мефистофель, покупавший душу немецкого доктора на звонкую, имеющую повсеместное хождение, валюту женской любви. Это не флоберовский Дьявол, искушавший Антония зрелищем напрасности времен и пестрых еретических извержений. Это не гоголевский, всегда попадающий впросак, уютный чорт, готовый на собственной спине свозить Вакулу за черевичками в пышный императорский Петербург. Это даже не помянутый демон с его наивными обольщениями, вроде чертогов из янтаря и бирюзы... Заокеанский бес прозаичней и площе. В кошелке соблазнов у него фунт сливочного масла да тюбик зубной пасты: восьмицилиндровых паккардов он не обещает, поскольку и сам ездит к себе в ночлежку на автобусе. Это есть скушный бес, приказчик у нàбольших богатых, но также невыразимо скушных бесов. Ему и врать-то скушно, потому что он знает, что именно советскому человеку, хотя бы ценой длительного труда, все равно принадлежит будущее со всеми его чудесами. И как всякое существо, лишенное юмора, само становится ми-

шенью для смеха, так и бес этот вызывает ироническую улыбку у взыскательного советского слушателя.

В особенности улыбались мы недавно при радиорассказе о трайлере, небольшом, общедоступном особняке на колесах. Прицепляемая к автомашине при передвижении по дорогам страны в поисках заработка, коробка эта, по утверждению диктора, необыкновенно удобна и полезна для здоровья. И якобы такую жизнь в особенности обожают заокеанцы... Впрочем, в передаче не было указано, распространено ли такое обожание и в среде крупных биржевиков, финансовых воротил, владельцев торгово-промышленных предприятий, любят ли и они такую «независимую, кочевую жизнь» на колесах, или же предпочитают более стабильное существование со всеми удобствами, скажем, на Бродвее... или где они там живут, заправляющие боссы? Их там, оказывается, больше двухсот тысяч, горемычных скитальцев, расселенных федеральным правительством по таким бродячим фургонам за недостатком жилплощади.

Заводной говорящий манекен, под названием мисисс Бапкек, приблизительно так описывает прелести жизни в постоянном движении:

« — Войдите, не ушибите головы. Как видите, это целая квартира из трех комнат. Здесь течет вода, необходимая для мытья посуды и других домашних надобностей. Этот портрет мистера Ванденберга — не простой портрет, он раскладывается, и тогда получается по усмотрению — карамбольный биллиард, кушетка или стиральная доска. Мы так рады иметь этот домик на старости лет...

— Скажите, миссис Бапкек, ваш супруг спит на крыше для здоровья или же на этой складной лестнице? — спрашивает такой же заводной посетитель, опасаясь задать вслух прямой вопрос — как эти честные, век проработавшие, пожилые люди дошли до жизни такой.

— О, нет. Я помещаю моего Тэдди под кроватью, рядом с газовой плитой. Таким образом не пропадает тепло в зимнее время и постоянно охраняется наше фамильное серебро. Правда, для этой цели мужу приходится всю ночь вертикально держать ноги, но я ставлю на них ночник и читаю ему за это радиопередачи о прелестях жизни в трайлере.

— О, это очень мило. Скажите, мистер Бапкек также обожает это перпетуум-мобильное существование.

— Разумеется! Мы, заокеанцы, славимся своею склонностью к необычным удовольствиям. Это очень освежает. С наступлением холодов мы отправляемся на юг, а летом, как пташки, снова возвращаемся на север. Кроме того, при таком беспрерывном мотании жизнь обходится дешевле: не надо платить за квартиру и нет заботы о зимней одежде...»

...Есть еще один вид человеческого состояния, джентльмены, в котором не приходится заботиться также и о летней одежде и даже — о еде. Это состояние покойника. Надо думать, в ближайшее время демон угостит европейских слушателей обстоятельным радиоинтервью с таким замогильным счастливцем, — это будет выглядеть так:

«— Войдите в мой уголок, — приветливо сказал нам покойник, распахивая несколько узкую дверь в свою уютную, такую компактную квартирку. — Здесь у меня очень хорошо, как на курорте. Исключительная тишина и, заметьте, полное отсутствие сквозняков. Вот здесь у меня помещаются ноги, а это мое изголовье. Собственный живот служит мне письменным столом. Потолок, правда, низковат, но я не курю...

— Скажите, мистер Бапкек, вам не скушно находиться здесь в самый разгар послевоенного просперити?

— О, нет. Я по опыту знаю, чем обычно кончаются такие просперити. Это и было причиной, почему мы с женой решили покинуть сутолоку больших городов. У нее такая же квартирка рядом. Постучите в стенку, если хотите поговорить с нею лично. Хелло, Мери, ты не спишь? Тут зашел один демон, ему нужны кое-какие сведения для европейской передачи... О-кей».

Всякая дружественная беседа предполагает взаимный обмен суждениями. В ответ на ночные выступления демона я вместе с новогодним радиоприветом высказываю свое.

Гуд бай!..

«Литературная газета», 31 декабря 1947 г.

СОЛДАТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Многие из советских литераторов живо помнят этого худощавого человека с благородной наружностью ламанчского рыцаря. Хоть по разу в жизни мы встречались с ним, жали ему руку, и нам памятен, конечно, тот пристальный, несколько задержанный взгляд, которым он встречал нового своего знакомца. Человек этот родился в огне и, кажется, на каждом искал ожогов от большой и страшной войны, потому что по этим признакам он узнавал своих друзей, комбатантов, возможных участников того знаменитого взвода, опыт которого он бросил в лицо старого, подлого мира. Это был большой человек, он имел право назвать свою книгу «Слова борца», потому что великое обещание верности заключено в самом названии. Он любил нашу страну, понимал наш народ и в годы блокады и интервенции был нашим бойцом на дальнем рубеже — в широком и почетном значении этого слова. Этот писатель создал умную, вдохновенную книгу о нашем вожде, никогда не изменил правде и до конца дней сохранил свою прекрасную воспламененность коммуниста. Его творческая работа может служить отличным образцом для каждого молодого литератора, который захочет с пользой для человечества употребить свой песенный дар.

Многим в России до первой мировой войны было вовсе неизвестно имя Барбюса. Его первые книги, наверно, сохранятся лишь как младшие сестры той, которая заслуженно выдвинула автора в первую шеренгу мировой

литературы. Мы узнаем Барбюса сразу в солдатской шинели, в самом пекле боя несправедливой войны, от ужасов которой можно исцелиться только или смертью, или безумием, или прозреньем. Ему сорок один год, и в том контрастном сопоставлении подробностей и эпизодов, которыми он насытил прославленный «дневник одного взвода», явственно сквозит непримиримая гневность, с которой он воспринял эту трагедию человечества. По существу, это было второе рождение Барбюса, а мы хорошо знаем, как трудно дается писателю постановка его общественно-политического голоса. На примере Барбюса хорошо проследить, как из действительности и пронзенной писательской совести, подвергнутых действию огня, рождается в литературном тигле революционный гуманизм высокого стиля.

И опять судьба Барбюса глубоко поучительна для нас, писателей. Мы также владеем всем необходимым — от бумаги и чернильницы до необъятного материала, предоставленного в наше распоряжение. Правда, его стало слишком много, и требуется, порой, незаурядный ум, чтобы правильно прологарифмировать нескончаемые вереницы людских усилий, страданий и свершений. Слишком много событий, одно значительней другого, произошло на нашей памяти, а мы еще не совсем старые люди, и, надо думать, история подкинет еще кое-что в наши записные книжки. Для изображения мало одного только таланта, или ортодоксальной честности в перечислении происшествий последнего полувека, или той старой манеры, в которой у нас раньше вели героя — от рождения его в милейшей деревушке с надлежащим пейзажем через гражданскую и мировую войны к последующим событиям по хронологической канве большой истории. Мне кажется, что никаким, самым полным каталогам промахов и удач, ликований и несчастий нельзя удивить, вернее, удовлетворить нашего современника с новым содержанием его духа, нашего читателя, лично прошедшего через бурю сталинградской битвы и парад Победы на Красной площади. Кроме добросовестного описательства, от нас требуется осмысление эпохи.

Барбюс создал такой емкий и пламенный логарифм события, каким был «Огонь» для первой мировой войны.

Эта правдивая и искренняя книга была высоко оценена и Анатолем Франсом, и Максимом Горьким, и, наконец, самим Лениным. И действительно, ее название звучит, как команда атаки на старый мир. Это был выстрел в лицемерие, в шовинизм и зверство капитализма. И если наш читатель всегда любил гулять по чудесным садам французской классической литературы, то его в особенности привлекало в ней именно то, что время от времени среди ее романтических рощ наталкиваешься на гневный, сложенный прямо на земле человеческий огонь, самое большое достояние и открытие людского племени. «Огонь» Барбюса неугасим, он жжет до сегодня. Такие книги живут долго... И здесь нельзя не вспомнить некоторых обстоятельств на похоронах Барбюса.

Его хоронили в теплый, солнечный сентябрьский день. Процессия растянулась на пять километров, триста тысяч французов провожали на Пер-Лашез своего Барбюса. Впереди двигалась роща знамен, такая красочная на фоне тихой парижской осени, а сзади, тотчас за гробом своего вожака и командира, шли ветераны с обезображенными лицами, с вытекшими глазами, люди — улики бессмысленной капиталистической бойни, символические бойцы его знаменитого взвода. Они шли с поднятыми, сжатыми досиня кулаками — приветствие народного фронта... В этот день мир удостоверился, что не одно, а два сердца у Франции, и только потому она будет жить вечно. И когда дряхлое, склеротическое сердце старой Франции отказало в работе на первом же этапе второй мировой войны, ее молодое сердце билось в подполье, способное вести страну к ее блистательному будущему, если бы — если бы не ее заокеанские лекари.

Парижская полиция, которая борьбу с огнем всегда рассматривала, как свое основное призвание, запретила нести в процессии плакаты с призывами к борьбе, — народ начертил на транспарантах цитаты из самого Барбюса. И оттого, что грудь Барбюса при его жизни не была украшена орденами и лауреатскими медалями, французские девушки несли на алых подушках самые его книги. Там был «Огонь», «Слова борца», «Что я видел в Грузии» и, наконец, его вдохновенный труд с таким кратким и емким названием — «Сталин»...

Хороший пример хорошей жизни!

«Пусть его жизнь, — писал товарищ Сталин о Барбюсе, — его борьба, его чаяния и перспективы послужат примером для молодого поколения трудящихся всех стран в деле борьбы за освобождение человечества от капиталистического рабства».

Вечная слава солдату прозревающего и борющегося человечества — Анри Барбюсу!

«Литературная газета», 19 мая 1948 г.

НЕПРИМИРИМОСТЬ

Друзья! Прежде всего я хочу передать привет от моей Москвы новой демократической Польше и народу древнего польского города Вроцлава.

Мы, делегаты мировой интеллигенции, прибыли на вашу гостеприимную землю для обсуждения самых насущных задач в деле защиты мира и демократии.

Этот конгресс кончается сегодня, и я с радостью могу утверждать, что он кончается победой прогрессивных сил над темной варварской реакцией. Эти четыре дня наглядно показали, каким громадным моральным авторитетом располагает моя родина, каким могущественным единством отмечено нынешнее стремление народов к мирной, честной, справедливой жизни.

Напрасно реакция пытается затемнить великие заслуги нашего народа в минувшей войне. Еще задолго до голосования выяснилось, что нации помнят жертвы, принесенные моими товарищами и соплеменниками в страшной битве за самые насущные права человека, длившейся почти полторы тысячи дней и ночей. На этом конгрессе были сказаны все необходимые, назревшие гневом слова, и я верю, что голос конгресса будет услышан всеми народами, а реакция убедится, насколько в последние годы созрела в человечестве решимость бороться за свое счастье — и не только обороняться, но и наступать. Я хочу верить, что эти слова будут в особенности понятны на польской земле, где, во имя ее свободы, пролита была

наша советская кровь и где еще раз проявилось бескорыстное благородство освободительных советских армий. Необъятно мужество нашего человека, и подвига его всегда хватало на всех.

Однако на этом конгрессе кое-кто из англо-саксонских делегатов бросил моим товарищам, выступавшим на заседаниях, упреки в непримиримости и даже в отсутствии благопристойных манер «интеллектуального поведения»; по счастью, их было немного, и я не собираюсь спорить с ними здесь, — не столько оттого, что не располагаю достаточным даром убеждения, сколько в силу того, что оппоненты наши слишком заинтересованы, чтобы не понять меня. Я решаюсь вынести этот маленький спор на ваше суждение, потому что, мне кажется, именно Польша, столь пострадавшая в прошлой войне, имеет особое право быть нелицеприятным судьей в этом деле.

От каждого великого исторического несчастья, кроме ведущих политических тезисов и параграфов, резолюций и формул, остаются также отдельные изречения, эпизоды, трагические мелочи быта, в которых, как в капле воды, отражается личное живое ощущение очевидца и которыми обычно пренебрегает история, когда подводит свои итоги... Мне думается, что некоторые особенности второй мировой войны, в частности характеристика врага, стоявшего по ту сторону наших траншей, лучше всего выразилась в предсмертном крике пятилетней девочки, о чем мне рассказал уцелевший свидетель на харьковском процессе. Я писал об этом в наших газетах, и надо, чтобы вы также узнали об этом. Дело происходило так. К заранее приготовленным ямам привезли для истребления шестьсот человек. Это были старики, инвалиды, женщины и дети. Накануне выпало снегу на метр, мороз достигал 25 градусов. И когда все стояли уже раздетые, потому что, как вы знаете, одежда жертв служила сырьем для германской легкой промышленности, ребенок прокричал эту фразу: «Дяденька, я боюсь!»

Возможно, этот случай не потрясет всех вас, у которых вчера еще были заплаканные глаза, — я вспомнил его только в связи с другим эпизодом, из цинизма которого проглядывает лицо новой подготовляемой империалистами войны. В кулуарах конгресса честная польская жен-

щина рассказала мне про другой случай, который я не смею утаить от вас для своей записной литераторской книжки.

Есть одно скорбное место на вашей многострадальной земле, я бы даже сказал, самое страшное место на всей планете, если бы оно оказалось единственным, если бы не было Дахау, Бельзена и других. Это слово понятно сегодня на всех наречиях — Майданек. Наверно, у каждой польской семьи хранится горстка родного пепла в этой громадной национальной могиле, также оказавшей горькое братское гостеприимство многим из моих советских соотечественников.

В 1947 году господин посол просвещенной американской державы посетил и обошел это обугленное, такое позорное для современной цивилизации место. Он ходил и все улыбался, а когда обход был окончен, этот страшный джентльмен с крепкими нервами позволил себе произнести одно лишь слово: «Пропаганда». Вы думаете, что он усомнился? Что он в своем провинциальном неведении принял за бутафорскую подделку склады женских волос и груды пепла, а двенадцать знаменитых костров из человеческих тел, зарево от которых годы подряд жгло совесть мира, — за бенгальский огонь, для совращения иностранцев в «красную веру»? Нет! Этому господину просто невыгодно было поддаться разящей убедительности фактов.

Но мне хотелось бы спросить у моих ученых коллег на конгрессе, позволял ли себе питекантроп острить таким способом в какой-нибудь вдовьей пещере каменного века?

Как говорится в пословице, в семье не без урода, тем более — в такой многочисленной и трудолюбивой семье, какую представляет американский народ. Да этот джентльмен и есть посланец не народа, а класса, и даже не класса в целом, а лишь незначительной кучки людей, которая в настоящую минуту улыбается на усилия своих красноречивых и, будем верить, добровольных адвокатов.

Мы-то знаем, что доллар не плачет. Нет, жалоба пятилетней девочки не терзает ему сердце. Ему недоступно это острое ощущение, потому что ему нечем плакать и нечему терзаться. Он ничего не совершает попусту или

в ущерб себе. Деньги есть деньги, они умеют расти за счет человечьей крови. Доллару нужны плацдармы в Европе, нужны не менее, чем бездушные двуногие, во всем отчаявшиеся автоматы, готовые исполнить его любую волю. Вы понимаете сами, в какую сторону направлены взлетные дорожки авиабаз. Это поход на нас, поход на мир, на оплот мира.

Мы этого не боимся, мы пришли сюда защищать не себя. События показали, что мы не трусливого десятка, — у нас имеются хорошие головы и твердые руки. Нас много и теперь, а если новое страдание коснется незаживших человеческих ран, мы станем гневным, бесчисленным множеством. Меняется политический климат земли, и никакая сила не в состоянии отменить или хотя бы задержать смену геологических формаций. Механизм культуры предназначен для умножения благ и удовлетворения возрастающих человеческих потребностей, и если, к примеру, величайшее открытие разума, которое может облагодетельствовать человечество, становится инструментом шантажа, варварской дубинкой, загоняющей людей в пещерное стойло, значит, этот механизм в злых, бесчестных руках, и нам, мастерам культуры, следует действенно позаботиться о его дальнейшей судьбе...

Мы пришли сюда защищать наше будущее, — и не храмы или обсерватории в нем, не госпитали или университеты, которые имеют обыкновение восставать из праха еще величественнее и краше, — а детей. И не только беззащитное тельце этих пятилетних крошек, еще не успевших крикнуть перед командой заокеанского атомника: «Дяденька, я боюсь», а живую прекрасную птицу их веры в правду, в человеческое величие и в мужественную честность их отцов.

Итак, речь идет о самом главном, о детях. История простит нас, советских людей, за то, что мы говорим об этом решительно, громко и даже грубовато подчас. События нашего века заставили нас упростить язык политики и порою не заботиться о красотах стиля, или манерах «интеллектуального поведения», или изяществе слов, которые, кстати, так часто и подло предавали это маленькое человечество. Кроме того, историю будут писать эти самые дети, если только мы сумеем уберечь их от грядущих несчастий. Они поймут нашу

страстность, напор и непримиримость, которые есть постоянное оружие правды, когда она пробивается сквозь тенета зла.

Великое счастье жить и трудиться на свободной земле, но никакое счастье не дается без боя. Боритесь за него, пусть каждый станет верным солдатом мира, если не хочет стать солдатом или жертвою новой войны.

Речь на митинге во Вроцлаве во время Всемирного конгресса деятелей культуры в защиту мира 4 сентября 1948 г.

МИР — МИРУ

Особые недобрые предзнаменованья заставили всех нас потратить наше бесценное творческое время на то, чтобы еще раз, пока не поздно, обсудить опасности, грозящие человеческому роду и его прогрессу. За короткий срок со времени окончания второй мировой войны явственно обозначилось и окрепло политическое явление, соперничающее с фашизмом по размаху намерений и по убойному качеству заключенных в нем возможностей. Воинствующая крупно-капиталистическая клика под шумок клеветы и дезинформации, под трезвон о так называемых «Соединенных Штатах Европы» осуществляет в ускоренных темпах самую беззастенчивую экспансию. Злое золото льется на незажившие раны Западной Европы. Будущие гладиаторы звучно подкрепляются чечевичной похлебкой, за которую правительства продали национальную независимость и суверенное первородство своих государств. Наживка проглочена, скоро можно будет подсекать...

Необоримым препятствием, стоящим на пути всеядного американского империализма и способным помешать организации всемирной империи доллара, являются сплоченные демократические силы мира, возглавленные моей советской родиной. Именно поэтому острие военных союзов устремлено против советской страны и ее народов, ибо мы главный и верный оплот мира, остров надежды в сумерках, сгустившихся над миром.

Все знают, что случилось бы со всеми эфемерными «свободами» человечества, если бы какой-нибудь геологический катаклизм смыл с карты наше социалистическое государство. Все знают, на какую циническую жестокость способна ненависть ущемленного собственника, когда исчезнет причина его страха и что будет, если человечество лишится своего могучего и неутомимого защитника.

Не станем пугать современников. Ничто не может сломить Советский Союз. Правда, в Атлантический пакт впряглись теперь целых двенадцать держав, но мы помним время, когда их было четырнадцать, и мы были в десять раз слабее. Та же подозрительная суматоха замечается у границ великого демократического оазиса, все тот же «воевода Пальмерстон поражает Русь на карте указательным перстом». Признаюсь, в остальном это неудачная реминисценция. С тех пор наши люди приобрели большой опыт в случайностях судьбы и уверены, что это будет уже последняя *такая* случайность.

Судя по умножению семьи демократических народов, сознание людей заметно просветляется в передышках между такими схватками, и хотя иные забывают суровые предметные уроки истории — это показывает лишь, как неистребима их детская вера в свою счастливую звезду. Конечно, человечество не погибнет ни при каких условиях, но все же мы должны разочаровать такую опасную беззаботность.

Поход против передовой демократии мира есть авантюра и преступление, а преступление всегда обдумывается в сугубо трезвом состоянии, — до коктейля! Поджигатели войны должны были бы вспомнить из опыта минувшей войны, что одно дело завоевывать «неприступные» крепости в Сицилии и штурмовать итальянских красоток, и совсем другое — битва у Сталинграда, где советские люди камнем лежали полгода в непроходимой человеческой баррикаде без права отползти, шевельнуться, уснуть и даже умереть, чтобы затем перейти в стремительное, не имевшее прецедентов наступление против основных сил фашизма. Во всяком случае, советую им заблаговременно провести интервью среди сталинградцев касательно войны, — что *это* такое и как она выглядит при ближайшем рассмотрении.

Неправильно думать, что атомная бомба есть длинные

руки, доставляющие легкую победу до соприкосновения с противником, который, кстати, в то же самое время будет, скажем, играть в пинг-понг. Но кто знает, на какой самодеятельный фортель порешится очередной заокеанский министр, прежде чем его оттащат в сумасшедший дом по следам его злосчастного коллеги. Большие количества горючего иногда воспламеняются от невыясненных причин... В такой момент огромная ответственность ложится на нас, мастеров культуры, как определил нашу человеческую должность великий советский гуманист Максим Горький.

Именно в этот момент враги культуры и цивилизации хотели бы видеть мир разделенным на англо-саксов и славян, черных и белых, правоверных и еретиков, чистых и нечистых, кредиторов и должников, но на деле обстоит несколько иначе. Единственная траншея разделяет мир лишь на боссов с их челядью и тех, которые не желают стать их рабами. Следовательно и от нас требуется монолитное единство, и очень плохо, что в мировой семье ученых, писателей, артистов и зодчих еще находятся люди, полагающие себя в стороне, ибо, дескать, культура безоружна. По их словам, александрийская библиотека не сопротивлялась поджигателям и Архимед мог только просить солдата не разрушать его кругов. Наша прямая обязанность терпеливо разъяснять им, что сегодня на карту поставлена судьба всего духовного и материального достояния человечества... Конечно, вооруженные суверенные народы сумеют и сами отстоять свои святыни, но прежде чем в действие вступят громадные массы неразговорчивых людей, одетых в хаки, народы хотят послушать большой разговор своих мастеров культуры, которых привыкли уважать за их прошлые дела. Именно потому, что мы являемся отцами чертежей и замыслов новых книг, машин, лекарств и зданий, от нас зависит многое в предотвращении повторных несчастий и уже невосполнимых утрат. Опыт последних десятилетий показал, что наши понятия о возможностях людей и вещей не всегда точны. Оказывается, бывают юные русские девушки, способные наносить чувствительные удары оккупантским армиям, бывают толстые благообразные книги-отравительницы, бывают пушки, благовествующие новую освободительную эру человечества!

Мне представляется так диспозиция сил. На наших глазах в мире происходит стихийная смена общественной формации, и это, конечно, самая значительная из всех перестроек, когда-либо происходивших на сознательной памяти людей. Было бы еще лучше, если бы она оказалась и самой скоростной — не потому только, что в сущности все морально подготовлено к восприятию новизны, но, главным образом, из тех соображений, что уж очень нестерпимо, оскорбительно и даже опасно стало жить на свете по прежним капиталистическим образцам.

Быть сегодня матерью — принадлежит к разряду самых трагичных человеческих должностей. Слишком уж в обширных масштабах стали повторяться испытания человеческого духа и тела на прочность, на пробой, на разрыв, слишком часто рушатся отличные земные города, и простреленные молодые люди на колючей проволоке проклинают тихую благодатную ночь, соединившую их родителей. Мы еще не слишком стары, но переживаний наших хватило бы на добрый десяток прежних поколений.

И вовсе не в том дело, что большевики не хотят помедлить, подождать век-другой, пока уцелевшие от таких приключений на колючей проволоке сами удостоверятся в необходимости свержения этого дьявольского порядка. Только очень посредственные мыслители могут утверждать, что Китай и Индонезия — это козни московских большевиков, и если, дескать, Москва одумается, перетрусит перед Атлантическим пактом, то вся полумиллиардная лавина грозных, отчаявшихся от своих несчастий, презирающих смерть, отважных и прекрасных человеческих существ сразу отступится, остановится, откажется от своего триумфального шествия к источнику счастья. Нет, это не происки Москвы, милорды, не заговор моих советских соплеменников, рабочих и колхозников, а это есть движение самой земной коры, которая свирепо стряхивает с себя постылое и постыдное иго многовекового рабства. Берегитесь действующих вулканических сил, милорды. Неосторожность может повредить здоровью!

...А в том суть, что отжившие, морально скомпрометированные, совсем распустившиеся и опустошенные, уже

ненавидимые всем мыслящим и трудящимся людом, жадные и подлые владыки капитала не желают прилично и добровольно, в непомятых сюртуках сойти с исторической арены. Я согласен, что эта часть моей концепции груба и для нашего серьезного разговора даже хрестоматийно-наивна, но всякий голос с этой трибуны слышен не только вам, европейской прогрессивной интеллигенции. Его слышат и там, в цехах и на пашнях, хранители и создатели всех житейских благ, участники и жертвы недавних столкновений. В среде этих простосердечных и мужественных людей не все осведомлены, кто такой был Архимед и какие озорники спалили знаменитую Александрийскую библиотеку. Им, например, некогда разбираться в хитроумно-сложных, бесконечно омерзительных процедурах гиперболического маршалловского бизнеса, с помощью которого заокеанские денежные киты собираются даже из этой нищей, расплющенной, униженной, кое-где в щебенку рассыпанной Западной Европы, выжать дополнительные тонны золота или соответственные эквиваленты крови... Зато они хорошо знают, кто заправляет делами на американском континенте, кто сидит у пульта ненависти к Советскому Союзу.

Итак, великая идея социализма прочно вошла в сознание мира. Из мечты она превратилась в науку, из науки стала обыденной реальностью, генеральным тезисом в нашей советской действительности. Она бескорыстна и бесконечно гуманна, но там, где ей не открывают дверей, она взламывает стены. Благодаря ей Советский Союз оказывает благотворное влияние на все области народно-хозяйственной жизни смежных с нами государств. Впрочем, она действует и на более значительных расстояниях. Вот, по слухам, в Америке поговаривают о том, что следует проявлять большую терпимость и законность в отношении негров. Так это потому, что имеется на свете зрячая, действенная, миллионноголосая совесть, моя страна. К примеру, опять же, в некоторых империях национализируются важнейшие отрасли тяжелой и горнорудной промышленности, потому что неразумно ставить народное благосостояние в зависимость от причуд и умственных способностей владельца. Не отрицая самостоятельного мышления тамошних деятелей, я все же полагаю, что они слыхали где-то мельком об успешности тридцати-

летней подобной практики в нашей экономике, — хотя и не слишком толково разобрались в этом. И если, наконец, английский король вручает грамоту и орден шахтеру из Уэльса за перевыполнение плана угледобычи, о чем не слыхать было в прежней английской истории, — я с удовлетворением отмечаю, что и во влиятельных лондонских кругах имеются подписчики на наши периодические издания. Не сомневаюсь, что при соответственном обращении наши хозяйственники не отказались бы более широко поделиться опытом и дать практические указания, как из терпящей бедствие владычицы морей сделать процветающую социалистическую державу.

Народы земли, например, давно поняли, что из всех новых идей, когда-либо вторгавшихся подобно сквозняку, подобно солнечному лучу, в душную перенаселенную пещеру, ни одна не была столь спасительной и своевременной, как светлейшая ленинская идея. Кроме прочих благодеяний, она прокламировала возвышение роли человеческого труда, высвобождение скованных дотоле творческих сил человека, утоление всех его основных потребностей, разрешение всех так называемых извечных и роковых — национальных, экономических и личных — узлов и противоречий, происходящих из всяческого неравенства. Этой идеи страшатся только те, кто осознал свою полную социальную никчемность в завтрашнем коммунистическом обществе... хотя в сущности не так уж трудно, при желании, подучиться делать что-нибудь полезное, например, заняться мелким ремонтом одежды при общественных банях. Должность невысокая, но зато в тысячу раз более почетная, чем быть председателем крупного паразитического банка. Причем, это только обывателю, мелкому фабриканту, полуграмотному меняле да ростовщику, который выжимает сок из людей без приспособлений, вручную, все представляется в беспокойном сне, что приходят местные коммунисты и отбирают у него могучее пуговичное заведение вместе с занавесками со всех трех окон. Любой крупный иерарх капитала, который ежедневно десятками пожирает эту суетливую, почти бестелесную торговую мелочь, более осведомлен о сущности происходящего на свете: его не устроит место при банях! Речь идет не только об изъятии чековой книжки. Речь идет о полном изменении всего уклада жизни, всего

характера людских отношений, когда уничтожится всякая купля — и та, от сознания стыдности которой сжимаются кулаки у молотобойца, — и та, при упоминании о которой мать опускает глаза перед любимой дочкой. Приходит конец всем тем подлым сторонам прежнего бытия, к которым минувшие поколения до такой степени присмотрелись, привыкли, с которыми так сжились и примирились, что даже включили зло в функции своего божества. Меня тоже в детстве учили, что унижением и нищетой господь ласкает человека!.. Неспроста эти устоявшиеся черты житейского неустройства, — «непорядок!», как сказал бы рядовой колхозный бухгалтер, — явились темами величайших литературных творений, — потому и величайших, что отражают или величайшие несправедливости и обиды человеческих существ, или звериные, хищные пороки, когда-то терзавшие человеческие сердца. Они издавна гипнотизировали поэтов земли и привлекали к их книгам читателей, искавших просвета у них, тогдашних мастеров культуры. И вот низменные страсти себялюбия, чванства, стяжательства и ханжества постепенно покидают мир, как уходят из человеческого общежития, скажем, моровая язва, холерный вибрион и другие завсегдатаи неуютных средних веков. Прощайте, мрачные призраки, самые обстоятельные доказательства дарвинской правоты, навечно отпечатлевшиеся в величественных зеркалах трагедий — Макбеты и Шейлоки, Растиньяки и Тартюфы... Улыбнись обновляющейся жизни, Гамлет! И пусть никто отныне не разбивает сердца маленькой Джульетты!..

Однако мы попрощались с ними еще тридцать лет назад, а они все не уходят; впрочем, никто и не рассчитывал, что все произойдет так просто. Старые идеи умирают, но жрецы и барды их остаются на некоторое время. Они с ожесточением борются за жизнь, они объединяются, науськивают, их губы спекаются от клеветы на сменяющее их поколение. Молодость всегда преступна в глазах обреченных стариков. Вчера они хулили нашу страну за варварство, за какое-то семимильное коммунальное одеяло, под которым будто бы наши граждане спят без различия пола вповалку. Когда же они испытали на себе глубину советской культуры во всем, от советской стратегии до искусства советского скрипача, они стали обвинять

нас в попрании демократических прав, а завтра откроют за нами какой-нибудь новый смертный грех. Они гордятся псевдодемократическим правом пожать руку президента, но молчат о таком же безусловном праве подохнуть с голоду через неделю. Они хвастают неограниченными возможностями для бедняков покупать все в рассрочку... да, все на свете, от мотоциклета до члена конгресса! Все — кроме, кажется, потребного ему в первую очередь гроба, поскольку рискованно отпускать этот товар с последующей выплатой на небесах.

В таких условиях культура гаснет. Она есть организм, нуждающийся в постоянном обновлении молодыми идеями, соответственными народным потребностям. И как белок, когда в нем прекращается движение, становится ядом, так и приостановленная культура делается носителем заразы и разложенья. Она вянет; то, что было вчера румяно и привлекательно, сегодня оскорбляет чувства. Так рождается живопись, свидетельствующая о предельном презрении к своему народу, музыка, которую надо исполнять на паровозах и слушать под хлороформом; фильмы — обстоятельные самоучители гангстерского ремесла... Тогда пропадает у людей руководящего сословия самое нормальное человеческое достоинство: они способны круглосуточно услаждаться позором ренегата, как лакеи злорадствуют о проворовавшемся барине; всё не могут они забыть про отпущенные нам марлю и вату, которыми мы останавливали кровь, хлеставшую из нас в Сталинграде...

Когда гаснет культура, ни одна великая идея не озаряет неба. Нельзя же считать за идею людоедскую фантазию Фохта, этого новейшего лагерфюрера, вроде бельзенского Крамера, — лжеученого, призывавшего недавно истреблять, умерщвлять, *сутанизировать* — по гитлеровской терминологии — живых людей, чтобы хоть временно разгрузить планету от лишних кулаков и ртов, избавить ее от экономических кризисов и потрясений... Тогда скудеет духовно эрозированная, обеспложенная земля и на великих людей. Кого же там назвать хотя бы полувеликим? Не того ли самого Пальмерстона, избравшего себе занятием защиту Англии от каких-то восточных злоумышленников. Нас много на Востоке и, по правде говоря, я не могу ручаться за сокровенные намерения Ирана и Турции,

но что касается советского народа, то, несмотря на некоторую историческую сложность наших отношений, он высоко ценит английскую нацию, подарившую миру Ньютона и Дарвина, Шекспира, Свифта и Диккенса... Любой советский студент продлит этот список без запинки. Но не скрою, простые люди в моей стране уверены, что величайший расцвет британской культуры наступит только тогда, когда английский народ избавится от затянувшейся, ревнивой и реакционной опеки своего правящего класса.

В этих условиях понятной становится их старческая вражда к молодой стране за то, что она живет, распевает песни, составляет планы размахом в три пятилетки сразу, укрепляется изо дня в день, побеждает в труде и на поле брани, и смеется, смеется над экономической подагрой, что терзает недоброго и коварного старика; возможно, я несколько ослабил диагноз. Подобно всем очень дурным людям, он хотел бы хлопнуть дверью, уходя из мира навечно. И чтоб не жалко было покидать его, пусть человечество окажется на таком рубеже паденья, когда обыкновенный гвоздь представляется выдающимся чудом науки и техники. Он хочет войны, в кровавой суматохе которой всегда может раскрыться какая-то непредусмотренная спасительная комбинация. Для этого нужны солдаты, много сытых, покорных и нелюбопытных к своему будущему солдат, которых не жалко. Прикинув соотношение сил, он начинает собирать дополнительные контингенты за границей. Так рождается идея плана Маршалла и, как следствие его, Атлантический пакт.

Американская пропаганда причесала это темное дело под добродетельный акт христианского милосердия. Так ли это?

Есть в Соединенных Штатах один специфический вид преступления, знакомый всем по фильмам и уголовным американским бест-селерам. Это *рекет*. Он состоит в том, что плотный, хорошо вооруженный господин среди бела дня заходит в лавочку мелкого перепуганного торгаша и кротким баптистским голосом предлагает за сравнительно небольшое, но регулярное помесячное вознаграждение защищать его от кровавых бандитов, которые польстятся красть с его витрины, скажем, куриные яйца. Понятливый

торгаш достает автоматическую ручку и подписывает Атлантический пакт... Аналогия, на первый взгляд, кажется неудачной, потому что рекетёр в данном случае сам платит своим жертвам довольно внушительные деньги, но так кажется лишь на первый взгляд. В этой весьма односторонней сделке дань выражается в наиболее ценной валюте, которая крепче любого золотого стандарта. Это солдатская кровь. За такой товар современный дьявол всегда платит чистоганом, без мошенничества. Это не устарелый европейский чорт, норовивший платить по грошу за душу, — это усовершенствованный чорт американский, вполне довольствующийся установленным процентом, Желтый Дьявол, как его в свое время обозначил Максим Горький.

Все это не вольности поэтического мышления. Вот взятые наугад суждения американцев о самих себе. «Не Россия, а Соединенные Штаты являются сегодня самым страшным пугалом для человечества», — сказала одна видная американская журналистка. «Нам придется начать превентивную войну с использованием атомной бомбы... с целью покорить мир, править им по своему усмотрению», — сказал профессор неопределенных наук Гарольд Юри. «Если вы ткнете булавкой в карту, она попадет прямо в какого-нибудь американского генерала или адмирала», — сказал Джоржд Марион, журналист. «Дипломатия доллара — это политика замены пуль», — это сказал Тафт. Добавим — тем более выгодная политика, что доллар, по использовании, подобно бумерангу, возвращается к ногам владельца... Все ясно теперь: убойные машины пущены в серийное производство, плацдармы обеспечены, гладиаторы навербованы и накормлены, — можно начинать новый третий цикл благодеяний (по Фохту!) для человечества!

Надо признаться, народу моему бесконечно надоела эта унылая и темная суетня вокруг наших государственных границ. Он знает о всех враждебных авиабазах, с которых взяты на прицел наши города. Он слышит открытые, исступленные призывы желтых заокеанских газетчиков крошить, громить и жечь наших женщин, стариков и детей. Он знает еще многое, улыбается и молчит, как молчат до поры и другие такие же великаны, рабочие классы ближнего и дальнего Запада, которых Атлантиче-

ским пактом хотят воодушевить на поход против светлой родины всех трудящихся.

Мы оптимисты... но день еще не начался. Поэтому пусть этот большой наш разговор будет решителен, достаточно громок и по-солдатски недвусмыслен. Пусть же наш разговор завершится нашей круговой клятвой противиться войне, и если случится *это,* нежеланное и грозное, защищать до конца вверенный нам Пантеон человеческой культуры!

Речь на Всесоюзной конференции сторонников мира в Москве в 1949 г.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ТОМ ПЯТЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор *Н. Крюков*

Переплет и титул
художника *А. Радищева*

Художественный редактор *Н. Мухин*

Технический редактор *Ж. Примак*

Корректор *А. Сабадаш*

*

Сдано в набор 11/XI 1953 г. Подписано в печать 20/III 1954 г. А 01048.
Бумага 84 × 108 1/32. 27,5 печ. л =
22,5 усл. печ. л. 21 уч.-изд. л.
Тираж 75 000 экз. Зак. № 2570.
Цена 9 р. 50 к.

Гослитиздат,
Москва, Ново-Басманная, 19.

3-я тип. «Красный пролетарий»
Союзполиграфпрома Главиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.

9 р. 60 к.

Госполитиздат
1954